Даниил Гранин

РЕКА ВРЕМЕН

Даниил Гранин

РЕКА ВРЕМЕН

Очерки

Статьи

Повести

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1985

84 Р7
Г 77

Г $\frac{4702010100-1070}{080(02)-85}$ 1070—85

ЗОЛОТЫЕ РОГА

(Из алтайской тетради)

Подъем длится третий час. Дорогу пересекают реки. Мостов здесь нет. Дорога ныряет в зеленую ревущую воду и выходит на том берегу. Грязная, топкая. Лошади, осторожно ступая по скользким камням, входят в реку. Останавливаются, боязливо отфыркивая пену, пьют. Пьют они мало, но долго, выгадывая время.

Мы тоже устали. Мы выехали из Усть-Коксы затемно, а сейчас уже припекает. Мы поднимаемся в горы, но гор не видно, они закрыты лесом. И все равно жарко. Мой спутник — директор совхоза Пальцын расспрашивает меня о литературных новостях. Делает он это из вежливости, и пока я отвечаю, он думает о строительстве нового маральника. Последний месяц он только об этом и думает. Наконец, разговор, к нашему удовольствию, вянет.

Мы едем на мараловодческую ферму совхоза, или, как ее называют, маральник. Я пробую представить себе, как он выглядит. Это интересное занятие — представлять себе вещи, которые никогда не видел, и потом сравнивать.

О живом марале у меня смутные детские воспоминания по зоосаду. Что-то похожее на оленя. Маралов разводят ради пантов. Панты — молодые рога. Из них изготовляют ценнейшие лекарства. Панты ценятся чрезвычайно высоко. Их экспортируют. Еще в Горно-Алтайске секретарь обкома говорил мне о маралах как о главном богатстве края. Мараловодческих совхозов немного, но они быстро растут, у них большое будущее. Когда речь заходила о маралах, у секретаря обкома появлялись неожиданные среди его скупых деловых фраз поэтические образы и метафоры...

Лошади медленно вытягивают ноги из густой грязи. Вчера мы пробовали пробиться к маральнику на мотоцикле. Проехали полпути и выдохлись. Каждые сто метров нужно было вытаскивать на руках тяжелую машину из грязи. Повернули обратно. Сегодня трясемся на лошадях — конца и края не видно. Ни одного встречного. Лес, горы, глухие, безлюдные места.

Пальцын застегивает воротник кителя. Деревья редеют. Показывается широкий уступ горы, заставленный домиками. Где же маральник? Пальцын показывает на высокую гору в зеленом каракуле лесов. Мы проезжаем через поселок, здесь живут мараловоды, кормачи, рабочие маральника. Обычные рубленные из лиственницы избы, огородики, клуб, магазинчик, синий почтовый ящик — все, как внизу, на равнинах. Обыкновенный рабочий поселок. Чересчур обыкновенный. Я чувствую обиду и разочарование. Однако эта обыкновенность здесь, далеко в горах, настолько неожиданна, что начинает казаться необыкновенной. Чувство это усиливается, когда Пальцын знакомит меня со старшим мараловодом Иваном Еремеевичем Килиным. Средних лет, в кепке, в пиджаке, в сапогах, его ничем не отличить от жителя Горно-Алтайска или Новосибирска.

Килин — парторг. У него накопилось к Пальцыну множество дел. Он ведет нас в магазинчик. Пальцын осматривает полки, записывает, каких товаров не хватает. Килин заводит разговор о штатном расписании; ему нужно полставки для медсестры, и он упорно наседает на директора. Идут сложные маневры, которые кончаются уклончивым: «Ладно, еще поговорим».

— Может, позавтракаете? — предлагает Килин.

Я пожимаю плечами. Мне уже все равно. Как в плохой книге, до сути никак не добраться. И Килину и Пальцыну невдомек, что увидеть марала для приезжего, может быть, куда важнее штатного расписания. Но я помалкиваю. Если молчать, ни во что не вмешиваться, не расспрашивать, то постепенно на тебя перестают обращать внимание, забывают, что ты писатель.

На горе живут маралы. Кусты, поляны, лес, горные ключи — настоящий заповедник, целая страна, обозначенная едва заметной коричневой границей изгороди: высокой, чтобы марал не перепрыгнул, прочной, сложенной из толстых слег, чтобы не повалил. Изгородь странная, вьется прямоугольными зубцами. Тяжелые слеги кладут вперехлест, без гвоздей, без обвязок; получается прочно, а главное — надежно. Наши обычные заборы с вкопанными столбами здесь не годятся, доста-

точно где-нибудь завалиться столбу, и могут произойти неприятности — уйдут маралы, либо волки проберутся. В сущности, эта изгородь, опоясывающая гору на десятки километров, и есть основное сооружение летника — летнего содержания маралов. Внутри этой летней квартиры существуют еще добавочные перегородки — сложная система загонов. Она позволяет разделять самцов, самок, молодняк.

Мы идем, открывая ворота из одного загона в другой. Высокая трава хрустит под ногами. Огромные лиственницы стоят редко, смыкая высоко наверху тяжелые кроны. Лес чистый, как парк, и торжественный, как колоннада храма. Такой лес бывает только здесь, на Алтае.

Пальцын останавливает меня. Маралы. Они метрах в ста. Я не сразу различаю их на фоне красноватых стволов. Проходит немного секунд, пока глаза привыкают. Маралы застыли, повернув к нам головы. Это самцы. Ветвистые рога их серебристо поблескивают. Даже отсюда, издали, чувствуется тяжесть этих огромных рогов, образующих целый лес. Маралов около полусотни. Они стоят так близко друг к другу, как позволяют им рога, и солнечные пятна лежат на их бурых боках.

— Король-олень. Видели? — шепчет Пальцын.— Золотые рога. Корона... Валюта...

Грузный, мрачноватый Пальцын преобразился. В голосе его нежность. Малоподвижное, всегда озабоченно строгое лицо становится мягким, мечтательным.

Маралы успокоились. Они разбредаются, щиплют траву, легкие и тихие, несмотря на свою огромность; лишь несколько стариков остается на страже, неподвижные, как скульптурные изваяния. Иногда они царственно поводят головами, и тогда панты их, похожие на небольшие деревца, отливают матово, платиной. Стоит свистнуть или шагнуть вперед, и стадо замрет. Еще шаг, и они исчезают между деревьями бесшумно, как призраки.

Мы приехали в начале сезона резки пантов. Сезон короткий, нужно успеть срезать все панты — иначе они закостенеют, превратятся в обычные рога и потеряют ценность.

Пантовка и вся техническая обработка пантов — длинная цепь тонких операций, созданных более чем столетним опытом алтайских мараловодов.

Прежде всего надо поймать марала, провести его через систему загонов к «разлучнику», в котором есть специальный станок для резки пантов.

Мы следим, как загонщики на лошадях подбираются к стаду, чтобы отделить выбранных быков. Начинается неравный поединок между загонщиком и маралом. Сразу видно, что марал быстрее и ловчее лошади; ей приходится гоняться за ним по крутым лесистым склонам самой что ни на есть разлюбезной для марала местности. На полном скаку загонщики осаживают лошадей, круто поворачивают, совершают над самым обрывом такие вольтажи, которым позавидуют цирковые наездники. Смотреть на их работу порой жутковато: марал упрямится, лошадь силой теснит его. Говорят, что марал, который свирепо и бесстрашно сражается с волками, который готов боднуть и человека, своими огромными рогами почему-то никогда не трогает лошади. И лошади загонщиков, словно зная эту слабость, не боятся маралов.

Маралы огромными прыжками мчатся сквозь чащу, с ходу перепрыгивают через глубокий овраг. Погоня кажется бессмысленной. Я смотрю на своих спутников. Они разговаривают о штатном расписании.

— И всего-то пятьдесят рублей на месяц,— говорит Килин.— И девушка подходящая есть.

Из леса выбегают два марала. За ними, покрикивая, скачут загонщики. Маралы влетают в распахнутые ворота «разлучника». Я не успеваю разобраться, как их перехитрили. Маралы тоже.

— Чем не ковбои! — с гордостью говорит Пальцын.

Ковбоям легче. Марал не безобидная корова, и алтайские горы не равнины Техаса. И на марала не накинуть лассо. Нет, работа с маралами куда опаснее, сложнее и, я бы сказал, красивее. Мне вспомнились бесчисленные хорошие и плохие кинокартины о ковбоях; ковбойские романы и рассказы могут составить большую библиотеку, поколения писателей, режиссеров прославили американского ковбоя, создали романтичный образ мужественного хозяина прерий.

Я смотрел на молодых ребят, потных, разгоряченных, соскочивших с коней; мне было обидно за них и стыдно перед ними. На них не было широкополых шляп, ярких клетчатых рубах, кожаных брюк, обшитых бахромой. Но разве труд этих скромных парней в кепках, сдвинутых на затылок, в трикотажных «бобочках» не заслуживал такой же, если не большей, славы, как труд ковбоев Техаса? До чего же мы до сих пор еще бываем ленивы, близоруки и равнодушны к своему собственному дому.

Сквозь жердевую ограду «разлучника» на нас с тревогой и тоской смотрят маралы, старый и молодой. Они хрипло дышат, взгляд влажных черных глаз кажется совершенно осмысленным. Какое точное название — «разлучник»! Узкий бревенчатый коридор состоит из отдельных загончиков, разделенных воротами наподобие шлюзов. Маралов перегоняют из одного отделения в другое, подводя к «жому» — станку, где срезают панты. Такова схема; практически же маралы вовсе не рвутся к жому. Незадолго до нашего приезда уже в «разлучнике» марал ударил Килина рогами, и только ловкость и быстрота спасли Килина от серьезного увечья.

Вот и сейчас, несмотря на крики, удары палками, маралы не идут в коридор. Загонщики, Килин, его помощник Чернышев, за ним Пальцын, за ним я оказываемся верхом на заборе, мы кричим, пихаем маралов кольями, они пугаются, но, дойдя до открытых ворот, отскакивают.

Виноват старый марал. Ему наплевать на цифры плана, на экспорт, мало того, он явно не пускает юнца, готового бежать вперед, в бревенчатую щель коридора. Умудренный воспоминаниями прошлых лет, старый марал предпочитает остаться здесь, получая удары, пугаясь криков, лишь бы не идти туда, куда его толкают. Животные гораздо прилежнее нас усваивают печальные уроки прошедшего.

В тесной клетушке он с непостижимым проворством успевает увиливать от ударов и все время загораживает ход молодому.

— Затираешь молодежь! — говорит Килин.

Марал смотрит на него: «Слыхали, не на таковского напал, ваши штучки мне известны».

Это похоже на вызов.

— Переспорить меня хочешь,— кричит ему Килин.— Нет, парень, ты еще не все раскусил.

Когда Килин сердится, движения его становятся тягучими, кошачье-плавными. Выжидая, он сидит на заборе, приняв успокаивающе-ленивую позу. Вдруг он делает неуловимо быстрый рывок, и матерый марал отжат колом к стенке. Молодой теряется и покорно бежит вперед. Через несколько минут он в станке. Это совсем узкий, как воронка, последний загон с деревянным полом. Нажимается рычаг, пол проваливается, дощатые щеки с боков крепко подхватывают марала, он беспомощно повисает. Остальное происходит в идеально отработанном темпе. Голову марала зажимают так, что он не может шевельнуться, на глаза накидывают повязку. Килин бы-

стро и аккуратно под самый корень спиливает пант ножовкой. Пант подхватывают, кровоточащий пенек дезинфицируют, замазывают. Тем временем Килин пилит второй пант. Крупная дрожь пробегает по спине марала. Судя по всему, он орет про себя благим матом. Иван Чернышев бережно принимает второй пант. С глаз марала снимают повязку, нажимают рычаг, пол поднимается, щеки расходятся. Марал вскакивает, на секунду останавливается, испуганно вздернув непривычно легкую голову выше обычного, и вдруг огромными прыжками скачет в гору, к своим.

Панты взвешивают. Каждый тянет по девяти с половиной килограммов. Мягкие, покрытые нежной серебристой шерсткой, они еще теплы на ощупь. Нечего сказать, удовольствие носить такую тяжесть на голове. Впрочем, чего не сделаешь ради любви. Осторожно панты, полные крови, несут в сушилку.

Килин продолжает воевать со старым маралом.

— Оставь его,— говорит Пальцын,— пусть перебесится.

Разъяренный марал поднялся на дыбы, бьет ногами изгородь. Толстые бревна трещат. Он великолепен; и даже свирепая, слишком тяжелая некрасивая морда великолепна и величественна.

— Лучше не рискуй,— говорит Пальцын.

У Килина болит нога. Он командует приготовить веревки. Красное лицо его затвердело.

— Осторожно! — говорит Пальцын.

— Не беспокойся,— отвечает Килин.— Он слишком много думает о себе.

Он кидает на землю веревочную петлю. Марал отскакивает, пригнув голову, подозрительно осматривает петлю. Килин перелезает в загон, он висит на заборе, но внутри загона, и марал может легко достать его рогами, если, конечно, успеет.

— Паршивец,— говорит Килин,— несознательный паршивец!

Он плавно покачивает веревку, петля ползет к ногам марала. Когда она касается копыт, марал прыгает.

— Попался, хулиган! — кричит Чернышев.

Я не вижу, как это случилось, потому что смотрю на Килина. Нет ничего прекрасней, чем вид искусно работающего мастера. У Килина простецкое, грубоватое лицо, приземистая фигура, но сейчас он на редкость хорош.

Ноги марала опутаны веревкой, его силком тащат в станок. Марал хрипит, ревет от гнева, унижения и бессилия. Он

не хочет расставаться с пантами, он хочет носить их, драться, любить. Ничего не поделаешь — здесь не зоосад, надо отрабатывать свою кормежку, и все же мне жаль его. И Килин тоже с уважением похлопывает марала по мокрой спине.

— Характер! Не страдай, ведь все равно сбрасывать будешь,— он нисколько не сердится, он даже утешает, без всяких сантиментов, строго, как мужчина мужчину.

Панты старого марала еще тяжелее. Мы несем их в сушилку, подвешиваем на перекладину. В сушилке жара 85 градусов. В соседней комнате вделана в пол большая квадратная ванна. Там варят панты. Поглядывая на хронометр, Чернышев и Георгий Сачук то вынимают, то опускают панты в кипяток. Когда Чернышев уносит панты, Сачук говорит:

— Умственный парень, быстро схватывает.

Стоит чуть недодержать или передержать пант в кипятке, и сортность понижается. Мы сидим в клубах пара, и Сачук рассказывает о том, как лучше варить панты. Сведения эти мне абсолютно ни к чему. Вероятно, мне следовало бы расспрашивать о другом, но мне интересно слушать Сачука, и он тоже с удовольствием сообщает всевозможные хитрости своей работы. Мне нравится профессиональный язык с его неожиданными сравнениями, где для специальных терминов используют обычные слова и они от этого становятся емкими, молодеют.

Домик на пригорке, ярко-белый, без окон, стены его — сплошные жалюзи, называется «ветровая»; совместить ветер и здание, найти это единственно точное обозначение, создать новое слово, совершенно понятное и совершенно родное языку,— такое может лишь труд, работа, где вскрывается сущность вещей, где слова отшлифовываются, подгоняются каждодневной необходимостью.

В «ветровой» — обработанные панты. Они уже холодные, твердые. Их еще немного, но это «немного» стоит сотни тысяч рублей. На вид панты все одинаковы, одни только чуть больше, другие поменьше. Но Килин и Пальцын начинают обсуждать достоинства каждого панта, и я снова (в который раз!) убеждаюсь, как отличается зрение мастера от зрения несведущего человека.

Килин может часами рассказывать о том, как отделан срез панта, как удались сушка, варка, чем хорош каждый из пяти отростков. Как часто то, что мы считаем простым, есть, в сущности, наше невежество. К сожалению, невежество куда решительнее знания.

Мы уходим все дальше, в глубины мастерства, и наконец добираемся до тех мест, откуда для самого Килина и его товарищей начинается неведомое — догадки, опыты, поиски. Нужны научные исследования. Нужен единый научный центр, который мог бы оказать помощь всем мараловодам Алтая. Я привык слушать, как производственники поругивают ученых, и мне приятно встретить рабочих, мастеров, испытывающих потребность в научной работе, прикоснувшихся к тем проблемам, которые под силу решать науке.

Я слушаю Килина и все острее завидую его мастерству и тому, как он живет здесь, далеко в горах, охотится, скачет на лошадях; завидую опасностям его трудной работы, заботам о зимнике, умению говорить с маралами. И, желая отделаться от этой зависти, я по дурной, самонадеянной привычке горожан спрашиваю Килина, не хочется ли ему в город, и где он бывал. Килин отвечает, что он с удовольствием съездил бы в Ленинград, давно мечтает съездить в Ленинград, и при этом он чуть морщит уголки глаз. Я понимаю — в том смысле, в каком и я стремился поехать сюда, на Алтай. А потом он перечисляет названия городов Западной Европы, где он бывал во время войны.

Пока Килин и Пальцын обсуждают хозяйственные дела, я выхожу на крыльцо, вынимаю блокнот и долго смотрю на зеленое небо, где быстро вызревают звезды. Я не знаю, что записывать. Вероятно, надо было бы записать, что героическое состоит в том, что в этом поселке далеко в горах все очень обыкновенно, все, как у всех, но мне почему-то было неловко писать такие вещи. Собственно, я знаю почему: если бы подобное прочли Килин или Сачук, им бы тоже стало неловко.

Никто из них меня ни в чем не убеждал, люди работали, гудел огонь в топках, по горе бродили маралы, и мне хотелось написать рассказ, где были бы только факты, поступки, тяжесть пантов, их шелковистая шерсть, гибкая походка Килина, бусинки от пара на лице Сачука, величественная осанка маралов, кровь, вытекающая из-под ножовки, и чтобы из всего этого сами собой рождались те чувства и мысли, какие возникали у меня. Чтобы не надо было ничего подгонять, чтобы это был точный рассказ о том, как разводят маралов и выделывают панты, и чтобы это было интересно. Чтобы, читая этот рассказ, каждый считал, что нет ничего проще, как написать такой рассказ.

Килин, Сачук и все остальные вышли из варки попрощаться.

— Что же вы напишете? — спросил Сачук.

Я закрыл чистый блокнот.

— Не знаю.

— Напишите, пожалуйста, чтобы нам поскорее дали ставку для медпункта,— сказал Килин.

— И про кино,— сказал Сачук.— Мало картин привозят.

— Вот это правильно,— сказал я.

Назад мы ехали быстрее и через два часа были в Усть-Коксе.

1959

ДУША ЗАВОДА

Существуют счастливые города со своим профилем. Их узнаешь издалека, по неповторимому силуэту. Встречаются и такие заводы. Один из них — Кировский. В утреннюю ли, в вечернюю смену, когда идешь по улице Стачек, он возникает — трубы, высокие крыши мартена, на фоне неба огромная надпись — «Кировский завод».

С годами он слегка изменился, но своеобразное осталось, так же, как у человека остаются главные черты его лица.

А лет прошло немало с тех пор, как впервые я шел на работу к этой проходной. Конечно, не к этой — к довоенной, без стольких орденов на фронтоне, но все равно этой же.

Давно уже покинул я завод, и все равно всякий раз при виде его еще издали что-то щемит. Мне кажется, это не только власть воспоминаний.

Однажды, сидя в цехе штампов и приспособлений, мы разговорились об этом. Мне хотелось понять, мое ли это личное чувство какого-то пристрастия к Кировскому. Ведь были же в жизни моей и другие заводы и институты. И чем оно вызвано, это чувство? Неожиданно я спросил у Титова:

— Почему вы не уходите с завода, что вас удерживает?

Вопрос прозвучал нелепо, Виктор Васильевич улыбнулся удивленно, и я сам почувствовал неловкость. Потому что я спрашивал об этом человека, который проработал в цехе двадцать пять лет, одного из лучших расточников, аса этой ювелирной работы.

Он мог бы, конечно, посмеяться надо мной, но, видимо, уловил, что я имел в виду.

— Куда ж мне уходить, если я тут с семнадцати лет,— рассказывая, он тоже начал искать ответ, потому что вроде и очевидное, но это трудно было выразить словами, как-то определить.— И дед мой до конца жизни проработал здесь. Он с 1900 года на Путиловце. Клепальщиком был. Глаза потерял... И сыновья его. Кузьма, Костя, Николай... Все наши здесь. Куда ж мне. Это наш завод. Теперь дочь моя тоже здесь...

Когда он назвал имя Кузьмы, я вспомнил, что именно этот бывший «мальчик» с Путиловского в мае 1917 года слушал Ленина, в годы Советской власти вырос до инженера, депутата Верховного Совета СССР и, кстати, в 1938 году был начальником как раз того цеха, где ставил рекорды молодой стахановец Евгений Промахов.

Напротив В. В. Титова работал Н. В. Тарасов, тоже расточник высшего класса. Он пришел на завод в том же 1938 году. Рядом за станком стоял его сын.

Можно было спросить то же самое и у них, и у начальника цеха Рейса, и у его заместителя Г. Орловского, который начал работать на заводе четырнадцатилетним мальчиком.

Нет, дело было не в стаже, не в привычке, не в заработке.

Только местоположение цеха, да, пожалуй, фасад сохранились с довоенных времен. В зале, где работает Титов, светло, чисто, на стенах картины. Что-то праздничное было в этом зале, и хотелось называть его именно залом, а не помещением.

Но и не эта новая культура работы определяла приверженность к своему заводу.

Всякий раз, бывая на заводе, я терял привычные ориентиры.

Разбирали старые цехи, сносили старые бытовки. Новый конвейер поражал своим оборудованием и размахом. Ничего не осталось от цеха, где я работал, и трудно было уже найти место, где стоял этот цех. Да, все изменилось. У сборочного выстроились ряды высоких оранжевых тракторов «Кировец». Когда-то такими же рядами здесь стояли танки.

Перерыты пути, ползают бульдозеры. А когда-то здесь тянулись траншеи и щели, так их называли, где укрывались от обстрела. Фронт проходил рядом, и на Красненькое — на заводское кладбище увозили хоронить ночью.

Не обязательно было сопоставлять, сравнивать, но мне хотелось сквозь все перемены, сквозь эту бегущую, стремительную жизнь нащупать то постоянное, то ядро, которое сохранилось и составляло неизменную душу завода.

В комитете комсомола сидели новые ребята. Стоило побыть с ними час-другой, и вдруг я начинал узнавать в них приметы нашего комитета, те гены наследственности, которые передавались из поколения в поколение, которые получили когда-то и мы и которые остались на всю жизнь.

Раз в год во Дворце культуры имени Газа, для меня он все тот же клуб, собираются на вечер встречи поколений кировцы. Приходят старики пенсионеры и те, кто работает на других заводах,— все равно они кировцы. После торжественного заседания мы долго сидим в буфете — наш бывший комитет, наше военное поколение. А за соседними столиками те, кто был до нас, и те, кто пришел потом, после блокады, и следующие. Вся родословная Нарвской заставы. Сидят представители знаменитых рабочих династий Кировского. Их немало. Они, как опоры, на которых покоятся традиции коллектива. Они уходят в толщу лет, эти духовные опоры.

Мы вспоминаем погибших в войну — Сашу Рогова, Ваню Первова, Ваню Соколова, Промаховых, и тех, кто остался в Челябинске, и тех, кого послали на другие заводы, и они сейчас где-то на Урале или Дальнем Востоке.

Я встречал их в самых глухих уголках страны, незнакомых людей, слова «Кировский завод» сразу роднили. «Я ведь тоже кировец» звучало с гордостью, как почетное звание, как пожизненная сопричастность истории завода.

Кировцем становятся не сразу. Спустя годы я начал понимать, что значил в моей жизни именно Кировский завод. Кировец — это система воспитания, незаметная, каждодневная. Валяется шайба — молодой рабочий пройдет мимо, а такой, как Виктор Васильевич Титов, положит на место.

Разумеется, тут мы с Виктором Васильевичем посетовали на нынешних молодых рабочих, которым все дается слишком легко, но вдруг я сообразил, что и Титов хоть и ветеран, а новое поколение. Он и понятия не имеет, каким был старый цех, и не помнит старых комсоргов, например, Саши Шишкина, потому что Саша ушел в армию. И то, каким стал Титов, это ведь тоже приобретенное, воспитанное заводом. А теперь он сам беспокоится, станут ли новички настоящими кировцами. Беспокоится так же, как когда-то беспокоился Карташов, ныне уже пенсионер, который все же приходит поработать свои два месяца, потому что не может без завода.

Как нигде живо ощущается здесь история, боевая и славная история путиловских рабочих, которых так высоко ценил Ленин. Не так давно вышел новый том истории Кировского

завода. Написанный живо, увлекательно, он создает интересную динамичную картину изменения психологии рабочего класса, того, как в самые решающие моменты проявляло себя пролетарское сознание.

Утром в заводском музее никого не было, и я один ходил по тихим залам. Я нашел стенды суровых годов войны. Вот ополчение. Фотографии наших отрядов здесь, в клубе Газа и на площади. Вот так мы уходили на фронт. Вот Подрезов, наш начальник политотдела. А вот завод зимой 1942 года, когда мы пришли на день с фронта. Ремесленники в разрушенных цехах... Наверное, у каждого кировца живет подобное чувство — вот мой род, мои рабочие предки, вот что сделали они для революции, для победы, вот откуда происхожу я.

Повседневный труд, вроде бы однообразный, смена за сменой, машина за машиной, неотличимый от жизни других заводских коллективов — оказывается, есть в нем события, достойные истории. Здесь, в музее, на старых фотографиях, документах, макетах заводская жизнь предстает неожиданно значительной, связанной с передним краем пятилеток, освоением новой техники, лучшими починами.

Но в том-то и штука, что история хранится не только в музее и книгах. Она присутствует в нынешнем дне, она как бы составляющая души, без нее нельзя представить себе завод. Так человек без памяти, без прошлого перестает быть личностью.

Я думаю об этом, проходя длинным коридором первого этажа, где помещаются комитет комсомола и завком. В июньские дни 1941 года здесь тянулась шумная, неубывающая очередь добровольцев, записывающихся в Кировскую дивизию народного ополчения. Я заглядываю в завком. За столом секретаря сидит Шура Хохрякова, бывший член комитета комсомола.

— Ты помнишь, как это было? — спрашиваю я ее.

— Еще бы.

Мне тоже хочется спросить ее, что значил в ее жизни завод. Но я понимаю, что на такие вопросы невозможно ответить. Я бы и сам не мог с определенностью сформулировать это. Просто оглядываясь назад, обнаруживаешь, что решающим в жизни было то время, когда работал здесь, с завода начинался характер, возникали убеждения, понимание того, что ты не сам по себе...

1969

СВЕТ НАД РОССИЕЙ

Все начиналось со света. Да будет свет! Советская Россия начинала тоже со света, с нового электрического света. В Петрограде на окраинах, за городскими заставами еще горели керосиновые и газовые фонари. Электричество было привилегией. Из окрестных деревень приезжали на Невский, на Литейный и стояли у витрин, разглядывая раскаленный белый свет дрожащих угольных нитей электролампочек. Тогда в сравнении с лучиной и свечой и керосиновым фитильным пламенем этот свет выглядел белым. На улицах стояли столбы с проводами. Монтеры ходили с огромными резиновыми перчатками, штангами, они походили на рыцарей таинственного, неведомого ордена.

...Даже спустя пятнадцать с лишним лет после принятия плана ГОЭЛРО самой притягательной специальностью оставалась энергетика. Среди новостроек пятилеток, овеянных славой Магнитки, Кузбасса, Запорожстали, Березников, особой печатью были отмечены Днепрогэс, Свирь, Тулома, Рион, строительство новых тепловых станций, линий передач, словом, все, что было связано с электрификацией страны. В жизни нескольких поколений советских людей идеи ленинского плана ГОЭЛРО сыграли неоценимую роль. Это были во всех смыслах «светоносные» идеи. Они формировали сознание нового человека. В них была романтика созидания, овладения силами природы, романтика творения света, энергии. Пуск каждой станции был наглядно ощутим — вспыхивали лампочки в поселках и городах, на месте паровых машин устанавливались электромоторы, пускались первые электропоезда.

Слова «энергетик», «электрик» звучали примерно так, как спустя двадцать лет — «физик», «атомщик».

Среди наших преподавателей были еще те, кто непосредственно по заданию Ленина разрабатывал план ГОЭЛРО. Михаил Андреевич Шателен, маленький, быстрый, неутомимый, рассказывал нам о том, как это начиналось, о спорах между сторонниками гидростанций и теплостанций, о разных проектах электросетей, линий передач.

В лаборатории А. А. Смурова создавались первые мощные выключатели, разрядники, шло испытание высоковольтного оборудования. Трещали лиловые искры, пахло озоном, гудели выпрямители. Все в этом зале казалось гигантским, смертельно опасным и поэтому неудержимо манящим.

Осматривая плотину Красноярской ГЭС, идя по бесконечному ее машинному залу, по подстанции, мимо уходящих ввысь трансформаторов, посидев на маленьком, еще временном пульте, я вспомнил Волховскую, а затем Днепровскую станции. Нет, не ради сопоставления. Конечно, сопоставить, сравнить было эффектно: мощность всей Волховской равнялась примерно мощности одного генератора Днепрогэса, а мощность Днепрогэса сравнима была с мощностью одного агрегата Красноярской...

Дело, начатое ГОЭЛРО, разрасталось, крепло темпами, которые вряд ли могли реально представить себе самые наши прозорливые энергетики. Я сравнивал не мощность и не размеры, а скорее нравственную облагораживающую силу, заключенную в этой стройке.

Дорога бежала вдоль Енисея, мимо мраморных гор и осыпей, и вдруг открылся котлован соседней Саяно-Шушенской ГЭС... Створ будущей плотины ощущается сразу. Самой плотины еще не было — до нее было еще несколько лет, но инженеры и техники, работающие здесь, как бы видели ее, натянутую между высоких лесистых берегов. Я вспомнил довоенный котлован Верхне-Свирской ГЭС, куда мы приезжали студентами, и котлован Куйбышевской ГЭС — это уже спустя много лет,— где вместо тачек и землероек гудели экскаваторы. Я сидел с Борисом Коваленко на его шагающем экскаваторе, и мне казалось, что ничего мощнее, совершеннее быть не может, и сам Борис Коваленко — это образец нового рабочего.

И вот теперь на Красноярской, на Саяно-Шушенской все прежде виданное как-то съежилось, показалось устарелым. Все, кроме человеческих чувств, с которыми создавались и Волховская и Свирская. Оглядываясь на прошлое, я вспоминал его с уважением, вспоминал гордость строителей Свири, вспоминал демобилизованных солдат, вернувшихся с фронта с гвардейскими значками, боевыми медалями, которые восстанавливали Днепрогэс... Сменялись поколения, менялся облик строителей, но оставалось главное, общее, стержневое — та вдохновляющая ленинская идея, которая воодушевляла и Бориса Коваленко, и старых русских инженеров, таких, как М. Шателен, А. Смуров, А. Горев, Г. Графтио, и крестьянских парней, пришедших на стройку Волхова и Шатуры.

Ленинские слова «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны» формулировали нравственную программу социалистической жизни. Немуд-

рено, что люди, которые отдавали себя делу электрификации России, становились в какой-то мере героями молодежи. Имена Кржижановского, Классона, Винтера, Веденеева, Александрова, Графтио — ученых-энергетиков, гидростроителей, теплотехников пользовались любовью и народной известностью. И ныне, в дни пятидесятилетия плана ГОЭЛРО, хочется вспомнить и отдать должное тем, кто непосредственно разрабатывал и воплощал план электрификации России, который был, по словам Ленина, второй программой партии.

Идея электрификации явилась идеей борьбы с корнями капитализма в России. Ветераны Волховской ГЭС рассказывали нам, молодым студентам, что строительство первой советской гидростанции было школой ликвидации безграмотности, центром культуры и пропаганды идей Советской власти. И вслед за Волховской ГЭС примерно похожее происходило на строительстве других станций, в разных районах страны: на Северном Кавказе — на Баксане, в Средней Азии — на Чирчике. Чудо вспыхнувших электрических ламп, чудо гудящих работающих электромоторов, электросварки, электропоездов связывалось невольно с началом новой жизни, с советской жизнью, с революцией. Тем более что само электричество, в общем-то еще «молодое», даже для нас, молодых специалистов, оставалось еще во многих своих проявлениях тоже чудом. На восьмом Всероссийском съезде Советов Ленин в своем докладе приводит слова крестьянина на открытии электростанции в деревне Кашино:

«Он говорил, что мы, крестьяне, были темны, и вот теперь у нас появился свет, неестественный свет, который будет освещать нашу крестьянскую темноту».

«Неестественный» этот свет, может, как ничто другое, возвращать людей к состоянию естественной жизни, достойной человека. Не только те, кто строил электростанции, но и строители линий передач, кабельных сетей, подстанций, генераторов, турбин — все чувствовали себя причастными к великому плану преобразования России — из России «во мгле» в Россию «светоносную». Переоборудовалась старая «Светлана» для массового выпуска электроламп. От «Электросилы» требовали генераторы все больших мощностей. Высоковольтная техника разрабатывала новые материалы, возникала проблема автоматизации, телеметрии — план ГОЭЛРО вызывал цепную реакцию, лавинный процесс, который охватывал промышленность, науку: создавались институты, лаборатории...

Закладывались основы того коммунистического хозяйственного строительства, которое, как предрекал Ленин, «станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии». Эти слова прозвучали в декабре 1920 года, голодного, тяжкого, истерзанного фронтами гражданской войны, когда в типографии не хватало даже электроэнергии, чтобы отпечатать к съезду Советов брошюру плана ГОЭЛРО.

С тех пор прошло уже полвека, богатых удивительными подвигами и свершениями народа, и, однако, все так же волнует и поражает уверенность Ленина. Случилось, казалось бы, невозможное, невероятное — в эти тягчайшие для Советского государства месяцы план электрификации стал реальностью и первейшей конкретной задачей. Какой нужно было обладать верой и убежденностью, чтобы эти, казалось бы, несбыточные, отвлеченные идеи вдохновили людей.

Ленин был не только инициатором и вдохновителем этого плана, но до последнего своего дня соучастником его воплощения. Он помогал строителям Каширской ГЭС, писал предисловие к книге И. Степанова «Электрификация РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства», он интересовался работами Р. Э. Классона по использованию торфа для электростанций, следил, как пропагандируется план ГОЭЛРО на местах, есть ли экземпляры книги в библиотеках, как составляются планы на местах, что печатают в местных газетах об электрификации и т. п.

В сущности, Ленин был Главный Энергетик России.

План ГОЭЛРО создавался не на пустом месте. Мечта об электрификации страны давно занимала умы русских ученых. М. О. Доливо-Добровольский, А. А. Чернышев, Г. О. Графтио, Р. Э. Классон, А. А. Горев, десятки замечательных инженеров-электриков выдвигали передовые, смелые проекты создания энергетических комплексов. Чиновно-бюрократический аппарат царской России не только не помогал, но и всячески препятствовал воплощению новых технических идей. Несмотря на это, русская электротехника по своему теоретическому уровню была одной из передовых в мире. В России создавались первые приборы электрического освещения — свеча Яблочкова, лампа накаливания, электросварка, трансформаторы, линии передач переменного тока, наконец, идея передачи больших мощностей на постоянном токе. Первые маленькие русские гидростанции были совершеннейшими для своего времени.

План ГОЭЛРО стал для большинства честных русских инженеров праздником. В нем воплощались чаяния поколений отечественных энергетиков. Каждый приходит в революцию своим путем. План ГОЭЛРО был тоже путем в революцию. Мне вспоминаются рассказы А. А. Горева. Наконец-то! Вот что такое было для него участие в плане ГОЭЛРО. Наконец-то будет реализовано, осуществлено то, над чем он работал.

Опоры линий передач, плотины гидростанций, аппаратура подстанций стали привычной, неотъемлемой частью пейзажа страны. Электричество — это быт, это необходимость, оно лишилось чуда, «неестественный свет» стал повсюду, в любом уголке страны, естественностью, которую подразумевают как нечто само собой разумеющееся. И может быть, в этом и есть то чудо, о котором мечтали творцы плана ГОЭЛРО.

1970

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Перед тем как распрощаться, мы зашли в ресторан «Нарвский». Все уже получили назначение — кто куда, оформили расчет. Мы посидели в комитете комсомола, попрощались с Таней Белецкой, с Яшей. Нас провожал Саша Шишкин. Его не отпускали в ополчение. Саша имел высший разряд, он был комсоргом ШИП'а, и начальство уперлось — ни в какую. Саша был расстроен. Мы жалели его. Все они, кого не пустили в ополчение, завидовали нам, они еще добивались, они качали свои права, но они уже отделились от нас.

Я помню, как мы сидели у ресторанного окна, напротив Нарвских ворот. Кони, запряженные в триумфальную колесницу, рвались в горячее июльское небо. Внизу шумели трамваи, машины, телеги и вдруг наступила тишина. Мы замолчали. До этого мы что-то рассказывали, чокались возбужденные, счастливые тем, что добились своего, уходили в армию. Кто в артполк, кто в связь, кто в ополчение. Мы смолкли, ощутив, что прощаемся и с этой раскаленной площадью, с Нарвскими воротами, с городом и друг с другом. Мы работали в разных цехах, нас связывала работа в комитете комсомола. Мы были членами тогдашнего комитета и теперь уходили на войну: Ваня Первов, Степа Сомряков, Ваня Соколов, Вася Жигачев и я. Кажется, никого не забыл. Наверное, мы все за-

помнили эту минуту. Мы ничего не знали, какой будет эта война. Мы были заняты тем, что помогали формировать наше заводское ополчение и сами рвались в него. Эта минута была словно щель, что приоткрылась перед нами, и оттуда засквозили дымная даль войны, запах пороха и смрад смерти, холодный отрезвляющий поворот судьбы. Помните, как мы посерьезнели? И, может, повзрослели. Помните, как запоминающе мы смотрели друг на друга, словно предчувствуя, что миг этот мы заберем с собою, как талисман, как обещание встретиться здесь же после войны... Не пришлось. Мы остались вдвоем со Степаном. Но прощание вспоминается часто, как последний привет с того довоенного берега. Оттуда голоса доносятся, а вот туда не докричишься.

И все же хочется кое о чем поведать нашим дружкам, не дожившим до Победы. Потому что они живы в нашей памяти, пока мы живы. Рассказать про то, что мы тогда не знали, и про то, что не знали воюя. Спустя годы и годы выяснилось, как воевали наши заводские.

Совсем недавно, через сорок с лишним лет, нас созвали в клуб имени Газа, собрали тех, кто начинал войну в народном ополчении, в Кировской дивизии. Человек пятнадцать собрали не в зале, а просто за столом попить чайку и вспомнить, как все было. И это, как говорилось в старину, было правильно, ибо мы вспоминали не для слушателей, ни к чему не призывая, не воспитывая. Вспоминали ради правды. Никто не приукрасит, не перекосит, сразу поправят. А кроме того, так или иначе знакомы через свой завод, как бы с одной деревни, да еще и с одной части.

Бывший парторг ЦК Кировского завода М. Д. Козин рассказал то, о чем мы тогда как-то не задумывались в своих спорах с цеховыми начальниками, не отпускавшими нас. Оказывается, с первых дней войны заводу дали указание удвоить выпуск новых танков КВ. Пушек вместо ста штук в месяц делать сорок штук в сутки. Представляете? А в партком и в комитет комсомола стояла очередь записаться добровольцами и всеми правдами и неправдами рвались в армию и в ополчение. Завод должен был формировать свою Кировскую дивизию, отдавал туда цвет заводской гвардии, и одновременно наращивать производство оружия — тоже за счет усилий лучших специалистов. Что-то в этом роде нам пытались и тогда втолковать, но мы не желали слушать.

Козин вспоминал, как вооружали дивизию пушками, что делали сверх плана, танками — тоже только теми, что дали

сверх плана. Винтовок не хватало. Давали кинжалы, бутылки с горючей смесью.

— У меня пистолета не было! — вдруг сказал Бескончин с застарелой, но хорошо сохраненной болью.— Поставили командиром полковой разведки, а пистолета не было.

Помните, как гремел у нас легендарный этот разведчик — Владимир Бескончин? Он пошел в дивизию с зуборезного станка. Один из немногих среди нас, у кого был серьезный военный опыт, он воевал на Халхин-Голе и в Финской кампании. После нашей дивизии он воевал в других частях, вплоть до 1944 года, сколько всякого было, но лучше солдат, чем наши заводские, не встречал.

— Их подучить бы еще немного. Если бы времечко было. Это же исключительные ребята были.

Один из последних его боев в нашей дивизии был знаменитый тогда случай — когда немцы из-за насыпи кидали в группу Бескончина гранаты, а он ловил их и кидал обратно. Первую, вторую так, третью, четвертую, а пятая выскользнула и сам подорвался. До нас дошла та история без пятой гранаты, в победном виде, как он забросал фрицев их же гранатами. Так распорядился солдатский фольклор. Мы не знали, что вытащили его всего изрешеченного осколками. Вытащила Валя Конева, наша сестричка, тащила далеко, чуть ли не с версту. Он не помнил ничего. И ее не помнил. Встретились они в 1965 году здесь же, в клубе Газа. Валя Конева, теперь Валентина Сергеевна, рассказала Бескончину, как она его тащит, а он орет, только вместо ахов и охов — матом кроет фашистов. «Значит, это ты была?» — все спрашивал Бескончин, разглядывая эту хрупкую женщину малого росточка, совсем ребячьего вида, и было невероятно, как она могла тащить его.

Как правило, после войны узнавали мы их, наших женщин, потому что они-то были у нас на виду. Вот и нынче, за нашим столом Сергей Николаевич Славин узнал Шуру Смирнову. Их было всего две девочки во второй роте. Сергей Николаевич был ранен в конце июля 1941 года. Сейчас он преподаватель института. Он незаметно приглядывается к Шуре и так и этак, потом говорит ей: «Вы были во второй роте. Помните, как мы окапывались у минного поля?» Она помнит. Пока мы вспоминаем, что-то происходит — мы становимся чуть похожи на тех молодых, из сорок первого года.

Потом мы с Шурой Смирновой вспоминаем август, бой под Уномером, ржаное поле, огромное желтое поле высокой ржи. Вторая рота осталась прикрывать отход батальона.

Удивительно, как всем запомнились это поле, колокольня над ним.

А Славина Шура не помнит, но он ее помнит и рассказывает ей, как она быстро перевязывала раненых. У нее были ловкие руки. Она пришла в ополчение из деревомодельного цеха. После госпиталя она туда же и вернулась.

Почти все здесь присутствовавшие перебывали в госпиталях. В 1941 году пули попадали чаще. Бескончин был ранен несколько раз, отлеживался и снова возвращался на фронт. Он продолжает рассказывать, и я вдруг соображаю, что в июле, в том первом бою, он, очевидно, спас наш полк. Оказывается, в штаб сообщили, что в нашем направлении движется немецкая колонна, которая прорвалась, кажется, под Передольском. Вызвали Бескончина и поручили вместе с другим офицером задержать немцев, пока полк не развернется и займет оборону. Посадили на грузовики примерно роту и покатили. Бескончин ехал впереди со своими разведчиками. Двигался осторожно. Приметив колокольню, взобрался на нее, в бинокль высмотрел дорогу и увидел на лужке немцев. Они остановились на привал. Технику поставили в роще. Со своими тридцатью разведчиками Бескончин пробрался так, чтобы отрезать немцев от их мотоциклов, бронетранспортера. Все произошло быстро, слаженно, разведчики действовали как бывалые солдаты, хотя это была их первая операция. Немцы бежали, бросив свою технику. Разведчики собрали ее в кучу — десятки мотоциклов, бронетранспортеры — и подожгли. Настроение было счастливое: первая победа! И действительно, эта маленькая победа в июле 1941 года много значила для всех нас, заводских людей, необстрелянных и нестрелявших.

О Бескончине много писали в том сорок первом году, о нем и Лене Ивановой, тоже нашей разведчице. У Бескончина не сохранилось ни одной вырезки, да где сохранишь на фронте да в госпиталях. Не знаю, сохранились ли у Лены Ивановой. Она на встречу не пришла, болеет. Но по телефону голос ее звучал с тем же напором. И каждый раз глупая мысль приходит в голову — а вдруг и Лена все та же? Та же девчушка-чертежница, что прямо от кульмана шагнула в войну.

Каждый вспоминает из той поры что-то. Мария Березовец, как ей дали знамя полка и она выносила его. Трое суток шла, спрятав на себе это знамя, пока не вышла на Любино поле к штабу дивизии. Перед уходом на фронт нам торжественно вручили это знамя ветераны завода, участники гражданской войны. Знамя это живо, оно хранится в музее горо-

да. Я слушаю Марию с особым чувством, она из ШИП'а, она хорошо помнит Сашу Шишкина, своего комсорга. И вдруг как бы в память Саши рассказывает о странном соревновании, которое устроили они на фронте. 8 марта 1942 года они в санчасти организовали лыжные гонки на три километра вдоль берега Невы. Над ними летели мины. Они были ослабевшие после голодной зимы. Но сами соревнования так напоминали наши довоенные, что проводил комитет комсомола в Шереметьевском парке. Маша пришла первой. Это тоже одна из ее военных гордостей.

А Виктор Сидоров рассказывал, как он дошел до Кенигсберга и участвовал в 1945 году на Параде Победы в Москве. За всех нас он был там и бросил на землю одно из фашистских знамен. А Георгий Степанович Минин, смеясь, рассказал, как увидели издали немцев в тот первый раз, думали, что такое они там наклоняются, чего-то поднимают, вроде бы картошку копают. Подползли поближе — так это они. Как Саша кинул в них связку гранат, а потом сокрушался, что можно было и поэкономнее... Почему, думал я, из всей его жизни боевой и трудовой, из всех его работ, должностей в итоге выделилась эта? Сорок первый год стал нравственной вершиной. Не победные наши наступления, не даже трудные его бои в Белоруссии, не освобождение Австрии, а именно тот трагический первый год отступлений, окружений войны. Да разве только у него? Вы не знали, не могли знать моих комбатов уже после ополчения. Павла Литвинова и Захара Коминарова. Это были лучшие командиры из тех, кого я знал. Павел Литвинов, он командовал отдельным артиллерийско-пулеметным батальоном, который держал оборону под Ленинградом в районе Шушар, недалеко от Пулкова. Он был кадровик, неторопливо-немногословный, он приводил все в порядок своим лениво-подчеркнутым спокойствием в самые отчаянные минуты боев. Сколько ему было тогда? Двадцать пять? Высокий, стройный, в белом своем полушубочке, он совершал чудеса на отдельном участке с горсткой голодных, обмороженных, больных цингой бойцов. И все это без крика, без ругани... Его, как и З. Коминарова, отличали высокая профессиональность воина, тех офицеров, которые умели выполнять приказ наилучшим образом, с наименьшими потерями. Они провоевали всю войну, и потом были многолетия военной службы, но и у них точкой отсчета, высшим нравственным испытанием стала их молодая война...

1984

И ВСЕ ЖЕ...

Будущим интересуются все больше. О нем пишут, его смотрят в кино, его вычисляют. Будущее специализировалось — есть будущее авиации, генетики, кибернетики, энергетики. У каждой специальности есть свои прогнозы, своя фантастика, свои астрологи. Такой повышенный интерес к будущему часто вызван необходимостью предвидения. Открытия следуют одно за другим, повороты слишком круты, а скорость велика. Прогнозирование позволяет оглянуться на соседей — простор будущего как-то компенсирует угнетающую специализацию современного познания.

Признаюсь, я никогда до сих пор не пытался самостоятельно заглядывать далеко вперед. Подобно большинству людей, я довольствовался чужими соображениями. Впервые попробовав войти в страну Будущего, я почувствовал, как это трудно, все сразу стало зыбким, неверным. Речь идет не о специализированных областях, а о будущей жизни вообще, вроде как о нашей сегодняшней жизни, о нас, которые были такой жизнью вообще и людьми будущего для людей, например, XIX века. У каждого поколения, у каждой эпохи есть такое будущее, оно сигналит нам, как и мы, очевидно, сигналили (или сигналим?) XIX, XVIII векам.

Вести оттуда, из будущего, доносятся — иногда тревожные, иногда любопытные, наши попытки связаться с будущим становятся все более активными.

Легче всего и, значит, прежде всего возникают количественные представления — умножение, возведение в степень. Много дорог, много машин, много этажей, огромные самолеты. Затем начинается второй этап — решение нынешних коренных проблем науки. Проблема долголетия и проблема обеспечения людей питанием. Проблема связи с другими мирами. Освоение космоса, его эксплуатация. Специалисты составляют таблицы, сводки, как бы планы работ будущих поколений. Впервые научными средствами они пробуют наметить сроки решения существующих задач: лечение рака, интенсификация фотосинтеза, управление наследственностью, ядерная энергетика, овладение временем, гравитацией, повышение плотности биосферы, бионика...

Сводная картина на ближайшие сто — полтораста лет получается грандиозная. Чтение такого перечня, только перечня, с наиболее осторожными сроками потрясает, наполняет за-

вистью к потомкам. Тревоги о нефти, беды природы и животного мира, уничтожение лесов, загрязнение среды — все это наука одолеет, разум восторжествует, мы представляем, как это могло бы быть. Мы решаем для будущего наши проблемы довольно логично, с радостной верой в человека. Наше воображение наслаждается панорамой успеха разума. Но стоит двинуться чуть дальше, и будущее распадается.

В самом деле, а как будет жить человек в мире с управляемой гравитацией, с перемещениями во времени? Какие будут скорости, высоты, глубины... Что станет с человеком, когда он сможет стимулировать свой мозг, все выучить, все изучить, запомнить, вызвать в памяти любой момент прошлого? С человеком, который будет наделен способностями воспринимать инфракрасное излучение, видеть в темноте, слышать в широком диапазоне колебаний, непосредственно принимать радиоволны? Реакции его будут ускорены, физические силы умножены. Он будет избавлен от страха болезней — рака, гипертонии, склероза. Он сможет жить под водой, на других планетах, формировать способности своих детей, вызывать эти способности или даже изменять их. Этому человеку, избавленному от примитивной физической работы, от счетной работы, от скучной механики простейших движений, будет доступна любая книга, фильм, представление, происходящее в любом месте земного шара. Что же останется от собственно человека, когда он будет окружен услугами, срок жизни станет велик, все мыслимые потребности и желания удовлетворены? Что произойдет с простыми человеческими чувствами — добротой, любовью, скукой? Каким станет человек?

Когда я говорю «человек», я могу говорить лишь о человеке, которого я знаю,— о нынешнем человеке. Как изменятся мироощущение этого человека, его нравственность, его критерии, взаимоотношения людей, их связи, личность человеческая, характер? То есть что останется от нынешнего человека?

К сожалению, я плохо представляю себе возможности такого прогнозирования. Даже простейшим методом экстраполяции. А если оглянуться назад, воспользоваться опытом истории? Несомненно, человек за минувшие две тысячи лет изменился. Он больше знает, он больше умеет... И что еще? Нет, нам легче сравнивать с современностью технику Эллады, ее искусство, чем ее людей. Говорить ли о человеке вообще, или правильнее говорить о человечестве, или, может быть, о человеке, связанном с социальными условиями? Боюсь все же, что

даже история дает нам мало материала для такого анализа. Во всяком случае, мы пока не сумели добыть такие данные, чтобы попробовать с их помощью спроектировать этический облик человека грядущего.

Вряд ли могли просветители восемнадцатого века, его утописты, представить себе, что через двести лет вместо костров инквизиции появятся топки Освенцима. И тогда, естественно, возникает вопрос: а можно ли на основании социально-экономического прогнозирования, научно-технического прогнозирования создать этическое прогнозирование?

В журналах 1900 года было много предсказаний, фантастических картин жизни через сто лет, научных гипотез и «технических размышлений». Ста лет не прошло, а я уже с улыбкой разглядываю наивные рисунки: летающих людей и города под куполами. Однако, проезжая мимо уныло однообразных кварталов, я вдруг понимаю, что улыбка моя несправедлива, в общем и целом предки угадывали. Может быть, гораздо увереннеей, чем мы. И точнее.

То будущее, которое мы сегодня пытаемся вообразить, может не сойтись куда резче, оно может вызвать не улыбку, а смех.

«Несходимость» возникает за счет неожиданных открытий. К счастью, природа неожиданностей такова, что прогнозировать их в ближайшее время не удастся.

В 1885 году в Петербурге вышла книжечка «Чудеса техники и электричества». Это был полуфантастический рассказ о посещении имения некоего графа В., где все было электрифицировано. Рассказ начинался с поездки: «Мы уселись в экипаж, запряженный парой в дышле, и тронулись в путь. Только что мы выехали за ворота станции, как на переднем конце дышла появился свет, направляемый рефлектором и освещающий дорогу перед лошадьми».

Свет оказался электрический! Прожектор, укрепленный на конном дышле,— довольно символическая картинка.

Само имение было роскошно оборудовано всевозможными электрическими светильниками, люстрами, бра, электроотоплением с автоматическими регуляторами температуры. Огороды поливались электронасосами, молотилки, сортировки работали на электродвигателях. Автор на каждом шагу сталкивался с подобными чудесами, но самым большим для него чудом было то, что электроэнергию давали аккумуляторы, которые

заряжались ветряным двигателем. Далее автор описывал судоходство по Неве на тех же аккумуляторах, они заряжались с помощью течения реки.

Автор — Владимир Николаевич Чиколев, не дилетант и не журналист, был одним из крупнейших электротехников России. Прошло три-четыре года после выхода книжки «Чудеса техники и электричества», и открытие трехфазного тока, трансформаторов резко изменило ход развития электроэнергетики. Не аккумуляторы, а электростанции посылали энергию по линиям передач. Генераторы приводились в движение не ветряными двигателями, а паровыми машинами и паровыми турбинами. С электрокораблями ничего не получалось, зато появились электрические трамваи.

Интересно было бы на большем материале изучить, в чем сбывались и не сбывались описания будущего. Как и куда отклоняется развитие науки и техники, в какую сторону ошибается воображение и чутье. Что может предусмотреть человечество, какие предсказанные сроки совпадали...

Необходимость научных методов прогнозирования будущего становится все более настоятельной. Наука о будущем, допустим прогностика, или футурология, может, очевидно, выявить некоторые закономерности и, кто знает, даже рассчитать некоторые вероятностные модели завтрашнего мира.

Люди устроены так, что в будущем их интересует главным образом хорошее, то есть то, что им представляется хорошим. Всем нравится представлять себе колонию на Луне, препараты долголетия или хотя бы объемное телевидение. Давние угрозы экономистов по поводу иссякающих запасов угля и нефти только сейчас становятся предметом всеобщего беспокойства. Столь же давние предостережения демографов, их устрашающие вычисления особенно не тревожат. И все же именно тревоги, бедствия, заботы Будущего способствуют объединению человечества. Становится ясным, что нельзя сегодня в границах одного государства решить, допустим, проблему питания народонаселения земли. Проблема обеспечения пресной водой — также всепланетная проблема. Такой же планетной стала проблема борьбы с гриппом, проблема прогнозирования погоды и управления погодой, активных воздействий на нее, проблемы радиосвязи, радиоастрономии, борьбы с вредителями растений... Возникает все больше проблем, решать которые можно лишь международными усилиями, в масштабе всей Земли.

Современное естествознание, современная техника требуют созыва международных симпозиумов, создания постоянных международных комитетов, институтов, организаций, участия разных стран, всех континентов. Подобная «коллективизация» средств, умов, связей, несомненно, будет расширяться. Противодействие этому исторически обречено. Постепенно Земля возникает в нашем сознании как целостный организм. А может, не возникает, а восстанавливается? Выйдя в космос, человек увидел свою планету извне, с точки зрения других миров, и она предстала голубоватой, круглой, единой, и слово «космополит» обрело иной смысл.

Социальные различия все резче входят в противоречие с общностью задач, которые нужно решать землянам. Тайфуны настигают любые корабли и обрушиваются на любые берега. Социальная чересполосица мешает развернуться современной технике.

Если мы хотим знать, что будет с человеком, надо уяснить, как воздействует прогресс техники на человека, на его мироощущение. Атомная угроза повлияла на психику человечества, вероятно, куда сильнее, чем это нам сейчас кажется. Есть события с другим знаком, но они стоят в том же ряду. Я никогда не забуду взрыв восторга в день полета первого космонавта Юрия Гагарина. Стихийный праздник, толпы на улицах, на площадях городов, наспех написанные транспаранты. Чему мы радовались? Не только тому, что первыми в космос вышли советские люди. Радость была и за величие человеческого разума, это была радость, соединяющая человечество, в этой радости была надежда, противостоящая атомным кошмарам. Эмоциональный размах был усилен одной технической, но, как мне кажется, весьма существенной подробностью. Дело в том, что ощущение единства порождалось одновременностью информации. Средства связи позволили всему миру одновременно следить за полетом. Коммуникации создали глобальное сопереживание. С тех пор возможности соучастия увеличились. Мир может не только одновременно слышать, но и видеть.

Эпизоды, связанные с убийством Джона Кеннеди, в 1963 году, смотрели одновременно полмиллиарда людей. Во всех странах одновременно ахали, волновались, кричали у своих экранов — цивилизация не знала таких масштабов эмоций, таких выбросов психической энергии. Убийство президента и полет в космос — события неравноценные, но это-то и заставляет призадуматься, ибо Интервидение способно транспорти-

ровать зрителю любые события. Само по себе оно безразлично к содержанию. Оно может служить любым целям. В распоряжении людей появились способы воздействия совершенно новые, планетных масштабов. Уже сейчас, и чем дальше, тем острее, встает вопрос, как во имя наших идей использовать трибуну для общения со всемирной аудиторией.

Очевидно, сеть разнообразных коммуникаций позволит передавать все, что угодно, кому угодно. Связь каждого человека со всем человечеством возрастет колоссально — хотя бы в виде средств такой связи. Потоки самой разной взаимной информации будут ограничены лишь способностью усвоения. Миллионы копий — картин, кино, музыки, фото — обеспечат доступ к любым видам искусств. А если прибавить сюда новые возможности транспорта, то есть практически уничтожение расстояний в пределах Земли, то все это в сумме создает значительные центростремительные силы. Они могут не только взломать национальные и прочие перегородки, под большим давлением происходят и сварка и даже изменение структуры.

Процесс наращивания контактов уже происходит, и остановить его вряд ли кому-либо удастся. Ежедневно производятся транзисторы, магнитофоны, телевизоры, телефоны, телетайпы — количества их нарастают в прогрессии геометрической, сколько-нибудь ценная информация распространяется практически десятками различных каналов.

Мода перенимается сегодня в течение нескольких месяцев. Научные исследования движутся почти вровень в лабораториях Японии, СССР, Англии, США... Попытки существенно обогнать конкурентов ни к чему не приводят. Идеи почти одновременно возникают, одновременно реализуются. Связь людей и, следовательно, их зависимость друг от друга становится порой мучительной, она опережает способность человеческой адаптации. Скорость научно-технического прогресса должна столкнуться со скоростью адаптации человеческого организма. То есть человек не сможет успевать приспосабливаться к новым открытиям и преобразованиям... Пока что это тот мыслимый предел, какой можно поставить.

Возрастание связей, появление всеобщих забот и усилий — достаточно ли этого для создания гарантии устойчивого существования человечества? Станет ли мир более прочным оттого, что он будет оплетен множеством связей?

Мне кажется, что это, конечно, не единственные, но реальные силы, которые соединяют людей, позволяют им выбрать наиболее разумную социальную систему, приобщают их к всемирным событиям, а значит, повышают их активность соучастия. Силы эти уже действуют. Конечно, пропорционально возрастает и опасность использования, допустим, той же системы коммуникаций какой-то группой людей в своих интересах.

Грядущее таит в себе не только блага, избавление от многих страданий и опасностей, но и появление новых опасностей. Любая оснащенная лаборатория сможет, например, производить огромные мощности. Или биохимические препараты всеобщего действия и распространения. Так же как сегодня изготовление атомного оружия становится под силу все большему количеству стран, точно так же могут появиться и другие средства массового уничтожения, еще более доступные и простые в изготовлении.

Представьте, что имеются не две, не три кнопки, их стало сотни, может, тысячи.

Трудно разглядеть, как подобные множества рисков повлияют на человека. Но может быть, следует подойти к этой проблеме с другой стороны. Если мы не в состоянии предвидеть, как мир новой техники, новых возможностей и новых опасностей изменит человека и человеческое общество, то не попробовать ли понять, как должно быть устроено это общество, чтобы сохраниться и устойчиво существовать в таких условиях? Каковы критерии его устойчивости и безопасности? Выражаясь языком математики, надо создать «стратегию игры» среди накопленных средств разрушения, воздействия на народы разнообразных средств подавления личности, разжигания низменных страстей человека. В распоряжении общества будут тотальные средства — генетические, кибернетические, космические,— можно ли в таких условиях застраховаться от того, чтобы горстка безумцев-фанатиков создавала катастрофические ситуации?

Такой подход позволит выявить наиболее жизнестойкую систему, пусть даже единственно осуществимую, но во всяком случае осуществимую. Есть ли она? Вера в то, что подобная система есть, возникла не от безвыходности, она не утешительство. Она скорее зиждется на элементах здоровья сегодняшнего человеческого общества, на тех силах, которые за последние годы в критические моменты уже спасали мир от катастрофы. Силы эти связаны с общественным строем, рож-

денным наиболее революционным экспериментом в истории человечества. Опыт существования стран социалистического содружества с их победами и трудностями послужит основой, на которой можно создавать наилучшую систему будущей жизни человечества.

Если человеческая история имеет смысл, то он проступает все более явственно — да простится мне тщеславие — в нашу эпоху, он связывает нас с Будущим, и он — наше средство воздействия на Будущее.

Избавленное от игры случая объединение людей, разумеется, не будет избавлено от новых конфликтов и противоречий, природу которых разглядеть невозможно, а угадывать бессмысленно. И если мы все же пытаемся как-то почувствовать жителя грядущего, «гражданина XXV», «гражданина XXX» веков, то поиски наши не должны конструировать некое новое существо с качествами сверхмыслителя, биоробота и т. п. Скорее следует высвобождать человека в человеке XX века. Одним из решающих факторов в этом процессе станет высвобождение творческого начала в человеке. Как бы ни менялись возможности человека, как бы ни менялся его духовный, физиологический облик, творец и созидатель будет занимать в нем все большее место. Новым эпохам придется решать задачи, сложность и размах которых потребуют, очевидно, напряжения духовной энергии не десятков и не сотен тысяч ученых, а творческого сплочения народов. Процесс интеграции, взаимопроникновения, о котором говорилось, создаст такие контингенты творческого духа, мощность которых непредставима. Ибо это будет не просто сумма, не лошади, запряженные цугом. Молнию могут породить лишь миллиарды зарядов, соединенные в организм облака. Нынешний рост числа ученых, и абсолютный и относительный, должен вызывать не тревогу, а уверенность и надежду.

Творчество, будь то научное, техническое, художественное, наиболее полно раскрывает назначение человека. Творческий труд облагораживает человека, поднимает над корыстными интересами, делает свободней, лучше. Признаюсь, когда я думаю о будущем, предо мной прежде всего возникает та жизнь, где каждый сумеет определить свое призвание и реализовать его. Это вовсе не простая, а сложная совместная задача науки и социального прогресса общества. Человек стал человеком, когда он стал творцом. Яблоко, сорванное Евой с райского

древа, обрекло человека на вечные муки и вечное счастье познания. Ясно, что счастье строится не с помощью науки и техники. Необходимо развивать систему жизни, приобщающую все человечество к творчеству. Высшая потребность человека может быть удовлетворена в определенной социальной структуре. Такое общество вряд ли может всерьез тревожить проблема перепроизводства художественных ценностей.

По количеству выходящих поэтических книг на душу населения Советский Союз, наверно, идет далеко впереди всех капиталистических стран, а хороших поэтов у нас все равно не хватает и хороших сборников не хватает, при самых огромных их тиражах. Хороших поэтов во все века было мало, а гениальных и вовсе. Конечно, любопытно рассмотреть мир, населенный тысячами Рафаэлей. Причем положение осложняется тем, что в этом усовершенствованном, коммуникативном мире человек сумеет обозреть всех Рафаэлей, не разъезжая по картинным галереям. А если и придется разъезжать, то это будет доступно каждому. Все правильно, но сразу же возникает вопрос: чем мерить «переизбыток» культуры? Сегодняшними способностями восприятия? Опять же, мне кажется, что в условиях разумной общественной системы искусство сможет действовать, и действовать куда сильнее, чем когда-либо.

Будущее испытало на себе всякое — и оптимизм, и безрассудную слепую надежду, и безысходное отчаяние. Ему угрожали кликуши и точные расчеты, его пытались отравить и попросту уничтожить, повернуть вспять, вернуть в пещеры. Оно выжило. Появилась возможность серьезного, вдумчивого изучения его. Сейчас, может быть, как никогда еще в истории человечества, будущее зависит от настоящего и требует нового подхода к себе. Оно чревато кризисами, соизмерить которые мы не в состоянии. Кризисы, связанные не только с иным понятием свободы, но и с понятием индивидуальности. Мыслящая материя Земли дискретна. Потребность ее единства и человеческая личность — это тенденции противоположные. С одной стороны, расцвет личности, с другой — ее ассимиляция. Ее самовыражение и ее существование в процессе сплочения миллиардов...

Путешествие в страну Будущего никогда не было бесплодным занятием. Великие утопии помогали человечеству вырабатывать идеалы. А это то, в чем сегодня нуждается мир, может, больше, чем прежде.

1967

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ

В одном из перерывов съезда меня позвали к Александру Андреевичу Прокофьеву. Он был главой нашей ленинградской делегации. Съезд шел уже неделю. Это был Второй всесоюзный съезд писателей. Был декабрь 1954 года. «С тобой хочет познакомиться Фадеев»,— сказал Александр Андреевич. Для меня это было неожиданно и непонятно. Честно говоря, в те дни многое меня ошеломляло. Начать с того, что меня выбрали делегатом на съезд. И то, что я оказался вдруг среди людей, которые были до того времени портретами, собраниями сочинений, известными с детства стихами, строчками. Они превращались в живых людей, можно было услышать их голоса, высказывания, причем самые обыкновенные, меня знакомили, и я ощущал тепло их рук — Амаду, Хикмет, Арагон, Ивашкевич... Было любопытно и страшновато, потому что любой из них мог спросить: а это, собственно, кто такой? Я ощущал себя любопытным, случайно проникшим на Олимп. Даже в своей ленинградской делегации я робел, и немудрено: в составе ее были Ольга Форш, Анна Ахматова, Евгений Шварц, Михаил Слонимский, Юрий Герман...— что ни имя, то страница истории литературы,— их знали Горький, Маяковский, они видели Блока, Куприна, от них тянулась прямая связь с великой нашей классикой. К счастью, никто мною особенно не интересовался. И вот почему-то Фадеев.

А Фадеев был для меня тем более академично-мраморным, извечно существующим, поскольку еще в школе мы проходили «Разгром». То, что было в школе, ныне, в 1954 году, отделенное четырьмя годами войны, стало историей.

На следующий день после заседания А. А. Прокофьев подвел меня к Фадееву. Вблизи Фадеев выглядел и моложе и старше, чем издали, под юпитерами президиума. Седые волосы его не старили. В стройной его высокой фигуре была легкость, упругость здоровья. Он оглядел меня с неясным еще любопытством. Получилось так, что мы оба как бы уставились друг на друга. Заметив это, Фадеев засмеялся, откинув голову. Он предложил посидеть, поговорить, нет, не тут, лучше у него дома, сразу после съезда, то есть через два дня, и написал мне на клочке бумаги свой адрес и как пройти. Они с Прокофьевым называли друг друга Сашка, Сашок, что почему-то меня тоже изумило. Но главное, я не решился спросить Фадеева, зачем я ему понадобился. Я сделал вид, что дело

естественное, у нас есть о чем поговорить. И последующие дни мучился, гадал, не мог представить себе, какое у него может быть дело ко мне.

Придется тут пояснить, что литературную жизнь я знал крайне плохо. Никакого филологического образования я не имел и связей и корней в литературном мире у меня не было. Я был, что называется, типичный технарь, производственник, в литературе человек пришлый. И эту свою чужеродность я ощущал в ту пору болезненно. Причем чувство это сочеталось с вызывающей независимостью. Мы, мол, вашим терминам не обучены, у нас своя специальность, своя работа...

Только что в журнале «Звезда» был напечатан мой роман «Искатели», тоже как бы инженерный, это был мой первый роман, его упомянули на съезде, и я раздувался от гордости. Тщеславие и робость, самодовольство и в то же время ощущение незаконности своего присутствия — все это совмещалось довольно причудливо и, наверное, не самым приятным образом.

В один из последних дней съезда выступил Фадеев. Я слушал его жадно, пристрастно, впрочем, не один я. Съезд длился уже больше недели, все устали от речей, и теперь в зале бывало народу меньше, чем в кулуарах. Но на речь Фадеева собрались все. Когда он вышел на трибуну, началась овация, зал встал. Это произошло непроизвольно, в порыве чувств поднялись все. И наносное вдруг отхлынуло перед чем-то более существенным, как будто залу передалось, что творилось в душе этого человека. Может быть, было тут предчувствие, что слышат его в последний раз, во всяком случае, волнение было чрезвычайное. Из выступления его запомнилось то, как смело и определенно поддержал он Ольгу Берггольц, ее тезис о праве поэта на самовыражение. Предсъездовская дискуссия об этом чрезвычайно захватила всех. Запомнилась и необычная для того времени самокритичность его, как он говорил об ошибках в работе секретариата и более всего о своих собственных ошибках относительно В. Гроссмана и о других... В тоне его звенело совестливо-напряженное, беспощадное к себе и в то же время доверчивое к нам; подобное слышать с трибуны мне никогда не приходилось.

Между залом и Фадеевым происходило как бы объяснение. Я слушал его с интересом, думая о предстоящем свидании; впрочем, многого я, новичок, не улавливал, но явственно ощущал в этом человеке талант привлекать к себе людей самых разных, даже его противники не могли устоять перед его

улыбкой, смехом, в нем любили его доступность, открытость и способность быть свободным. При том первом знакомстве он, сообщив мне адрес, вдруг, не помню в связи с чем, взял А. А. Прокофьева за плечи и стал читать ему Лермонтова:

Когда б в покорности незнанья
Нас жить создатель осудил...

Он читал самозабвенно, радостно, пока кто-то не отозвал его, и Александр Андреевич сказал ему вслед с завистью: «Вот черт, этот Сашка, знает наизусть всего молодого Лермонтова!»

Съезд кончился, выбрано было правление, и на следующий день я отправился на улицу Горького в дом, где жил Фадеев. По дороге меня мучило сомнение — а что как ему теперь не до меня, не до нашего разговора, все же произошли за эти дни события, которые могли огорчить его, не выбрали его руководителем Союза, да и не только это... И что за разговор у нас мог быть, о чем?

Несколько минут я стоял на лестнице, ожидая назначенного часа. Дверь мне открыл Александр Александрович, я разделся, и он провел меня в кабинет. Заметив, с каким напряжением я держусь, как уселся на кончик кресла, он сразу начал без вступления с того, что прочел в «Звезде» роман «Искатели» и хочет о нем и поговорить. Но прежде он расспросил меня, где я воевал, где учился, где работаю. Расспрашивал цепко, как бы сопоставляя с тем, что прочитал. Ленинградский фронт — это он знал, он даже бывал в соседней с нами дивизии, под Пулковом, и это как-то мне помогло несколько расслабиться. Фронтовые связи были для меня святыми, решающими. Блокадный Ленинград, жизнь блокадную он знал в чем-то лучше меня, поскольку мне за все время войны удалось побывать в Ленинграде раза три-четыре. Впрочем, мы и сами не стремились в город, там было тяжелее, чем на передовой. Незаметно разговор перешел на роман. С каким-то особым интересом Фадеев стал выяснять, что сочинено, а что было на самом деле, как герои соответствуют своим прототипам. Он расспрашивал про энергетиков, допытывался, почему я не использовал драматичность аварийных ситуаций. С этой стороны никто никогда не интересовался романом. Меня самого озадачивали собственные решения. Он разбирал характеры моих героев, их поступки, предлагая другие варианты, мы перебирали с ним сюжетные повороты, примеривая к рома-

ну и к жизни, как бы проверяя прочность моей постройки. Это была не критика, я бы стал немедленно защищаться, а тут я почему-то помогал Фадееву в его сомнениях и пробах. Меня поразило, что он цитировал отдельные фразы из книги, обращал внимание на детали, которые я сам не замечал. Он сравнивал роман с другими книгами, находил ему место, видно было, что он представлял как бы панораму советской литературы, ее процессы, движение. Я сам первый обнаружил некоторые слабости и огрехи в своем еще недавно неуязвимом детище, я считал себя защищенным вроде надежно опытом жизни, все это было пережито, прожито мною, кто лучше меня мог знать моих товарищей по работе в ЛЕНЭНЕРГО, моих кабельщиков, моих высоковольтников, мое начальство...

Впервые я слышал чисто профессиональный разбор, писательский, но главное, что подкупало меня,— это горячий интерес Фадеева к роману, можно было подумать, что у него была какая-то личная заинтересованность в нем. С каким азартом он обсуждал женщин, которых любят герои! Он вдруг стал излагать мне истории этих женщин, их любовных отношений. Похоже было, что он не импровизировал, а продумал их заранее.

— А вы подумали, что произошло с ней, когда Лобанов отверг ее? — спрашивал Фадеев.— Как сложилась ее судьба, и как сам этот Лобанов, неужели его не мучила совесть?

Он уводил меня в состояния, о которых я не задумывался. Но его занимали не слабости, а скорее их причины: наверное, во все надо стараться вложить собственную биографию. Чувство у читателя можно вызвать своим собственным чувством.

Языком романа, отдельными погрешностями стиля, то, на что обычно указывают молодым писателям, этим Фадеев почти не занимал нашего разговора. «Смысл рождает слова,— говорил он.— Мысль надо искать верную».

Посреди разговора его позвали. Он вышел. Я остался в кабинете один и принялся осматривать обстановку. В ней была смесь солидности и небрежности. Большой стол завален бумагами, мне показалось, лежалыми. Поверх них заметил я номера «Звезды» с моим романом. Я не удержался — перелистнул страницы и расстроился множеством карандашных пометок. Никто, даже редактор меня так не читал. Жаль, что я не выпросил у Фадеева этих номеров. Внимание мое привлекли книги в шведских шкафах и среди них темно-синее девяностотомное собрание сочинений Л. Н. Толстого, почти все

тома были подержанны, иные затрепаны, видно, что они постоянно читались хозяином. Фадеев застал меня сидящим на корточках перед шкафом. Он вынул первый попавшийся том. Из него торчали закладки. Из каждого тома торчали закладки. Он прочел: «Вся цель теперешней цивилизации уменьшать труд и увеличивать удовольствие праздности. Тогда как главное благо человека должно быть в увеличении приятности труда».

Затем взял другую книгу, наугад раскрыл и прочел про мужика, который вышел вечером во двор и видит: огонь вспыхнул у навеса. Мужик крикнул, кто-то побежал прочь, мужик узнал своего соседа, с которым ссорился, и побежал за ним, пока бежал, и дом и деревня сгорели. «А? Какой сюжет?» — воскликнул Фадеев, перелистал несколько страниц и прочел из дневника, как Толстой убирал комнату, а кто-то из детей пролил чернила, Толстой стал упрекать, у него было злое лицо, ребенок тотчас ушел и, сколько Толстой ни звал его, не вернулся, и далее Толстой анализирует, почему же ребенок не рассердился, а он, Толстой, несмотря на все свои зароки, сердится.

— Вы почитайте, как он следит за собою, как он изучает себя. Познавая себя, он и других может познать. Он был целый институт изучения человека. А с мужиком? — какой сюжет, какая сила этой притчи! Несколько строчек!

И разговор наш наконец закружился, поскакал в счастливом беспорядке — от Толстого к Библии, потом к съезду, потом к Галине Николаевой, потом я сказал про некоторые главы «Последнего из Удэге», те, что мне особенно нравились. Лицо Фадеева затуманилось, погрустнело. Почему он не продолжает этот роман? — допытывался я беззастенчиво. Он махнул рукой, принужденно засмеялся — когда-нибудь... Ему не хотелось продолжать эту тему, я почувствовал, что коснулся чего-то болезненного. Потом я задал Фадееву вопрос, который меня тогда чрезвычайно интересовал: чем определяется долголетие того или иного произведения? Почему некоторые вещи, бесспорно талантливые, стареют быстро, другие же существуют долго, и в том числе книги вроде бы средние? Помню, как он насторожился, почти суеверно: не стоит, не стоит доискиваться до истинной причины, ибо тут-то и хранится тайна искусства и художнику лучше ее не раскапывать. Все остальное, что стояло за этим ответом, он досказал заговорщицким подмигом: ради бога, не ищи рецепта!

Сейчас, вспоминая нашу встречу, я удивляюсь, как много запомнилось из того разговора, некоторые же вещи почти дословно, и это при плохой моей памяти. Объяснить можно, по-видимому, тем, что эта встреча с Фадеевым была единственной. Собирая воспоминания об И. В. Курчатове, я убедился, что люди, которые общались с ним часто, работали вместе много лет, рассказывали о нем вообще и в общем, портрет был стерт каждодневностью. Куда больше дали рассказы тех, кто встречался с Курчатовым редко, единожды. Свидание это осталось событием в их жизни. Личность Курчатова представала до мельчайших подробностей, высвечивала удивлением, вниманием. Нечто подобное произошло и у меня с Фадеевым. Разумеется, впечатление тут могло быть в чем-то случайным, внешнее могло показаться сущим, тут не было отбора впечатлений, и тем не менее история эта до сих пор, спустя тридцать лет, не потеряла для меня примечательности. Никогда дальше на моем литературном пути не было такой страстной заинтересованности, такой поглощенности моей работой со стороны писателя, для которого я был человек посторонний. Да к тому же в пору нелегкую в его собственной судьбе. Это ответственное, хозяйское отношение к литературе — не близлежащей, а ко всей нашей литературе,— хозяйское в смысле умения видеть ее в целом, это качество удивляет меня сегодня куда сильнее, чем тогда.

Фадеев спросил, собираюсь ли я перейти на профессиональное положение писателя, то есть оставить свою работу в институте. Это была мучительная для меня проблема. Я боялся оторваться от института, будущее писателя казалось мне неверным, зыбким, да и к тому же я еще не знал, есть ли у меня на это право. В нелегком этом решении во многом помогла тогда твердая уверенность Фадеева. «Пора, пора,— сказал он,— проза не терпит совместительства, она требует круглосуточной работы». Думаю, что это помогло мне уйти из института. Потом всякое было, я жалел о своем решении, раскаивался, но тогда, тогда я был окрылен.

Впоследствии мое отношение к Фадееву сложилось неоднозначно, но чувство благодарности за нашу встречу осталось навсегда.

Я провел у Фадеева больше трех часов, я чувствовал себя вымотанным, Фадеев же был разгорячен, разошелся, ни за что не хотел меня отпускать, взял с меня обещание звонить, заходить, будучи в Москве. Я обещал, хотя знал, что не отважусь. Так оно и было. Спустя полтора года я поехал на похороны

Фадеева. Но в тот декабрьский день 1954 года казалось, что жизнь бесконечна, что дороги наши будут пересекаться, сходиться не раз и это только начало наших отношений. Что и впредь каждая моя новая книга будет встречать такое же горячее участие этого человека.

1984

МОИ УЧИТЕЛЯ

Давно мне хочется написать о школе. Книг об этом, и хороших, написано немало, но мне интересно было бы исследовать одну линию в этой огромной теме — что остается от учителя, от класса в характере человека. Кроме знаний. В сущности, у каждого взрослого есть свои впечатления, свои воспоминания о школе. Плохие или хорошие. Одни учителя помнятся, другие нет, одни классные товарищи врезались в память, другие забылись. И не всегда это объяснишь степенью дружбы. Нет, тут действуют иные, глубоко скрытые, очевидно, сложные причины. То же самое происходит с нашими впечатлениями и воспоминаниями об учителях. Кроме любимых или нелюбимых учителей, оседают в памяти чьи-то часто безымянные истории, притчи, фразы...

Когда учитель ставит отметку ученику, то ведь и ученик одновременно как бы ставит отметку учителю. За справедливость, за объективность. И вместе с отвечающим учеником отметку эту ставит и весь класс. Взаимность эта хорошо известна опытным учителям. Наша любовь к учителям складывалась из таких отметок. Разумеется, не только из них. Любовь рождалась по-разному. Талантливых учителей не так уж много. Талант всегда редкость. Тем более талант реализованный. Один инженер, теперь он уже научный работник, в минуту откровенности признался мне, что всегда мечтал быть школьным учителем. «Но считалось, что это занятие не для мужчины,— объяснял он,— что я могу рассчитывать на большее, что быть инженером важнее, серьезнее и т. п.». Таких людей, мечтавших учить и не решившихся стать учителями, я встречал немало.

Многие учительские таланты в силу разных причин, в том числе по материальным соображениям, к сожалению, не осуществили себя. Это вещь известная. Но, кроме таланта, что, как говорится, от человека не зависит и отпускается ему свыше, есть и другое — есть еще любимые учителя. Наверное, лю-

бимых учителей больше, чем талантливых. Наверное, можно заслужить любовь и не имея отпущенных природой педагогических способностей. Так и должно быть. Талантливым стать нельзя, а вот любимым стать можно. Как и все, при этом я вспоминаю бывших своих учителей. Кто из них получал нашу любовь? За что? В десятом классе физику преподавал нам известный профессор (!) З. И потом в институте я не раз встречал его фамилию в разного рода учебниках. Он блестяще ставил опыты, он умел сказать доходчиво, образно, и наше «физическое» воспитание было отличным. Но! Но физику мы полюбили раньше, полюбили благодаря молоденькой учительнице Ксении Евгеньевне, вернее, мы полюбили ее и через нее уже терпеливо внимали рычагам первого и второго рода. Кажется, она преподавала тогда первый год и не очень хорошо сама знала некоторые тонкости, а надо сказать, что среди нас были способные ребята, нынешние известные физики, но все равно мы любили ее. Вероятно, за то, что она любила нас, за то, что ей было весело с нами, интересно, за то, что она не скрывала своих промахов и открыто переживала их.

Географию нам преподавал Г. А. Кожич. Несмотря на некоторый цинизм, он был убежден, что география — предмет если не самый важный, то наверняка самый увлекательный. Он изображал из себя путешественника (хотя думаю, что скорее воображал), побывавшего на Тибете и на каких-то островах Малайзии. Мы слушали его разинув рты, и в эти разинутые рты незаметно к нам входили долготы, широты и прочие скучноватые необходимости.

Но, может, наиболее важная составляющая нашего чувства возникала из нравственного облика учителя. Вернее, не облика, а нравственного содержания учительства. И Ксения Евгеньевна, и Кожич, и наши учителя математики и литературы преподавали нам, кроме своих предметов, какие-то нравственные начала. Самые простейшие — аккуратность, правдивость, точность, терпение,— словом, то, что когда-то называлось прописями. Это по-своему входило в математику и по-своему — в географию.

И впоследствии я замечал в школьной жизни моей дочери, что понятие любимого учителя всегда было связано и с нравственным учительством, с теми людьми, которые учат, «как жить». И наоборот, отсутствие этого нравственного начала характерно для «нелюбимых» учителей.

Я говорю об этом потому, что проблемы того же порядка возникают в нашей писательской работе. Можно писать вещи

занимательные, остросюжетные, описательные, и книги такого рода существуют, читаются и делают свое полезное дело. Обеспечивают «информацией», которую ценит нынешний читатель. Однако я уверен, что такого рода книги не могут стать сколько-нибудь заметным явлением в духовной жизни общества. Русская литература всегда была сильна своими нравственными исканиями. В ней, если угодно, всегда звучала нота проповедничества. И Толстой, и Чехов, и Горький, каждый по-своему, но проповедовали. И учитель для меня — это прежде всего воспитатель, а значит, и проповедник.

Последние годы почему-то стесняются подобных понятий: назидательность, проповедь, сентиментальность и т. п. А между тем недостаток этих «витаминов», мне думается, особо болезненно сказывается в детском возрасте. Жажда духовной пищи, самой, может быть, простейшей, у детей велика, и я убежден, что именно эта духовная жажда должна быть удовлетворена учителем в первую очередь.

Из самых первых классов школы запомнились, и накрепко, толстовские рассказы, такие, как «Лгун», про мальчика, который понапрасну звал на помощь, «Мужик и огурцы», «Ноша», басни Крылова, некоторые рассказы Ушинского, то есть откровенно назидательные, дидактические, как хотите называйте, но у ч а щ и е ж и т ь.

В том-то и красота, и счастье учительской профессии, что учитель может и должен учить жить. Я вкладываю в эти слова самые простейшие понятия. Простые и понятные, как рассказы Л. Толстого из «Русской книги для чтения», как русские пословицы. Зачем люди трудятся, к чему приводит жадность, почему нельзя врать, почему надо жалеть животных — словом, истины, казалось бы, элементарные, очевидные, но нужно, чтобы они были произнесены. И вот ведь что интересно, что каждый возраст нуждается в своих, что ли, прописях, то есть требованиях и запретах. Рассказы Толстого запомнились и вошли навсегда в сознание потому, что наша учительница читала их нам в первом и втором классах (важно, когда впервые слышишь эти образные формулы), а чуть позже эти же рассказы уже не поразили бы нашего воображения.

По-видимому, все это вещи, известные педагогике, но я не стесняюсь их повторить хотя бы ради подтверждения их опытом своей жизни.

Я знал учительницу, к которой давно ушедшие от нее в старшие классы ребята по-прежнему обращались со всеми своими невзгодами, вопросами и даже интимными сложностя-

ми мальчишеской и девчоночьей жизни. Пожалуй, из всех проблем эти интимные, а чаще всего сексуальные проблемы были для нее самыми трудными. Ребята верили, что она ответит точнее, чем «дворовые специалисты». К сожалению, на этих «проклятых вопросах» она потеряла доверие ребят. Она сама с горечью призналась, что побоялась отвечать им «все как есть», отделывалась обычными уклончивыми отговорками — в свое время, мол, узнаете, это нездоровое любопытство и т. п.

Она считала, что учитель не имеет права избегать этих интимных тем, но не знала, как отвечать на них, с какой степенью откровенности.

И тут я понял, что величайшая трудность учительского труда в том и состоит, что, кроме любви к своему делу, должно быть еще и искусство, где, увы, одна любовь беспомощна.

Мне вспоминается наша учительница по химии. Наверное, она была добросовестным преподавателем. Химию она знала. Но, странное дело, от ее уроков мы химию терпеть не могли. Предмет этот казался скучнейшим, и характерно, что никто из нас в химики не пошел, а неприязнь к химии переломить я в себе не мог и в институте, где читали этот курс отличнейшие преподаватели. Не берусь установить теперь, в чем была ошибка нашей Анны Михайловны, а хочу лишь показать, какие долгие последствия имеют подобные ошибки.

Убедился я и в том, что хороший учитель почти всегда создает и дружный хороший класс. Над созданием нашего класса работали в той или иной степени все наши лучшие учителя. Каждый из них творил наше классное содружество. Очевидно, понимая, насколько здоровый нравственный климат внутри класса помогает преподавателю. И за это, разумеется, может, самое большое спасибо нашим учителям. Потому что школьные друзья — дорогое богатство каждого из нас. Школьная наша дружба уцелела и сохранилась десятилетиями. Не потому, что класс наш отличался каким-то особым составом, ничуть, скорее оттого, что нашлись учителя, которые сумели создать в классе атмосферу дружбы, сумели создать коллектив. И та же Ксения Евгеньевна, и преподаватель математики, и наша учительница литературы. Каждый из них тянул класс как бы в свою сторону — в литературу, в физику,— и эта «поляризация», как ни странно, сплачивала класс.

Кроме знаний, учителя, именно учителя, могут одарить ребенка дружбой, друзьями.

С грустью я видел, как у дочери моей класс не сложился и каждый в классе был сам по себе. Учились добросовестно, а вот радости от школы не было, и друзей школьных лет не осталось, вместе с выпуском все кончилось, все разлетелись, и класс и школа навсегда забылись.

Спустя десятилетия, вспоминая об учителях моей школы, вижу, как многим хорошим я обязан им. Вспоминаются не знания, не предметы, а то человеческое, что вкладывали в нас. Литература, думается, много могла бы сделать, чтобы поднять престиж профессии учителя.

Я уверен, что можно сделать так, и это будет, что в учителя пойдут самые одаренные, самые лучшие ребята, что заслужить диплом учителя будет нелегко, что званию этому, а главное — работе этой будут завидовать как самой важной, почетной, уважаемой.

1973

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ ВРЕМЯ

I

Он прожил долгую, красивую, необыкновенную жизнь. По своей цельности она была похожа на задуманное и исполненное произведение. Однако обидно было бы рассказывать сейчас о ней вскользь или попутно. О ней стоит рассказать отдельно. Меня же в его жизни заинтересовала одна черта, одна особенность, в которой я попробовал разобраться.

Дело в том, что этому человеку удалось установить особые отношения со Временем. Начав с двадцати шести лет и до самой смерти своей — а умер он, когда ему было восемьдесят два года,— Александр Александрович Любищев вел специальный учет Времени. Для этого он разработал особую систему учета. Ежедневно он записывал расход своего Времени, где было все — и основная работа, и вспомогательная работа, и общение, и письма, и чтение книг, и слушание музыки. Учет этот велся с точностью до пяти минут. Записи велись наподобие дневниковых, ежедневно, аккуратно, в течение пятидесяти шести лет!

Естественно, что подобный феномен меня крайне заинтересовал,— заинтересовал прежде всего потому, что мне по-

счастливилось лично знать Любищева, встречаться с ним, и он привлекал меня, как, впрочем, и всех окружающих, той значительностью, которая всегда отличает незаурядных людей, какими бы они ни были.

Любищев был крупным биологом (он занимался биометрией, то есть математизацией биологии), он был интереснейшим философом, у него были глубокие работы по истории науки, по науковедению, по генетике, по эволюции, по эмбриологии.

При жизни у него было напечатано не так много,— около шестидесяти работ,— но литературное его наследство составляло свыше шестисот авторских листов. Цифра колоссальная, особенно если учесть, что всю жизнь он работал то в научно-исследовательском институте, то заведовал кафедрами, читал лекции, вел большую преподавательскую и научную работу. Его система должна была, как я надеялся, объяснить секрет этой высокой производительности труда и того, как же человек мог столько создать, столько успеть.

По мере того как я изучал смысл и механизм его системы, я понимал, что дело даже не в этом — не в количественной и даже не в качественной стороне созданного, достигнутого им, а в том, как с помощью этой системы с годами у него вырабатывались свои особые отношения со Временем — нравственные отношения. Это была какая-то система осмысления Времени, духовного его наполнения... Однако, пожалуй, следует все-таки сказать несколько подробнее о самой его системе.

Ежедневный учет, который он итожил в конце дня — неукоснительно, в любой обстановке, в любых обстоятельствах,— занимал у него ничтожно мало — несколько минут. Каждый месяц он составлял как бы отчет, суммируя все Время, затраченное на основную работу, на вспомогательную, на книги, на общение и т. д. Таким образом, он видел, на что уходило Время. Он видел его пустоты и сгустки. Месячные отчеты в конце года сводились в годовой итог.

На основании этих итогов и отчетов он планировал свое Время, свой расход на месяц и на год вперед, даже на пятилетие. Годовые отчеты требовали, конечно, большего времени — допустим, пятнадцать — двадцать часов. Но это были даже не столько отчеты, сколько самоанализ, самоизучение: как меняется его производительность, что не дается, почему? Он вглядывался в этот отчет, как в зеркало. Его отчеты отражали историю прожитого года.

Его система улавливала в свои ячеи текучую, всегда ускользающую повседневность — то Время, которого мы не замечаем, недосчитываемся, которое пропадает невесть куда. Конечно, эта система требовала немало мужества, потому что не каждый решится увидеть, как плохо, бестолково, преступно и губительно расходуется Время единственной и неповторимой нашей жизни, как оно гибнет и пропадает в пустых разговорах, ожиданиях, в бессмысленных страстях и волнениях.

Он добивался высочайшей работоспособности, нарабатывая за год по полторы тысячи часов только основной своей научной работы. Чистого рабочего времени, затраченного на научную работу, у него иногда выходило чуть ли не по шесть часов. Представляете себе это — Время чистой работы, без всяких отвлечений, без всяких перерывов, сплошная научная творческая работа в течение шести часов! И так — целый год, без всяких воскресных дней или отпусков.

Что он был — машина? Это первое, что приходит в голову,— машинность. Человек, обрекший себя на односторонность, ограниченность своих интересов, обеднивший свою жизнь. Но эти первые соображения — заманчивое самоутешительство людей, привыкших беспечно и расточительно относиться к своему Времени. На самом же деле именно благодаря этой системе он высвобождал свое Время, как никто другой, открывая для себя ту полноту жизни, которая нам часто лишь грезится. Он больше читал — куда больше, чем удается обычному человеку. Он много бывал на природе, отдавая все свое свободное Время энтомологии, которая требовала прогулок, дальних походов. Он много путешествовал. Он любил музыку и много слушал ее. Он общался с людьми насыщенно и содержательно. Он имел множество друзей, его всегда окружала молодежь.

Его система помогала ему осуществить себя, может быть, с наибольшей полнотой реализовать свои возможности и свои способности, как никакому другому человеку, имевшему примерно те же данные.

Почему все это стало возможным? Его вдохновила большая цель, которую он поставил себе как ученый еще в молодости. Цель эта — создание математической биологии, математическое изучение кривых строения организмов, «не имеющих непосредственно функционального значения». Работа эта требовала и философской оснастки, и математического аппарата, и эволюционно-генетического, и исторического. И вся эта широта, в свою очередь, требовала жесточайшей регла-

ментации собственной жизни, то есть и расширения интересов, и их сужения.

Ему не удалось осуществить свою цель. Но он никогда не считал это неудачей своей жизни. Не удалось не потому, что она оказалась ложной,— не удалось потому, что она была грандиозна и ему не хватило жизни на нее. Цель же эта вырисовывалась перед ним с годами все более явственно. Невозможность успеть он никогда не расценивал как неудачу, потому что его Время было не Временем достижений, не Временем успехов. Он не мерил себя количеством достигнутого. Для него важен был скорее процесс приближения к истине, процесс ее выявления. И в этом смысле его Время выступало для него как Время, которого всегда достаточно. Времени не могло быть мало, потому что любое Время для чего-то достаточно.

Это относилось и ко всем другим жизненным благам. Он никогда не стремился иметь много — ни вещей, ни денег. Ему нужно было лишь необходимое, а необходимого ему было всегда достаточно (достаточного же, как известно, не бывает мало!).

Он был свободен от желания обогнать, стать первым, превзойти...

Он любил Время как возможность творения и относился ко Времени благоговейно, и притом заботливо, считая, что совсем не безразлично, на что его, это Время, употреблять. Оно, Время, обладает каким-то нравственным качеством. Время потерянное — это Время, отнятое у науки, у людей, на которых он работал. Время — самая большая ценность, верил он, и нелепо тратить его для соперничества или для удовлетворения своего самолюбия.

Интересно, что последние примерно лет двадцать он жил в провинции, занимал кафедру в Ульяновском сельскохозяйственном институте — и нисколько не чувствовал себя от этого ущемленным. Наоборот, провинциальная жизнь позволяла ему, как он считал, меньше отвлекаться, снимала множество ненужных обязанностей. И действительно, производительность его, несмотря на преклонный возраст — с шестидесяти до семидесяти, с семидесяти до восьмидесяти лет,— по многим показателям непрерывно возрастала, а по другим показателям оставалась стабильной. С годами он нисколько не терял работоспособности.

По мере того как я погружался в поток его Времени, изучая его дневники, письма, схемы — всю эту налаженную систему, я испытывал счастливое чувство освобождения. Каждый

день его жизни поглощал все самое важное и существенное, как зеленый лист впитывает лучи солнца всей своей поверхностью, каждым своим хлорофилловым зерном. Примерно так поглощал и использовал Время и мой герой, наполняя смыслом каждый его час, каждую минуту, каждую частицу.

Он оставил, как я уже говорил, огромное наследство, которое его ученики сейчас публикуют, разрабатывают, которым пользуются все шире.

Но для меня лично главное заключалось не в его научных достижениях — оценить которые мне, неспециалисту, часто довольно сложно,— я лишь наблюдал, как это делают другие, молодые математики, генетики, историки, и убеждался в значительности и плодотворности того, что было сделано моим героем. Для меня же главное заключалось в другом: на примере его жизни я вдруг увидел, какой насыщенной и огромной может быть человеческая жизнь и как неправильно и бездумно мы обращаемся со Временем.

Казалось бы, все усилия современного человека направлены на то, чтобы сберечь Время. Для этого создаются электрическая бритва и эскалатор; для этого мы летаем на скоростных самолетах, для этого мы мчимся в метро или по автостраде. А Времени становится все меньше! И нам не хватает уже Времени для того, чтобы читать, для того, чтобы писать длинные письма, которые писали люди когда-то друг другу; нам не хватает времени любить, общаться, ходить в гости, любоваться закатами и восходами, бездумно гулять по полям...

Куда исчезает Время? Откуда этот нарастающий цейтнот?! Мы его сберегаем, а его все меньше и меньше! И человек не успевает быть человеком. Человек не успевает проявить себя как человек,— не успевает осуществить ни заложенного в нем природой, ни реализовать свои способности, свои замыслы, свои мечты.

Вот почему пример этой жизни А. А. Любищева показался мне поучительным, затронув и лично меня, потому что и я страдаю этой же болезнью века.

Жизнь его показалась настолько поучительной, любопытной, что я написал об этом книгу, которая называется «Эта странная жизнь». Я написал ее и о моем герое и о самом себе, не давая никаких рекомендаций, не вынося окончательных суждений или советов. Я старался поделиться своими раздумьями с читателем. Судя по количеству писем и отзывов, я почувствовал, что проблема эта в какой-то мере волнует многих людей, и не только потому, что люди хотят более разумно

и бережно относиться к отпущенному им Времени, но и потому, что эта проблема времяупотребления и времяиспользования какой-то своей частью соприкасается с проблемой смысла человеческой жизни.

II

Работая над повестью «Эта странная жизнь», я знакомился с архивом моего невыдуманного героя Александра Александровича Любищева. Среди многих томов его исследований, его дневников, его писем я обратил внимание на толстые переплетенные тетради — конспекты прочитанного. Многие книги Любищев имел привычку конспектировать. Если судить по конспектам, то речь идет о книгах, которые чем-либо его заинтересовали. Причем сюда относятся не только журнальные статьи, но и даже заметки по поводу газетных статей.

В начале текста он дает библиографическую справку о книге, потом идет краткое изложение, допустим, первой главы, первой части. Какие-то места, особо важные, интересные для себя, он выписывал полностью. Затем следовали его собственные комментарии. Иногда какую-то мысль он развивал, дополнял своими соображениями, иногда он начинал спорить с автором, подвергал его критике. Таким образом, это не совсем конспекты прочитанного, то есть не просто нужные выписки и переложение. Это, скорее, переработка прочитанного, избранных мест. Зачем нужны были ему подобные записи? Возможно, он был из тех людей, кто думает на бумаге. По-видимому, он лучше запоминал, записывая. Этими записями он потом активно пользовался. Они не пылились на полках. Он пользовался критическими заметками, полемическими замечаниями для собственных работ, беря уже как бы заготовленные свои мысли, цитируя себя. Подобные заготовки хороши тем, что производятся в процессе чтения всей книги, они более объективны, чем выдержки, которые подыскиваются специально для работы.

Комментарии к специальной научной литературе по математике, биологии, генетике были мне недоступны, оценить их я не мог. Поэтому я читал главным образом записки о таких прочитанных книгах, как сочинения революционера-шлиссельбуржца Н. Морозова, замечания о мемуарах Ллойд-Джорджа, о воспоминаниях Амундсена.

Любищев конспектировал Шиллера, делал большие выписки из «Марии Стюарт», из «Орлеанской девы» или из Ро-

мена Роллана, из Лескова, из Гоголя. Эти записи сослужили ему добрую службу, когда он писал статьи о «Драмах революции» Ромена Роллана или статью о Лескове. Некоторые записи он потом цитирует в других работах. Так, я часто встречал в его работах по истории науки ссылки и цитаты из трудов Морозова, Тимирязева, Дарвина, Платона, Канта.

Его конспекты научных книг обладают интересным свойством — Любищева прежде всего интересует в книге мысль оригинальная, свежая идея, то собственное, что найдено автором. Иногда этого оказывалось до смешного мало. Из большой книги он, бывало, набирал всего одну-две странички сто́ящего.

Так происходило, например, с некоторыми книгами о Галилее, о Копернике... Книги эти оказались сплошной компиляцией, и Любищев показывал в краткой уничтожающей аннотации всю никчемность авторской работы.

Были комментарии, которые разрастались у него в серьезные научные работы. Так, роман Веркора «Люди или животные?» подтолкнул его к подробному увлекательному размышлению об отличиях человека от животного с точки зрения систематика, эволюциониста и философа. Работа его так и называется — «О романе Веркора «Люди или животные?».

Но это уже особые случаи. Бо́льшая же часть комментариев составляет как бы замечания на полях. Они представляют и самостоятельный интерес. Замечания эти показывают работу мысли, которой сопровождался у Любищева процесс чтения. Это был труд. Он читал придирчиво и полемично, и в то же время он всегда старался уяснить точку зрения автора, понять ход его мысли. Чтение не гасило, а возбуждало его собственные размышления.

Годами вырабатывалось у него, через такую критичность, потребность и способность самостоятельного мышления, независимого от научных авторитетов, от, казалось бы, прочных аксиом.

Процесс чтения был не столько ради того, чтобы прочесть, и даже не только чтобы узнать, а для работы. Похоже было, что любая талантливая серьезная книга, будь то художественная литература, поэзия, история, мемуары, путешествия,— все или почти все давало ему этот материал. Или для отрицания, или для созидания. Возбуждала вопросы, сомнения, мысли.

В его комментариях к книге Н. Винера «Кибернетика» читаю в конце такое, например, замечание: «И в науке и в по-

литике личность играет огромную роль, и то влияние исследователя на исследуемый предмет, которое отмечает автор, имеет место, только если исследователь выдающийся человек (подобно тому как О. Уайльд в «Упадке лжи» говорил, что туманы созданы Коро, раньше их не замечали). И определенный тип женских лиц создан определенной художественной школой. Это вовсе не озорство так думать. Мне говорила Е. Ластовец, которая в молодости была пышной и румяной девушкой, что она пила уксус, чтобы сделаться более бледной и худой, т. к. тогда это было в моде. Такое влияние может оказать только первоклассный художник...»

Почти в каждом конспекте есть размышления, наблюдения, мысли, имеющие общий интерес. Газетные статьи, очерки — все могло служить пищей для этого ума. Он выписывает себе впрок любопытные факты, цифры, исторические примеры.

Из работы академика Фесенкова «Современные представления о Вселенной» 1949 г. АН СССР: «Петр I о чуде (с. 26): Петр I приказал предвычислять затмения и печатать об этом для всеобщего сведения — „понеже, когда люди про то ведают прежде, то не есть уже чудо"».

Он пишет большой, в 44 страницы машинописи, комментарий к статьям, посвященным 200-летию со дня смерти И. Ньютона.

Комментируя Шредингера, он показывает, как автор идет «на поводу у современных биологов, довольно узко мыслящих». Один только этот комментарий — самостоятельная теоретическая работа. Между прочим, работа, которую А. А. Любищев никуда не давал, никому не предназначал, работа «для себя», для саморазвития...

В такого рода свободных размышлениях может содержаться более всего драгоценного.

Чтение у многих людей, даже привыкших работать с книгой, напоминает поездку на поезде, когда страницы мелькают равномерно, как километровые столбы. Глава проходит за главой, книга следует за книгой. Постоянное чтение, непрерывное чтение оценивается количеством прочитанного. Чем больше, тем лучше — таков внутренний счет.

Есть настоящий, сущий
души твоих книг читатель.
И есть — ему вслед ползущий
книжных листов листатель,

как писал Галактион Табидзе.

Эти листатели, пассажиры книжных поездов, ничего общего не имеют с истинными читателями, жаждущими постигнуть душу книги. Вот этих настоящих читателей можно скорее сравнить с людьми, совершающими экскурсию. Они, где хотят, где им интересно, остановятся полюбоваться, запечатлеть в памяти местность, они могут часами простоять, вникая, изучая. Для них важна не скорость, не километры, а постижение. Им нужно не посмотреть, а у в и д е т ь. Таково, в частности, было и чтение книг А. А. Любищевым.

Любищев много читал, но еще больше он размышлял о прочитанном. Его комментарии всегда поражают неожиданным поворотом мысли, удивительными сопоставлениями и выводами. Он читал, как ученый, анализируя, проверяя... Он читал, жадно выискивая, поглощая и усваивая из самых разных континентов человеческого творчества все сколько-нибудь ценное. Степень такого усвоения постоянно возрастала.

Метод чтения книг Любищевым ни в коем случае не рецепт, это скорее пример, достойный внимания и размышления. Крупный ученый, он сам вырабатывал удобный и нужный ему способ пользования книгами. Но способ этот тем не менее интересен и поучителен. Он давал высокие результаты. А главное — требовал активного отношения к прочитанному. Книги помогали вырабатывать взгляды, собственные убеждения, миропонимание, причем такое, которое состояло не из набора чужих мыслей, мнений, не из надерганных афоризмов, а создавалось как система, как пытливая работа ума, обогащенного знанием.

1983

ПРАВИЛА ЧЕСТИ

Приехал на ленинградский завод министр. Визит его был не очень понятен, предлог имелся, но не такой уж срочный. Походил по цехам. В сборочном задержался. Долго смотрел, как заканчивали сборку агрегата, и тут наконец прояснилось. Дай мне, говорит он директору завода, в этом году еще одну такую штуку сверх плана. Директор развел руками: с великим трудом пять агрегатов одолели, никаких ни возможностей, ни ресурсов не осталось.

Все возражения министр знал заранее. Директор понимал, что возражения как бы предусмотрены. Необходимо, ска-

зал министр, позарез. Выручи. Что хочешь проси, но выручи!.. А что значит «выручи»? Это значит отложи реконструкцию, значит уговори людей на сверхурочные, значит все планы начальникам цехов порушить. Но видно было, что министр просит неспроста, нужда крайняя. Мог директор не внять, право было на его стороне, но согласился. Ладно, говорит, попробуем, только с условием, чтобы на следующий год агрегат этот, добавочный, добровольный, в план нам не плюсовали. Об этом не может быть и речи, сказал министр, вот тебе слово. Договорились.

Не стану расписывать, как трудно пришлось объединению, руководителям. Директор клятвенно заверил начальников служб, цехов, что дополнительный агрегат — задание исключительное, на следующий год все вернется к норме. И через силу вытолкнули сверхплановый агрегат. Сдали. Получили благодарность от министра, а затем новый план, увеличенный на эту самую единицу. Как же так? Плановики министерства никаких ссылок на обещание министра слышать не хотели: знать не знаем, у нас есть указание. Когда директор наконец попал к министру, тот только вздохнул — ничего не могу поделать, сам знаешь, как это получается, включили, и все — тут не поспоришь.

— Но я же людям слово давал.

— Так ведь и я давал слово,— обиделся министр.— Мое слово не меньше стоит.

Не привожу фамилий действующих лиц. Да и не в том суть. Оба давали слово, и министр и директор, но хуже пришлось директору: он чувствовал себя обманщиком перед многими подчиненными, было стыдно перед коллективом. И не мог позволить себе вслух свалить вину на министра. Заверял людей он, директор, и он был в ответе. Сгоряча подал заявление об уходе. С трудом уговорили его. Просили и «сверху» и «снизу». И доводы были примерно одинаковы — при чем тут ты, чего ты ответственность на себя берешь, от тебя не зависело, тебя подвели, чего мучаешься. Подумаешь — дал слово, мало ли приходится... Большей частью искренне недоумевали, зачем это уж так к сердцу принимать. Директор взял заявление назад. Ныне вспоминает обо всем неохотно. Морщится. Может, свою горячность вспоминать неприятно. А может, грустно, что притерпелся, попривык.

— Даром такое не проходит,— признался он.— Уважение коллектива я восстановить постарался, а вот перед собой труднее. Самоуважение, конечно, пострадало. Убыло. Следовало,

наверное, уйти. С другой стороны, мы же привыкли прежде всего думать не о себе, о деле. А тут получается, что о себе, о своей чести забочусь. Как по-вашему?

Не таким простым оказался этот вопрос. В разговорах выяснилось: многие считают понятие чести устарелым, несовременным, в том смысле, что оно нынче неприменимо — не те условия. Для одних оно связано с такими действиями, как дуэль: мол, чем иначе можно защитить свою честь от оскорблений? Другие считают: честь сегодня заменена более высоким понятием — принципиальность. Вместо человека чести человек принципов... Но в истории с директором речь шла именно о чести, ни о чем другом, о чести человека, давшего слово. Как может устареть чувство чести, чувство собственного достоинства, сугубо личное нравственное чувство? Как может устареть понятие чести, той самой, которая дается человеку однажды, вместе с именем, и которую нельзя ни возместить, ни исправить, можно только беречь.

Мне вспомнился случай, связанный с именем А. П. Чехова. В 1902 году царское правительство аннулировало избрание Максима Горького в почетные академики. В знак протеста Короленко и Чехов отказались от звания академиков. Для Чехова это был акт не только общественный, но и личный. Он писал в заявлении, что при избрании Горького он повидался с ним и первый поздравил его, а теперь, когда Академия наук известила, что выборы недействительны, выходит, что он, Чехов, как академик признает это. «Я поздравлял сердечно, и я же признал выборы недействительными — такое противоречие не укладывается в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог,— писал он в Академию наук.— ...И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению... о сложении с меня звания почетного академика».

Тоже ведь сложились обстоятельства, вроде независимые от Чехова, мог бы найти для себя оправдания.

Убеждения, конечно, вещь необходимая, но есть такое более простое, конкретное понятие, как слово, данное человеком, не подтвержденное никаким документом, справкой, просто слово, допустим, делового человека, который обещал сделать ремонт к такому-то числу, собрать людей, привезти оборудование, принять приехавших издалека людей, да мало ли еще что. Ну, эка беда, не принял, не сделал, не привез. Сделает через месяц, примет через два дня, и за то спасибо. Бывает, что и в самом деле ничего страшного, никакой катастрофы, если исключить одно обстоятельство — слово, дано было слово.

— Дорогой вы мой писатель,— сказал мне начальник райжилуправления,— мне отбиться важно, если я скажу, что в этом году не сделаю ремонт, так ведь замучают меня, закидают жалобами.

— Подвернулась шабашка,— объяснили дорожники руководителям совхоза,— мы и подзадержались. Какие могут быть претензии, по графику укладываемся. Ах, слово? Так слово, оно полегче денег.

Неда́вно при мне на заседании кафедры плохо отозвались о диссертации, которую месяц назад эти же сотрудники дружно расхваливали. Почему, что произошло? Оказывается, у диссертанта испортились отношения с ректором, у него неприятности, его обвиняют во всяческих грехах.

— Позвольте, но ведь вы же сами горячо хвалили, восторгались этой работой, говорили, что это вклад в электрохимию? — допытывался я у одного из сотрудников.

— Да, да,— возбужденно подтвердил он,— какое счастье, что мы не успели дать ему письменный отзыв.

— А ваши слова?

— Поди докажи, слова к делу не пришьешь.

Он искренне радовался, что и ему и остальным «так повезло». Между тем он считал себя порядочным человеком и у окружающих пользовался хорошей репутацией.

Издавна существует правило: честь чести на слово верит. И правила этого придерживаются как в делах, так и в быту. Можно привести немало тому примеров из русской классики. Как воспитывает в этом смысле чтение Л. Н. Толстого! Вот в «Войне и мире» полковой командир обходит строй и, подойдя к Долохову, начинает кричать, зачем на нем синяя шинель. Хотел было выругаться, но не успел.

«Генерал, я обязан исполнить приказания, но не обязан переносить...— поспешно сказал Долохов.

— Во фронте не разговаривать!.. Не разговаривать, не разговаривать!..

— Не обязан переносить оскорбления,— громко, звучно договорил Долохов».

Там же, через несколько страниц, Андрей Болконский резко одергивает офицера Жеркова, который позволил себе пошутить над разбитыми союзниками-австрийцами и их командующим Маком. Болконский в ярости говорит: «Мы... — или офицеры, которые служим своему царю и отечеству и радуемся общему успеху и печалимся об общей неудаче, или мы лакеи, которым дела нет до господского дела».

Критерии и нормы чести и, если угодно, убеждений, принципиальности во многом зависят не только от людей, но и от среды, общественной среды. Важно, как среда отнесется к тому человеку, которого уличила во лжи, к тому, кто позволяет себе неблагородно сказать о женщине, к взяточнику, к подлецу, кляузнику. Одно дело — закон, уголовный кодекс, другое дело — мнение окружающих людей. Важна среда, потому что если спросить отдельно человека, он в большинстве случаев осудит и вора, и кляузника, и лжеца. Но это теоретически, а вот проявится ли это хоть как-то практически? Будут ли, допустим, бойкотировать кляузника, перестанут ли подавать ему руку?

Я видел однажды, как на научной сессии академик Михаил Александрович Леонтович спрятал руку за спину и сказал Н. Н.: «Извините, не могу... Вы плагиатор, вы недостойный человек». Поступок этот вызвал волнение, в целом сочувственное, и можно было заметить, как повлиял он на общественное мнение. Н. Н. был заклеймен, кроме того, появилось как бы предупреждение... Не подать руки — в сущности, право, которым обладает каждый честный человек, и тем не менее акт этот почему-то редкий, требующий, как ни странно, мужества. Почему? Да потому, что не принято. Было принято, а теперь почему-то не принято. Поэтому трудно. Анну Аркадьевну Каренину, когда она ушла от мужа и стала жить с Вронским, не оформив своих отношений, перестали принимать в знакомых домах, даже ее появление в театре считалось неприличным. Таковы были правила того времени. Пусть несправедливые, ханжеские, но существовали правила, переступать которые не разрешалось никому, правила, соблюдаемые не законом, а обществом, средой.

Будучи на дне рождения у довольно известного художника, я обратил внимание на одну шумную пару. Выделялись они категоричными суждениями, перстнями и анекдотами. Вскоре выяснилось, что он работает «по линии ресторанов и кафе», она же, супруга его, «по линии стройматериалов» — неопределенно, но значительно. Художник мой был из потомственных интеллигентов. Отец его был архитектор, мать учительница, и деды его и бабки учительствовали, строили. Когда гости разошлись, остались свои, отец спросил художника, что это за парочка... Сын пожал плечами и сказал: жулики.

— Зачем же звал, сажал с нами? — спросил отец.— Существует же такое понятие — наш дом. Никогда мы не позволяли себе...

— А нынче я вынужден приглашать, потому как для моей работы приходится кое-какие вещи доставать через них. И платить за это надо уже не только деньгами, но и общением.

— Высокая цена,— сказал отец.— Когда ты сажаешь их за свой стол, ты их обеляешь, даешь им возможность слыть достойными людьми, они считают себя вровень...

— Э, да они считают себя выше нас всех.

Так отец с сыном ни до чего не договорились. Немало домов, где встретишься с подобной неразборчивостью. Не считается зазорным приглашать к себе людей с сомнительной репутацией, всякого рода «делашей», спекулянтов. За ними ухаживают, им дарят книги, картины, оправдывая себя тем, что — нужные люди.

Петр Леонидович Капица писал в одной из своих статей о значении здоровой научной среды для правильного формирования ученого. Он подчеркивал, что создание такой среды — дело более трудное, чем обучение талантливой молодежи или постройка больших институтов. Здоровая научная среда позволяет объективно оценивать человека независимо от научного авторитета, от должности, очистить научную атмосферу от загрязнения карьеризмом, тщеславием, трусостью, помогает беречь все полезное нашей науке. Ясно, что мнение здоровой среды заставляет ученого дорожить своей репутацией. Там, где нет такой среды, царит молчаливое соглашательство. Падают и моральные требования и принципы...

Честь — понятие активное, деятельное. Такова честь мастера, не позволяющего себе исполнить свою работу плохо. Относится это равно и к сварщику, и к хирургу, и к руководителю коллектива. В основе такой чести — не погоня за славой, а самоуважение.

Вспоминается Николай Сергеевич Зеленюк. С молодых лет он посвятил себя благоустройству леса. Закончив в 1953 году лесной техникум, восемь лет проработал в лесах Сибири. Заочно учился в вузе. Дипломный проект его был «Создание лесопарка в городе Юрге». Влекло не вообще к лесу, а к специальности «зеленого строителя». Получил он ее в Лесотехнической академии. Оставленный работать в Ленинграде, он со всем пылом взялся за сохранение и строительство лесопарковой зоны вокруг города.

Никаких тут дерзких новаций, всего лишь хотел осуществить то, что предусмотрено Генеральным планом. То, что положено, то самое, что должны были бы с него требовать.

Однако пыл его вызывал неодобрение. И чем далее, тем более. Удобное средство отделаться от беспокойного человека — реорганизация. Должность его сокращают, посылают таксатором в пригородный лесхоз. Но и там продолжает он биться за то, чтобы упорядочить лесное хозяйство, чтобы был один хозяин у лесов вокруг города, доказывает, что средства, силы, отпущенные для охраны, для расширения лесопарков, используют для озеленения внутри города. А леса стоят заброшенные, их не чистят, не благоустраивают. Поскольку все эти малоприятные вещи Зеленюк повторяет без устали вслух, неприятности у него нарастают. Его увольняют. Он добивается восстановления. Четыре раза его увольняли.

Время от времени его вызывал очередной начальник и допытывался: чего ему надо? Зеленюк начинает объяснять, но его снова спрашивают: чего ты добиваешься? Тебе лично чего надо? Все это, мол, прекрасно, но ты нам голову не дури, скажи, чего ты себе хочешь? Повышения? Оклад?..

Конечно, несправедливости не улучшали характер Николая Сергеевича. Сколько приходилось сидеть ему в приемных, сколько составлять записок! Много раз ездил в Москву, добиваясь не столько своего восстановления, сколько хлопоча о лесопарках.

Есть старая поговорка-насмешка: «Велика честь, коли нечего есть». Оказывается, велика, и в голоде и в холоде настоящие люди более всего дорожили своей честью. В этом я убедился, знакомясь с материалами по ленинградской блокаде. Условия, казалось бы, запредельные, человек с голоду погибает, а чести не переступил, не позволял себе обобрать ближних, взять по дороге из булочной довесок из общей пайки, умирает, но как человек, сохраняя свое достоинство.

Н. С. Зеленюка по всем его дорогам сопровождал, подмигивая и подманивая, компромисс. Милое такое легкое примирение. Что тебе, больше всех надо, нашептывало оно, ты сделал все, что мог, совесть твоя может быть спокойна, не надрывайся. Остановись, и наступит мир и благополучие. Тебе уже под пятьдесят... У тебя жена, дети...

Он не поддавался. Ни на какие сделки не соглашался. Следовательно, и себя старался ничем не запятнать, чтобы делу не повредить. Чистое дело требует чистых рук.

Я познакомился с Николаем Сергеевичем случайно. Он не пришел с жалобой. В его рассказе меньше всего обид. Он добровольно выбрал свою участь, решив, что, раз уж взялся,

надо терпеть. И терпит с достоинством, которое не позволяет бить себя в грудь, изображая героя или жертву.

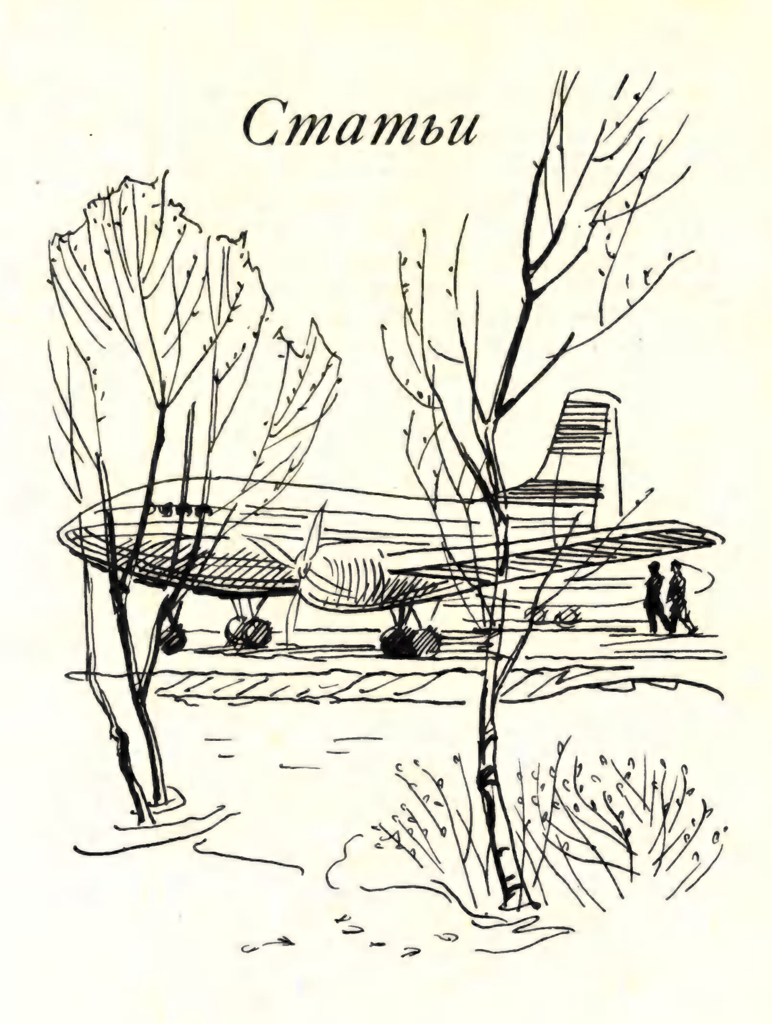
Что мешает ему отступить?

Удерживают его те принципы, которые облагораживают жизнь человека, придают ей смысл. Прочность их в том, что они основаны на любви к людям и к природе, ради которых и заботится он о лесопарках.

Мы много говорим о духовности, об идеалах. Но что такое идеалы в действительной жизни, как они выглядят? Практически, оказывается, они могут выглядеть скромно, так, как у Николая Сергеевича,— в виде живописных рощ и парков, которые удастся восстановить в пригородах Ленинграда. В виде ухоженной лесной красы, полной жизни, пения птиц и блеска листвы...

1983

Статьи



О КОМ НЕ ПИШУТ

Научно-техническая революция требует творческой инициативы, побуждает к поиску не только ученых, но и самые широкие массы производственников. И, может быть, эта сторона — одна из самых существенных в нравственном смысле. Потому что нигде человек не раскрывается так полно, богато и красиво, как в творческом труде, в труде, где он выступает не только исполнителем, но и созидателем, творцом нового.

Борьба за индустриализацию, строительство новой техники и нового человека — со времен «Цемента» Ф. Гладкова, «Гидроцентрали» М. Шагинян, «Скутаревского» Л. Леонова — стали одной из ведущих тем нашей литературы. Ее герои не имели предшественников. Советские писатели впервые в истории мировой литературы взялись за изображение труда нового человека. Они учились на опыте собственных ошибок и удач, на издержках так называемых производственных романов.

Для «производственных романов» наиболее типичным был конфликт «новатор—консерватор». В какой-то мере он отражал процесс, который происходил в промышленности. На фоне современного производства подобный конфликт выглядит если не устаревшим, то, во всяком случае, обедненным. Сфера нынешнего производственного романа расширилась. Сегодня заводской коллектив волнуют вопросы научной организации труда, социального планирования, экономики. Старое сплетается с новым в неожиданных ситуациях. Изменились функции рабочего, его образование, и это заставляет переоценить положения, которые еще недавно казались бесспорными.

В начале 1970 года я встретил инженера Г. Несколько лет назад он был известен в Ленинграде как один из передовых

рабочих. На своем расточном станке он добивался удивительных результатов. Опыт его работы широко пропагандировался, распространялся. Его стали уговаривать поступить в институт, учиться на инженера. Он колебался, но ему доказывали, что он должен расти, что надо идти вперед, что это естественное развитие человека, более того, что это типично для нашего времени: передовой рабочий вырастает до инженера. Г. окончил институт и стал работать технологом. Из него получился грамотный, хороший, но — как он сам не без горечи заметил — обыкновенный технолог. Он скучает по своему станку. Там он чувствовал себя на месте, это было его призвание, его талант.

Слушая его, я думал о том, как неверно зачастую мы оцениваем движение человека. Разве расти — это значит непременно стать инженером, а инженеру — кандидатом наук? Подобные упрощенные оценки бытовали и в литературе. Конечно, куда более сложно показать не этот должностной рост, а рост внутренний, рост умения, ответственности, рост творческой личности современного рабочего человека. Думается, это одна из благороднейших задач нашей литературы.

В некоторых романах и повестях последнего времени стало модным выводить ученых, например, молодых физиков. Их наделяют чисто внешними приметами, они упоминают Эйнштейна, Бора, кибернетику, теорию информации, щеголяют научными терминами. Но этими «опознавательными знаками», в сущности, все и кончается. Не стоит особых усилий переделать их в спортсменов или моряков. И труд и социальная принадлежность героев становятся лишь условным обозначением, ничего не меняя в их жизни.

Конечно, нелегко показать своего героя вне сферы его труда и так, чтобы при этом он оставался рабочим или ученым, чтобы мы могли представить себе, как он работает, особенности его дарования, его индивидуальность. Но решение этой сложной задачи, мне думается, расширяет возможности повествования, заставляет писателя вести исследование духовной жизни героя на более глубоких горизонтах.

Нельзя представлять себе научно-техническую революцию лишь как цепь блистательных открытий или как романтику творческих исканий и эффектных результатов. Прежде всего это кропотливый труд. Удача достигается ценой долгих лет, наполненных и разочарованиями и неудачами.

На любом современном предприятии, занятом выпуском, освоением новейшей продукции, неизбежен труд скучный, не-

творческий. В прекрасно оборудованном светлом цехе сидят сотни девушек и собирают полупроводниковые лампы. Здесь созданы все условия: продуманное освещение, кондиционированный воздух — от сборщика требуются точность, аккуратность, внимание. И все же, несмотря на хорошие заработки, текучесть в цехе велика. Главная причина — однообразная, скучная работа. Причина, казалось бы, благородная — уходят, теряя в заработке, уходят туда, где есть перспективы, где интереснее, то есть где можно полнее проявить свои способности... Они чувствуют даже некоторое моральное превосходство над теми, кто остается. Стремление к интересной, творческой работе естественно, но не смещаются ли здесь нравственные оценки? Человек, занятый повседневным, так называемым скучным трудом, достоин, думается, куда большего внимания. Подобный труд высок, ибо он исполнен в высокой степени чувства долга перед обществом, перед коллективом. Кто-то ведь должен...

Я мысленно обращаюсь к знакомым и близким мне энергетикам — дежурным по электростанциям, кабельщикам, эксплуатационникам. Что же дает им удовлетворение, что заставляет их со всей добросовестностью, ответственностью исполнять изо дня в день одну и ту же работу, лишенную разнообразия? При всей индивидуальности судеб и характеров здесь зачастую обнаруживаются мотивы наиболее возвышенные — понимание, допустим, важности бесперебойно, безаварийно обеспечивать энергией промышленность, ответственности своего участия в этом процессе. Чувства интимные, скрытые, редко выявляемые. Вот где, мне думается, возникает задача художественного исследования. Такое исследование открывает характеры с новым содержанием героизма, где мерою служит не только исключительный поступок, а и каждодневность усилий, годы самоотверженного исполнения долга... Научно-техническая революция, как никогда раньше, повышает роль исполнителя. Требования точности, надежности становятся сегодня решающими. Качество работы каждого определяет успех большого коллектива.

Считая само собой разумеющимся, что любой труд в нашем обществе почетен, литература тянулась прежде всего к тем, кто как бы наглядно олицетворял творческое начало,— к изобретателям, новаторам, борцам за передовые методы труда. Время таких героев не прошло. Они будут и впредь по праву привлекать внимание художников. Хочется лишь подчеркнуть, что реализация передовых идей да и сам творческий по-

иск ведутся сегодня не усилиями одиночек, к нему причастных, в нем соучаствуют десятки производств, тысячи людей. Личная их работа может быть однообразной, исполнительской, но она необходимое звено творческого процесса.

Много ли можно насчитать в галерее литературных героев просто рабочих, мастеров, инженеров, заслуга которых лишь в том, что они делают свое дело вовремя, тщательно, будучи лишь косвенно сопричастными к великим творческим достижениям нашего общества.

Литература наша, а вместе с ней и кино и театр зачастую обходят своим вниманием эти важнейшие проблемы труда. Огромная сторона трудовой жизни остается как бы без наблюдения, без художественного раскрытия. Картина действительности становится неполной...

...Электронно-вычислительная машина, лазеры, телеуправление, новые материалы, новые способы обработки — все революционные преобразования рождают изумление перед мощью человеческого разума. Возникает и новый строй чувств, и новая романтика отношения человека к машине, ощущения собственного могущества и ответственности.

В свое время так называемый деревенский очерк оказал серьезную помощь писателям, занятым темой нынешней деревни. В этом смысле успехи «промышленного очерка» (термин еще более условный) куда скромнее, очерк пока робко обходит острые проблемы производства, науки. Здесь смелее и интереснее выступают сами производственники и ученые. Но статьи, даже лучшие, написанные с публицистическим мастерством, не заменяют искусства очеркиста.

В какой-то мере эти недостатки восполняют книги, написанные специалистами. Здесь соединение воспоминаний, эссе, научно-популярной литературы... Трудно провести тут четкие границы. Материал подобных книг, поданный «из первых рук», поражает неожиданностью невыдуманных конфликтов.

Личный писательский опыт всегда ограничен. К такой сложной теме, как научно-техническая революция и литература, у каждого писателя свои требования, свой подход. В этом многообразии и состоит богатство литературы. Грандиозные преобразования, творимые советским обществом, выдвигают новые требования перед литературой, перед каждым писателем, мечтающим создать произведения, достойные революционных деяний своего народа.

1971

ПРЕДСТАВИТЬ НОВУЮ ЭПОХУ

...К концу жизни Пушкина в России уже строилась железная дорога. При Достоевском на улицах Петербурга вспыхнул электрический свет. А при Льве Толстом был уже кинематограф. Но Пушкин продолжал писать о станционных смотрителях, а герои Достоевского не задумывались над наступлением новой эры техники. И только в последние десятилетия, когда поток поразительных открытий человеческого разума проник во все сферы жизни, литература стала отзываться на эти всеобъемлющие изменения жизненного уклада.

Космические путешествия, генная инженерия, сверхзвуковые скорости, пересадка сердца, научно-техническая революция опрокидывают привычные и устоявшиеся понятия, открывают мир неслыханных возможностей, фантастически всесильный, где обычный здравый смысл человека не может помочь представить новую эпоху.

Влияет ли это на литературу? А может быть, она остается суверенной? Недаром так много и часто обсуждается ныне взаимодействие НТР и литературы. Здесь слышатся самые разные суждения. Одни оценивают это влияние высоко, другие его отвергают, но характерен непрекращающийся интерес к этой проблеме. И этот интерес свидетельствует о том, что как бы то ни было, но, очевидно, художник в силу своей отзывчивости, в силу драгоценного своего качества удивления перед мощью человеческого разума ныне уже не может оставаться безразличным к этому яростно меняющемуся облику жизни.

За последние годы появилось много книг, где жизнь науки и ученых раскрыта с подлинной драмой идей, а мир лабораторий и институтов предстает в поэзии и романтике творческого труда. В еще большей степени это относится и к заводской жизни, к героям инженерной технической мысли. Это очень сложно — ввести читателя в производственные будни современного производства так, чтобы это было интересно, чтобы при этом не потерять человека. И более того, чтобы произошло открытие героя в его привязанностях и страстях, потому что настоящая литература всегда прежде всего связана с открытием нового характера.

Еще большей трудностью на этом пути становится, на мой взгляд, чрезмерное наше преклонение, робость, слепое

восхищение перед успехами и силой этой самой НТР. Увлеченные ее достижениями, мы не хотим замечать потерь и ранений, которые приносит она. Даже когда мы полностью открещиваемся от этой революции, считая, что она сама по себе, а литература сама по себе. К сожалению, это не совсем так. Даже в наш старинный, казалось бы, неизменный труд писательства вторглась новая технология — и не самым лучшим образом. Мы не заметили, как по мере совершенствования полиграфии и издательского дела срок выпуска книги увеличился, и во много раз. Ныне, с того момента, как автор приносит рукопись издателю, и до выхода в свет проходят не месяцы, а два или три года. Казалось бы, новая техника, а эта техника не сократила сроков выпуска книг.

Сегодня автору почти не позволено править верстку. Отнято это исконное право, и можно подумать, что машина командует человеком.

Этот пример не случаен: странно сместилось все, и кажется, что не типография существует для писателя, а писатель для типографии.

Новая техника много дала человеку, но она далеко не всемогуща. Надо заметить, что наши классики всегда несколько иронично относились к успехам науки и техники. Пушкин говорил:

Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинув горы, под водой
Пророем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.

Критическое отношение отнюдь не умаляет значения технического прогресса, оно лишь помогает выявить его сильные, слабые стороны для общественной жизни, а главное, помогает понять роль искусства в этом прогрессе.

Мне кажется, говоря об успехах писателей, пишущих о деревне, надо учитывать, что у них, в их произведениях есть преимущество печали, гнева и любви. Слова Некрасова «кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей» заключают глубокую истину, что истинная любовь порождает и печаль и гнев. Конечно, можно упрекнуть и деревенскую прозу в том, что идиллической печали там больше, чем деятельного гнева, но куда более этого упрека заслуживает так

называемая городская литература, или рабочая тема, как угодно называйте. Она воспевает, она описывает борьбу за новое, она занята героическими подвигами, одолевающими стихию, но в ней так недостает боли и злости на то, как плохо мы иногда работаем, гневных чувств, которые мучают сегодня каждого честного заводского труженика, когда он встречается с бесхозяйственностью, с воровством, с очковтирательством, равнодушием, ложью. Одного гнева здесь недостаточно, одно обличение — это еще не искусство. Искусство требует, очевидно, еще и печали, и любви, в том числе и любви к городу, любви к заводу, к красоте и энергии заводской трудовой жизни.

Сила «Прощания с Матерой» Распутина в том, что любовь к земле предков и красоте родных мест порождает печаль и страдание..

Противоречие научно-технической революции состоит в том, что она высвобождает человеку время для отдыха, облегчает труд, но она незаметно приучает человека к прагматизму и делает его излишне расчетливым, рациональным. А нравственность далеко не всегда требует мотивации. Сострадание, отзывчивость к несчастью, сочувствие к старости, к обиде не могут быть мотивированы. И литература всегда сострадала к людям, казалось бы, мало что определяющим, униженным и оскорбленным, к людям, обиженным судьбой. Через это немотивированное сострадание человек находит в книге свою связь с другими людьми.

Правомерна любая причина, которая побуждает писателя к работе, и земная и неземная, и желание помочь крестьянину, и ненависть к расизму, и борьба с пьянством, и интерес к новым открытиям. Все оправдано, все достигает цели, если это литература, которая остается и перечитывается поколениями.

Разоблачение ханжества, пустоты жизни, социальной несправедливости — все это литература делала и делает. Но все больше и больше ощущается нужда в позитивных идеях. Не хватает книг о благородстве, о красоте человека, о высоких жизненных его идеалах. Несмотря на отрезвляющую силу литературы «дегероизации», потребность в любимом герое не изжита, она растет.

Мы часто предпочитаем преодоление страданий, но великая роль литературы в том, что она не оставляет человека и тогда, когда он слаб и когда горе его безутешно. Мы вплотную столкнулись с этим, работая с Александром Адамовичем над «Блокадной книгой».

Техника окружающая изменяется быстро и все быстрее, а человек изменяется медленно. Он становится образованнее, он умеет обращаться с более сложными машинами. Посмотрите, каких рабочих сегодня выпускают ПТУ. В Ленинграде особенно хорошо видно это, потому что на протяжении последнего десятилетия Ленинград стал как бы полигоном создания нового пополнения рабочего класса. Формируется рабочий нового типа, имеющий среднее образование, широкий профиль. Не завод готовит для себя рабочего, а государство готовит рабочего для промышленности. И вместе с тем это часто тот же подросток с его незащищенностью, неумением жить, чувствующий несоответствие между могучей техникой, которая его окружает, и миром своих страстей.

Интенсификация производства, а вместе с тем и жизни создает и некий духовный вакуум. Появляется дефицит искусства — человек чувствует нехватку красоты, нравственности, и люди пытаются как-то уравновесить искусством недостающую духовность. Всегда ли может современное искусство выполнить это требование? Оно стремится к этому. Вот откуда в нашей прозе сегодня тяга к нравственным проблемам, к героям, исполненным внутренней жизни, к героям добра и мысли. Они хотят понять сегодня в этой жизни, несущейся на такой стремительной скорости, как жить, как любить. На что человек имеет право? И в этой потребности состоит великая роль нашей литературы и ее будущее.

Чем дальше будет развиваться научно-технический прогресс, тем больше, я уверен, будет нужда в искусстве. Может, сегодня книгу теснят телевидение, кино, легкая музыка, но все равно ничто не заменит человеку книгу. И чем далее, тем больше общество наше будет нуждаться в искусстве, в поэзии, в прозе, с их тайной, с их чудом воздействия, часто необъяснимым и единственным.

Представить новую эпоху... Заглянуть в день завтрашний... Многое сегодня мы уже научились видеть, думая о будущем, заботясь о поколениях людей, которые придут нам на смену. Собственно говоря, наш труд — рабочих и ученых, инженеров и писателей, сельских тружеников — труд всех советских людей устремлен в будущее, направлен на то, чтобы сделать жизнь краше. Надо мечтать... В этой ленинской фразе нам видится четкий образ мышления советского человека вообще, в том числе художника и писателя.

1980

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ

Известный французский писатель Владимир Познер написал книгу «Нисхождение в ад». Он составил ее из рассказов узников концлагеря Аушвиц (Освенцим). В книгу добавлены свидетельства эсэсовцев, работавших в этом лагере, выдержки из личного дневника врача гестапо.

Владимир Познер начинает свою книгу без всяких предисловий с рассказа Сюзанны Фальк, шестнадцатилетней девочки, которую арестовали в 1942 году, и далее следует рассказ за рассказом — Мари-Клод Вайян Кутюрье, Жорж Веллерс... Десятки, сотни рассказов. День за днем. Смерть за смертью. Бесстрастно, с пытливостью историка, восстанавливает Познер жизнь и гибель десятков тысяч узников этого лагеря истребления. Как работали фабрики смерти. Как заключенные — будущие трупы обслуживали эти фабрики. Таскали трупы к печам, вывозили пепел. Что за жизнь в это время шла в бараках. Люди болели, чинили одежду, искали, где бы помыться. Быт тысяч людей, стоящих на очереди к печам, к газовым камерам, был ни с чем не сравним. Но сколько человечности умудрились сохранить эти женщины, дети, мужчины, согнанные сюда со всех стран Европы,— венгры, итальянцы, французы, русские, немцы, евреи, голландцы. Подробности про еду, про обувь, про работу, про то, как спали, про самоубийства. Единственный, кто сопровождает Познера в этих страшных воспоминаниях,— Данте, идущий сквозь ад. Они как бы вместе нисходят круг за кругом в глубины ада, и фантазия великого Данте отступает перед коллективным творением фашизма.

Смесь всех наречий, говор многогласный,
Слова, в которых боль, и гнев, и страх,
Плесканье рук, и вопль, и хрип неясный
Сливались в гул, без времени, в века... [1]

Недавно я прочитал в немецком журнале, что многие молодые немцы доказывают, не считают, не полагают, а доказывают (!), что никаких концлагерей не было, фабрик уничтожения не было, все это пропагандистские трюки. Не могло такого быть в Германии. Не могли такое делать немцы. И не только молодые не верят, и те, кто старше, те тоже вторят этим

[1] Данте. Божественная комедия. Ад. Песнь III, с. 25—28. Перевод М. Лозинского

голосам все охотнее и дружнее. Многие вполне искренне отвергают все свидетельства, все фотографии, кинокадры, документы. Слишком чудовищна правда, та, что творилась и на самой немецкой земле, и в Освенциме, и в других концлагерях. По мере того как проходит время, признавать за правду эти картины становится все труднее.

«По всей Европе шли облавы, и женщин и мужчин ссылали в Аушвиц. В живых оставляли лишь тех, кто был достаточно силен, чтобы работать все лето. За это время люди умирали во множестве. Самые крепкие, выдерживающие по шесть месяцев, к этому времени были уже так истощены, что попадали в ревир[1]. В это-то время, к осени, и производились массовые селекции, дабы избавиться от бесполезных ртов во время зимы. Всех сильно исхудавших женщин, так же как и всех тех, у которых болезнь затягивалась, беспощадно отсылали в газовые камеры. Евреек же отправляли в газ почти ни за что, отправляли даже тех, у кого была чесотка...»

Доктор Владислав Фейкель свидетельствует:

«Людей убивали уколами, поначалу пробовали бензин, но выяснилось, что это непрактично. Знаю случаи, когда после укола смерть наступала лишь через три четверти часа из-за отека легких. Стали подыскивать более быстрый метод, применили перекись водорода, затем фенол».

Владимир Познер разыскивал по всей Европе уцелевших узников Освенцима и записывал их свидетельства. Казалось бы, за почти полвека об Освенциме собрано и написано куда как много. Нет и еще раз нет. Еще больше свидетельств невысказанных, непрозвучавших хранятся в памяти людей. Они так и уходят с ними в Лету, не сохраненные бумагой, записью, пленкой... У каждого заключенного был свой рассказ — ни на что не похожий, отдельный. Рассказы не повторяются. Я убедился в этом, когда мы с Алесем Адамовичем собирали свидетельства ленинградцев для «Блокадной книги». Нам поначалу казалось, что достаточно выслушать сорок — пятьдесят блокадников, и материал будет исчерпан. Но вот мы прослушали пятьдесят — шестьдесят человек, и стало ясно, что повторов нет, открывались все новые и новые повороты блокадного бытия, неведомые нам. Сто, сто пятьдесят человек мы записали, двести, и все равно каждый рассказ был отдельным, каждая судьба имела свою трагедию, свои подробности жизни, драгоценные, неизвестные. Двести рассказов... мы остановились

[1] Лагерный лазарет.

только потому, что поняли: захлебнемся, не справимся с обилием материала.

Я позволил себе привести здесь личный пример лишь для понимания этого метода сбора материала в документальной литературе. Личные свидетельства участников даже спустя десятилетия сохраняют ценность первоисточника. Они, конечно, нуждаются как бы в сепарации, в просеивании, ибо память с годами вбирает в себя, присваивает виденное в кино, вычитанное в книгах. Но все равно есть в любом воспоминании крупица незабываемого. Она сверкает нестерпимым светом подлинности и небывалости.

У каждого свое, потому что каждая жизнь неповторима, как неповторимы судьбы, характеры... И после освобождения все происходило по-разному. Сюзанна показывает автору синие цифры на левой руке: «А5654». Другие сводят, вытравляют свои лагерные номера, а она не собирается сводить. Она оставила клеймо. Считает своим долгом перед теми, кто не вернулся.

Документальная проза типа книги «Нисхождение в ад» — это искусство отбора и монтажа материала. Я не случайно говорю п р о з а. Это не репортаж, не сборник свидетельств. Это именно проза. Писатель соединяет голоса в хор, создает ораторию. В ней звучат и арии, и речитативы, и хоры, и все соединено оркестром, авторской речью, интонацией, его, писателя, замыслом...

В этой книге участие автора минимально. Он почти незаметен, он дает выговориться своим героям, время от времени звучат его вопрос, скупые пояснения о рассказчике, и опять он умолкает, но он здесь. Молчание его ощущается, оно слышимо. Его молчание — это застрявшие в горле слова, которые сейчас слабы и беспомощны. Литература рядом с этими рассказами становится литературщиной, писательское вмешательство может обернуться фальшью. Владимир Познер очень точно чувствует это. Единственный мотив, литературный мотив, который звучит в книге,— это строфы из Данте.

Читать книгу подряд невыносимо тяжело. Время от времени утешаешь себя тем, что все эти ужасы — история. Прошло сорок лет. Но представляется, что миновали столетия, читаешь нечто средневековое. Однако что это — Менгеле? Имя это только что я слышал, оно напечатано было в сегодняшней газете, 1984 года! Здесь, в книге, Менгеле на перроне Аушвица отделяет близнецов и карликов среди прибывших. Он отправляет их в специальный барак. Близнецов умерщвляют одновременно, их можно подвергнуть одновременному вскрытию.

«Приподняв крышку, вижу двухлетних близнецов. Их несут в зал и кладут на стол препарирования. Открываю досье. Читаю подробные клинические исследования, сопровождаемые рентгеновскими снимками, рисунками... Смертью своей они должны разрешить загадку размножения расы, что даст возможность продвинуться в исследовании законов сохранения высшей расы, избранной для подавления других. Реализация этих экспериментов поручена доктору Менгеле — главному медицинскому шефу концлагеря Освенцим. Его цель — воспроизведение чистокровных арийцев в количестве, достаточном для замены народов Чехии, Венгрии, Польши, обреченных на уничтожение на территориях, объявленных жизненным пространством третьего рейха».

Менгеле устроил парад-шествие цирковой группы лилипутов, все были в сверкающих блестками костюмах; ничего не подозревая, они проделывали свои трюки на площади лагеря, танцевали.

«Смех, музыка, эти карлики, этот маскарад,— вспоминает одна из уцелевших узниц,— все это превратилось в такой ужасающий спектакль, что все дрожат от страха. «Шлюсс!»—внезапно раздается голос Менгеле, и все разом смолкает. Некоторое время еще видна фигура красавца доктора, пересекающего лагерштрассе в сопровождении маленьких, пищащих жизнерадостных существ. Кто мог думать об уничтожении этого маленького народа? Менгеле смеется вместе с ними, а затем самолично отводит эту веселую доверчивую группу в газовую камеру».

Менгеле... Сегодняшние газеты сообщают, что он, оказывается, жив, здоров. Он проживает где-то в Перу, наезжает время от времени в Штаты, в Вашингтон. Его давно выследили, и тем не менее он остается на свободе. Милый старичок, хорошо обеспеченный, чем-то занятый, какими-то, наверное, безобидными делами. И неуловимый. Проворный. Все это нисхождение в ад, значит, было недавно, в нашем веке, еще не конченном, не сданном в историю. Более того, оно еще пребывает в человечьем обличии, существует, тлеет, раз живы, не судимы, расхаживают по земле эти менгеле. Не он один.

Вдруг, неожиданно книга Познера становится не историей— она повисает, как мост, над пропастью, отделяющей нас от минувшего, казалось, канувшего навеки.

В книге нет предостережений. Она просто повествует о том, как это происходило, эпически спокойно, без гнева и печали, как бы свидетельствуя перед Высшим судом. Не только

интонация, многое другое в этих рассказах напоминает замечательную книгу «Я из огненной деревни», созданную белорусскими писателями Алесем Адамовичем, Янкой Брылем и Владимиром Колесником. Правда, они не пользовались печатными свидетельствами — их не было. Книга составлена только из записанных авторами рассказов. Но тем более поражает сходство того, что творилось в Белоруссии и в Освенциме, сходство бесчеловечного духа фашизма, абсолютной недоступности никакому состраданию, никакому движению души. Фашисты сжигали людей в белорусских деревнях точно так же, как в Освенциме. Фашизм был одинаков — что в Польше, что в Белоруссии,— фашизм повсюду один и тот же, в любой стране.

Прежде чем людей втолкнут в газовую камеру или выстрелят им в затылок, убивали в них дух к сопротивлению, превращали их в униженных, покорных тварей. Механизм этот был разработан, а может, постепенно развивался во всех деталях, начиная с того, как не давали мыться, как люди погружались в грязь, в безразличие, как они подбирали с земли картофельную шелуху, объедки...

«У нас была одна миска на пятерых и ни одной ложки. Как же делить? Например, суп? Наливают пять черпаков супа, разбирайтесь как хотите! Другого решения не было — по глоткам. Говорили: «Каждому по три глотка!» Лакаешь три глотка и наполняешь рот еще немного, но не проглатываешь сразу, чтобы другие не видели. Передавали миску дальше, а те проделывали то же самое».

Вся, вся лагерная жизнь состояла из этих подробностей унижения, несправедливостей, в которых и нужды-то особой не было, логики не было, потому что заключенных можно было уничтожить и без того. Но фашизм—это человеконенавистническая идеология, им надо было ежедневно утверждать свое презрение и ненависть к людям.

Книга В. Познера вскрывает ненасытную, никогда не удовлетворяемую ненависть — повседневную суть фашизма. Лагерь давал возможность для этого, ничем не сдерживаемого разгула фашистских идей.

Мы встретились с Владимиром Познером в Берлине, и я сказал ему, что читаю его книгу. Мы говорили о фашизме. Я — о том фашизме, который был виден нам из окопов под Ленинградом, в танковом триплексе, у стен Кёнигсберга, он, Познер, — о фашизме концлагерей. Мы сидели с ним до поздней ночи. Он рассказывал о своих последних поездках в Южную Америку. Несмотря на возраст, он непрерывно ездит, он

все время в дороге. Рассказывал о своих приключениях, об экзотике Перу, о своем детстве, но всякий раз мы возвращались к фашизму, к войне. Мы не хотели говорить об этом, и все равно нас «сносило». Наверное, потому, что это так связано с угрозой новой войны. На этот раз война, третья мировая, направлена уже против всего человечества, ее адрес прост — Земля, люди.

В последней, заключительной, главе «Нисхождения в ад» рассказано о приходе советских войск, освободивших заключенных лагеря. Война все время ощущается в книге, война, которую вела наша армия с немецким фашизмом, приближалась к Освенциму. Читая книгу, я вдруг почувствовал, как наша Великая Отечественная война из войны самозащиты, отпора оккупантам превращалась в войну освободительную для народов Европы. Мы, солдаты, тогда, в сорок третьем — сорок четвертом годах мало знали об ужасах фашистских концлагерей. И только по мере наступления по Европе начинала проступать для каждого великая миссия нашей армии.

Читая книгу Познера, видишь, как ждали во всех бараках русских, прихода русских, значит, освобождения; видишь, чего стоил каждый час в этот последний период войны. «Нисхождение в ад» напоминает всем людям о подвиге советских солдат, о тех, кто освобождал европейцев от фашизма.

Книга Познера предстает перед нами как экстракт, эссенция, отжатая художником. В ней, может быть, впервые сконцентрированы до жгучести сущность фашизма и, с другой стороны, возможности человеческого духа, находившего в себе силы для сопротивления. Даже когда оно не было активным сопротивлением, люди отстаивали в себе человечность, они не расчеловечивались — каким-то чудом они сохраняли в себе чувство дружбы, любви к этому миру, к его красоте, к его краскам и запахам.

Победа над фашизмом, сорокалетие которой мы празднуем,— это не только майские дни сорок пятого года. Победа складывалась из многих малых побед по дороге к Берлину. В конце января 1984 года исполнилось сорок лет со дня освобождения советскими войсками узников Освенцима. Освенцим давно стал символом фашистского зла — зла гитлеровского нацизма,— и хотя не было боев за Освенцим, но освобождение концлагеря Аушвиц, его ликвидация стали тоже одним из символов Победы.

Наши войска шли дальше — на Германию, впереди было несколько месяцев ожесточенных сражений, и то, что предста-

ло тогда в этих страшных бараках Освенцима, в раскрытых воротах складов, забитых человеческими волосами, в этих печах и газовых камерах, открыло перед всем миром участь Европы,— уготованную ей фашизмом угрозу уничтожения народов, от которой избавлял их советский солдат.

1984

ОТСУТСТВИЕ ВЫБОРА

В декабре 1981 года я сидел в зале гостиницы «Штадт-Берлин», слушал речи писателей, и странное чувство все сильнее охватывало меня. Все говорили об угрозе новой войны. С разных точек зрения писатели из разных стран высказывали озабоченность растущей угрозой войны: Герман Кант и Гюнтер Грасс, Стефан Хермлин и Роберт Юнг, Криста Вольф и Томас Браш. Разговор шел на немецком языке, поскольку главным образом за этим столом встретились писатели обеих Германий — Восточной и Западной. Были там писатели Австрии, Дании, мы, советские писатели, но и для нас это была прежде всего встреча, и спор, и единодушие двух немецких литератур.

В конце концов ничего тут не было исключительного, не раз я принимал участие в подобных форумах, посвященных борьбе за мир. И все же внезапно открывшаяся странность происходящего мешала мне. Передо мной возникли лица моих товарищей-танкистов, ребят из нашего экипажа — Морозова, Фролова, Иванченко, всех, кто сражался под Ленинградом, а затем под Кенигсбергом. Что бы сказали они, узнав, что пройдет несколько десятилетий и я буду сидеть не где-нибудь, а в Берлине, и буду вместе с немецкими писателями обсуждать угрозу новой мировой войны? Неужели это закон человеческой истории?

Все мое поколение прошло через войну. Сейчас иногда даже среди фронтовиков, да и в литературе, военное прошлое предстает в романтическом ореоле, порой мы вспоминаем о войне как о молодости — с некоторым умилением. Но ведь мы же лучше всех других ведаем, какой страшной бедой она была для каждого из нас, для всего нашего народа. Выступали Томас Браш, Юрий Беккер, я слушал их и думал, что разница наших поколений состоит не в том, что я воевал, а они нет. Скорее разница в другом, мы становились взрослыми, мы об-

ретали себя в *послевоенной* жизни. Они — в *предвоенной.* Послевоенная жизнь, исполненная надежд, счастья обретенного мира, постепенно, незаметно перешла в предвоенную эпоху. Это тяжелое время, это бедствие, которое гнетет, деформирует человеческие души. Люди начинают жить одним моментом, теряют интерес к будущему. Борьба за мир — это борьба за разоружение. Это бесспорно. Но этого мало. Человечество, и прежде всего в Европе, должно уйти из поля предвоенного напряжения. В иные заботы и чувства. В заботу о нашем общем ковчеге — Земле, в борьбу с болезнями, голодом, за улучшение жизни людей. Роберт Юнг был прав, говоря, что понятие мира, всеобщего прочного мира плохо представимо людьми. Воображение *мира* неразвито. Люди должны научиться видеть в красках, подробностях не только ужасы и страхи ядерной войны, но и естественность, красоту мирной жизни планеты, сосуществование разных систем, где споры решаются не оружием. Тогда люди представят себе, что такое разоружение, что оно реально несет с собою, какую иную жизнь, иное существование оно обещает народам. Это не утопия. Но если даже кое-кому и кажется утопией, то что же, люди должны иметь утопии. Утопии всегда обладали реальной силой, они помогали людям бороться.

В современной войне разница между действиями агрессора и ответом обороняющейся стороны составляет несколько минут. Юридически невозможно будет определить виновника. Поэтому так важно исключить возможность возникновения войны, нажатия кнопок, убрать эти кнопки. Равновесие ужаса сохраняет мир, говорил Гюнтер Грасс. Это звучало эффектно и во многом справедливо, но одна вещь мешала мне. Обе системы, капиталистическая и социалистическая, рассматривались как бы симметрично, как противники равной опасности, как дуэлянты равноправные. Нет, капитализм и социализм как источники военной опасности нельзя ставить на одну доску. Против этого и история и смысл существования обеих систем. Тут нет симметрии.

Война не рок, она противоестественна, как самоубийство. Когда-нибудь наше время будет считаться варварским — как можно было тратить такие средства впустую, создавать химическое оружие, нейтронную бомбу, бесчисленные военные базы, сколько впустую истрачено ума, жизней, сил...

Мне более всего жаль таланта ученых, истраченного на создание нового оружия. В этом смысле литература, искусство сумели сохранить сколько возможно свою гуманистиче-

скую природу. На берлинской встрече впервые за много лет ученые сидели за одним столом переговоров с писателями. Надо признаться, что мы несколько отвыкли от такого общения, и это чувствовалось. Выступления ученых мне показались лишенными личного, собственного понимания опасности. Они произносили истины и факты столь объективные, что в них исчезала собственная судьба и позиция. У каждого своя возможность борьбы за мир, борьбы с войной, у каждого свое чувство вины, свое понимание равнодушия. У ученых и писателей есть особые возможности действий, свои слова, свой путь к сознанию или душе современного человека. Путь этот в свое время прокладывали А. Эйнштейн, Н. Бор, Жолио-Кюри, Дж. Бернал, Б. Рассел, но в последние годы достигнутое ими не было продолжено. Утрачена доступность языка, ясность своих стремлений.

Берлинская встреча была знаменательной, может быть, историчной. На ней царила удивительная свобода и резкость диалога, обычно сглаженного с обеих сторон. Мы не старались достигнуть каких-то всех устраивающих и никому не нужных резиновых формул. В наше время лучше спорить, ссориться, чем молчать. Ничего нет хуже молчания. Стало ясно, что важно сейчас не столько примириться, сколько научиться слушать друг друга, интересоваться чужим мнением, понять, что другой человек, другие люди, другой народ может мыслить иначе. Но ясно было и то, что борьба за мир, как бы ее ни понимать, самое насущное в жизни народов. Ничего нет важнее мира, нет иных, более важных ценностей и нет иного выбора.

1982

О ВРЕМЕНИ И О ЧЕЛОВЕКЕ

I

Самолет летел с Восточного побережья Соединенных Штатов на Западное. Это был самолет американской авиакомпании.

В положенный час нам дали обед. На подносе лежал столовый прибор: ложки, вилки, ножи, маленькие ложечки. Все это было изготовлено из пластмассы цвета слоновой кости —

полупрозрачного, гибкого, благородного на вид материала. Такими же были и тарелки, чашки. После обеда весь этот красивый сервиз (назовем его так) подлежал уничтожению. Его не мыли, не сушили — это было невыгодно. То был набор предметов для одноразового пользования. Глядя на эти искусно сделанные вещи, жаль было их короткой жизни. Я не понимал, как можно уничтожать такие удобные и прелестные предметы. Но затем я подумал: мы долго привыкали жить экономно и нам кажется непозволительной роскошью уничтожать такие изделия. Этим я себя успокаивал — и успокоил.

Спустя какое-то время мой внук увидел, как я выбрасываю коробку из-под заграничных духов, великолепно сделанную, обитую внутри шелком. И шестилетний ребенок пришел в ужас оттого, что я могу выбросить столь красивую вещь. Он схватил ее, утащил к себе, хотя не знал, на что и как ее приспособить. Его ужас, его возмущение было чувством совершенно непроизвольным и здоровым. Я вдруг понял, что то мое ощущение жалости к выброшенным приборам на американском самолете тоже сродни этому чувству и идет оно, наверное, не от бедности, а от неутраченной, может быть, еще естественности.

Мы погружаемся в бытие, где вещи не наследуются, мода быстро старит их, они исчезают, ничего не оставляя — ни воспоминаний, ни сожалений; их сменяют новые вещи, которые исчезнут так же быстро. Предметный мир не связывает нас с прошлыми поколениями, не сохраняет родственных связей. Мы начинаем жить в мире всегда новых вещей.

Школьник, который решает уже с первых классов все задачки с помощью карманного компьютера и поэтому не умеет ни извлекать корни, ни вычислять логарифмы,— за него все делает машина; взрослый, который, придя с работы, садится за телефон, другой рукой включает телевизор, а перед ним еще раскрыта газета, а в углу напевает радио,— кто этот человек? Что он, Юлий Цезарь? Нет, это мы. Ребенок, у которого первая игрушка — автомобиль, для которого телефон привычнее, чем воробей,— чьи это дети? Это же наши дети.

Человек, который не написал за свою жизнь ни одного большого письма, не видел ни одного восхода, не просидел и часа на кладбище в тоске и горе, не жил в одиночестве и не знает наизусть ни одного стихотворения,— кто это? Откуда мы узнаем в них знакомые черты?

Дежурный инженер на электростанции, в распоряжении которого миллионы киловатт, который снабжает энергией гро-

мадный промышленный район; диспетчер аэропорта, который непрерывно принимает решения, связанные с движением самолетов, и от памяти, от реакции которого зависит жизнь сотни пассажиров,—все это ситуации, проблемы, рожденные развитием техники последних лет; это обстоятельства психологические и нравственные, которые непрерывно воздействуют на душу человека. Они тянут в разные стороны — возвышая личность, обогащая ее и уменьшая и обесцвечивая. И надо попробовать понять и разобраться, что же происходит с человеком в этом быстро меняющемся мире.

За какие-нибудь последние двадцать лет мы стали видеть Землю глазами космонавтов — голубой шар со всеми его континентами и океанами. Школьный глобус ожил. Появилось космическое ви́дение и космическое мышление. Земля ощутилась частью солнечной системы. Мы увидели ее издали во всей ее красоте и беззащитности, удивительной приспособленности для счастливого человеческого существования. Это космическое мышление породило иное ощущение природы, всего живого, населяющего Землю.

Экран телевизора не просто разновидность коммуникаций или средство для информации. Когда по телевидению показывают, скажем, международный футбольный матч, его смотрят одновременно сотни миллионов людей во многих странах. Единовременность восприятия, общие переживания порождают странное новое чувство единства разноязычных народов. Люди различных взглядов, разной жизни соединяются у этого экрана по все более частым поводам. Это касается и олимпиады, и совместных космических радостей человека, и политических событий, требующих нового политического мышления.

Самые древние профессии изменились. Как и сотни лет назад, строитель возводит дома, однако он успевает при своей жизни увидеть результаты своих трудов завершенными неоднократно. Он видит десятки построенных им сооружений. Это не тот строитель, который приступал к возведению собора святого Петра, зная, что никогда не увидит его оконченным при жизни. Все стало проще. Исчезло понятие выходного костюма. Рубашка ныне не проблема ни для бедного, ни для богатого. Все вокруг личности быстро меняется — карта мира, скорости, аппаратура; спутники могут летать над любыми странами. Меняются условия труда. Они меняются при жизни человека несколько раз — меняются станки, ЭВМ, автомобили, меняются марки холодильников, телевизоров, радиоприем-

ников. Что остается неизменным? Книги, картины, пластинки. Вот что любопытно: Дон Кихот верен нам, и Рублев, и Глинка...

Внуки тех, кто работал напильником, топором, паяльной лампой, на маленьком токарном станке,— внуки их сегодня сидят в кабинах мощных экскаваторов, управляют тракторами «Кировец», могут реанимировать — вернуть жизнь человеку, у которого наступила клиническая смерть. В их руках несравнимые мощности, энергия, температуры. Что он чувствует, этот человек? Он чувствует совсем иную ответственность. Это другая психология, чем у того, кто работал молотком или ломом. На ленинградском заводе «Электросила» станочник обрабатывает детали для генератора в миллион киловатт. Если он «запорет» такую деталь, это потери и громадной стоимости, и сроков, и энергии, потери, неисчислимые по сравнению с прошлой ответственностью. Естественно, что возросли эмоциональная нагрузка, напряжение. Огромен объем информации. Все это накладывает на человека новые обязательства, повышает его общественное самосознание, заставляет видеть себя иначе, относиться к себе с уважением и интересом. Он знает свое могущество.

Но тут же возникает и другое — личность начинает иногда цениться в первую очередь по ее знаниям, по ее способностям — научным, техническим, организаторским. Общительность, доброта, правдивость — то, что так украшает жизнь и так нужно окружающим людям,— в этих условиях формально не учитываются, меньше значат, чем умение обслужить машину и дать норму. Даже в научной работе, казалось бы, сугубо творческой — и там важно выполнение плана, отчет, выполнение обязательств, умение обеспечить, достать. НТР требует от личности творческой инициативы, и в то же время эта инициатива далеко не всегда используется и поощряется.

Для нас, писателей, наиболее интересны открытия таких противоречий, потерь и приобретений, которые происходят с человеком в этом бурном процессе научно-технической революции, та мучительная диалектика нравственных проблем, с которой мы сталкиваемся сегодня.

Допустим, проблема времени. Человек, работающий сегодня, живет во всенарастающем цейтноте. Скорее, больше, больше, некогда, время куда-то исчезает, его все меньше, меньше, хотя мы его всячески экономим.

Успеваем ли мы осмысливать свою деятельность? Во имя чего совершается бурная деятельность инженера, ученого? То

и дело мы сталкиваемся со случаями, когда кажется важным прежде всего сама разработка, само открытие, результат. Все предопределено, спланировано. А ведь, кроме того, интересен сам процесс познания, он должен увлекать человека, а открытие, как заметил академик Мигдал,— оно может быть, а может и не быть.

Есть два расхожих мнения. Первое — что НТР губит личность, уничтожает индивидуальность, что человек становится придатком машины, что он отрывается от природы, от искусства, превращается в потребителя, его иссушает рационализм, НТР обедняет эмоциональный мир человека. Второе — что если это и существует, то скорее в условиях капитализма, у нас же НТР способствует расцвету личности, освобождает человека, облегчает труд, помогает человеку обратиться к творчеству и т. д. Думается, что и то и другое мнение небезосновательны. Однако я не собираюсь делать какие-либо окончательные выводы и заключения. Меня, как и каждого писателя, привлекает скорее диалектика жизни, ее нерешенные проблемы, ее спорные, неясные самому мне вопросы. Поэтому я поделюсь мыслями отнюдь не бесспорными, да и вряд ли стоит высказывать очевидность. Но есть идеи, наше отношение к которым однозначно.

Так, мы не можем принять имеющие хождение на Западе теории всеобщей дегуманизации в условиях НТР. Развитие науки в них сравнивается с грехопадением. Оно есть наказание божие за социальные грехи общества. Английский социолог Рид писал в книге, которая своеобразно называется «К черту культуру!»: «Техническая революция — это несчастье, которое, очевидно, станет концом происходящего разрушения всего человечества». Социальный пессимизм многих западных философов вызван безыдейностью современной технической цивилизации. Довольно серьезная и популярная организация «Римский клуб» публикует работы, предсказывающие жесточайший кризис человечества, голод и угрозу полного вырождения. Очевидно, капитализм не в силах разрешить трагические противоречия НТР. Частная собственность растлевает и человеческие отношения, и отношение к природе. Социалистическое общество создает возможность «соединить достижения НТР с преимуществами социалистической системы хозяйства» и возможность гармонического развития личности. Но реализация этих предпосылок происходит далеко не просто и не автоматически.

II

Разговор о личности, думается, надо начинать с вопросов воспитания личности и, в частности, со школьных вопросов. В этом смысле хочется выделить важную проблему: кого воспитывает наша школа? Об этом говорилось не раз, и я, пожалуй, на стороне тех, кто встревожен, что школа воспитывает сегодня больше специалиста, чем гражданина. Что это значит? И какую личность опять же мы хотим воспитать? В словаре русского языка существует около полутора тысяч слов, которые характеризуют личность,— определения, параметры личности. Мы ее иногда непозволительно уравниваем оттого, что не умеем дифференцировать. Иногда плохой и хороший работник получает одинаково, интеллектуальный и физический труд тоже уравнивается. На одном ленинградском заводе директор с гордостью сообщал, что среди рабочих у него десять человек имеют высшее техническое образование. Но достижение ли это? Инженер не заинтересован осуществлять свои инженерные функции, кандидат наук может жить, не производя научной продукции. Мы не умеем еще в должной мере учитывать реальный вклад личности в общественный труд.

Школа, воспитывая специалиста, оценивает его прежде всего количественно, по усвоенным знаниям. Было бы интересно уяснить то положение, которое складывается у нас с естественными и гуманитарными науками в школе. Правильно ли, что то соотношение, которое существует сегодня, из года в год смещают в пользу точных наук? Точным знаниям отдается все большее предпочтение. Школа пытается угнаться за НТР. Хотя известно, что моральный износ знаний происходит чрезвычайно быстро. Специалисту приходится все время переучиваться. И все понимают, что надо иначе учить детей. Вероятно, надо формировать способность самостоятельно осваивать новые достижения. В этом смысле гуманитарные знания помогают быстрее перестраиваться. Но значение их, конечно, не в этом. Гуманитарные дисциплины не есть что-то подсобное для будущего специалиста. Думается, что воспитание личности, начиненной, главным образом знаниями математики, химии, трудовыми навыками, не может отвечать сегодня нуждам нашего общества. Мы все острее чувствуем потребность в гражданском самосознании, в человечности. В школьном возрасте, когда формируется нравственный мир человека, участвуют в этом прежде всего гуманитарные предметы. В самом

деле, где, на каких уроках сами собой возникают моральные и гражданские проблемы? Прежде всего на уроках литературы. Я не знаю другого предмета, который дал бы такую органичную возможность. Этого нельзя достичь ни на математике, ни на физике, ни на химии, даже история в гораздо меньшей степени предоставляет такой материал. А между тем часы, отведенные на литературу, урезываются и, значит, сужаются возможности нравственного воспитания; самый хороший преподаватель литературы успевает лишь проинформировать, то есть опять-таки превращает этот предмет в систему сведений. От учителя литературы много зависит, с него спрос особый, но и возможности ему нужны большие.

Школа не может заменить семью, но некоторые функции семьи фактически ложатся сегодня на школу. В силу разных причин — и потому, что матери работают, и потому, что мы имеем много семей неполных. Недавно мне рассказывали учителя ленинградских школ, что к девятому классу у них в школе две трети ребят остаются в семьях без отца или с отчимом.

Школа еще мало занимается воспитанием самостоятельности, уважения к деньгам, престижу заработка, почти не занимается этикетом, не воспитывает воспитанности, хотя именно к правилам воспитания существует сегодня большая тяга.

Известно, что в юности впервые человека посещают мысли о смерти, о смысле жизни. Надо ли уводить ребят от этих раздумий? И кто может ответить на эти раздумья лучше литературы? У нас любят называть эти мысли бесплодным самокопанием, рефлексией. Но если их не дать додумать человеку, то вырастает человек, для которого вряд ли снова встанет вопрос о смысле жизни. А раз так, то нет и сопереживания, нет и роста самосознания. Бездумность приводит к псевдоколлективизму, то есть она убивает интерес к своему внутреннему миру. С годами, во взрослости такой человек будет тем более уходить от фундаментальных вопросов жизни.

Личность — это «я». И открытие своего «я» — процесс, важнейший для формирования личности. Особенно в нынешних условиях одинаковости жизни, когда мы смотрим одни и те же передачи, слушаем одну и ту же музыку, когда массовая продукция культуры, искусства и предметов обихода порождает некий стандарт потребности.

Могут возразить, что личность формируется позже, что нынешнее поколение отличается инфантильностью. Я не очень понимаю, почему обвиняют в этом нынешнюю молодежь. При-

водят в пример инфантильности то, что молодые люди подолгу живут за счет родителей. Но какая же это инфантильность? Наоборот, это высокая приспособляемость к жизни. Думаю, что как раз школа воспитывает излишне прагматическое поколение. Элементы романтики, поэтизации жизни дефицитны и мало поощряются, ими в основном занимается наша печать: «Пионерская правда» и «Комсомольская правда». Прагматизм, требование пользы, отдачи, причем немедленной, быстрейшей отдачи, становятся иногда в каком-то смысле идеологией НТР. Такой прагматизм порождает амбициозность точных наук, высокомерие по отношению к гуманитарным наукам. Но этот прагматизм оборачивается и внутри самих точных наук весьма спорными последствиями. Недавно я присутствовал в Ленинградском государственном университете на разговоре о таких последствиях. Там говорилось, что сводить оценку теории к единственному критерию практики, пользы — это значит обеднять истинную картину. Да и с пользы мы имеем лишь часть ее — материальную пользу. А существуют ведь и духовные потребности! Пренебрежение этой духовной пользой — вещь если не опасная, то очень нежелательная, она ведет к бедам бездуховности. Отсюда и проблемы досуга, поведения, пьянства.

Воспитательная функция науки существует, она состоит в отношении к духовным ценностям. Теория полезна не только для материальных следствий, но и для духовных. Теоретические науки (та же самая математика), не преследующие близких целей, имеют преимущества высокой духовности. Процесс познания как процесс приближения к природе, ее пониманию вселяет уважение к ней. Вот почему признания заслуживает опыт Сибирского отделения АН СССР, который организационно закрепил свое уважение к фундаментальным проблемам теории.

И литература, и искусство, и философия должны были бы дать себе более или менее ясный отчет в том, какую личность мы хотим воспитать, каково должно быть устойчивое ядро внутри человека и какова должна быть изменчивая часть, приспособляемость к быстрым изменениям в нашей жизни.

III

Думается, во всех разговорах об НТР и ее влиянии надо исходить из того, что сама НТР в социалистическом обществе не цель, а средство — средство развития личности, реализации личности — гармонической, социально активной, обществен-

ной, умеющей раскрыть себя. Мы же, сплошь и рядом увлеченные эффектными и грандиозными успехами нашей техники, видим НТР как конечную цель наших усилий. Во имя этой техники, для этой техники, нам кажется, мы живем и работаем. Тем более что мы то и дело встречаем хозяйственных руководителей, которые в азарте строительства, модернизации, выполнения заданий перестают видеть в своих усилиях конечный смысл. Им начинает казаться, что цель их деятельности — постройка вот этого комбината или электростанции, что это цель нашего общества и ради этого можно и нужно приносить любые жертвы.

НТР, несомненно, повышает долю творческого труда. Она увеличивает его возможности во всех областях промышленности и хозяйства. Думается, что это одно из важнейших благ нашей технической революции. В то же время ясно, что труд не может стать лишь источником удовольствия — того удовольствия, которое дает творческая работа. Я уже не говорю о том, что и в самой творческой работе есть большой процент малосодержательного и однообразного технического труда. А существуют специальности, которые начисто лишены творческого начала. Мы редко об этом говорим. Литература наша любит заниматься прежде всего так называемым творческим трудом, творческими людьми, людьми творческих профессий. И я сам к этому причастен. Литература, конечно, сделала немало для того, чтобы поднять престиж новаторов, изобретателей, ученых. Наверное, это было правильно и отражало новое отношение к труду. Но наряду с этим существовало и будет долго существовать множество людей, которые заняты вовсе не творческим трудом, а трудом однообразным, скучным. Это и труд на конвейерах, и на самых разных массовых производствах, да и в сфере обслуживания. Я недавно наблюдал работу на стекольном предприятии, где делают бутылки и банки,— бесконечные карусели раскаленных бутылок и банок, что крутятся изо дня в день, из месяца в месяц. Нелегко раскрыть радость такой работы, ее социальный престиж, который состоит в необходимости, доблесть тем более высокую, что работа эта не возмещается созидательным удовлетворением, кроме, казалось бы, абстрактного удовлетворения от чувства выполненного долга. Таких профессий немало. И понять этот осознанный труд, при этом труд физический, машинообразный, по-моему, одна из благородных задач литературы.

Общественный мир внутри каждого человека может развиваться прежде всего как трудовой мир. Воспевание творче-

ского труда, тот ореол, который он получил у нас,— конечно, вещь необходимая. Я не хочу его никак противопоставлять труду нетворческому. Но стоит поразмыслить: не создаем ли мы элитарность по отношению к рабочим, чей труд носит творческий характер? А как быть с теми, которые стоят у поточных линий, пекут хлеб? Они нуждаются во внимании общества к своему труду, тем более, что именно там, в этом нетворческом труде, чаще гнездятся рвачество, безалаберщина, все то, о чем если и пишет печать, то уж наверняка обходит наша литература. Плохо работающий человек, человек, который испытывает отвращение к своему труду, сегодня, в условиях НТР, может причинить серьезное зло обществу.

Повышение творческого содержания личности, ее творческой ориентации происходит по разным направлениям. Творить можно и в спорте, и воспитывая детей, и врачуя больного. Здесь существенной становится возможность человека наиболее полно реализовать себя. Мы все знаем принцип социализма: от каждого по способностям, каждому по труду. Каждому по труду — тут более или менее ясно. А вот как обстоит дело с другой половиной — от каждого по способностям? Как человеку найти свое призвание? Как его наиболее точно определить? Как его реализовать? Одна из главных бед и общества и человека бывает тогда, когда человек работает не по призванию, не на своем месте. Отсюда рождаются и равнодушие и хамство. Это беда для дела, и для окружающих, и для самого человека. Сколько примеров, когда человек так и не успевает найти себя в течение жизни или находит слишком поздно!

Замечу здесь, что НТР увеличила широту выбора. Сейчас перед человеком, который начинает жизнь, открываются не десять, не двадцать, а сто, двести и больше специальностей. Расширилась и возможность приобретения этих специальностей. Естественно, что человек осуществляет свой выбор как бы с большей приспособленностью к себе, большей избирательностью; он должен лучше понимать свои возможности, то есть глубже понять себя, свое «я», свою личность, кем он может стать, как он может реализовать себя. Раньше в этом смысле существовала куда более жесткая ограниченность. Расширяется выбор и, значит, возможность самопознания и в иных сферах: выбор места работы, выбор образа жизни, выбор семейный. Мы имеем больше возможностей выбирать книги, любые виды искусства в соответствии со своими вку-

сами и наклонностями, добавим сюда и выбор увлечений в области спорта, выбор вида отдыха, занятий самодеятельностью. Несомненно, что личность реализует себя с куда большей полнотой. Сама проблема выбора встает перед человеком, заставляет его оценивать себя, производить внутреннюю работу, без которой невозможен рост личности.

Думается, что наша литература должна понять и выявить героизм малосодержательного труда, тот высокий моральный фактор, который позволяет людям исполнять свою работу честно, добросовестно,— работу, которая приносит и усталость, и скуку, и которая при этом так необходима обществу.

IV

НТР дала возможность человеку не хвататься за ружье при виде животного. Можно не смотреть на куропатку, на белку, на зайца, на медведя как на еду, или как на врага, или как на мех. Стрелять при виде животного сегодня у человека нет нужды. Это спорт или забава. Отношение человека к животному сегодня отражает нравственный уровень человека.

НТР остро поставила вопрос об ответственности человека перед природой и в особенности об ответственности ученого и техника. За последнее время общественное мнение стало винить НТР в тех бедах и ранах, которые нанесены природе. Изменилось в какой-то мере отношение и к науке, и к технике — в них стали видеть виновников. Отравленные воздух и вода, гибель лесов, полей, озер, бедствия птиц, рыб — они происходят не только от жестокости, от хищнических инстинктов человека, но и от необдуманности, безответственности тех или иных проектов, технических новшеств, порой от самоуверенности нашей науки и техники, привыкших относиться к природе потребительски.

В свое время мне как инженеру приходилось сталкиваться со строительством гидростанций. Я помню примитивность некоторых наших расчетов, помню, как равнодушны и невнимательны мы были при этом к земле, к воде. И признаюсь, с тех пор я испытываю неприязнь к равнинным гидростанциям за тот ущерб, который они нанесли рыбе, лесу, климату. Я привел в пример свое чувство, поскольку через него я понимаю некоторые подобные же настроения в общественном мнении.

Есть немало «болевых точек» в последние десятилетия, когда ученые оказались недальновидными, непредусмотрительными по отношению к природе. Иногда это происходило потому, что всего рассчитать было нельзя, а иногда потому, что не хотели. Экологические проблемы за последние годы быстро изменили умонастроения людей, особенно в нашем, советском обществе. И это — благо. Человек становится ответственным за природу. От психологически унаследованного состояния завоевателя природы, когда человек ее одолевал, боролся с ней,— и в этом была своя романтика,— человек приходит к новому состоянию защитника природы, ее хозяина, даже зачастую соседа, когда природа выступает как друг, как собрат, часто более слабый, нуждающийся в покровительстве, требующий внимательного изучения. Этот переход на новые моральные категории, в новое душевное состояние непрост. Ведь поколения воспитывались как покорители — поколения, освоившие Сибирь, строившие великие сооружения нашей эпохи, поколения полярников, мелиораторов. Но несомненно, что новое состояние — состояние более высокого нравственного уровня. Человек, который стал таким сильным, что может опекать животных, природу, сохранить их, помочь им, человек спасающий вызывает в душе своей чувства добрые и отзывчивые, становится более человеком, он не выделяется из природы, а через эту заботливость приобщается к ней.

Здесь есть одна принципиально важная сторона проблемы. Чувства неприязни и обвинения, о которых говорилось, распространились сейчас, но в том счете, который предъявляют сегодня науке, ученым, справедливая часть должна быть отделена от несправедливой. Пафос защиты природы, благородный и правильный, особый отклик нашел среди наших литераторов и журналистов. Однако нам в первую очередь следует понимать, что в современных условиях природная среда с ее реками, озерами, растительностью, животными может быть спасена и сохранена только с помощью той же науки и техники. Только они, а не благие наши призывы и святой гнев, только наука и мощные средства современной техники могут создать нормальные условия, в которых сохранится зеленое и живое чудо нашей планеты.

На XXV съезде КПСС было сказано: «Можно и нужно, товарищи, облагораживать природу, помогать природе полнее раскрывать ее жизненные силы. Есть такое простое, известное всем выражение «цветущий край». Так называют зем-

ли, где знания, опыт людей, их привязанность, их любовь к природе поистине творят чудеса. Это наш, социалистический путь».

Известно, сколько сил положили ученые, в частности Сибирского отделения Академии наук СССР, защищая Байкал. Работы их продолжаются. Они направлены на то, чтобы не только сохранить уникальные богатства озера, но и приумножить их. Я видел на Дальнем Востоке, как ученые-ихтиологи, биологи на Курильских островах изучали лососевые стада, чтобы разводить и акклиматизировать рыб.

Научный, умный, комплексный подход к использованию богатств Сибири и ее возможностей ложится сегодня прежде всего на плечи ученых. В этом смысле как никогда велика их нравственная ответственность перед народом, перед будущим. Человек и природа взаимосоотносятся через труд, и через труд человек прикасается к природе как к общечеловеческой ценности. В любви или нелюбви к природе проявляет и раскрывает себя личность, духовная ее культура, социальная зрелость. Нельзя не отметить той страсти и защитительного пафоса, каким пронизаны многие произведения нашей литературы, воспевающие любовь к природе. Возьмите книги Бориса Васильева, Виктора Астафьева, Николая Сладкова, Элигия Ставского, направленные на прямую защиту природы работы Василия Пескова.

Забота об охране природы — забота всечеловеческая. Через нее возникает интернациональное отношение к народам, к земному шару, понимание всеобщих наших богатств и всеобщего беспокойства об ограниченности этих богатств. Мы живем в эпоху перестройки общественного и личного сознания. Природа предстает перед человеком во множестве связей, где рыба связана с лесом, лес — со здоровьем, химия — с пчелами, где насекомые, птицы, слоны, рыбы, мхи и болота соединились в семью, переплетенную и «деловыми», и «родственными» отношениями. Это новое экологическое сознание — заслуга науки. Оно приводит к острым противоречиям, неожиданным, непривычным, поскольку наше народное хозяйство требует активного вмешательства в природные явления. Как бы мы ни противились, но условия существования животных, и трав, и тайги меняются и будут меняться, и наше соседство с природой будет приводить к взаимным потерям и неудобствам. Нужны новые посевные площади, нужна вода для орошения, нужно менять режим рек, приходится теснить природу. Но все дело в том, что надо осознавать эти

потери как наши печали, а не как торжество, как потери в наших отношениях с природой, а не как победу в борьбе с ней.

Когда речь идет о том, какую личность воспитывать, когда мы размышляем о конкретном наполнении и понимании нравственной личности, сюда обязательно входит вопрос об отношении к природе. На этом вырастает нравственное сознание человека. Воспитывать любовь к природе с детства — значит формировать гуманность человека, делать его лучше. Проблема отношения к природе может стать могучим способом нравственного воспитания людей.

V

Существует ли взаимодействие между НТР и искусством, в частности литературой? Вопрос этот неоднократно дискутировался и, как всякая жизненная проблема, не получил законченного решения. Несомненно следующее: НТР породила новые искусства — например, художественную фотографию, дизайн, электронную музыку, телевидение, оформительское искусство. НТР необычайно способствовала доступности искусства, позволила его тиражировать. Люди повсюду через телевидение имеют возможность видеть постановки лучших театров, встречаться с лучшими артистами. Это, несомненно, содействует пониманию явлений искусства, развивает вкус, повышает культуру. Возник новый жанр литературы — научная фантастика.

Успехи НТР породили у ее творцов чувство превосходства над искусством. Тем более что искусство подобного прогресса не имеет, в сравнении с триумфом НТР оно кажется традиционным, малоподвижным, к тому же оно, это искусство, сегодня во многом зависит от техники. Да оно и впрямь вроде бы не меняется. В нем та постоянность, которая смущает и в то же время радует. Не в этом ли великая ценность и сила искусства, что нас все так же волнуют и трогают строки, написанные почти полтораста лет тому назад:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит...

Разумеется, искусство жадно вбирает в себя явления современности. Чаплин первый отразил в «Новых временах»

всю фантасмагорию машинного мира, человека, попавшего между колес огромной машины,— это был бой, который Чаплин повел в защиту человека. Чаплин не умилялся этой машиной, он умилялся человеком и тревожился о нем.

Зачем же оно нужно, искусство, в этом бурном техническом процессе? Не отвлекает ли оно, не излишество ли оно, не дань ли оно сентиментальным пережиткам прошлого? И так ли уж оно необходимо, современное искусство, не проще ли пользоваться накопленным богатством и оставить его только для развлечения и отдыха? Когда Пушкин писал: «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит»,— думается, он высказал чрезвычайно глубокую мысль о том, что прошлая поэзия будет существовать до тех пор, пока будет существовать живая, современная поэзия.

Искусство, тот же театр, где нас по-прежнему волнуют Софокл и Островский, та же неизменная литература, нужны человеку для того, чтобы осознать себя, свою личность, свой внутренний мир, нужны для понимания других людей, для преодоления своей ограниченности. Человеку надо становиться все более человеком. Новые силы и новые знания требуют человечности. Человечность не обретается массово, она добывается индивидуально. В дискуссии, проведенной журналом «Вопросы философии», Д. С. Данин заметил, что вместе с проблемой охраны внешней среды возникает проблема охраны внутреннего мира человека. Так же как в первом случае неоценима роль науки, так во втором случае неоценима роль искусства.

НТР увеличивает меру материального довольства, искусство увеличивает меру внутренних потребностей человека. Литература, очевидно, должна не расцвечивать НТР, не преклоняться перед ней, а помочь осознать ее лишь как средство, показать пределы ее, ее опасности, дополнить ее.

НТР может создавать человека ограниченного, самодовольного, уверенного, что знания заменяют культуру, что многообразие мира — лишь предмет для научных исследований. Возьмем, допустим, музейный взрыв, который произошел за последние годы. Он рожден интересом к живописи и большей ее доступностью. В Ленинграде в Эрмитаж с каждым годом приходит все больше людей. Стоит неубывающая очередь. Однако стóит понаблюдать, как смотрят картины, как происходит потребление искусства. Довольно часто действует схема приобретения знаний: обойти, увидеть столько-то залов, побывать там-то и там-то. Искусство не успевают про-

чувствовать, пережить. Человек прочитает книгу, которая вроде бы должна взволновать, заставить задуматься о жизни, однако, захлопнув ее, он спешит к телевизору, где его ждет новая постановка, оттуда — в кино, затем он садится в машину, чтобы мчаться на футбол... Он не успевает ничего освоить. Прочитанная книга, даже хорошая, остается в его сознании как информация, она не перерабатывается душевным, умственным организмом в его убеждения, в сомнения и чувства. Она обогащает ум, а не душу, не эмоциональный мир.

Один мой знакомый, довольно крупный ученый, считает, как и многие другие, что ученому весьма полезно потреблять искусство. В этом его убеждают и многие наши литературоведы и исследователи, которые с гордостью отмечают, как помогала Эйнштейну игра на скрипке или чтение Достоевского, сводя эту полезность примерно в разряд рекомендаций бегать по утрам по системе Купера, есть рыбу и употреблять поливитамины. Но в данном случае заставляет задуматься не этот утилитарный, примитивный подход. Мне было интересно, откуда он происходит. Может быть, от веры этого человека в могущество научного подхода к любым явлениям жизни. Он считает, что все можно вычислить, что нет неразрешимых противоречий и непонятных явлений. Ему все ясно или все может быть выяснено. Он считает, что рано или поздно все явления искусства можно будет проанализировать, взвесить, разложить, оценить величину любого таланта. Для него книга или фильм ценны своей информацией. Много информации — хорошая книга, мало — плохая, все очень просто. Он ставит меня в тупик тем, что он живо интересуется всем, что он не узкий специалист, в нем нет ограниченности, односторонности, он преуспевает как ученый, и, самое печальное, я чувствую, что в нем эти взгляды укрепляются не только потому, что они удобны, но и потому, что среди окружающих людей циркулируют те же идеи. Я не знаю, придет ли он когда-нибудь к тому горькому выводу, к которому пришел Дарвин в конце жизни, почувствовав свой уход от искусства как утрату эстетического вкуса. Дарвин писал, что это было равносильно утрате счастья и вредно отражалось на нравственных качествах, так как ослабляло эмоциональную сторону человеческой природы...

В процессе НТР человек в какой-то мере становится функциональным. В идеале для механизированного производства

человек — функция; наилучший «человек» — это все же машина. Современное производство требует машины управляющей, принимающей решения. Работающий человек в ряде современных предприятий оценивается как бы своей «машинностью». Чем больше в нем машинности, то есть чем меньше эмоций, которые понижают эффективность системы, чем меньше возможности отвлекаться, тем он лучше как работник. Он хорош, когда нет у него ни переживаний, ни мечтаний, когда в нем минимум индивидуальных процессов. Такой работник для любого капиталистического предприятия самый выгодный. Мы же считаем, что подобная функциональность обедняет и перекашивает человека. Литература отстаивает личную цельность, сохраняет внутренний мир человека, мешает его эрозии. Вот почему так горячо воспринимаются сегодня книги, где главное не производство, а нравственные проблемы, где велико внимание к душевной жизни человека. Они иногда стоят как бы в стороне от главных проблем той же НТР. Там и герои отнюдь не инженеры и не ученые. Возьмите повести Айтматова, Белова, Распутина. В них исследуются нравственные ценности, они заставляют задуматься над тем, что из жизни уходит тот нравственный мир человека, который определял этику народной жизни 30-х или, допустим, 40-х годов, с его понятием красоты, доброты, любви. Не случайно Сергей Залыгин назвал подобную литературу в какой-то мере «литературой прощания». Путь к прошлому поучителен, хотя он легче и короче, чем к современности. Читая эти книги, невольно спрашиваешь себя: а что же, человек становится лучше или хуже? И хочется сравнивать человека 30-х годов и нынешнего, что он приобрел и чего он лишился, его отношение к труду; вероятно, заинтересованность в результатах труда была больше, и, может быть, отношение к труду было более честное...

Но всегда ли плодотворно такое сравнение? Одно дело, когда «Белый пароход» Айтматова вызывает гнев, сострадание и, главное, жажду действия, и другое дело, когда авторы заняты лишь печалью о прошлом. Что нам дает этот список потерь и приобретений? Ведь нет возврата даже к тому человеку, который начинал с великим энтузиазмом строительство первых пятилеток. Мы отдаем ему должное, чтим его и даже восхищаемся им, но нынешние строители общества живут в других условиях и другие обстоятельства определяют их подвиги и их характеры, другие требования предъявляет к ним жизнь.

Стоит сравнить хотя бы такую простую вещь, как число людей, с которыми мы знакомы,— с тем числом людей, которые окружали наших родителей,— их больше в пять, в десять раз. Но при этом мы испытываем дефицит дружбы. Общение стало более поверхностным. Зато наши родители испытывали дефицит новизны, дефицит общения.

В «литературе прощания» преобладает созерцательность. Ей не всегда хватает социальной активности, особенно для человека, который хочет что-то сделать, бороться, соучаствовать, творить. Эта литература вызывает сожаление о прошлом, вероятно, благотворное, законное, но не всегда способное побудить к действию. Думается, что художественная мысль лишь тогда совпадает с народной мыслью, когда она ведет вперед, а не назад, сливается с усилиями и трудом народа, его устремлениями. Такое положение приобретает особое значение для литературы о нравственном формировании человека. Некоторые критики стали преподносить нравственность как понятие неизменное, прежде всего крестьянское, делать старую русскую деревню источником духовных добродетелей. Оттуда, мол, все пошло и там все хранится. Истинно народное — значит деревенское. Деревня — это хорошо, а вот город — это плохо, город чуть ли не исчадие зла и пороков. Эти крайности антиисторичны.

А где же при всем при том рабочий класс? Тот класс, который делал революцию? В крови и беспощадности гражданской войны рождалась пролетарская, народная мечта о царстве свободы. Некогда казавшиеся утопическими идеалы социализма стали явью, и лучшие сыны революции шли в бой, чтобы разрушить мир насилия, чтобы «кто был ничем, тот станет всем». Вместе с трудовым крестьянством они сражались, чтоб «землю в Гренаде крестьянам отдать». Впервые в людской истории они воплощали идеи интернационализма, приносили в жертву все ради счастья угнетенных. Под предводительством рабочего класса возникала новая нравственность, отвергая мир эгоизма, корысти, невежества, идиотизма деревенской жизни, где калечились лучшие чувства, уродовалась любовь, где бедность была позором, религия — ханжеством. Пролетариат отстоял то лучшее, что цинично использовалось в народном характере церковью, властью. Новая нравственность нашего общества росла, укреплялась под руководством рабочего класса, строителя индустрии, делателя технического прогресса. Как же можно противопоставлять сегодня деревню городу, выдавать идиллических деревенских старух

за главных хранителей добра, честности? Да и человек в деревне стал иной. Он унаследовал нравственность рабочего класса.

Могут возразить, что литературе, связанной с нынешним рабочим человеком, не хватает художественных достижений. Однако неправомерно сравнивать литературу о прошлом и о современности. Да и, кроме того, есть в ней особое преимущество активности, заинтересованности, жгучей проблемности окружающей нас жизни.

Литература, посвященная заводскому труду, его красоте, его романтике, почти не имеет традиций. Она создана главным образом уже в советское время. Начиная с «Цемента» Гладкова и вплоть до «Битвы в пути» Галины Николаевой, она набирала свои высоты и ныне, как мне кажется, начинает осваивать качественно новую для себя сферу, связанную с НТР, с бурными изменениями внутреннего мира трудового человека. Мне вспоминаются книги молодых: Антропова, Скопа, Курчаткина, Тублина, Солнцева, Бондаренко, Мусаханова, Константиновского (я называю лишь то, что читал). И даже эта малая часть той литературы, какая существует, порождает ощущение новой волны и подъема многообещающего.

Тут я хочу остановиться на наиболее близкой и милой моей душе литературе, связанной с наукой и учеными. Я вовсе не собираюсь отстаивать ее специфику. Любое деление литературы по профессиям вызывает активные наскоки, суть их состоит в том, что нет литературы деревенской, литературы рабочей, а есть, мол, литература о человеке. И тем не менее я выискиваю на книжных полках и книжных прилавках книги и романы об ученых. Они меня интересовали и интересуют. Их не так много. Я перечитываю «В маленькой лаборатории» Найджела Бэлчина, «Эроусмит» Синклера Льюиса, книги Митчела Уилсона, Каверина, Грековой, Крона, я беру сборники «Пути в незнаемое» — интересное издание, где жизнь науки раскрывается достоверно, изнутри. Я люблю перечитывать «Скучную историю» Чехова...

Мир ученых не есть какой-то особый мир избранных людей. Через него наглядно выявляется творческая сущность человека. Ученый, будь он большой или малый,— это борец, стремящийся создать новое, одолевающий старые догмы, человек, который живет в завтрашнем дне. В его деятельности, может быть, внешне невыразительной, существует богатейший спектр чувств, взлеты и неудачи, приключения, мысли, поиски тайны. Конечно, трудно раскрыть эту внутреннюю

жизнь духа, не упрощая, не вульгаризируя, сделать ее понятной, близкой читателю. Особенно трудно это сегодня, когда ученый, любой научный сотрудник, работает в большом коллективе, когда он совершает малую часть работы, связанную с большой проблемой. Но, изображая коллектив в целом, все-таки главное внимание литература уделяет личности, рассказывает об отдельном человеке. Да и какая бы ни была коллективность в работе, ценность личности, ценность таланта остается прежней, может быть, даже повышается. Известный советский геолог Мейен заметил, что есть теоремы Коши, Колмогорова, Пифагора, но нет теорем математического института. Сам акт творчества остается индивидуальным. Открытие происходит в мозгу одного человека.

Полезно вспомнить, что художественная литература никогда особенно не преклонялась перед наукой. Она относилась к науке с разумным скептицизмом. Можно вспомнить и Гёте, и того же Чехова, и Толстого, и Свифта, и Щедрина, и Достоевского. Стремление к просвещению — это одно, а что касается образа самого ученого, культа ученого, то здесь царил тот здоровый критический подход, которого, на мой взгляд, не хватает нашей литературе. Наше восхищение, связанное с НТР, с возможностями и размахом современной науки, мы невольно переносим на ее творцов. Мы не хотим замечать ограниченности узких специалистов, подчас их бескультурья, делячества, мы уходим от обстановки псевдонауки, от явлений, связанных с погоней за званиями, степенями, с борьбой честолюбия и тщеславия.

Разумеется, ученому не обязательно увлекаться поэзией, музыкой или живописью. Ученый вполне может ограничить себя теннисом или альпинизмом. Возможно, ученый, не знающий ни истории, ни живописи, будет хорошим ученым. Однако это справедливо, пока мы рассматриваем этого ученого изолированно, отдельно. Когда мы берем его не как ученого, а как личность, во взаимодействии с людьми, тут требуются иные оценки. Нравственные критерии общения требуют развития совести, души и думания.

В одной из дискуссий Виктор Розов сказал, что НТР воздействует на искусство, рационализируя его. Рациональность ставится искусству и литературе в упрек. Так же, как рационализм ставится в упрек человеку. Как будто рациональность исключает в человеке эмоциональный мир, богатство чувств и восприятий. Думаю, что в этом «или — или» есть узость и даже опасность наших критических оценок и требо-

ваний. Мы слишком высокомерны бываем к рациональности, к расчетливости. Хотя на самом деле в жизни очень широко пользуемся этими качествами. Однако считаем, что бережливость, допустим, или распланированность жизни — качества чем-то зазорные, и почти не имеем в нашей литературе героев деловитости, практичности, коммерческого таланта.

Литература не подсобное средство для НТР. Хотя некоторые считают, что она существует для пропаганды задач НТР, для воспитания хороших специалистов, для показа успехов атомной энергетики или молекулярной биологии. История литературы свидетельствует, что производственные романы оказывались жизнестойкими, если в них сосредоточивались главные социальные заботы времени, а не проблемы кислородного дутья и скоростного фрезерования.

Эпоха НТР входит в литературу прежде всего через миропонимание писателя, через острые человеческие и общественные проблемы, а не через очередные достижения техники или технологии, которые автор искренне пропагандирует. Значение кинокартины «Премия» состоит в том, что герой ее решает реальный нравственный вопрос, связанный с понятием честной работы. Виктор Конецкий в своих последних книгах «За доброй надеждой» и «Начало конца комедии» почти не пользуется антуражем НТР, показывая работу моряка торгового флота. Однако его герои заняты напряженной работой обдумывания, наблюдения над собой, над людьми. Так, в маленькой повести «Последний раз в Антверпене» он пристально изучает, как образуется нравственная тупость, глухота у штурмана Карапузова — дитяти суперсовременной НТР.

Герой романа «Бессонница» Александра Крона, профессор Юдин, целиком и полностью занят своей научной работой. Правда, сам процесс этой работы лишь обозначен, никак не раскрыт. Тут своя крайность. Поэтому его профессиональные страсти условны. И это несколько схематизирует происходящее. Зато покоряет страсть автора, с какой он исследует нравственный мир героя. Проблема ответственности человека, осознание своей вины за происходящее и за происходившее возбуждает отклик читателя. С этим связан значительный успех романа. Нас привлекает мыслящий герой, обдумывающий свою жизнь, герой интеллигентный. Так же, как и В. Конецкий, Ю. Трифонов, В. Тендряков, так и А. Крон в романе «Бессонница» показывает нравственную высоту, требовательность к себе лучших представителей советской интеллигенции. С легкой руки некоторых писателей мы слишком часто чита-

ли и видели нашу интеллигенцию как рефлектирующую, способную лишь к резонерству, критиканству и во многом малоприятную. И слишком редко она предстает перед нами как носительница лучших нравственных качеств нашего народа, как требовательная к себе и другим активно действующая сила, которая, по сути, является творцом и двигателем НТР.

Эпоха НТР сжимает масштабы, помогает видеть быстротечность той литературы, где постановка самых актуальных вопросов не связана с процессами перестройки человеческого сознания. Это эпоха сложных систем, сложных ситуаций, требующих бо̀льшего раздумья над своими поступками. Читатель ищет героев мысли и души, которые стали бы для него не столько положительными, сколько любимыми героями. Подобно людям, украшающим галерею человечества,— допустим, Льву Толстому, Альберту Швейцеру, подобно таким ученым, как Игорь Курчатов, Николай Вавилов, Нильс Бор.

В литературе сегодня не хватает героев, работающих и мыслящих широко, граждански смело. Людей действия и духовной красоты, в которых раскрывается передовая идеология времени. Это герои со своими проблемами миропорядка, со своими мировыми вопросами, соразмерными с теми, какие терзали героев Достоевского, Толстого, Горького. Разве сегодня не встает вопрос, зачем человек живет, к чему стремится, что́ он, один человек, может в этом мире? Думается, что именно новые научные знания, машины, космос — все то, что мы вкладываем в широкоохватное и тем не менее необходимое понятие «НТР», все это заставляет, как никогда раньше, остро задаваться извечным вопросом о смысле человеческого бытия, требует от каждого понять — что же такое «я», что же такое моя душа и на что она имеет право: что такое любовь, что означает смерть, и если смерть, то зачем тогда все?

Великие писатели мира, и русские в особенности, выстрадали современного человека, развили любовь к нему, утверждали жизнь на основе справедливости, по законам красоты и любви, сострадая бедным, униженным и оскорбленным. Ныне, вступая в новые времена, когда мощные изменения так воздействуют на психику человека, когда наука открывает великолепные и опасные возможности познания человека, управления человеком, происходит сближение литературы с жизнью и все более могущественной наукой. Они нуждаются друг в друге. Их соединяет не только забота о благе человека, но и ответственность за судьбу мира и человечества. В этом

смысле советская литература всегда служила гуманным идеалам социализма.

Наука и литература, НТР и искусство — два крыла современной культуры, благодаря им человек нашего общества может обрести себя, обрести сокровенность и полноту жизни.

СОЮЗ, ПРОДИКТОВАННЫЙ ВРЕМЕНЕМ

Среди разных дискуссий недавнего прошлого была одна, к которой мы время от времени возвращаемся. Она разгорелась непредусмотренно бурно. Это пресловутый спор «лириков» и «физиков», который произошел в пятидесятых годах. Оценивая сейчас его значение, мы не можем не задумываться над вопросом: почему при всех передержках, изъянах формы этого спора он живо взволновал многих?

С тех пор проведено было немало симпозиумов, диспутов, посвященных отношениям двух сфер творческого познания — науки и искусства. Все они привлекали как ученых, так и писателей; внимание широкой общественности и интерес к поставленным вопросам не исчерпывались, не угасали, а вызывали новые споры и раздумья. Есть, очевидно, в этих темах нечто важное и для литературы, и для науки, и вообще для самосознания современного человека.

Наука выросла «количественно». Ее много, и людей, занятых ею, много, миллионы. Несравнимо больше, чем прежде, наука заставляет пользоваться абстрактными понятиями, приучает человека мыслить и представлять себе явления природы без наглядных моделей. Не раз уже говорилось о том, что и теория относительности, и квантовая механика, и ядерная физика, и даже теория наследственности отдалили человека от возможности непосредственных наблюдений; повседневный опыт, обыденный здравый смысл не могут помочь в этом «странном мире». Галилео Галилей мог доказать и показать движение Земли вокруг Солнца, он просил флорентийских профессоров посмотреть в трубу на спутников Юпитера, но они отказались это сделать. Современный физик не сумеет показать нам электрон, даже если мы попросим его об этом. Он сам мучительно ищет, как физически осмыслить эту реальность на новом уровне знаний. Он ничего не сможет нам объяснить, если

не разбудит наше воображение. Современная физика требует от нас представить себе такие вещи, которые показались бы дикими и невероятными человеку XIX века. Для нас и по сей день удивительно, что Вселенная имеет радиус, пространство — кривизну, а время относительно и, может быть, дискретно. Оказывается, одинаковые физические условия порождают не всегда одинаковые физические результаты, и, повторяя один и тот же опыт, мы не будем получать один и тот же результат. Для физиков этот «странный мир» естествен; наоборот, нормальность для них неприемлема. Знаменитая фраза Н. Бора о том, что теория В. Гейзенберга недостаточно сумасшедшая, выражает степень новизны идей, какая требуется сегодня науке.

Думается, что все это не просто накопление новых знаний. Характер этих знаний, действуя на воображение и фантазию человека, изменил способ мышления, создал новое мироощущение. Человек узнал о себе, может быть, больше, чем за предыдущее тысячелетие. Он увидел себя, свои возможности в кибернетике, он сравнил свой мозг с вычислительной машиной и обратился к изучению механизма своей памяти, скорости реакций. Благодаря успехам современной генетики человек получил представление о законах передачи наследственности, своей «запрограммированности», влиянии среды, связи прошлого с будущим. Он вышел в космос и увидел планету издали — прекрасное и беззащитное свое жилище. Впервые человек почувствовал себя жителем Земли и гражданином Вселенной.

Сказываются ли все эти процессы на литературе и искусстве? На их восприятии? Безусловно. Когда мы говорим: «Читатель вырос», то мы имеем в виду, что этому росту помогало и развитие науки, массовый интерес к ней. Наука обострила чувствительность, способность принимать на все бо́льшие диапазоны самые дальние и слабые сигналы. И эта возможность приема открывает для писателя новые связи с читателем.

Современный человек, воспитанный научным прогрессом, более богато и тонко воспринимает и великие произведения искусства прошлого. Ценность информации, в том числе художественной, зависит от общего запаса информации, которым обладает человек, любующийся картиной, читающий стихи. Мне кажется, что А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов во многом воспринимаются современным читателем куда глубже, чем читателем прошлого века.

В литературе сегодня писатель имеет право рассчитывать на более активное соучастие читателя, на понимание ассоциаций неожиданных и далеких. Ассоциативное мышление воспитывает и ассоциативное восприятие. Эффект взаимопонимания достигается сегодня более скупыми средствами. Возможная емкость современного повествования, несомненно, возрастает: на одной и той же печатной странице, тем же количеством строк можно передать больше, чем раньше, поэтической информации, увеличив ее ценность.

Литература все шире пользуется косвенным способом изображения — через подтекст, через остраненность, через внешне безразличный диалог, через так называемое моделирование жизни, мира. Тут много сходного с современным методом научного исследования. Да и сам писатель подходит и к социальным явлениям, и к личности своего героя, и к его поступкам как исследователь. Хотя подобные аналогии многих настораживают, все же не следует от них отмахиваться. Кое-что они, вероятно, помогут понять.

Не случайно именно сейчас сама наука стала предметом литературы. Не ученые, а именно наука, как, например, книга Д. С. Данина «Неизбежность странного мира». Книга эта по сути своей художественная, хотя сюжет ее — драма идей, поиски мысли, ее взлеты и катастрофы, и это захватывает так же, как судьбы героев «настоящего романа». То, что в художественную литературу вошел новый герой — Наука, наука как арена борьбы, где конкретные, живые люди, по выражению М. Горького, преодолевают сопротивление материала и традиции, это лишь один из множества примеров, доказывающих взаимодействие научного и художественного творчества.

Сама система художественного мышления изменилась под воздействием современного естествознания. Возьмем хотя бы проблему времени в литературе. Уже Л. Н. Толстой в «Севастопольских рассказах» открыл новые художественные приемы, изображая предсмертные минуты на войне. Эти мгновения Толстой расчленяет, растягивает, переводит в иные масштабы времени, изучает новым способом, поскольку прежний опыт литературы для его целей был недостаточен.

В произведениях новейшей литературы настоящее прослаивается прошлым и будущим, масштабы времени меняются произвольно, фантазия вплетается в реальность, мифы прошлого оживают в современности, время становится дискретным, прерывистым, таким, каким его представляют себе физики.

Время, входя в понятие скорости, меняет систему восприятий. Мы сегодня уже не перемещаемся, а просто попадаем из одного в другой, с одного континента на другой, оказываясь за несколько минут на высоте нескольких километров над Землей. Мы переводим ручкой программу телевизора и перемещаемся уже не в пространстве, а внутри самого искусства. Мы получаем новую действительность внезапно. Техническое завоевание внешнего мира происходит куда быстрее, чем социальное его осмысление, а от социального осмысления часто отстает нравственное освоение пережитого, изменение личности. Поэтому так остро в нас желание союза между рассудком и фантазией, между разумом и чувством.

Современная наука создает свои эстетические ценности, увеличивает красоту мира, накапливает сокровища этой красоты. Железная дорога сто лет назад могла вызывать у современников чувство ужаса, восхищения, но с эстетической точки зрения не воспринималась. Современная техника подобно науке создает собственную красоту. Автомобиль отказался от красоты кареты и нашел собственные свои формы. Современный самолет, межпланетный корабль не только удивительны, они красивы. Теория относительности не только удивительна, она красива. Схема длинной молекулы не только удивительна, она красива. Структуры, которые открывает перед взором человека электронный микроскоп, не только удивительны, они красивы. Красиво совпадение эксперимента с теорией.

До сих пор говорилось о влиянии науки на искусство. Но существует и обратная связь. Какова, например, роль в науке Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого или такой книги, как «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла? Конечно, изобретением лазера мы обязаны не «Гиперболоиду инженера Гарина», но если бы наука не нуждалась в искусстве, то это обедняло бы не только науку, не только ученых, но, может быть, лишало бы прогресс каких-то необходимых нравственных элементов.

Нравственный облик ученого, пожалуй, не менее важен, чем его открытия; моральные качества великих ученых имеют большее значение для поколений, чем их чисто интеллектуальные достижения. В этом одна из причин того, что ученый давно уже стал героем мировой литературы. Гетевский Фауст — ученый, и трагедия Фауста — трагедия ученого. Великолепные по своей психологической точности образы ученых созданы в русской литературе А. П. Чеховым в таких произведениях, как «Дуэль» и «Скучная история». Напомним героя «Скучной ис-

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

I

Было время, когда я считал, что энергетика — это моя жизнь. Есть люди, для которых «геология — их жизнь», «архитектура — их жизнь», «авиация — их жизнь».

Литература в этом смысле не есть что-то исключительное. Исключительное — талант. Но у литературы имеются свои особенности. И о них стоит вести разговор.

Я высокого мнения о литературе и о людях, занятых ею. И все же, боюсь, мы придаем излишнюю серьезность, значительность литературе, и от этого отодвигается куда-то в сторону жизнерадостность литературного занятия. А оно — жизнерадостное, счастливое дело. Да, есть муки рождения слова, поиски совершенствования, неустанная одинокая работа прозаика, прикованного к обрезу своего стола. Но все равно, кляня свою работу, впадая в отчаяние, мы продолжаем ощущать чудо и удивительность того, как из ничего возникает нечто — реальный мир, люди, которые оживают и совершают самостоятельные поступки... Чувствовать себя Творцом, Создателем — в этом, конечно, и могущество и награда.

Нам льстит, когда на литературу возлагают ответственность, когда кажется, что от литературы зависит очень многое, когда от нее требуют решать проблемы школы, семьи, научно-технической революции и т. п. И мы сами иногда начинаем этому верить. Прислушайтесь к нашим отчетам, обсуждениям, дискуссиям — как все серьезно! Как будто бы от тех или иных стихов или романов зависит решение народнохозяйственных проблем.

Маяковский сказал, что писатель — это завод, вырабатывающий счастье. Но что за счастье получится, если вырабатывать его по удручающе серьезной технологии, если производители его не умеют быть счастливыми?..

Пробуждать чувства добрые, славить свободу, возбуждать любовь к жизни, красоте, отзывчивость к чужой беде и слабости — все это прекрасно уживалось в русской литературе, в литературной среде с чувством величайшего долга и ответственности перед народом.

Когда я принес свой первый рассказ в журнал «Звезда», как весело принял его и напечатал Юрий Герман, который ведал тогда прозой журнала! Благодаря ему, а затем Евгению Шварцу, Корнею Чуковскому, Александру Прокофьеву, Оль-

ге Берггольц, Михаилу Слонимскому я успел увидеть, как можно весело жить и работать в литературе. Хотя в судьбе каждого из этих людей было немало тяжелого.

Чем руководствуешься, выбирая из множества тем, сюжетов, историй ту, которой будешь заниматься? Что влечет именно к этой теме, к этому характеру? Среди разных смутных, неосознанных чувств побеждает чувство заинтересованности, сопричастности с тем, что происходит кругом, с народной жизнью, той ее частью, с которой пришлось соприкоснуться, пережить ее или соучаствовать в ней. Выбираешь то, что неотступно мучает тебя, хотя часто это и невыигрышная тема и ожидают тебя в этой работе сложности, может быть неразрешимые.

Такой, например, «невыигрышной» темой была для нас с А. Адамовичем «Блокадная книга», с ней пришлось хватить немало лиха, но отступиться от нее было невозможно. Когда мы погрузились в истории, рассказанные блокадниками, мы поняли, что если не напишем это, то никто об этом не напишет, что их рассказы, может, так и уйдут в небытие. Мы почувствовали себя единственными летописцами. Наверняка это преувеличение, но именно это чувство заставляло и помогало работать. Перед ним отодвинулись в сторону планы каждого из нас — задуманные рассказы, повести.

И, читая чужие книги, я всегда чувствую, была ли такая настоятельная необходимость у автора. Мы справедливо сетуем на появление серых, бесцветных произведений. Они творятся не только бесталанными, от которых ничего другого ждать нельзя. Среди этого потока немало пустяков, сделанных одаренными людьми, вещей облегченных, уклончивых, и чувствуешь в них нежелание принять в свою душу волнение, беды и заботы жизни своего общества, нежелание вмешаться, пойти против устоявшихся понятий. К сожалению, вещи благополучные, уходящие от трагизма, от остроты, имеют более легкую судьбу. Им легче появляться на свет, их приветствуют нетребовательные издатели, редакторы да и критика. Их в какой-то мере поощряют, если это не откровенная посредственность. Облегченная эта литература и раньше существовала, и раньше ей жилось вольготно. Но это не значит, что можно мириться с ее существованием, с расширением ее территории.

Это не риторика, вспомним судьбу некоторых произведений нашей советской литературы, начиная от шолоховского «Тихого Дона» вплоть до Булгакова и Платонова. Такие книги, случалось, поначалу подвергали несправедливым

нападкам, попрекам, сомнениям, на них наклеивали ярлыки, их подозревали, в них пытались увидеть что-то вредное, опасное.

Странное дело, опыт этот, уже накопленный, немалый опыт печальных наших ошибок, как неохотно он осмысляется нашей критикой! Вернуться бы к нему, понять, как важно уметь вовремя распознать новое явление, то, что войдет потом в достижения, в удачи, составит нашу литературную гордость.

За последние годы критика стала в этом смысле заботливей и смелее. В то же время, как мне кажется, она уходит от прямого разбора произведений, от их сравнительной оценки. Для многих критиков книга, о которой они говорят,— всего лишь предлог, чтобы изложить свои собственные размышления о литературе, или экономике, или человеке. Дар критика редкий, куда более редкий даже, чем дар писателя. В известной мере он требует самопожертвования. В этом смысле меня привлекает позиция таких критиков, как, например, Анатолий Бочаров или Борис Панкин, Алексей Павловский или Евгений Сидоров. Я не всегда соглашаюсь с их оценкой, но я чувствую, что каждое выступление для каждого из этих критиков — необходимость. Такой критик пишет не для того, чтобы сообщить о своих взглядах и вкусах, книга для него не повод, она для него цель, именно она его заинтересовала, и он осмысляет ее вопреки всем мнениям или «ситуации». Таким принципиальным в свое время было для меня выступление Бориса Панкина о повестях Юрия Трифонова.

Есть книги, которые постоянно поминаются в нашей литературной полемике, в критических обзорах. Большей частью книги эти действительно хорошие, но прежде всего нужные критикам лишь для примеров. Книги этого рода помогают критику доказывать свою мысль или опровергать мысли другого критика. Такую книгу вместе с ее автором перекидывают из статьи в статью, ею забивают голы, набирают очки, пасуют друг другу. Они крепко упакованы в «подарочные наборы», хотя все эти книги несовместны и тем и дороги. Они так и кочуют наборами из доклада в доклад, из обзора в обзор.

А рядом сосуществует мир книг, которые читают. Их просто читают, более того — перечитывают. Книги не однодневки, а многолетние спутники, книги, которые составляют «круг чтения» уже не одного поколения наших читателей. Этот круг чтения составляется годами, вне школьных программ, составляется в недрах семьи, среди друзей, читающей публики, лю-

бителей литературы. Конечно, оба эти круга в какой-то части своей совпадают, однако живут совершенно раздельно. И если первый круг, постоянно фигурируемый в печати, известен, то второй — никак не высвечен. Порой кажется, что его даже не хотят высвечивать. То ли сами исследователи избегают, то ли книги не привлекают.

Круг чтения у разных категорий читателей с годами меняется, в нем что-то замещается, что-то уходит. Но есть в нем устойчивая сердцевина, некий центр тяжести. Медленно и он тоже перемещается. И вот эта траектория его движения чрезвычайно любопытна и во многом характеризует нравственные изменения, этические потребности нашего общества.

Чтиво, развлекательное, сиюминутное, оно всегда было и будет. Оно щеголяет огромными цифрами тиражей, читателей, очередями в библиотеках, это другой успех, тоже характерный, заслуживающий обсуждения, но это — за пределами круга чтения.

Важны ли в литературе количественные показатели? Важны, они тоже многое определяют. Но еще важнее устойчивость спроса, жизнь произведения во времени, его художественная ценность, которая не податлива моде.

Многие великие произведения живописи были, наверное, написаны на религиозные сюжеты не потому, что Леонардо, Микеланджело или Александр Иванов были такие уж религиозные люди, хотя они были верующие; многие великие произведения архитектуры — храмы, соборы, церкви — прекрасны опять же не потому, что их зодчие отличались религиозным фанатизмом. И нас сегодня восхищают роспись Сикстинской капеллы или наши родные Кижи не потому, что мы верим в Страшный суд, не потому, что нас охватывает молитвенное чувство. Они действуют на нас, нерелигиозных людей, иначе, чем на зрителей прошлых веков. Это чувство независимо от нашей веры, да и для верующих независимо от того, протестанты они или католики.

Многие почти не понимают смысла отдельных подробностей и библейского значения деталей живописных произведений, написанных на религиозную тему. Чем же действуют эти полотна? Только ли живописным своим мастерством?А может, тем, что они приоткрывают путь художника к великим вопросам о смысле страданий, о справедливости, о вере, о силе доб-

ра и зла? К вопросам, а не ответам. Вопрос развитой, художественно разработанный в искусстве действует сильнее ответа, потому что он требует соучастия, побуждает зрителя, читателя на отклик. Кстати, религиозное чувство — и великие художники это знали — более вопрошающее, чем отвечающее. Молитва ведь лишена ответа. В ней всегда остается неслышный вопрос, сомнение.

Разумеется, литература не может состоять из одних вопросов. Писатель жаждет и проповедничества и утверждения. Но в то же время заранее известный ответ превращает произведение в доказательство и лишает его поисков. Прикосновение к поискам художника оказывается само по себе потрясением, толчком. Когда мы говорим о нравственности, мы знаем ее границы так же, как и области безнравственного. Мы знаем, что нравственно, мы не доводим себя до незнания, до областей неведомых, где начинаются сомнения, где нет готовых определений. А Лев Толстой даже в такой вещи, как «Воскресение», путался в противоречиях, выясняя «за» и «против», терзал свою душу, да и нашу, незнанием.

Нравственные вопросы и поиски ответа на них — это своего рода исследование, и, как исследователь узнает результаты лишь в конце работы, так и писатель может развивать свою идею в процессе исследования характера, в процессе работы над книгой, которая может подтвердить его идею, а может и изменить ее.

В этом для меня работа писателя схожа с научной работой. Писатель, как и экспериментатор, пытает обстоятельства, добивается истины, невзирая на принятые мнения, на требования публики и на свои собственные мнения, с которыми он начинал писать. Истина эта художественная, она проверяется красотой, правдой характера, силой образа...

В процессе работы над романом «Картина», начиная Поливанова как человека догматичного, ограниченного, человека, который предъявлял самые что ни на есть вульгарные требования к замечательному художнику Астахову, я убеждался, что у этого Поливанова была своя историческая необходимость, и убедительная. В чем-то я стал ему сочувствовать, чем-то он меня привлек на свою сторону. Я увидел трагедию этого человека. Увидеть свою правду в отрицательных явлениях жизни — значит показать, в чем их сила и живучесть.

Самое драгоценное для меня — в той литературе, где совершается открытие характера, обстоятельств исторических,

жизненных. Такого рода открытия могут происходить лишь на пути к правде, когда не уклоняешься от самых острых проблем бытия. Наверное, надо даже идти на них. Стремление идти на самые острые конфликты времени, искать истину в ее острейших столкновениях приносило успех нашей литературе. Смелость — одно из самых привлекательных качеств писательского дарования. Нужна смелость, чтобы перешагнуть сегодня через каноны и штампы мышления, каких-то вульгарных схематических представлений — нет, не о жизни, а о том, что полезно и что вредно. До сих пор есть критики, которые считают, что советской литературе не пристало, а советскому читателю «не полезно» трагическое, трагичность обстоятельств. А ведь жизнь трагична так же, как и была во времена Пушкина и Толстого, трагична потому, что никто и ничто пока не снимает проблем неудач, несчастий, смерти, одиночества. Все лучшее в литературе большей частью было связано с трагическим мироощущением.

Не стараемся ли мы обойти это? Не ищем ли мы прежде всего победителей? Почему мы признаем преодоление страданий, а сами страдания нам кажутся ненужными, малозначащими?

Я вспоминаю, как много сил пришлось потратить, отстаивая необходимость рассказывать о страданиях непреодоленных, о муках человеческих в «Блокадной книге». От нас ждали прежде всего героизма, а герои — это, как известно, люди, которые умеют одолевать страдания.

Может быть, еще более сложной и насущной потребностью литературы являются трагедии не войны, а сегодняшнего дня, в условиях нормальной жизни, где неслышные страхи, горе, разочарование открывают сложность и полноту человеческого существования.

II

Меня всегда привлекал мир людей напряженно мыслящих, ищущих — то, что мы называем интеллигенцией, хотя очень трудно определить границы этого понятия. Учителя, врачи, научные работники — слой отнюдь не привилегированных, а порой и непрестижных профессий, мир людей городских, лишенных прямых связей с природой, возможности

уединиться. Тем не менее это люди, думающие над смыслом своей будничной и монотонной работы, смыслом своего существования в этом мире, тонко чувствующие, люди разные — измученные бытом, лишенные иногда простых радостей, люди, порой погруженные в борьбу за должность, за деньги, люди, в которых теснота существования рождает уныние или зависть и жажду быстрее пробиться «наверх». И как все это соединено с духовностью, с красотой души, добротой...

Наука, ученые... Среда эта была для меня родная, близкая, я любил людей науки, видя в них воплощение идеалов творческого человека. Потом стали появляться разочарования. Я понял, что надо преодолевать свои пристрастия, что занятия наукой не гарантия нравственной чистоты человека. Надо показать и ограниченность этих людей, и то, как меняется их роль в обществе. Показать, как много зла причинила, в частности природе, беспринципность некоторых ученых. И что не кто другой, а ученые, наша наука могут и должны исправить нанесенный ущерб всему живому миру земли, и как они это делают.

Наука открыла мне тему, порожденную нашим временем,— перестройки экологического сознания человека. Мне представляется, что неправильное, небратское, хищническое отношение к природе осмысливается и будет осмысливаться литературой. Проблема защиты природы требует участия всех специальностей — техников, юристов, медиков,— буквально всех. Но у литературы своя деликатнейшая обязанность — попробовать как-то изменить вековечные потребительские представления человека о борьбе с природой, о покорении ее... Думается, что ничто не может заменить здесь силы искусства, и в первую очередь литературы. Эта проблема не частная, время выдвигает ее как важнейшую проблему человеческого бытия.

Есть такое старинное слово — «сочинительство». Литература родилась как сочинение. Писатель — сочинитель. Тем не менее в слово «сочинитель» закралось что-то осудительное, насмешливое. У нас сочинение осталось разве что в названии одного вида изданий — собрания сочинений. Тут против этого слова никто не возражает — ни читатели, ни авторы.

Боюсь, что пренебрежение к сочинительству не так безобидно, как кажется. Сочинительство в нашей прозе постепенно и незаметно как бы замещалось журнализмом. Беспрестанные требования изучать жизнь приводили порой к тому, что

воображение, фантазия писателя как бы атрофировались, писатель оказывался в плену жизненных фактов. Знать жизнь подробно, во всех деталях, со всеми приметами сегодняшнего дня, со всеми ее словечками, лексикой, конечно, заманчиво. Но иногда чувствуешь, как это знание тянет вниз, мешает подняться, увидеть общую картину жизни.

Границу между журнализмом и литературой бывает провести трудно, ее размывают всевозможными терминами: «художественные очерки», «художественная документалистика, публицистика», чуть ли не все становится художественной, да еще литературой. Даже критика становится родом литературы. И в этой беспредельности не остается места вымыслу или домыслу. Вроде как-то неудобно придумывать. А еще не забудем тезис о том, что жизнь богаче литературы. Во всем этом, разумеется, есть своя доля правды. И доля опасности для писателя-художника.

Я сам почувствовал эту опасность на себе, после того как занимался долгое время документальной литературой. Документальная литература расслабляет писательский организм, который требует непрестанной работы воображения.

Вымысел, условность всегда присутствовали в русской литературе: в прозе и Пушкина, и Гоголя, и Достоевского, и Горького, да и в нынешней нашей литературе.

Когда эти традиции развиваются, тогда мы получаем такие интереснейшие вещи, как новый роман Чингиза Айтматова. Там все сочинено и все правда: факты, подлинные легенды, наблюдения меняют свою структуру — так графит превращается в алмаз, так из клеток возникает новый уровень жизни — целостный организм.

Границу между литературой и журнализмом мне удалось для себя нащупать однажды, во время работы над «Блокадной книгой».

Надо было иллюстрировать книгу фотографиями. Мы отправились в архив ТАСС для того, чтобы найти фотографии заводов и фабрик времен блокады. Мы знали, что это было: разбитые снарядами цехи, измученные, еле стоявшие у станков люди, подвязывавшие себя, чтобы не упасть. Мы перебрали тысячи фотографий, сделанных репортерами в те годы. Что мы видели? Мы видели за станками людей — рабочих, мужчин и женщин, суровых или улыбающихся, но неизменно бодрых. И никаких примет голода, мук, блокадной обстановки, хоть сейчас печатай их в газете. Не нашлось буквально ни

одного снимка, который показал бы, что творилось тогда на фабриках и заводах, как трудно было тогда работать, как тяжелы были условия.

Вначале нас это возмутило: украшательство, фальсификация. Но, расспросив фотокорреспондентов тех лет, мы убедились, что тут происходило иное: это была та боевая задача, которую они выполняли в сорок втором — сорок третьем годах, считая своим долгом показать, как, несмотря на блокаду, голод, холод, обстрелы, люди продолжают работать и выполнять свой долг. Со своей задачей фотожурналисты блокадного города справились и оставили нам такое наследство. Они были журналисты, а не фотохудожники, художники — те думали бы тогда о том, чтобы заснять для истории драгоценные кадры быта, героики ленинградцев, продолжавших работать, несмотря на смертный голод, артобстрелы и бомбежки.

Речь не о том, чтобы пренебрегать познанием жизни. Так или иначе она окружает нас неотступно, стоит лишь всмотреться, увидеть. Пикассо когда-то определил свой художнический принцип: «Я не ищу, я нахожу». Емкая эта формула с годами кажется все более важной. Найти — значит откликнуться. Своим состраданием, любовью, радостью. Каждое произведение требует накоплений, долгой работы мысли. В жизни успеваешь написать совсем не много, малую часть того, о чем мечталось. Поэтому так непростительно, когда время уходит на вещи случайные, проходные, не главные. Хорошо, когда тема сама выбирает тебя, забирает тебя, не оставляя места сомнениям.

Недавно почти случайно я попал в город Малоярославец — старинный городок недалеко от Москвы. Познакомился с «мэром» этого города. Многое в его жизни совпало с жизнью моего героя Сергея Лосева — «мэра» другого русского городка, Лыкова. Так же как и Лосев, он собирает дореволюционные открытки Малоярославца, обременен теми же заботами, увлечен реставрацией монастыря. В городе этом произошла история, похожая на происходившую в романе, только конец у нее другой: на самом красивом месте города все же построен филиал института.

Мы стояли с «мэром» Малоярославца на этом дивном склоне горы, сбегающей к реке. Отсюда были видны весь город и это прекрасное место, обезображенное теперь невыразительным, скучным зданием, с развороченным, захламленным двором. Я слушал, как он говорил с тоской и болью, что

вот допустили испортить лучшее место города. Это было еще до него. Я думал о том, что жизнь распорядилась жестче и суровее, чем в моем романе. И думал о том, упрек ли это? Или наоборот, может быть, дело не в результате, а в открытии обстоятельств жизни, которые позволяют увидеть то, что обычно не видно.

Поначалу Лосев походил на многих людей, которых я знал. Новорожденных младенцев легко перепутать, они трудноотличимы. Детей уже не перепутаешь. Происходило накопление судьбы, и он уходил от прототипов. Я полюбил его, хотя было в нем что-то неприятно-чиновное. Но что делать: мы же любим людей не только за достоинства, любишь человека в целостности. Вся жизнь его проходила в убеждении, что надо расти, идти вперед. Мне хотелось показать, как появляется у него иное понимание ценностей жизни. Нельзя оценивать человека по ступеням служебной лестницы. Мы слишком часто удачную жизнь связываем с карьерой. Уйти работать прорабом с высокой административной работы вовсе не означает катастрофы. О том, удачная или неудачная сложилась жизнь, надо судить по совсем иным понятиям.

Поступок героя вызывает вопросы. Может быть, так и надо. Конечно, может, что-то здесь следовало еще прояснить, углубить, но в то же время кажется, что мы слишком все стремимся разъяснять. Не оставляем места непонятному. Мы знаем обо всем, и все нам ясно в наших книгах, хотя на самом деле в реальной жизни мы путаемся, недоумеваем, и многое остается для нас непонятным.

Говорят, что от писателя остаются только его книги. Так ли это? Рядом с книгами незримо пребывает и нравственный облик автора. Высокий или низкий, он так или иначе проникает в книгу. Не только для книги, для всего литературного дела очень важен моральный авторитет писателя. Он всегда сопутствовал книгам. Он, этот авторитет, этот облик, имел самостоятельную ценность. Толстой и Чехов, Горький и Блок, Маяковский и Твардовский высоко подняли звание русского писателя. Но это относится не только к гениям. Вспомнить можно прекрасную жизнь и В. Короленко, и М. Пришвина, и К. Паустовского, и А. Гайдара. Да мало ли? Каждый из них по-своему являл достойное соответствие своему слову, своим героям, своим литературным идеалам. Когда, допустим, Державин писал:

Я всему предпочитаю
За отечество лить кровь —

это были не красивые слова, а строки, отражающие его биографию, его судьбу. Нравственные искания пронизывают судьбы многих русских писателей. «Как должен жить писатель?» — спрашивали себя и Толстой, и Герцен, и Достоевский, и Гончаров. И сегодня читатель ищет в жизни писателя этическую норму, сравнивает его героев с ним самим.

1981

ДУША ДОЛЖНА ТРУДИТЬСЯ

...Все трое живые, смешливые, острые на язык. Разговор шел о новых книгах, было приятно слышать, как эти ребята, молодые строители, показывали свой вкус, самостоятельность суждений, они знали стихи, они уже прочли новые романы Булата Окуджавы, Василия Белова, книгу Габриэля Гарсиа Маркеса и книгу про Ивана Грозного, они были в курсе последних фильмов и премьер, которых я еще не видел, и книжных новинок, о которых я еще понятия не имел. Они сидели передо мной в своих замызганных спецовках, в беретах, но видна была модная их стрижка, слова они употребляли на уровне наивысшего образования, разговаривать с ними было трудно и интересно. Каждый из них по-своему оценивал героя моей повести «Эта странная жизнь», которую они читали, двоих из них — сварщика и бетонщика — герой мой не устраивал за скудную личную жизнь, третьему мешало, что ничего не было сказано про научные достижения героя. Но все трое принимали его бережное, умное пользование временем своей жизни. Им нравилась большая цель, которую он перед собой поставил.

Они заполняли весь этот довольно большой вагончик-контору, где мы сидели. Когда они ушли, сразу стало тихо, и я вспомнил о прорабе. Он сидел в глубине, за привинченным столиком, допивал свой кефир, не глядя на меня. Я похвалил его ребят.

— Да,— сказал он мне, но как-то неприятно-насмешливо.— Понравились? А Ермаков, значит, не произвел?

Ермаков был плотник, с которым я разговаривал до этого, и Ермаков действительно «не произвел». Ничего он не читал, не видел и не стремился. Был он, очевидно, из тех забой-

щиков «козла», что часами стучат во дворах или режутся в карты.

Так-то оно так, и прораб согласно качал головой. Однако, к вашему сведению, Ермаков — золотой человек, один из самых честных и добросовестных работников, тот, на кого можно положиться в любой ситуации, сердечный, отзывчивый человек, работу которого можно, кстати говоря, никогда не проверять. Не то что эти молодцы, эти типовые «сачки», тяп-ляп, кое-как, лишь бы скорее, лишь бы смотаться. Именно потому, что они мне понравились, прораб говорил об этих троих с подчеркнутым небрежением. Он был обижен за Ермакова, мои оценки задели его несправедливостью. Позднее я имел возможность проверить его слова. Он был прав, удручающе прав. Эти знатоки литературы, эти такие культурные, развитые ребята, которые могли с успехом выступить и на диспуте, и на читательской конференции, они были работниками действительно плохими, равнодушными.

Встреча эта заставила меня призадуматься. Было в ней явное нарушение расхожих представлений. Чтение книг, интерес к искусству — все то, что, казалось, должно было образовывать и облагораживать человека, оказывается, никак не проникало в сферу труда и отношения к своему труду. Наблюдая потом за Ермаковым, я стал понимать прораба. Этот человек, Ермаков, внушал глубокое уважение той своей добросовестностью и даже безответностью, которая, очевидно, происходила от его самоуважения, от его понимания смысла своего труда, а может быть, и всей своей жизни. И в то же время начитанные эти и в общем славные ребята вызывали беспокойство своей как бы душевной замурованностью. То, о чем они читали, то, что они видели в кино, в театре, чем так живо интересовались, почему-то никак не перерабатывалось в то, чем они занимались здесь, на стройплощадке, почему-то не влияло на их отношение к своему труду. Существовала как бы перегородка, непроницаемая, глухая, между их словами, их эрудицией, их культурностью и тем главным, что определяет во многом здоровье человеческой души,— трудовой жизнью. Были, конечно, и другие примеры, и я к ним вернусь, но этот случай ставил непростые вопросы. Вероятно, Ермаков и эта тройка были полярны. Можно ли было назвать этих ребят людьми настоящей культуры? Но можно ли было назвать таким и Ермакова? Личность осуществляет себя через труд, отношение к труду — это показатель духовного развития человека. Но достаточен ли он, этот показатель? Какова ценность

того чтения, тех знаний, которыми жили эти ребята? Но можно ли считать их знания фальшивой драгоценностью, стеклом, которое выдается за алмаз? Выдается или воспринимается? А может быть, в них тоже есть свое доброе и важное начало, которое надо как-то продолжить, пробить эту стенку, эту перегородку?

Годами не убывающая очередь стоит в Эрмитаж, с утра до вечера залы его переполнены, но какая часть из приходящих сюда действительно что-то получит для себя, как-то взволнуется произведениями великих мастеров, и сколько зайдет сюда, чтобы отметиться, чтобы сказать, что я был в Эрмитаже, для престижа, сколько из них скользят равнодушно-спокойным взглядом, запоминая, чтобы знать! Ермаков, тот вообще не был в Эрмитаже, ни в Павловске не был, ни в Пушкине, был в Петергофе, фонтаны смотрел. Огромная культурно-художественная жизнь такого города, как Ленинград, с его сокровищами проходит мимо него. Но может быть, этот откровенный неинтерес более честен, чем формальное приобщение к культуре. Отчего оно происходит? От занятости, от сверхзанятости? Сегодня читают больше, но читают хуже, то есть поверхностнее, наспех, куда меньше переживая, продумывая прочитанное. Эрудиция не заменяет культуру. Количество, допустим, в искусстве ничего не дает, оно часто даже мешает. Мы не замечаем, как вянет и умирает в нас духовное начало. Человек ссылается на занятость, и вместо серьезной духовной работы появляются отвлечения и развлечения. Вместо серьезного чтения, вместо размышления и споров торжествуют желания забыться, бездумные часы перед телевизором, легкая музыка, легкое чтение, развлекательное кино. Общение — самое дорогое для человека — сводится к обмену анекдотами, а не мыслями, обсуждению спортивных игр, а не обмену мыслями. Мы иногда не замечаем своего безмыслия в потоке дел. Что такое культурный человек? Из чего складывается культура личности? Как эта культура воспитывается? Я не мастер определений, мне хочется поделиться лишь некоторыми частными наблюдениями, где больше проблем и мучающих меня вопросов, чем ответов на них.

Встреча с этими тремя молодыми строителями заставила меня вспомнить и внимательнее присмотреться к людям, которых я действительно считаю людьми высокой культуры.

Я вспомнил, как Геннадий Александрович Богомолов рассказывал мне о водяных знаках на марках. «В Англии было двадцать два знака, сейчас их двадцать семь, в Румынии их

тридцать». Он показывал мне штемпели на марках. «Я стараюсь собирать все марки, на которых не фальшивый штемпель, а настоящий. Они для меня дороже, в них подлинность». Он рассказывал про надпечатки на марках — каких только не бывает надпечаток?! Потом рассказывал про бумагу, есть, например, в швейцарских марках бумага с прожилками — шелковинки красные, голубые. Рассказывал про номера на английских марках...

Всё это были тонкости, о которых я знать не знал, хотя когда-то в детстве собирал марки, тонкости, которые были мне ни к чему, но я слушал его увлеченно, и он старался говорить попроще, нагляднее, показывал разницу между типами зубцов на марках на примере турецких марок, а как он рассказывал про каталоги марок, сколько их, каталогов, потом про марки княжества Бутан, с объемным изображением... Это были интереснейшие рассказы, как у всякого настоящего знатока. Филателия, да еще на таком уровне, казалась мне всегда занятием интеллигентных профессий. Геннадий Александрович мысленно перебирает своих знакомых и соглашается. Он вспоминал серьезных коллекционеров — врачей, ученых, литераторов. Сам Геннадий Александрович Богомолов — тоже серьезный коллекционер, у него одна из самых больших коллекций марок. Профессия же у него самая что ни на есть рабочая — он фрезеровщик. Впрочем, фрезеровщик он особый, знаменитый фрезеровщик. Он лауреат Государственной премии СССР, он орденоносец и пр. и пр. Но почему-то не хочется мне употреблять слово «знаменитый» в применении к Г. А. Богомолову, в слове этом привкус славы, а штука эта непостоянная, капризная. Тут гораздо важнее другое — он фрезеровщик талантливый. У него талант не просто станочника, а именно фрезеровщика. Бывает такое. Наблюдать за его работой — эстетическое удовольствие. У него самых обычных два станка... Но, впрочем, я не собираюсь рассказывать ни о его работе, ни о его показателях. Меня всегда занимал он сам. Существует какая-то глубинная органичная связь между его производственной работой и миром его увлечений — собирательством марок. Она не явная, эта связь. Собирательство марок требовало знания биографий, истории, искусства, но также еще и терпения, аккуратности, систематичности. Богомолов знает много и неожиданно. Какое-нибудь изображение Цезаря заставляло его читать книгу о Цезаре. Круг его интересов чрезвычайно широк. Он мог, например, просидеть вечер в музее-квартире Пушкина на литературоведческом разговоре о пушкинской прозе. Круг

его интересов, стремление к знанию определялись не деловыми соображениями, не желанием повысить свою квалификацию, скорее всего, тут уместно старое слово — любознательность, то непосредственное чувство, которое движет нами в детстве,— любопытство, интерес, удивление перед окружающим нас миром — чувство, которое потом теряется среди требований взрослой жизни. Филателия вызвана была, скорее всего, потребностью уравновесить свою работу иным интересом, занятием, связанным с духовной жизнью. Это, очевидно, жажда гармонии. Отсюда, наверно, и поездки на рыбалку, с тем чтобы побыть на природе. Нечто подобное я мог заметить и у Александра Антоновича Беспалова — оптика-механика из Ленинградского оптико-механического объединения. Он сам рабочий высшей квалификации и работает на предприятии высокой культуры. Но опять же меня интересуют не подробности его производственных достижений, а его интеллигентность. Комплекс его интересов, увлечений и той большой внутренней работы, которая постоянно происходит в нем. Выражается это по-разному. Так, например, он любит снимать фильмы о своих поездках и путешествиях. А что это за путешествия? Разные. Среди них и командировки по работе, и поездки как члена Комитета защиты мира — Бельгия, Чехословакия, Западный Берлин, ГДР, страны Скандинавии. Ему помогает то, что он знает немецкий язык — читает и говорит более или менее свободно. Язык немецкий он выучил на курсах. Опять-таки и это могло остаться чисто внешним. А привлекает в нем то, как он обдумывает, переживает увиденное, как занимают его проблемы культуры производства, с какой болью говорит он о том, что у нас не хватает точности, обязательности данного слова, насколько выше эта культура производственного общения, например, в ГДР. Ведь все должно делаться в срок, выполняться точно, если обещано. Имеет ли право руководитель, дав слово, обещание, не выполнить его? И в самом деле, ведь когда-то это было вопросом чести, человек, не выполнивший своего обещания, обманувший, должен был подавать в отставку. Не с этого ли начинается культура общения людей?

В Беспалове приятна воспитанность в сочетании с чувством собственного достоинства. Он проработал на ЛОМО около пятидесяти лет, и, может, его воспитанность связана со всем стилем работы этого предприятия, начиная с его генерального директора М. П. Панфилова, человека, который отличается обязательностью слова, четкостью и корректностью в работе и обращении с людьми.

Некоторые считают воспитанность человека, умение вести себя чисто внешним признаком культуры, говорят, что усвоить правила хорошего тона—это еще не признак культуры. К сожалению, слишком часто этим оправдываются грубость и хамство. Но думаю, что даже эта внешняя культура представляет собой немалую общественную ценность. Человек воспитанный, вежливый, умеющий себя вести, улучшает психологический климат, помогает общению людей, украшает жизнь. Не случайно таким спросом пользуется у нас каждая книга об этикете. Люди хотят знать, как вести себя в обществе, за столом, в ресторане. Когда что положено, с кем, что можно, что нельзя... Воспитанность, этикет облегчают общение людей, да и вообще делают жизнь красивой. Может быть, начинать учить этикету надо с первых классов школы. Специально преподавать, воспитывать воспитанность. Потребность в этом ощущается все более настоятельно, я бы даже сказал, болезненно. При нашей коллективности жизни невежливость, грубость, даже неумышленная неловкость больно ранят людей. Можно ли оценивать человека, хорошо он воспитан или дурно? Я думаю, нужно. Воспитанность — важное качество, оно и нравственное значение имеет. Невоспитанностью и добрый поступок можно испортить.

Уметь требовать, уметь критиковать, указывать недостатки и делать это необидно, неоскорбительно для людей, уметь извиниться, когда не прав,— сегодня качества, необходимые для любого руководителя. Стыдно, когда этикет и умение вести себя бывают направлены в одну сторону — вверх, в отношениях с вышестоящим начальством, когда человек культурен и вежлив только с теми, кто выше его по должности. Относиться с уважением к тому, кто выше, и не уважать того, кто ниже тебя,— в этом проявляется ничтожество личности, которое не могут возместить никакие знания и образование. Не случайно, что вся мировая литература, и особенно русская, всегда старалась вытравить из человека раба и хама, воспитывала любовь к рядовому человеку, требовательность, деятельность, взыскательную любовь, без умиления.

Я глубоко убежден, что нравственное воспитание человека должно начинаться в своей семье, в ней надо стараться проявлять внимание, терпение и вежливость. В общественной же сфере человека многое сдерживает, в семье, среди друзей он проявляет себя куда свободнее, и здесь-то самотребовательность должна быть выше.

1983

Повести

ПЕРВЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ

Перед Смольным, у памятника Ленину, всегда стоят экскурсии. Школьники, туристы, иностранцы. Однажды я познакомился там с одним стариком. Он ходил в стороне, опираясь на палку, не слушая экскурсовода, и лицо его выражало смятение. Он знал Смольный в дни революции. Не было памятника Ленину. Горели костры, их дым мешался с синим дымом броневиков, грохочущих вот здесь, у лестницы Смольного. Он смотрел на цветники, клумбы, скамеечки и видел совсем не то, что видели все мы. Поэтому в его рассказах о том, как это было, я многого не понимал, какие-то детали, краски, все то, что для него было само собой разумеющимся. Среди его рассказов один почему-то запомнился особо. Забавная история? Но прошло несколько лет, а история эта не забывалась, и чем больше я вдумывался в нее, тем более знаменательной она казалась. У нее был один недостаток: она плохо уживалась с монументально-классической схемой революции, которая преподавалась нам из года в год.

Но не так давно, случайно в воспоминаниях А. М. Коллонтай я прочел об этом случае, и, хотя там было рассказано о нем скупее, без мотивировок, он предстал емко и абсолютно достоверно.

На третий день после взятия Зимнего Ленин поручил Коллонтай заняться соцобеспечением, или, как оно до того называлось, Министерством государственного призрения. И тут же, утречком, к ней на квартиру явился мужичок — тулупчик, лапти, борода — с запиской от Ленина, где Ленин предлагал выдать подателю сего сколько причитается за лошадь.

Что за лошадь, какую лошадь? Мужичок обстоятельно рассказал: лошадь у него реквизировали на военные нужды

еще при царе, перед самой Февральской революцией. Обещали заплатить вознаграждение, но время шло, не платили, а в хозяйстве без лошади невозможно, и мужик отправился в Питер, два месяца обивал пороги всевозможных учреждений и присутствий Временного правительства — никакого толку. Прожился, на одном хлебе жил; так и с хлебом в Питере плохо стало. Гоняли его по всем правилам российской бюрократии из одного ведомства в другое, и вдруг революция, большевики, Ленин. Услышал он про новую власть и направился к самому главному, в Смольный, поднял Ленина ни свет ни заря и добился записочки и с записочкой этой на квартиру к Коллонтай.

Ему и в голову не приходило явиться самолично на квартиру к министру Временного правительства, а тем более добраться до царского министра. А тут решился к самому Председателю Совнаркома. Вот как решился, как произошел этот переворот в сознании, как он, по всей видимости, не зная толком программы большевиков и принципов новой государственной системы, тем не менее сразу почувствовал народную суть Советской власти, составляет одно из поразительных свойств революции.

Для самой Коллонтай появление этого первого просителя было удивительным, но не было странным. Когда-то он должен был пожаловать, а он пришел немедленно. Первым он был не только для Коллонтай, по всей видимости, он был первым и для Ленина. Еще по улицам Петрограда шли бои, красногвардейцы осаждали Павловское и Владимирское училища, обезоруживали юнкеров, засевших в Михайловском замке, отряды матросов освобождали телефонную станцию, почтамт; белогвардейские офицеры стреляли из дворца Кшесинской, и в эти часы к Ленину стучится невесть как пробравшийся к нему первый посетитель, не проситель, а требователь. Десятки раз мужичок повторял свой рассказ-жалобу перед чиновниками, секретарями, столоначальниками, отчаялся, изверился, убедился, что никому нет дела до его беды, что нет ни правды, ни веры словам, ни законам...

В этой маленькой истории мне вдруг увиделось многое, и я положил ее в основу киносценария. Некоторые отрывки из него я позволю себе здесь привести.

Накануне Ленин формировал правительство, писал декреты о мире, о земле, посылал отряды против Краснова, назначал людей. То были неотложные дела революции, только-

только закладывались основы социалистического государства, и вдруг среди этих дел всенародной исторической важности — деньги за лошадь.

Но это было первое, самое первое, обращение гражданина нового государства к Ленину как руководителю новой Советской власти, ее первый потребитель, ее первый хозяин, первый, кому она могла помочь и должна была помочь. И Ленин тоже впервые ощутил себя работником для этого гражданина, его депутатом, его служащим. Для Ленина это было новое качество, никогда еще не выступал он в подобной роли. Он стоял перед этим мужичком, глава первого государства рабочих и крестьян, которое создано, оказывается, и для того, чтобы решить наконец эту просьбу о лошади. Отсюда она начинается, власть трудящихся, государство не для человека вообще, а для этого, с котомкой за плечами, в лаптях, откуда-то из Псковщины, голодного, злого, верящего в большевиков и еще не верящего. У него уже есть право поднять Ленина спозаранок: а что как это и вправду наконец-то нашенское народное государство? Ленин обязан выслушать его просьбу, хотя надо вызывать путиловцев и дать им задание любыми средствами доставить орудия на позиции, надо ехать в штаб военного округа... Но в этой обязанности рождалось и неизвестное еще в спектре человеческих чувств чувство удовлетворения от того, что есть власть, которая может помочь, защитить трудового человека, вот этого, а за ним и других... Великие принципы декларации прав человека, споры о формах правления, теоретические работы о задачах социалистического государства впервые воплощались в этом житейском разговоре о лошади. События исторической важности большей частью состоят из простейших человеческих поступков.

И вся последующая история с ленинской запиской была такой же простой и в то же время наполненной глубоким смыслом.

Коллонтай была наркомом, но у нее не было ни средств, ни подчиненных, даже стола своего не было, седобородый швейцар в синей ливрее, стоя в подъезде министерства, попросту не пускал ее, несмотря на все мандаты,— приема посетителей нет. Тот самый швейцар, перед которым не раз топтался мужичок.

Коллонтай собиралась ехать выступать на митингах, в те дни ей казалось, что митинги были самым важным делом, молодая власть нуждалась в бойцах-защитниках, надо было разъяснять, агитировать... Но она уже была наркомом и перед

ней стоял мужичок с ленинской запиской. Следовало выплатить ему деньги, для этого ни много ни мало следовало занять министерство, сломить саботаж чиновников, разобраться в порядках, организовать аппарат...

Парадная большого петербургского дома на Кирочной. Василий поднимается по лестнице, останавливается перед дверью, дергает звонок.

— Кто там? — слышится голос.

— Мне гражданина министра.

— Кого?

Дверь на цепочке приоткрывается, видно только что умытое лицо Коллонтай, через плечо полотенце.

— Хозяин спит еще? — спрашивает Василий.

— Что у вас?

— Записочка у меня, от Ленина.

— Давайте.

— Мне, барышня, самому бы передать, Коллонтай.

— Так это я и есть.

Она открывает дверь. Василий входит в переднюю.

— Здравствуйте... Мне велено вашему супругу, народному комиссару.

— Я — народный комиссар.

Шубин вежливо смеется, оценив шутку.

— Вам что, документы предъявить?

— Прощения прошу...

Коллонтай приносит документы.

Недоверчиво оглядывая Коллонтай в халате, Шубин читает документы, сверяет подпись.

— Сходится? — спрашивает Коллонтай.

Он обескураженно протягивает ей ленинскую записку.

Она читает дольше, чем нужно, понимая, что в этих трех строчках не только забота о Шубине, но и о ней самой — вот тебе наглядное дело, первое поручение, ты уже нарком, время не ждет, действуй, действуй... И улыбка ее, назначенная Шубину, переходит в озабоченность.

— Господи, я ж еще ничего не знаю.

— А чего тут знать,— говорит Василий.— Приказ от Ленина есть? Есть. Печать куда надо хлопните — и дело в шляпе. Тут я лошадь торгую, пока цена веселая.

Коллонтай одевается.

— А где она, печать-то, лежит — известно? — пряча усмешку, спрашивает она.

Но Василий не теряется.

— Если вы насчет адреса, то на Казанской, да я покажу, не сомневайтесь.

Они идут по утренней улице, странная пара: Коллонтай, в шляпке, модно одетая, в меховой горжетке с муфточкой, и Шубин, в зипуне, с котомкой, в драных сапогах. Переходят улицу — Коллонтай взяла его под руку. У сквера батарея — два орудия, заспанные солдаты.

— Ишь, лапоть, какую кралю зацепил!

— Не тушуйся, паря!

— Темнота,— говорит Василий и краснеет, опасливо поглядывая на Коллонтай и невольно, по-мужски, любуясь ею.

Знакомый подъезд министерства. Знакомый швейцар. Здесь вроде ничто не изменилось.

— Здравствуйте, товарищ,— говорит Коллонтай.

— Здравия желаем,— настороженно отвечает швейцар. Коллонтай хочет пройти, но он заступает вход.

— А вам, извиняюсь, по какому делу?

— Ты что, не видишь? Комиссар она,— поясняет Шубин.

Но швейцар даже глазом не повел в его сторону. Тогда Коллонтай достает из муфты мандат.

— Не велено пускать,— говорит швейцар.

— Кого, меня?

— Посторонних не велено пускать.

— Кто же тут посторонние? Вам известно, что Временное правительство низложено, власть взял народ.

— Душевно сочувствую, да я человек подневольный.— Чугунно возвышается, заслоняя вход, словно принадлежность казенных дверей и запоров, и Коллонтай выглядит маленькой, хрупкой перед этим позолоченным долдоном.

В подъезде несколько чиновников с любопытством следят за этой сценой.

Василий шепчет:

— Александра Михайловна, ему надо красненькую, чтобы не лаял, они тут привыкли.

Коллонтай, еще несомая победной праздничностью революции, обращается к чиновникам:

— Товарищи, граждане, а вы с кем?.. Против кого вы идете?

Кое-кто отворачивается, уходит. Швейцар ухмыляется над ее ораторствованиями с высоты своих трех ступенек.

— Вы ж, мадам, из благородных. Чего встреваете, не дамское это дело. Шли бы себе без скандалу.

Смеются чиновники. Засмеялся швейцар, наслаждаясь превосходством своей силы. Кто-то, смелея, свистнул.

Было мгновение, когда глаза ее влажно блеснули, и Василий, пугаясь — лишь бы не разревелась, тут не то что баба, любой сраму не выдержит,— Василий замахал ленинской запиской, закричал:

— Гони их в шею! Чего оробела? Товарищ Ленин приказал? Исполняй! Раз тебе права дадены!

Но, видно, он ошибся, спутал ее с другой женщиной, которая только что стояла здесь и исчезла. А эта не умела плакать. Вместо слез в глазах ее оказалось веселое презрение. Кто-кто, а она-то видела врагов посильнее и поопаснее.

Отступив на шаг, прицельно смерила она предстоящее ей, с этой минуты окончательно став народным комиссаром Республики.

— Каждому свой Зимний надо брать...— она колко оглядывает Василия.— Ну, что ж ты? Женщина вперед? А ты за мной? Где твоя винтовка, кавалер? На других надеешься? Ты кто такой?

— Я... известно кто...— оторопел Василий.— Крестьянин я.

— Вот именно... Ты теперь власть, твоя власть. Вот и бери ее.

И она уходит, беспощадно оставляя Шубина одного.

Он порывается за ней, потом кидается к подъезду, колотит в запертые двери. Они даже не вздрагивают. Они массивны и неприступны, как стены. Они изукрашены резьбой. Умелые руки работали над ними.

В зале телеграфного агентства Григорий успокаивает Василия.

— Как-нибудь и швейцара твоего одолеем. А самовольно я не могу. Шутка — министерство занять. Что я — анархист? У нас, большевиков, порядок.

— Так женщиной она оказалась,— говорит Василий.— Не одолеть ей.

— Это Коллонтай-то? — смеется Григорий.— Будь спокоен.

— Она сама мне приказала власть брать.

— И брал бы. Содействовал. Ишь, дитятко беспомощное. Недаром вас, таких-тс, начальство все от зубов очищало: что это, мол, за спеленыши с зубами,— да и хрясь. Шубин ты Шубин, хоть бы вывезла тебя на дорогу твоя лошадь. Ладно, позвоню, выясню обстановку.

Он уходит в глубь аппаратной. Винтовка его осталась у столика, где сидит дежурный. Василий берет ее, прохаживается взад-вперед, в раздумье спускается вниз, выходит на улицу. Какая-то мысль ведет его. Толчками, слепо. Толпа у рекламных воззваний заставляет его остановиться, прислушаться.

— Большевики распускают Думу. Не так ли? — риторически обращается к нему некто бородатый, в распахнутой шубе.

— Чего пристали к солдатику?

— А против кого он поднял оружие?

— И хорошо, что поднял,— вмешивается подвыпивший длинноволосый.— Народ вам, господа, не хирург. Народ как полоснет ножичком по всей России!

— Послушайте, милейший, кто же будет воевать с немцами, если вы воюете со своими?

Василий устало, затравленно смотрит на величественную старуху, которая тычет в него пальцем, и вдруг, подняв винтовку, кричит:

— Довольно! Разойдись!

— Хулиган! — ничуть не испугавшись, говорит старуха.

Пробегают мальчишки, разбрасывая листовки.

— Воззвание съезда Советов!

Василий вместе со всеми гонится за листовками. Из-за угла навстречу цепью бегут юнкера. Василий замешкался, побежал было назад, к своим, ему стреляют вслед. Он останавливается. Кто-то схватил его сзади за котомку. Юнкер — совсем мальчик, очки сползли на потный нос, в одной руке револьвер, в другой — котомка Шубина.

— Кто такой? Сдавайся!

Офицер командует ему, пробегая:

— Обыскать. Доставить.

Юнкер близоруко оглядывает Василия:

— Ты вообще-то за кого?

— Я-то? — Василий придурковато скребет затылок.— Я за себя. Мне свое получить...

— Большевик, значит. Ты арестован. Марш.

И Василий под револьвером бежит вместе с ним к агентству. Юнкера врываются на телеграф.

Молоденький юнкер, который задержал Василия, стреляет из револьвера во двор. Недоуменно встряхивает мешающую ему котомку.

— Здесь что?

— Сало там, ну еще...

— Ага, спекулянт.

— Ваше благородие. Это ж мое, из деревни привез.

— Все вы шпионы и грабители.— Юнкер, в одной руке держа мешок, в другой револьвер, вбегает в здание агентства.

В коридорах полная неразбериха, стреляют юнкера, мечутся чиновники, визжат барышни. Распахнутые двери с налепленной бумажкой «Комиссар».

В глубине кабинета один из юнкеров с винтовкой наперевес кричит комиссару:

— Сдавайтесь. Сопротивление бесполезно.

Комиссар говорит по телефону. Зажимает ухо, зажмуривается, поворачивается спиной к винтовке, торопливо докрикивает:

— ...Да, да, захватили... юнкера... высылайте скорей...

Юнкер вырывает у него трубку.

В это время вбегают Василий и молоденький очкастый юнкер. Потные, запыхавшиеся, они оба кидаются к графину с водой.

— Арестовать... Заложником...— командует юнкер, но запекшиеся губы молоденького, в очках, не в силах оторваться от стакана. Василий и он пьют, и пьют, и пьют, лишь глазами участвуя в происходящем. Наконец Василий напился, потянул к себе котомку из рук юнкера.

— Ты что? Руки вверх! — удивленно приказывает юнкер и наставляет на Василия револьвер.

Василий, разозлившись, выбивает у него револьвер прикладом.

— А ну... давай сюда... ишь, манеру взяли чужое хватать.

Пользуясь суматохой, комиссар скрывается за дверью, тащит за собой Василия, в последнюю секунду Василий успевает схватить свою котомку, дверь захлопывается. Выстрел. Василий осматривает дыру в котомке.

— Я тебе поозорую,— грозится он.

Комиссар увлекает его в темный коридор и дальше по витой лестничке.

Под аркой среди своих отдышались. Красногвардейцы устанавливают пулемет.

— Молодец, спасибо,— говорит комиссар.— Только зря ты у этого револьвер не отобрал. Вообще... стрелять надо было.

— Так ведь... мальчишка он,— оправдывается Василий.

И в это время пуля из окна настигает одного из пулеметчиков. Со стоном он кружится на месте, держится за плечо. Василий выглядывает из-за выступа, наверху за мутным блеском стекла он видит целящегося в него молоденького юнкера в очках.

За аркой скапливаются красногвардейцы. Василий пробирается к Леше и Григорию, которые раздают из ящика гранаты.

— Помешали, черти,— говорит Григорий.— Но завтра двигай в министерство. Знаешь, кто там орудует? Егоров наш.

— Иван Егорович? — спрашивает Алексей.

— Он самый. Звал меня. Я бы...— Григорий подмигивает Василию,— да видишь, работы подкинули.

Они стреляют, прикрываясь железной створкой ворот. И в них стреляют, пули звенят, барабанят по железу. Алексей подскакивает к Шубину.

— Тебе лишь бы пуп свой в землю врастить. Все себе, себе, а ты что людям? У-у, сквалыга, давай оружие,— он хватается за винтовку Василия, тот не отпускает ее. Они тянутся, не обращая внимания на свист пуль, и только окрик комиссара останавливает их.

— Прекратить! Давайте в обход.

Они перебегают к соседнему дому.

— Здесь! — кричит Григорий.

Василий ныряет к нему в парадную. Отсюда стреляют по окнам агентства.

По лестнице спускается старушка. Заслышав стрельбу, крестится.

— Сынок, что тут за пальба, никак немцы в Питер пришли?

— Нет, бабуся, революция это,— отвечает Григорий.

— Так была ж недавно одна.

— То, бабушка, была буржуазная революция, а нынче — пролетарская.

— Ох, сынок, кабы последняя...

Подтаскивают орудие. Наводят. Выстрел. Звенят стекла, сыплется штукатурка.

— Такой дом портят,— сокрушается Василий.

В одном из окон появляется белый флаг.

Пулеметная очередь уже из другого места, откуда-то сверху.

— Ложись! — командует комиссар.

Но Лешка, ругаясь, идет напрямик, к орудию.

— Хрена я согнусь. Это ж позор для революционера.

У орудия Алеша и Шубин. Видно, как они поворачивают ствол, наводят на купол Исаакия.

К ним подбегает Григорий.

— Вы что, рехнулись?

— Вроде бы оттуда стреляли.

Григорий сердито вертит ручкой, опуская ствол. Василий вошел во вкус и с сожалением следит за ним.

— Эх, жаль, больно прицел хороший,— азартно вздыхает Алеша.

Тот же министерский подъезд и тот же швейцар. По ступеням поднимается Коллонтай. Все то же самое, и все иначе — суетливо кланяясь, швейцар широко распахивает дверь. Позади Коллонтай работницы и несколько матросов.

— Виноват, не признал я вас прошлый раз,— оправдывается швейцар.

Один из матросов остается в вестибюле.

— Кончилась, папаша, твоя должность — держать и не пущать.

— Да я, милый, сам эксплуатируемый... Выходит, теперь вали кто хошь?

— Свобода! Точно, кто хошь!

В большом зале присутствия чиновники захлопывают ящики, закрывают шкафы. Этот вызывающий треск конторских орудий несется навстречу Коллонтай отовсюду. Чиновники, сперва высшие, а следом и остальные, встают и, обходя ее, покидают кабинеты.

По лестнице, все густея, стекает поток чиновного люда, а снизу вверх поднимаются сквозь толпу так называемые низшие служащие — курьеры, истопники, механики, счетоводы.

Молодой парень озорно свистит вслед уходящим.

— Скатертью дорога!

Его останавливает бритоголовый мужчина в брезентовой куртке.

— Чего веселишься?

— Наша взяла, товарищ Егоров. Наша власть! — И он несется в пустеющий зал.— Ур-ра!

В огромном министерском кабинете, среди бронзы канделябров, резных кресел, ковровых дорожек, собирались на-

чальники департаментов, седоголовые сановники и молодые эмиссары Временного правительства вроде Велихова; перед лицом Коллонтай они сплотились воедино.

Коллонтай читает врученную ей резолюцию.

— Значит, саботаж?

— Мы не можем признать вашу власть законной.

— Но это не обязательно, достаточно, что ее признал народ.

— Народ! — Сановник распахивает дверь кабинета туда, в пустующие залы.— С вами остаются одни курьеры. Сто тысяч курьеров.

— Вандалы,— говорит один из чиновников.— Дикая орда варваров, способных только разрушить, посмотрим, как они без нас.

— Нет, это вы варвары,— говорит Коллонтай.— Мы не настаиваем, чтобы вы разделяли наши убеждения. Пожалуйста. Но вы обрекаете на лишения, на голод детей, сирот, больницы...

В зале Скобелев остервенело вываливает на пол картотеку, сотни карточек, расшвыривает их, топчет.

— Что вы... Не позволю... Ах ты, боже мой, да ведь тут приютский инвентарь, сироты безвинные,— причитает старенький делопроизводитель. Он ползает по полу, собирая карточки.

— Уйди! — хрипит Скобелев, пинает его ногами. Тогда, не выдержав, Василий отталкивает Скобелева, поднимает старика.

За письменным столом, в высоком кресле Велихова, восседает парень, в руках у него перо. Мимо проходит Егоров, усмехается.

— А дальше что?

— Подумаешь,— говорит парень.— Бумаги подписывать!

Одна из работниц, здоровенная, костистая, держит за сюртук маленького чиновника.

— От кого ты бежишь? За буржуями?

Матросу ехидно передает дела начальник отдела.

— Вот извольте, берите, господа насильники, посмотрим, как вы, вот вам протезные мастерские, вот колония прокаженных.— Матрос испуганно отшатывается, а чиновник складывает перед ним папки, дела, подшивки.

А перед Егоровым с металлическим звоном падают на стол связки ключей. И отовсюду скрежет закрываемых шкафов, замков.

Поодаль стоит Василий Шубин, хмурый, сникший.

Происходило то, что происходило в те дни со всеми министерствами. Профсоюзы, делегатское собрание, поддержка технических служащих, крупные чиновники сопротивляются, приходится убеждать их силой.

И каждое утро вместе с матросами и наркомом приходил этот мужичок с запиской Ленина помогать устанавливать, налаживать новую власть. Швейцар в синей ливрее уже не задерживал, понимая, что отныне вот такие проходят свободно, ибо это их власть и там, за барьерами, у сейфов, стоят такие же, как и он.

Трактир «Колокольчик». Из распахнутых дверей вместе с паром вырывается пьяная песня, хриплый вой граммофона.

— Вася! — завидев входящего Шубина, кричит ему дядя Федя.

Василий пробирается между столиков в угол, где за большим столом гуляют извозчики.

— Вася, земляк, садись!

— Дядя Федь, выдь на минутку.

Федор, приплясывая, выходит, целует Василия.

— Разнесчастный ты...

— Это почему? — ощетинился Василий.— Считай, денежки тут,— хлопает по пустому карману, хмурится,— заминка вышла, потому что порядок надо навести... но дело верное...

— Васенька, голубчик ты мой, не мучайся ты, ради Христа. Пей, гуляй, Россию пропиваем. Ты мне скажи, кого везти? Куда везти?..— В распоясанной рубахе, пьяненький, он выглядит щуплым старикашкой с жидкой бороденкой, да еще нелепый цилиндр набекрень.

— Плакали, Вась, твои хлопоты, большевики свой счет начинают. С нуля. До основания разрушат...

— Напрасно вы сомневаетесь, дядя Федя. Я-то досконально...— И Василий заносчиво и горделиво умолкает.

— Знаешь ты много. Деревня.— Федор вглядывается в Василия.— Скажи на милость, какой стал, ровно царя за бороду схватил.

— Царя не царя, а с Лениным разговор имел.

Федор вытаращивает глаза, потом долго смеется, хлопая себя по бедрам.

— Тронулся ты, Вася, видать, в своих хлопотах.

— Тронулся? — Василий задет за живое. Победно оглядев всех, он достает записку Ленина, аккуратно расправляет ее, и записка ходит по рукам, медленно шевелятся губы, бороды, усы.

И вот уже Василий за столом, в красном углу, на него уважительно взирают извозчики.

— Да как же ты говорил с ним?

— Обыкновенно... Сидели на подоконнике и говорили. Про всякое.

— Ты выпей, Вась, выпей.

Орет граммофон, ползет чад, носятся половые.

— ...Жулики да богатые — вот враги, говорит.

— Это он правильно!

— Ну, а на шпиона немецкого похож он?

— На шпиона? — Василий задумывается. Он уже малость осовел.— Какой шпион, денег у него нет. Все они там без денег сидят.

Это нехитрое соображение убеждает.

— Сеять, говорит, надо. Ну, это я ему, конечно, присоветовал,— хвастливо, но соблюдая некоторую справедливость, сообщает Василий.— Разъяснил ему наше крестьянское положение...

— Все они обещают! — кричит вдруг с отчаянием оборванный возчик из ломовых.— На том свете! А на этом? Мужику один хрен, какая власть. Всякая власть на шее сидит да погоняет. Что моей кобыле: то ли сахар возить, то ли навоз — тяни себе знай да от слепня отмахивайся.

— Врешь! — Василий вскочил.— Я сам себе хозяин. Нынче такое распоряжение. А ежели какие буржуи отказываются помогать и бумаги топчут — пришьем!

— Не будет того, Вась. Не надейся.

— А насчет земли Ленин-то обещал?

— Землю каждому, безобидно,— с азартом разъясняет Василий.— Это мы обсудили. И насчет замирения решено.

— Вась, а если я пойду к нему? А? Я ему выскажу про наших. Погорельцы мы, а ссуду не дают.

— Неси еще четверть! — кричит Федор.—Упряжь пропивать будем. Явлюсь перед большевистские очи голеньким. Нужны вам — берите, пожалуйста. Раб божий Федор!

— Ты с чего, дядь Федя, растряхнулся?

— А-а, да ведь ты, Васенька, не ведаешь? И в мыслях у тебя нет, чего ты пьешь. А ты евонную гриву пропиваешь. Гриву-то помнишь, ленточки на масленую вплетали...

Василий смотрит на него, подозревая и боясь подозревать.

Но Федор тащит его во двор, туда, к конюшням, к распахнутой двери. Василий застывает на пороге. Трое мужчин, ловко орудуя топорами, ножами, тут же на полу свежуют конскую тушу, у стены лежит отсеченная голова с белой метиной на лбу. Засунув руки в карманы, стоит, распоряжается тот самый мордастый парень, который несколько дней назад приставал к Федору.

Неожиданно Федор по-бабьи всхлипывает.

— Вот, Васенька, видишь... Прости меня... Бога потерял я. Не поверил... А что человек без веры — то же мясо.— Он опускается на колени, кладет голову на чурбан.— Рубите меня на котлетки.

Парень хохочет.

— С тебя постных щей не наваришь. Давай, дед, отсюда. Деньги получил, чего тебе еще?

Снова в трактире, стиснув голову, сидит Василий.

— Винтовки нет у меня,— бормочет.— Я б всех жуликов да секретарей-чиновников...

Поют песню пьяные извозчики.

— Что ж Ленин, деньги тебе обещал, а где они? — кричит кто-то Василию.— Видно, Ленин еще в силу не вошел. Думаешь, он жуликов переборет? Ни в жисть.

— Пей, Васька, и не мечтай зазря. Швейцар — он сильнее.

— Бабу послали...

— Нет, плохо дело их, коли баб сажают. Керенский, тот бабами защищался, а эти баб министрами ставят.

— Да рази им справиться с такой страной.

— Мужиков на власть ставить хотят.

— Да рази можно нас ставить? Тут такая арифметика — учителю не сосчитать. И я тебе скажу — мужика поставишь, еще хуже будет.

Сидит Василий, слушает.

— Вася, безлошадные мы с тобой... Вот у Матвея подстрелили вчерась лошаденку.

Матвей лежит на столе, не то спит, не то рыдает.

— Значит, пропадать мне? — кричит Василий.— Не согласен!

— Пропадать, пропадать...— весело подхватывает Федор.— А что там, все обман, кругом обман...

Откуда-то появляется мордастый парень.

— Водку хлещете? За свои кровные? А в Зимнем подвалы вином полны-полнешеньки, мать их так. Айда, гужееды, царского хлебнем.

И вот уже на ломовой телеге несутся, нахлестывая лошадь, пьяные извозчики, среди них Василий.

У Зимнего в сквере — толпы любопытных, красногвардейцы — охрана. Пробивая себе путь, подъезжает машина. Василий проталкивается к ней. «Кто там?» — «Комиссары».— «Поди, Ленин приехал».

В подъезд Зимнего проходят Луначарский, Бонч-Бруевич, Чудновский.

Увидев издали Бонч-Бруевича, Василий порывается к нему, умоляет матроса охраны:

— Братишка, пропусти. Христом богом молю! Да ты не бойся, я от Ленина указание имею,— он показывает записку Ленина.— Не исполняют его приказов...— Его страстная убежденность действует.

У входа в Зимний Алексей наклеивает на колонны, на ноги атлантов бумажку: «Охраняется пролетарской революцией!»

Василий, разминувшись с ним, проходит во дворец.

Группа дворцовых служителей в пышных ливреях. Покуривают самокрутки.

— Комиссаров не видали?

— Там они вроде,— показывают куда-то. Василий закуривает с ними.

— А Ленин с ними? — спрашивает кто-то.

— И чего они приехали?

— Видать, переселяться сюда будут.

— Брось!

— А где же им проживать? Новые министры.

— Комиссары.

— Прозвание другое, а правители всея Руси, как и было.

— Апартаменты выбирают.

— Врете вы все, холуи,— говорит со злостью Василий.— Я с Лениным самоличный разговор имел. Старому не бывать.

Но теперь он идет по Зимнему уже в сомнении, задумчиво разглядывая царские портреты,— сколько их, всяких царей было, князей великих!

Вдали, сквозь раскрытые двери, Василий замечает, как какой-то мужчина в шляпе, опираясь, кладет в карман пресс-папье с письменного стола.

Под шелковым балдахином — кровать. Василий заглядывает туда, под балдахин, не может удержаться, садится, пробует мягкость перин, покачивается на пружинах, ложится, примериваясь.

— Вот тебе и царь,— хмельно бормочет он.— Ишь ты, как попросту с ним.— Он смотрит в угол на грозный лик Спасителя.— Может, эдак и господа попроверить можно.— Спаситель на иконе еще пуще хмурится.— А пускай его на небе сидит,— решает Василий. От вина его разморило.— Это сейчас не первой важности дело.

Полковник Ратиев показывает Луначарскому и остальным дворец — опустелый и тихий. Впервые его осматривают хозяева, способные по-новому оценить величественную архитектуру этих александровских, петровских, николаевских зал. Луначарский не скрывает радости и волнения от узнавания произведений искусства, ставших наконец собственностью народа. Его глаз знатока, человека подлинной культуры безошибочно выделяет в потоке роскоши вот эти гобелены, и роспись плафонов, и мебель старинной работы, малахитовую лазурную отделку стен, мраморные статуи.

В покоях последних Романовых Луначарский и Бонч-Бруевич, улыбаясь, переглядываются — безвкусица купеческих картин, пузатых комодов с гипсовыми статуэтками и кружевом салфеток... Апартаменты, где заседало Временное правительство. Роскошные залы загажены, заплеваны. Вырвана обивка кресел. Столы залиты чернилами. Хрустит под ногами стекло битых бутылок. Грязные тюфяки, ломаная мебель. Выбитые стекла, оббитая снарядом штукатурка, а за окнами — бледное небо. Нева, а во дворце — остывающая тишина, анфилады зал, уходящих в безвозвратное прошлое.

— Я протестовал перед Временным правительством,— говорит Ратиев,— Зимний дворец не крепость, в которой можно отсиживаться. Здесь государственное хранилище сокровищ искусства.

— Возмутительно,— говорит Луначарский,— мы потребовали, чтобы Временное правительство покинуло дворец. А они в ответ открыли огонь. Мы вынуждены были пойти на

штурм,— он показывает на выбоину от снаряда.— Нужно срочно отремонтировать. Застеклить.

Столик, заставленный флаконами.

— Это от Керенского,— поясняет Ратиев, перехватив взгляд Луначарского.

— Изволили много душиться, а душка́ своего не было,— говорит часовой.

Бонч-Бруевич перед картиной, изображающей ратный подвиг русских солдат: ров, артиллеристы перетаскивают пушку, солдаты легли под колеса, чтобы легче перекатить орудие.

— Каковы? — говорит он Луначарскому.

Луначарский прищуривается.

— Как подвиг — прекрасно, но как написано...— он пожимает плечами, берет Бонч-Бруевича и Чудновского под руки.

— Взгляните лучше сюда, вот где талантище...

Он показывает скульптуру.

— Роден.

Они смотрят. Что-то стихает в их лицах.

В это время у Луначарского что-то спрашивает проходившая мимо медсестра, красивая брюнетка в белоснежной косынке, Луначарский, смеясь, объясняет ей, ведет ее под руку.

Бонч-Бруевич со вздохом оторвался от Родена, оглядывается. Луначарский, возвращаясь, встречает уличающую улыбку.

— Куда, куда вы смотрите? — восклицает Луначарский.— Как вы могли пройти мимо Серова?

— А вы куда смотрите? — говорит Бонч-Бруевич, перехватывая его взгляд вслед медсестре, еще видной в проходах дверей.

— Как обстоят дела с охраной? — спрашивает Луначарский у Ратиева.

— Я расставил у Эрмитажа надежных людей из гренадер.

— Товарищ Ленин приказал обеспечить охрану Петергофа, Павловских дворцов,— говорит Бонч-Бруевич.

Луначарский сворачивает по темному коридорчику, выходит в зал, где стоит кровать под балдахином. Оттуда слышен храп. Там спит, свесив ноги, Василий. На какое-то мгновение Луначарский останавливается, нахмурясь, но блаженная физиономия Василия заставляет его усмехнуться.

Через два дня из кассы Соцобеса были выплачены деньги за лошадь — первая выдача Советской власти.

Вероятно, в архивах можно разыскать имя, фамилию этого крестьянина и, может быть, там же, среди денежных ведомостей, лежит как оправдательный документ ленинская записка, и весь этот рассказ подтвердится подлинными документами.

Но как бы там ни было, в этой истории есть, мне кажется, высшая достоверность — простота, ибо только так, такими самыми насущно-человеческими делами могла начаться Советская власть.

1962

КЛАВДИЯ ВИЛОР

I

В апреле 1942 года Клавдия Денисовна все же добилась, чтобы ее взяли в армию. Она работала лектором горкома, и ее направили на курсы усовершенствования политсостава. По окончании курсов присвоили звание политрука. Три кубика в петлицах и красная звездочка на рукаве. Послали в Краснодар, где находилось Винницкое пехотное училище,— преподавателем социально-экономических дисциплин.

Преподавать она любила и умела; хотя в военном училище она оказалась единственной женщиной, но в конце концов это была та же школа, и парни были те же мальчики, чуть повзрослевшие.

Военная форма ей шла. Ей нравились строй, четкость движений, щелк каблуков, отрывистые слова команды... Она чувствовала ответственность каждого своего слова и жеста. Она была не просто преподавателем, она была еще и командиром. На первой же лекции она объяснила происхождение необычной своей фамилии. Вилор — означало: Владимир Ильич Ленин Организатор Революции. Она не захотела брать неблагозвучную фамилию мужа, а муж не соглашался, чтобы она оставила свою девичью фамилию Бурим. Ему, естественно, хотелось, чтобы они и их дети носили одну фамилию, тогда вот она и придумала эту звучную фамилию — Вилор. Ведь это было в тридцатые годы, когда фамилии, имена детей, все хотелось связать с революцией, с коммунизмом.

В середине июня 1942 года началась подготовка к наступлению немецких войск на Юго-Западном направлении, и пехотное училище срочно в полном составе было направлено на фронт.

Клава Вилор поехала вместе со своими курсантами, назначенная политруком 5-й роты 2-го батальона. Два месяца она участвовала в боях, защищая подступы к Сталинграду. Она ходила в разведку, стреляла, бросала гранаты, она рыла окопы вместе со своими курсантами, а теперь бойцами, налаживала связь, она делала все то, что делали солдаты и командиры рот и взводов на всех фронтах, от ленинградских болот до Кавказских гор. С одной лишь особенностью: она была женщина. В годы войны мне приходилось встречать женщин — снайперов, пулеметчиц, связисток и, разумеется, санитарок. Известны были летчицы, были даже женщины-танкисты. Но женщина — политрук пехотной роты—такое мне не встречалось. Особенное заключалось тут и в самой фронтовой ее жизни, достаточно, конечно, трудной для женщины, и, главное, в том, что произошло впоследствии — в цепи невероятных происшествий, и положений, и мук, и взлетов, и падений,— что опять же проистекало из ее военной должности и звания.

Два месяца боев сделали политрука Клаву Вилор опытным солдатом. За эти шестьдесят с лишним дней вблизи ее головы просвистели тысячи пуль и осколков. Все пространство вокруг нее было сплошь продырявлено свинцом и железом. А сколько раз она сама нажимала спусковой крючок, выдергивала гранатное кольцо, падала ниц, ползла, заряжала.

— ...Утром пошли танки, накрыли нас самолеты, я кричала всем: «Не бойтесь! Кидайте гранаты!»... Тут нас поддержали «катюши». Танки стали отходить, дух у ребят поднялся. Я закричала: «Вперед!» За мной побежали... На разборе боя полковник похвалил мои действия.

Слушая Клавдию Денисовну, я и так и этак пытался представить себе, что вместо нашего комиссара полка Капралова, вместо Медведева, или Саши Ермолаева, или Саши Михайлова была бы у нас комиссаром женщина. Стоило вообразить, и сразу же возникала недоверчивая усмешка. Никак я не мог поставить на место огромного, могучего Саши Ермолаева, с которым мы, лежа на огороде между грядками моркови, обстреливали немецких мотоциклистов, женщину. Или на место Медведева, который поднимал нас мертво спящих и впихивал в танк, уже заведенный им, разогретый, и потом ехал на башне и все шутил и трепался, свесясь к нам, в открытый люк, пока мы двигались на исходную.

Ну, а все же, если бы на его месте была женщина... В конце концов мастерство литератора, даже талант литератора в

том и состоит, чтобы представить себе: «а что, если бы...», видеть то, чего не видел, что кажется невероятным. Я заставлял себя, пересиливал... и не мог, поэтому и захотелось мне узнать как можно больше об этой необычной судьбе.

— ...Когда ранили командира роты, мне приказали отвести роту, восемьдесят человек, к совхозу «Приволжский».

Она и сейчас — ничего, настолько живая, энергичная, что возраста ее не замечаешь, она из тех женщин, которые не становятся старухами, сколько бы лет им ни было. Пожилая — да, но не старуха, и тем более не старушка. А тогда, судя по немногим сохранившимся фотографиям, она была женщиной интересной, в полном расцвете,— было ей в 1942 году тридцать пять лет. Коротко стриженная, завитая по тогдашней моде, лицо круглое, правильное, глаза яркие, большие, губы пухлые, но с волевой прямизной, и в ее сощуре глаз — то сильное, чисто женское, связанное с властью семейной, сложной, требующей чутья и понимания сиюминутного смысла событий. Особенно хороша была у нее фигура. И даже плохо подогнанная военная форма не портила ее фигуры, вернее, не могла скрыть ее красоты.

— ...Как-то прислали нам штрафников. Я вышла к ним. «Ты кто?» — спрашивают. «Я политрук». Они завыли, засвистели: «Э-э-э, баба — комиссар!» А я стою, смотрю на них. Усталые они с марша, запыленные, злые. Но мужики, они и есть мужики, и разговаривать с ними надо исключительно как с мужиками. «Вы голодны?» — спрашиваю. И сразу все изменилось. Накормила их, раздобыла им курева...

В женском материнском естестве состояло великое ее преимущество и даже превосходство.

С начала августа полк подвергался непрерывной бомбежке. Завывая, на окопы пикировали самолеты, бомбя и обстреливая. Огненная колесница катилась вдоль фронта с рассвета до темна. От грохочущего, стреляющего неба некуда было укрыться.

Курсанты держались, усмехались криво искусанными в кровь губами. Под взглядом этой женщины они изо всех сил играли бравых гусаров. Чисто мужская гордость поддерживала малодушных. Само присутствие ее заставляло тянуться. Нельзя было ныть, когда она рядом копала траншеи, и становилось совсем стыдно, когда она, баба, поднимала их в атаку. Все же, что бы там ни было, война — дело мужское, и солдат — это мужчина. Она словно бы возбуждала тот самый воинский дух, о котором сама им рассказывала, вычитав из

старинной русской книги и запомнив эти прекрасные слова: «Истинному воину присуще мужество и храбрость до забвения опасности, воинственность, благородство, сознание своего долга перед отечеством, вера в свои силы, и в начальников, и в свою военную среду».

Но тут нельзя было пережать.

Приходилось все время искать точную меру, чтобы щадить мужское самолюбие.

* * *

«21 августа после мощной авиационной и артиллерийской подготовки противник вынудил правофланговые части 15-й гвардейской стрелковой дивизии отойти от совхоза «Приволжский»,— говорится в истории Сталинградской битвы. 15-я дивизия была соседом курсантского полка. Из-за ее отхода к вечеру немецкие танки появились на стыке с 64-й армией, и курсанты оказались в окружении.

Полк не дрогнул. Прошло то время, когда слово «окружение» у иных вызывало панику. Курсанты продолжали вести бои, держа круговую оборону. Через два дня кончились патроны. Вечером кухня не подошла. Еды не было. Со штабом армии связь прервалась. Немецкие танки прорвались в расположение пятой роты, отсекая ее от полка. Замолчал последний пулемет. Клава бросилась туда, к командиру взвода: «Баранов, почему не стреляешь?» — «Заело»,— крикнул он. Клава рванулась было к пулемету и упала, раненная в правую ногу. Немецкие танки утюжили окопы. Танки были не так страшны, как автоматчики, что двигались за ними. От танка в глубоком окопе можно схорониться. Танкисты в самой близи ничего не видят, они «дальнозорки». А вот автоматчики, строча перед собою, уже прыгали в окопы. Клава, лежа на боку, начала отстреливаться, но тут ей прошило очередью левую ногу.

Все последующие действия и события запомнились в растянуто-тягучих подробностях. Она отстегнула карман гимнастерки, вынула ротные списки коммунистов, комсомольцев, свой партбилет, попросила Баранова зарыть эти документы. Автоматчики приближались. За изломом окопа мелькали их каски. Одиночные выстрелы и очередь, выстрелы и очередь. Немецкая речь. Все громче. Автоматчики бежали и по верху, по брустверу окопов.

Клава попросила Баранова застрелить ее. Она боялась. Фашистский плен — ничего страшнее она не представляла.

— Не говори глупостей,— сказал Баранов.— Я этого не могу сделать.— Он не сумел увернуться от ее глаз и закричал: — Я этого не сделаю. Слышишь? Не сделаю! Может, отобьемся!

Он стал срывать пришитую к рукаву ее гимнастерки красную звездочку — знак политсостава.

— Выдашь себя в крайнем случае за медсестру.

Рядом оказался еще и помкомвзвода, они стреляли, стреляли, не желая оставить ее.

...Из-за поворота траншеи выскочили немецкие автоматчики, сшиблись вплотную, навалились...

* * *

Солдатская наша жизнь была пронизана затаенным, самым мучительным страхом из всех страхов и ужасов войны — страхом попасть в плен к фашистам. Ни ранения, ни даже смерти так не боялись, как плена. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» Лозунг испанских революционеров вошел в быт нашей войны жестокой заповедью: «Лучше смерть, чем плен». Смерть действительно была легче. Но знали мы и то, что война могла подстроить такие ловушки, при которых самых отважных настигала эта беда. Мы знали об этой опасности, это была самая страшная угроза, и бесчестье, и позор...

До сих пор Клавдия Денисовна, рассказывая про этот момент своей жизни, оправдывается, все пытается защититься от всевозможных подозрений. Я знаю, откуда это, редко какой солдат первых лет войны не поймет ее. Мысленно я примериваю эту судьбу.

С первого месяца войны на всю жизнь запомнился мне седой интендант, который сел в лесу на пенек, не в силах дальше уходить в лес от наседавшего на нас немца, отказался от нашей помощи, вынул пистолет и, как только мы отошли, застрелился. Он сделал это спокойно, с достоинством и честью офицера. В годы войны я часто вызывал в памяти образ этого старого интенданта — чтобы найти силы в себе вот так же, до конца, остаться офицером. Во время боя, на миру и смерть красна, в те минуты особых проблем не возникает, куда хуже, когда вдруг окажешься один, как это случилось со мною под деревней Самокражей, когда меня послали с пакетом в штаб дивизии, а вернувшись, я увидел у входа в нашу землянку немецких автоматчиков. Или в Восточной Пруссии, когда мы,

проскочив мост, оторвались от своих, и тотчас мост позади взлетел в воздух и наш танк остался один на вражеском берегу перед немецким городком Шталюпеном.

...Тот бой у совхоза «Приволжский» закончился разом, стали слышны стоны раненых и далеко — стрельба наших пулеметчиков. Полк, там, справа, еще вел бой, а здесь вокруг, стояли гитлеровцы, наставив автоматы.

Баранов и Борисов, оглушенные, раненные, с трудом вытащили Клаву из окопа, кое-как перебинтовали.

— В случае чего мы тебя на руках понесем,— шептал ей Баранов.— Ты только не отчаивайся, убежим.

Клава была в гимнастерке и брюках. Юбку на штаны она сменила, уберегая своих ребят от насмешек соседнего батальона над «юбочным командиром».

Немцы ее потащили, потом заставили идти, пиная прикладами.

По дороге, любопытствуя, гитлеровские солдаты подходили, тыкали ей в грудь, проверяя, женщина ли, удивлялись.

Вскоре узнали (очевидно, кто-то из курсантов проговорился, а может, нашелся предатель), что она политрук, и это вызвало еще большее любопытство. Впрочем, слово «политрук» сразу заменили на привычное — комиссар... «Женщина-комиссар» — это было нечто новое; потом в лагере ее показывали как диковинку.

А вдали все продолжалась стрельба и бомбежка, и отчаянная надежда на чудо еще теплилась — полк перейдет в наступление и отобьет их. Так ведь бывало во многих фильмах и романах — в самую последнюю минуту нагрянут наши. Полк продолжал бой. Она это слышала. Ее волочили все дальше от переднего края, раненная в обе ноги, она не могла даже вырваться, побежать, так, чтобы подставить себя под пули.

Пройдет много лет, прежде чем она узнает, что остатки курсантского полка Винницкого пехотного училища действительно геройски держались до поздней ночи и в темноте, прорвав вражеское кольцо, двинулись сквозь немецкие боевые порядки. Тремя колоннами они продвигались; спереди, развернутым строем — рота автоматчиков, уничтожая на пути встречающиеся патрули, линии связи, и так шли всю ночь, пока не соединились с нашими частями. Они прошли двенадцать километров, сохранив свое оружие, артиллерию.

Прочтет это она в книгах лишь в шестидесятом году — про славный исход последнего своего боя.

— ...Всю ночь наши самолеты нещадно бомбили гитлеровцев, а я мечтала об одном, чтобы упала бомба и убила меня, только не оставаться в ужасном плену у немцев.

В общении с Клавдией Денисовной надо было преодолеть ее боязнь недоверия. Чувство это у нее было воспаленное. Она все время предъявляла доказательства — письма, вырезки, справки...

II

А что же меня заставляло собирать и восстанавливать шаг за шагом эту ее долгую историю? Война накопила много подобных историй, героических, открывающих новые, невиданные пределы человеческого духа. Еще одна? Ну, что ж, еще одна. Но есть в ней, в этой истории Клавы Вилор, своя отдельность, хотя у каждой военной судьбы есть свое, непохожее. Так вот, прежде всего нельзя было пройти мимо этой истории. Наше писательское дело — собирать их, и как можно тщательнее, факт за фактом, свидетельство за свидетельством, там видно будет, что из них пригодится.

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.

В этих стихах Тютчева, которые, наверно, ныне можно понимать разно, слово «сочувствие» открыло мне смысл моего влечения к истории Клавы Вилор. Именно сочувствие подтолкнуло меня. Тютчев прав, все соображения ума можно опровергнуть, на доводы найти другие доводы, а вот сочувствие дается, помимо логики, соображений пользы; сочувствие приходит в душу теми тайными путями, какими достигают и действуют на нас музыка, краски, стихи. История, пережитая Клавдией Вилор, вызывала прежде всего сочувствие, открыла возможности человеческой души, о которых я не подозревал и которые поэтому хочется приобщить к портрету воина Великой Отечественной войны.

...Военнопленных свозили к озеру Цаца. Клава вышла из машины, опираясь на кого-то из ребят. Раненые ноги ее были обмотаны тряпками, коричневыми от крови. Тошнотная слабость охватила ее, голова кружилась, пот холодными кап-

лями стекал по телу. Ей бросили шинель, она повалилась на нее. Курсанты, ее курсанты, окружили ее. Мальчики — растерянные, испуганные — смотрели на нее с ожиданием.

Она лежала перед ними, все силы собрав, чтобы не разрыдаться. Это из-за них она не могла ни плакать, ни кричать от страха, от боли, от стыда. Она должна была показать им пример той стойкости, которой она учила их. Всего три месяца назад они сидели перед ней в аудитории за партами, и она читала им лекции про гражданскую войну, про коммунистов на войне, про Чапаева и Фурманова, про Фрунзе, про Ленина на Десятом съезде. Про Гастелло и Зою и про героизм русского народа в Отечественной войне двенадцатого года. Она убежденно повторяла это, переходя из аудитории в аудиторию, соответственно программе и расписанию. Про комиссаров, которые формировали и воодушевляли отвагой молодую Красную Армию, а также насаждали дух дисциплины... Канцелярские обороты, из которых она старалась вырваться, обесцвеченные слова, которые она изгоняла, сейчас вдруг свежо и грозно вспыхнули в ее обмирающем сознании. Слова эти обернулись на нее, слова, когда-то ею произнесенные, они обступили ее в виде этих юнцов обескровленно-бледных, с глазами, где загоралась и гасла остаточная надежда.

Втайне Клава завидовала тем командирам, что преподавали матчасть, тактику. Там была вещественность. В кабинетах у них стояла всякая техника, ящики с зелеными холмами и голубыми озерами из стекла, висели карты, таблицы. А у нее были только слова. Теперь она должна была оправдать все произнесенные ею когда-то слова, высокие слова, которые она спрашивала с этих мальчиков...

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется.

Подошел гестаповец с переводчиком и фотографом. Клава поднялась. Фотограф наставил объектив... Если бы ее повели на расстрел, она знала бы, как себя вести. Она решила ничего не бояться и показать пример своим. Она подготовилась ко всему, но не к фотоаппарату. Она закрыла лицо руками, испугалась, что снимут, напечатают фотографию в фашистских газетах и ее имя будет навеки опозорено.

Офицер ударил ее плеткой, ей скрутили руки и все же сфотографировали. Спустя какое-то время стали выкрикивать: «Политрук пятой роты Вилор Клавдия Денисовна!» Ее подняли, тыча в спину пистолетом, повели к обрыву, поста-

вили лицом к озеру Цаца — начали так называемый публичный допрос. Спрашивали громко, чтобы пленные, стоящие кругом, слышали. Кто здесь коммунисты, кто комиссары, кто евреи? Кто какие должности занимал? Почему она, женщина, пошла в армию, разве у большевиков не хватает мужчин? Какие лекции она читала курсантам, чему учила?

Отвечала она без вызова, без крика, с подчеркнутой вежливостью, наконец-то она могла подать ребятам пример, чем-то оправдаться. Перед всеми. Хотя бы своим спокойствием. Хорошо, что у нее есть слушатели.

— Где находится двадцать пятая Дальневосточная танковая армия, которая прибыла под Сталинград?

— Первый раз слышу про такую армию.

— Покажите комиссаров.

— Я недавно в училище и мало кого знаю.

Снизу от озера тянуло прохладой, виднелись заволжские дали, дрожащие в мареве августовской жары. Плясала мошка, пахло полынью — все было, как в детские летние дни под Ставрополем, где жили они огромной своей семьей. Откуда ж тут немецкая речь? Звуки эти были невероятны, явь превращалась в сон.

— Какие лекции ты читала своим бойцам?

Вот это она могла рассказать — о патриотизме, о любви к Отечеству, о верности воинскому долгу...

Ее ударили в лицо. И прекрасно. Это была первая победа. Пусть все видят. Здоровые немецкие офицеры бьют пленную, бьют женщину, израненную, еле стоящую на простреленных ногах. Она обтерла кровь, спросила, продолжать ли. Тоска перед близкой смертью словно бы расступилась, осталась внизу, и Клава всплыла, чувство было даже сильнее, будто бы она воспарила в последнем своем усилии — она, женщина, принимала муки на глазах своих однополчан и не согнулась, не испугалась, хоть этим-то искупая позор плена. Она утешала себя, что пример ее чем-то поможет курсантам, приободрит их...

Ругань и побои прекратили допрос. Ее заставили идти к машине. Каждый шаг вызывал обморочную боль. Она вскрикивала, стонала, и вместо слез крупные капли пота катились по лицу. Трое немцев подняли ее в кузов.

— Прощайте, товарищи! — крикнула она, уверенная, что это последний ее путь. Но путь ее только начинался.

Дальше Клавдия Денисовна рассказывать не может. То есть вот так подряд, связно — не может. Глаза ее наполняют-

ся слезами, губы дрожат, ужас нарастает в глазах. До сих пор она не в состоянии отстраниться от того, что с ней было. Тридцать лет не отдалили, а словно бы приблизили прошедшее. Первые годы после войны она как-то лучше владела собой.

Приходится пользоваться записями и документами тех лет. Кроме того, я слушаю рассказы ее дочери, мужа, друзей, наконец, однополчан, и из всего этого что-то складывается.

* * *

Машина въехала в большой двор, там было устроено немецкое кладбище. Солдаты вытащили ее, дали лопату, заставили копать могилу. Клава отказалась. Она легла на землю, потребовала расстрела. Ей хотелось одного — чтобы скорее все кончилось. Переводчика не было, она показала на пальцах — стреляйте. Над ней посмеялись — это кладбище для немцев, а не для русских политруков. Расстреливать на немецком кладбище — это неприлично, это не принято.

Опять появился фотограф, стал совать ей в рот сигарету, чтобы заснять русскую бабу, «комиссара-проститутку», как объяснил он офицеру.

Она выплевывала, отворачивалась. Сперва ее упрашивали, потом били, но по сравнению с болью в ногах это были пустяки. Она хотела расстрела и покоя. Пуля принималась как прекращение боли и тоскливого этого сна. Расстрел становился целью оставшейся жизни.

Снова везли.

Вдоль дороги лежали трупы красноармейцев. Она всматривалась в искаженные смертью лица, в невероятные повороты голов, скрюченные руки — ее ждало то же самое, скоро и она станет мертвой, не узнаваемой ни для кого, останется без охраны, без собак, без этого назойливого, пакостного любопытства. Поскольку расстрел был неотвратим, то лучше умереть скорее.

Некоторые раненые ползли сюда, к шоссе, и гитлеровцы пристреливали их с проходящих машин. Колонны машин тянулись к Сталинграду. Озеро Цаца, Плодовитое, Абганерово — спустя годы она будет читать в книгах, в мемуарах об этих исторических пунктах великой Сталинградской битвы. Через них пойдут стрелы, начерченные в картах гитлеровской ставки, а спустя несколько месяцев, в октябре — другие, красные стрелы пронижут их на карте Ставки Верховного Глав-

нокомандования в Москве, изогнутся огромной петлей нашего окружения.

Вот тогда-то окажется, что бои, которые ей пришлось пережить, шли на самом главном направлении. Солдат никогда не знает, какой бой ему выпадет на долю — решающий или же вспомогательный, местного значения или стратегического, входящего в замысел высшего командования, не знает об этом и его командир, в том-то и секрет войны, что любой бой может оказаться историческим, тем самым Бородином или Сталинградом, который приведет к перелому войны.

Откуда ей, политруку Клавдии Вилор, было знать, что Сталинград окажется тем самым Сталинградом?

Откуда ей было знать, что на Сталинграде столкнулось все накопленное взаимное упорство войны, ярость войны? Она понятия не имела, какие усилия предпринимала Ставка, отправляя сюда, к Волге, части, которые еще формировались, бросая последние резервы, лишь бы помешать немецко-фашистским войскам выйти к Волге.

Высшие стратегические соображения воплотились для солдат и для Клавы Вилор в одну фразу приказа № 227: «Ни шагу назад!»

Под вечер ее привезли в штаб какой-то части, в село Плодовитое. Гестаповец сносно говорил по-русски. Военные сведения его не интересовали. Его занимало другое — почему она, женщина, оказалась в армии на такой должности? Во время допроса связной принес пакет. Гестаповец вскрыл, прочитал:

— Ах, значит, ты и есть Вилор? Ви-лор, В-и-л-о-р...

С улыбочкой он расшифровывал букву за буквой. В бумаге все было сказано, да Клава и сама не скрывала. Ого, какая она революционерка. Стопроцентная, вплоть до фамилии. Ну, что ж, подходящий экземпляр для эксперимента. Берется чистая, без всяких вредных примесей, без страха и сомнений, коммунистка, и проверяются на ней разные приемы воздействия.

Она предпочитала немедленный расстрел, он успокоил ее: капут будет, пусть не беспокоится, только не сразу.

Воздушным налетом прервало допрос. Немцы побежали в укрытия. Клаву увели к церкви, наполненной сотнями военнопленных. Внутрь не ввели, оставили на паперти рядом с часовыми. Вокруг сновали женщины. Пользуясь тревогой, они пробовали передать пленным узелки с картошкой, хлебом, салом. Охрана отгоняла их. Клава, улучив момент, попроси-

ла принести ей какое-нибудь платье. На ней висели остатки разодранных штанов, под ними — мужские кальсоны, икры завернуты обмотками, которые служили бинтами. Она хотела перед смертью переодеться во что-то пристойное, обрядиться. Была тут и чисто женская потребность. Вскоре одна из женщин вернулась с платьем — обычным ситцевым, которое показалось Клаве лучше всех нарядов, что когда-нибудь ей шили. Больные ноги подвели ее — нагнулась, вскрикнула от боли, и часовой заметил сверток, вырвал и тут же платье изорвал.

Гитлеровцы понимали, что, будь на ней обычное женское платье, ей стало бы легче, а ей не должно быть легче.

На всякий случай они обыскали ее. Велели раздеться, срывали с нее гимнастерку, все ее лохмотья... В сапогах нашли часы. Ее, дамские, и часы заместителя командира роты Татаринцева, погибшего в прошлом бою. Она собиралась отослать их его семье и не успела. Письмо написать тоже не успела. Пока немецкие солдаты делили найденные часы, какая-то женщина бросила ей кофточку, Клава ее надела, зеленую, трикотажную, великоватую в плечах, до сих пор она помнит спасительную эту кофту.

Гестаповец позвал из церкви военнопленных, стал спрашивать: «Расскажите, чему она вас учила? Что она читала вам из газет?» Она стояла перед ними раздетая, беспомощная и, казалось, униженная. Ей думалось, что и курсанты смотрели на нее отчужденно. Гестаповец бил ее и спрашивал: «Это она требовала, чтобы вы умирали за власть комиссаров?.. Чем она еще заморочила вам головы?»

Ночью всех военнопленных загнали в церковь. Народу набилось столько, что сесть никто не мог, все стояли, прижатые плечом к плечу. Когда Клаву втолкнули туда, она застонала. Малейшее прикосновение к избитому телу вызывало страшную боль. Курсанты, ее курсанты, совершили невозможное, они раздвинулись, отжали толпу так, чтобы Клава могла лечь. Узнав, в чем дело, мужчины теснились, ей постелили шинели, и она легла. Вокруг нее стояли всю ночь сотни людей. В голубой росписи купола на пухлом облаке плыл Саваоф, бессильный и в своей ярости и в своей любви.

Ей дали лечь — единственное, что ее курсанты могли для нее сделать. Долго, бесконечно долго длилась эта ночь... «Ничего, не беспокойся,— сказал Клаве какой-то пожилой контуженый артиллерист,— это хорошо, когда есть о ком заботиться, это очень нам сейчас нужно».

Утром они расстались. Пленных погнали дальше, а Клаву повезли в штаб возле Котельникова, опять били, опять спрашивали, сколько убила немцев, в чем состояла ее политработа...

III

Многое из того, что происходило в войну, кажется ныне непостижимым. Кажется, что вынести это невозможно. Совершить это человеческому духу и организму невероятно — невероятно даже с точки зрения чисто физиологических ресурсов, с точки зрения медицинских законов. Многое невероятно так же, как, например, невероятным кажется то, что происходило в ленинградскую блокаду с людьми, которые жили, работали, существовали, хотя они «должны были» давно умереть. Судеб таких достаточно много для того, чтобы чудо человеческого духа предстало перед нами именно чудом, непонятным, невозможным, необъяснимым.

Все-таки, несомненно, помимо каких-то физических законов, связанных с энергией человека, с условиями превращения этой энергии в движение, в речь, в зрение, во все человеческие чувства,— помимо этих законов, существует еще не понятый ни медициной, ни физикой, ни даже самим человеком — закон силы духа человеческого. Откуда черпаются эти силы — из веры, из идеи, из любви к Родине, как это все происходит — не знает в точности ни психология, ни этика, ни искусство. История сохраняет примеры таких подвигов духа, легендарные, как Жанна д'Арк, и нынешние, как Зоя Космодемьянская.

Когда конвоир передавал Клаву поездной охране, не было произнесено ни слова «политрук», ни слова «комиссар». Клава приметила это, решила воспользоваться и сказала на платформе громко, чтобы слышно было: «Я — медсестра». Выглядело правдоподобно. И относились к ней по дороге несравнимо с тем, как если бы знали, что она политрук. Ее не истязали, на остановке даже накормили бурдой. То же продолжалось и в концлагере, куда ее привезли. Может быть, документы запаздывали, во всяком случае, немецкий порядок давал сбой. Версия о медсестре пока действовала.

Так она получила передышку. Главной же радостью было то, что в Ремонтовском лагере она встретила своих комвзводов Баранова, Борисова и командира батальона Носенко. Они уговаривались бежать. Лагерь был пересыльный, и они боя-

лись, что их повезут еще дальше в немецкий тыл, а оттуда бежать к фронту будет труднее. Надо было постараться бежать сейчас, пока слышна канонада. Они хотели взять Клаву. С часу на час должно было выясниться, что она вовсе не медсестра — у немцев были заведены документы на нее,— и как только это выяснится, ясно, что ее забьют, она не вынесет. Во всяком случае, сил для побега у нее не хватит.

Многие тогда задумывали побег. Однако охрану в лагере усилили. Побег сорвался. Тогда Носенко решил выдавать Клаву за свою жену. Хоть как-то это могло—надеялись — защитить ее от избиений. Носенко был капитан и знаков отличия не снимал: наоборот, подчеркивал свое офицерское звание и требовал к себе соответственного отношения. Поначалу это действовало: его не били, на время оставили в покое.

Пошла третья неделя плена. Их почти не кормили. Носенко от истощения одной рукой опирался на палку, другой поддерживал Клаву. При малейшей возможности он старался выстирать свой подворотничок, почистить сапоги. Он выделялся своим аккуратным видом.

Куда-то опять везли на машинах. Гнали пешком сквозь жару. Менялись лагеря. И всюду кричали, раздавались слова команды, лай собак, удары... Снова машины, снова дороги. Опять какие-то сараи, пыль, жара. Сознание путалось... Клава помнила тоску страдающего тела, руку Носенко и нарастающее свое желание скорее оборвать все это, умереть. Она понимала, что вряд ли ей удастся отсюда выбраться, она только тяготит своих друзей — и Носенко, и Баранова, они из-за нее гибнут.

И вот — снова Котельниково, снова допрашивали. А потом уже не задавали вопросов, только били. Все немцы для нее разделились: на тех, кто бьет и кто не бьет; и те, которые били, тоже делились по тому, как больно били. Среди этого кошмара запомнился улыбчивый, кудрявый штабной офицер, который бил каждый раз в живот, только в живот. Он отбил почки, вскоре после этого она стала страдать недержанием мочи.

Приказ 6-й гитлеровской армии о наступлении на Сталинград начинался так:

«1. Русские войска будут упорно оборонять район Сталинграда. Они заняли высоты на восточном берегу Дона, западнее Сталинграда, и на большую глубину оборудовали там

позиции... Возможно, в результате сокрушительных ударов последних недель у русских уже не хватит сил для оказания решительного сопротивления...»

В соответствии с этими планами 14-й танковый корпус немцев 23 августа, после ожесточенного боя, сумел прорваться к Волге и отрезать нашу 62-ю армию, а наутро следующего дня немецкие танки начали наступление на Тракторный завод. Они должны были взять его с ходу, но не смогли.

В тот день, когда Клаву отвели на вокзал и посадили на открытую платформу с другими военнопленными,— в этот самый день 14-й танковый корпус немцев был отрезан от своих тылов. Войска Сталинградского фронта атаковали его с фланга. Наступали критические дни Сталинграда. Ставка вызвала Жукова с Западного фронта и послала его в Сталинград. Дивизии, танки, машины, все, что было возможно, посылали под Сталинград.

Кажется, это было в Цимлянском лагере. Она плюхнулась на землю у самых ворот. Дальше не могла идти. Она лежала лицом вниз. Перед ней остановились немецкие офицерские сапоги. Плохо выговаривая по-русски, спросили:

— Кто такая?

— Медсестра.

Немец удивился. Может быть, в руках у него были какие-то списки? Клава не знала. Она не могла даже поднять головы, повернуться. Она не хотела повернуться и посмотреть. «Медсестра? Откуда медсестра?» — озадаченно бормотал он. Отошел. А через несколько минут по лагерю загремел голос: «Комиссар Вилор! Комиссар Вилор! На допрос в штаб!»

Клава лежала. К ней подошли и, пиная ногами, подняли. Привели в штаб. Увидев стул, она, не ожидая разрешения, повалилась на него.

— Встать! — закричал офицер и стал бить ее палкой. На конце палки был гвоздь. Она этого не видела, а чувствовала этот гвоздь. Ей надо было подняться. Она не сумела. Она кричала, что-то выкрикивала и никак не могла заплакать. Слезы исчезли. Слезы, которые всегда помогали ей, как помогают каждой женщине,— не появлялись. Она не могла плакать. Было слишком больно, слишком тяжело, все было за пределами слез.

Это происходило 29 августа 1942 года.

«В это время я поддерживал весьма тесный и приятный контакт с этими американскими офицерами (Эйзенхауэр и Кларк). С момента их прибытия в июне я — обычно по вторникам — устраивал завтраки на Даунинг-стрит в 10 утра. Эти встречи, казалось, были удачны. Я почти всегда был один с ними, и мы подробно обсудили все дела, как будто бы мы были представителями одной страны. Я придавал большое значение таким личным контактам. Моим американским гостям, и особенно генералу Эйзенхауэру, очень нравилась тушеная баранина с луком и картофелем. Моей жене всегда удавалось обеспечить, чтобы это блюдо было приготовлено.

Мы также провели ряд неофициальных совещаний в нашей нижней столовой. Начинались они в 10 утра и продолжались до поздней ночи, и каждый раз мы говорили только о деле. Но в этот момент из Вашингтона пришло неожиданное известие, которое произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Между английскими и американскими начальниками штабов возникли значительные разногласия относительно характера и размаха нашего вторжения в Северную Африку и оккупации этого района. Американским начальникам штабов не нравилась сама идея участия в широкой операции за Гибралтарским проливом. Они, видимо, считали, что в какой-то момент их армии будут отрезаны в районе этого внутреннего моря. Генерал Эйзенхауэр, с другой стороны, полностью разделял английскую точку зрения, что энергичные действия в районе Средиземного моря, и прежде всего в Алжире, крайне необходимы для успеха дела. Его точка зрения в той мере, в какой он настаивал на ней, видимо, не оказала влияния на его военное начальство».

(Уинстон Черчилль. Вторая мировая война, т. 4, с. 517.)

— Ты почему врешь, что ты медсестра? — кричал штабист.— Ты — комиссар, ты — проститутка. Ты многих немцев уничтожила. Сами твои курсанты признались.

Немец был высокий, чистый, Клава смотрела на него и представляла, как он мылся сегодня утром, с мылом... Много чистой, холодной воды и мыла.

— Да, стреляла,— сказала она, медленно шевеля пересохшими губами.— На то война. Вы тоже стреляете и много наших уничтожили.

Офицер спросил ее: кто этот капитан, который вел ее?

Клава сказала, что он ее муж. Это вызвало веселье: «Семья!» Такого еще не было, не попадалось: жена — комиссар, муж — командир. «Значит, что же? Муж и жена командовали вместе?!» Привели Носенко. Он подтвердил, что Клава — его жена. Тут началось зубоскальство и всякие сальные шуточки. Носенко слушал внимательно. Он не возражал, не возмущался. А потом вытащил, аккуратно расправил немецкую листовку и прочел выспренние заявления о гуманности немецкого командования к русским военнопленным.

— Почему же вы так обращаетесь с нами? — сказал он.— Вы ведь нарушаете свои заверения.

На это ему было сказано, что листовка рассчитана на тех, кто добровольно переходит к немцам.

— Извините,— вежливо сказал Носенко.— Здесь сказано точно — не «перебежчики», а «военнопленные», то есть попавшие в плен. Согласно условиям, вами же сформулированным, вы не имеете права допрашивать военнопленных русских офицеров и тем более избивать женщину, независимо от того — медсестра она или из политсостава. И в том и в другом случае она относится к военнопленным. Я требую к себе и к моей жене гуманного отношения.

Его четкая педантичная речь почему-то произвела впечатление. Наивность его была непритворна. Он требовал с убежденностью человека, который доверяет печатному слову.

Им выделили угол в бараке и оставили там до утра. Носенко уложил Клаву. Они впервые могли спокойно, не торопясь, обговорить свое положение. Впрочем, что они могли придумать или изобрести? О побеге нечего было и мечтать — уж слишком они были истощены и обессилены. Немцы угрожали отправить их в Германию, демонстрировать там уникальную пару: муж — командир, жена — комиссар! Скорее всего, так или иначе выяснится, что никакие они не муж и жена, и получится только хуже.

Носенко пришел к выводу, что Клаве нет смысла снова выдавать себя за медсестру. После этого ее только больше избивают. Наоборот, следует вести себя дерзко, ошеломлять их. Может быть, так и надо было. Но у Клавы на это уже не было сил. Однажды она решилась на такое поведение и не выдержала, отступила. Не хватило духу. Ей бы выиграть хоть два-три дня, немного отойти, передохнуть. Поэтому она так ухватилась за версию медсестры и не могла отказаться от нее.

Носенко продолжал ее убеждать. И вдруг она согласилась, с тайной надеждой, что комиссарское звание скорее при-

ведет к расстрелу. Боль была главным врагом. Боль высасывала всю волю, мысли, лишала возможности понять, что происходит, путала сознание...

Женщина-комиссар была той диковинкой, как бы деликатесом, которым гестаповцы угощали разных начальников. То и дело Клаву вызывали на допрос, а точнее, не на допрос, а на показ. И вопросы были с шуточками, пакостные, у всех одни и те же, и те же улыбки, ухмылки.

Повезли в город Шахты. Опять — концлагерь. (Сколько их было, концлагерей!) Как только Клава вылезла из машины — а это тоже было мучительно, потому что прыгать на израненные ноги было невозможно,— как только она ступила на землю, в лагере уже кричали: «Комиссар Вилор! Комиссар Вилор!».

— Я комиссар Вилор! — отозвалась Клава и шагнула, опираясь на руку Носенко.

Подбежали немецкие солдаты, оттолкнули прикладами Носенко и повели Клаву в штаб.

Все повторялось — угрозы, ругательства. И в этом повторении, монотонном, не действующем на чувства, ее уже ничто не могло ни обидеть, ни оскорбить. К ней мало что доходило. Они были все одинаковы. Ругались без выдумки, грозили одним и тем же — «расстреляем!», «повесим!», «будем водить по Германии на веревке!». В этом повторе было даже нечто успокаивающее. Успокаивало, что они не могли придумать больше ничего пугающего. Они исчерпали все ужасы с самого начала и от повторения угрозы становились все менее страшными.

В чем-то следуя Носенко, Клава, ссылаясь на международное право, потребовала поместить ее в отдельную комнату, как женщину, имеющую ранения. На все выкрики она отвечала твердо и строго: «Вы не имеете права держать меня вместе с военнопленными-мужчинами». Она повторяла эту фразу, почти не слыша себя, чувствуя только, как шевелится тяжелый царапающий язык. Да, может быть, и саму фразу ей подсказал Носенко.

Она вообще не участвовала в том, что происходило. Действовала какая-то женщина, которая была снаружи, которая двигалась, говорила, стонала, а сама-то Клава внутри скорчилась в комок и застыла, занемев, лишь бы ее не обнаружили внутри этой измученной, воющей оболочки.

Что за такое международное право, есть ли оно на самом деле — она и сама толком не знала. Но, может, и эти гитлеровские унтеры этого не знали. Во всяком случае, они, поговорив между собой, отвели ее в маленькую комнату, где на цементном полу уже сидели две женщины. У Клавы была с собой плащ-палатка, отданная ей Носенко. Она расстелила ее, и все три женщины легли.

Утром опять был допрос. Опять были крики коменданта, крики переводчика. Заходили любопытные офицеры. У стены стояли двое из училища — командир взвода Морозов и командир роты Федосов. Их перед этим допрашивали о Клавдии Вилор.

— Вот она, которая командовала вашими солдатами, учила вас, как жить!

«Вот она» — должно было означать: «Смотрите, кто вами командовал! Смотрите на это ковыляющее, изможденное, потерявшее всякую женскую привлекательность существо, в лохмотьях, грязное, простоволосое, жалкое! Это существо в кровоподтеках, синяках, от которого несет мочой! И вы, офицеры, позволяли ей командовать наравне с вами!»

Какую цель преследовали эти бесконечные допросы и избиения? Никакими особо ценными военными секретами Клава не обладала. Вряд ли гитлеровцы рассчитывали раздобыть у нее какие-либо значительные сведения. Может, и их чем-то озадачивала ее личность? Существование такой, никакими разведками еще не предсказанной, фигуры женщины-политработника? Может, они хотели понять: что же перед ними такое — случайность или новая сила противника? Что же это, от отчаяния берут женщин на такую работу или тут есть какой-то расчет? Может быть, им нужно было что-то уяснить себе?

Уже не первый раз я ловлю себя на том, что хочется найти какие-то мотивы их поведения. А раньше этого не было. Раньше мы не искали причин и мотивов фашистской жестокости. Раньше все было почему-то ясно: фашисты мучили наших, уничтожали, потому что они фашисты. И мы их ненавидели, потому что ненавидели фашизм. Они решили нас истребить, уничтожить, захватить нашу Родину... И мы должны были стрелять, уничтожать их.

Клава стояла в углу, заложив руки за спину,— не стояла, а лежала на стенке. Комендант ходил перед нею, время от времени хлестал Клаву по ногам плеткой. Она не могла удержаться, вскрикивала. Хотя ей было стыдно за свою слабость перед

товарищами, как она ни силилась, она не могла остановить стон.

— Видите,— комендант показал плеткой на нее,— кому вы подчинялись? Какие же вы офицеры?

Федосов стоял тоже у стены.

— Личный состав любил и уважал товарища Вилор,— сказал и обеспокоенно покосился на Клаву: не сделал ли он ей хуже таким признанием?

— Справедливый она человек и храбрый,— подтвердил Морозов.— Кому хочешь в пример.

От этих слов Клаве хотелось заплакать. Какое было бы счастье, если бы она смогла плакать. Их признания здесь, в плену, были дороже любых наград и поощрений. До сих пор она помнит эти слова как самое дорогое, что случилось в ее пленной жизни.

Комендант размахнулся и на этот раз ожег ее плеткой так, что она упала. Он пнул ее ногой, приказал утащить в соседнюю комнату.

— Тебе сегодня капут,— сказал он вслед.

Возможно, ей пришлось бы легче, если б командиры отозвались о ней как-нибудь пренебрежительно, и, как знать, тогда судьба ее в немецком плену сложилась бы не так тяжело. Вероятно, они тут же сами пожалели о своих словах, видя, как комендант озлился и исхлестал ее. Вряд ли они поняли, что Клаве эти слова помогли. Эти слова были как итог ее военной службы — итог, потому что жить ей больше не хотелось. Хорошо было бы заснуть и не проснуться!

Когда она открыла глаза, перед ней стояли капитан Носенко и старший лейтенант Демьяненко. В одной руке у Демьяненко была бутылка, в другой — огурец. В плену все сопоставляется и понимается мгновенно, без слов. «Предатель!» — поняла Клава. Да он и не скрывал этого. Он подтвердил, что сегодня ее расстреляют, и стал рассказывать, как и когда он перешел к немцам.

Капитан Носенко, ее нареченный муж, молчал. Костистое лицо его ничего не выражало. Но обостренным своим чутьем Клава уловила в глазах его не жалость, а отстраненность, холодную, чужую. И она сразу увидела себя со стороны так, как они видели сейчас ее,— изуродованную, страшную, безобразно растерзанную, лежащую на полу с раздвинутыми от боли ногами. Этот человек, которому она всегда нравилась, смотрел на нее взглядом, от которого вся ее женская суть возопила. Казалось, что уже ничто не могло поранить ее душу, так ведь

нет, нашлась еще одна боль! Не кует тебя, так плющит тебя! От Демьяненко отвернулась, так вот на это напоролась — на такой взгляд Носенко! Со всех сторон обступило!..

Это длилось недолго, мгновение, Носенко притушил свой взгляд и стал рассказывать, как его допрашивали и сказали, что если он не откажется от Клавдии Вилор, то его расстреляют вместе с ней. Немцам стало известно, что у него есть жена и ребенок в Краснодаре,— известно из допросов других курсантов. В конце концов он не мог больше этого скрывать, отказываться и сказал все, как есть.

Он не оправдывался перед Клавой. Да и какое право она имела требовать, чтобы он не признавался? Почему он должен идти с ней под расстрел? Ради чего? Он не мог ее ни выручить, ни спасти. Но в ту минуту она не слышала никаких доводов. Она ненавидела их обоих и презирала их.

— Спасайте, спасайте свою шкуру! — кричала она, соединив этих двоих словами «предатели, изменники».

Несправедливо, нечестно было называть капитана Носенко изменником, но она его ненавидела в этот момент сильнее, чем этого немецкого прихвостня Демьяненко.

Лоб у Носенко стал белым, и глаза побелели от бешенства.

— Спасибо! — он поклонился.— Спасибо вам за все!

Взгляд его упал на плащ-палатку.

— А это отдайте! Зачем вам от изменника.

Наутро опять допрос, красные лица расплывались, что-то кричали, дышали в затылок. Она закрывала глаза. Они не исчезали... Они покачивались, забирались под веки, в череп и там стучали в виски.

Слышался крик Демьяненко: «Эта сволочь была самая активная у нас!»

Кто-то что-то шептал ей. Боль появлялась в разных местах. Клава кричала, соглашаясь на все, обещая, умоляя. Но как только боль отходила, она погружалась в молчание и лежала, стиснув зубы, ни на что не отзываясь. Так ничего и не добившись, ее бросили во дворе, сказав, что завтра отвезут в Сталино и там скинут в один из шурфов.

И как только это было решено, все круто изменилось. С ней вдруг стали все откровенны и спокойны. Она была приговорена. Она была выведена за ту незримую черту, за которой кончились все страхи — и ее собственные, и страхи этих людей — перед тем, что она могла кого-то выдать, или пересказать, или передать их признания. Она была выведена из круга страстей человеческих. Никто не мог представить себе, что все

эти слова и признания, которыми люди почему-то вдруг захотели поделиться с ней, как на исповеди,— все они сохранятся, запечатленные в ее мозгу, и через несколько лет определят судьбу многих.

Как они сохранились в ее памяти? Как они отпечатывались? Она ведь даже плохо слышала эти голоса. Они доходили к ней сквозь какой-то розовый туман, что колыхался в ее голове. Но память продолжала фиксировать все, как будто память знала заранее то, что предстоит, и то, что будут когда-то о них спрашивать и выяснять.

Военнопленных грузили на машины. Они шли по двору, перешагивая через Клаву. Кто-то наклонялся, что-то говорил ей. Потом перед ней присел Носенко, протянул ей кусок хлеба и огурец.

— Пожалуйста,— попросил он,— возьми!

Она не смогла удержаться и взяла. Он сидел на корточках и смотрел, как она ест.

Демьяненко удивился: зачем Носенко ее кормит? С какой стати? Ей все равно капут. Зачем зря еду переводить?

— Увидят немцы, и будет тебе хана,— предупредил он.— С ней разговаривать незачем.

Когда он отошел, Носенко сказал, что, судя по всему, Демьяненко решил поступить в добровольческую армию и его следует остерегаться.

— Вот и остерегайся,— сказала Клава.— И отойди от меня и говори, что знать меня не знаешь. Веди себя примерно. Может, понравишься.

Она не научилась еще в те дни прощать даже минутные слабости. Она ненавидела в себе измученную, ноющую и болящую плоть.

— Уродина я? — вдруг спросила она у Носенко. И это тоже была слабость.

IV

Сталинград горел... Город был, как костер. Горели целые улицы, кварталы, горел асфальт.

Городской комитет обороны мобилизовал к 30 августа две тысячи стрелков-минометчиков. В городском саду им выдавали оружие, и армейские командиры уводили тут же сформированные батальоны на фронт. Военнообязанных тысячами вывозили на левый берег Волги.

...Машина везла Клавдию Вилор все дальше в немецкий тыл.

В грузовике, рядом с Клавой, сидели две женщины — полячка и русская Галя, беременная. Галя все время плакала. Мужчины сидели молча, опустив головы. «Обстановка уныния — обстановка подлости»,— сказала себе Клава. Уныние — как безверие, это путь к предательству.

Боль вдруг ушла, спустилась куда-то к ногам. Надо было что-то делать. Она была политрук, а вокруг нее были люди, были бойцы, пусть военнопленные, но все равно бойцы. Командир — тот без своей части перестает быть командиром, а политрук всегда остается политруком, особенно когда рядом есть люди. Такая это должность. Работа, которая требует откуда-то черпать бодрость, силу духа, веру и щедро оделять ими всех окружающих. А откуда брать эту бодрость? Где пополнять ее запасы?..

Что же она могла сделать? Единственно, на что у нее хватило сил,— это запеть. Сперва она запела что-то бодрое — «Смелого пуля боится, смелого штык не берет...». Но это на людей не действовало: слишком это было далеко от их нынешнего состояния. Тогда она запела «В темном лесе...», а потом вспомнила свадебную, грустную — «Не заря ль ты моя, зорюшка, не заря ль моя вечерняя...».

В той дальней, совершенно невероятной, мирной жизни она и мать были в семье единственными женскими голосами. Все остальные в семье — мужчины: двенадцать братьев и отец. И когда они пели, то женскими голосами поднять могли песню только она с матерью.

Она пела и вспоминала семейные вечера — «Вечерний звон» и потом любимую старшего брата — «Выхожу один я на дорогу». Да, песни были грустные. Мужчины отворачивались, сморкались. Она чувствовала, что это было то, что нужно. Она чувствовала это по собственной душе, где что-то очищалось, светлело. И когда Демьяненко, что сидел в той же машине, закричал: «Кончай петь! Ты, политрук, заткнись, а то из-за тебя всем попадет!» — ему сказали тихо, разом: «Молчи уж! Не учи!»

Первое, что они увидели во дворе концлагеря в Сталино, были огромные ямы. Туда кидали умерших от голода и ран военнопленных. Это был лагерь пострашнее пересыльных лагерей, которые она прошла. Здесь происходила сортировка. Штаб гестапо перебирал поступающих военнопленных: кого— в добровольческую армию, кого — на работу в Германию, без-

надежных, не годных ни к тому, ни к другому,— на расстрел. Огромная штабная машина работала с утра до поздней ночи.

Носенко помог сойти с машины. Опять подбежали немцы.

— Кто ты?

— Я политрук,— отчетливо сказала Клава.

— Ага, комиссар!

И сразу повели на допрос.

— Говорят, здесь твой муж?

Ей захотелось еще раз увидеть Носенко. Последний раз перед смертью. Не сегодня-завтра ее должны были все же расстрелять и до расстрела будут держать отдельно, комиссаров обычно изолируют от остальных военнопленных. А кроме того, если она станет отрицать, что здесь ее муж, ее могут начать избивать, подумают, что скрывает.

— Да, мой муж здесь,— сказала она,— капитан Носенко.

Как она и ожидала, его вызвали. Он грустно посмотрел на нее и сказал, что жена его в Краснодаре, а Клавдия Вилор — товарищ по фронту.

Пуговицы у него были начищены, гимнастерка затянута ремнем. Воротничок болтался на исхудавшей шее, и даже ноги его так исхудали, что голенища стояли раструбом.

Вызвали курсантов, чтобы проверить. Они говорили о политруке Вилор осторожно, уже наученные допросами. Повторяли: «Заботливая женщина»,— и только.

На ночь отвели ее в комнату, где были две женщины, что ехали с ней в машине.

Цепь ее злоключений только начиналась.

Можно было бы не перебирать эту цепь звено за звеном, а рассказать сразу о самом существенном. Ничто, за исключением одной малости, не мешало опустить все это промежуточное, останавливало одно — подлинность перенесенных страданий. Никак не мог я в угоду литературным выгодам — как бы ни соблазняли они — пренебречь и откинуть реальные муки этой женщины, выбрать из них лишь подходящее для сюжета. А кроме того, то, что происходило с Клавдией Вилор в плену, как-то меняло ее душу, и, может быть, без этих изменений нельзя было понять дальнейшего.

На этот раз ее били не больно. Били по щекам, лениво и без особой злобы. Но оттого, что по щекам, она словно бы очнулась. Так обидно ее еще не били. Немцы были совершенно искренне убеждены, что перед ними существа низшие, полуживотные, что ли. Они били в перчатках, брезгливо морщились.

Армады немецких бомбардировщиков тянулись на Сталинград по воздушному мосту. Тяжко завывая, катились над головами тонны бомб — предстоящие через несколько минут взрывы, пожары, предстоящие смерти, разрушенные дома и укрепления!.. Они плыли по шелково-синему небу над тишиной перезрелых хлебов, и не было им конца...

Есть не давали. Подкармливала Галя, делилась хлебом, баландой,— та самая беременная Галя из Одессы. И была еще в комнате с ними полячка. Они, как сошли с машины, так и двигались втроем, соединенные случаем три женщины, сквозь эти дни и ночи.

Две считали, что попали сюда случайно. Они не воевали, ни в чем не были замешаны, и обе не понимали Клаву.

— Медсестрой на фронт — еще куда ни шло. Хотя тоже не тот ведь, конечно, возраст у вас,— рассуждала Галя.— Но как же вы политруком согласились? И дочку бросили!

— Не бросила, а отдала невестке.

— Ну, все равно,— невестке. Какая же вы мать?

Давным-давно... Когда-то... жила-была Клава Вилор. Был у нее муж, были две дочери, дом, буфет с посудой, шкаф с платьями. Утром она уносила обеих дочек в детский сад и шла на работу в Лекторское бюро. Год назад. Короткий срок по понятиям мирной жизни! Два месяца на фронте, это значит — десятки лет назад; может, и больше. Она мысленно перебирала, просеивала свой путь. Как же он привел ее сюда? Смерть младшей дочери? Она умерла в первые дни войны. А может, Клава виновата в этом? Зачем она пошла в армию? А что, если правы были в райкоме, когда отговаривали ее? Что же это было? Цепь ошибок? Та неумолимая связь, где одно вытекает из другого, где стоит ошибиться, и все пойдет дальше вкось, и по новой неуклонной колее, как следствие той первой ошибки? Как мало она успела повоевать! И оправдать-то не успела свою жизнь!

Как ни кружились ее мысли, все равно возвращались к дочке, единственной оставшейся. И тогда ее решение умереть, умереть достойно, не поддаваться, сникало перед тоской о единственной своей дочери, перед жаждой жить, чтобы ее увидеть.

Если бы она могла снова стать одинокой и свободной, как была до замужества, Клавой Бурим!

Вспоминался отец, его руки, всегда поблескивающие от въевшегося в кожу золота. Когда-то золотил клиросы сельских церквей—не настоящим золотом, а фальшивой позоло-

той, которая требовала деликатной работы с лаком, с «драконовой кровью», расплавленной серой. С детства помнились ей этот запах и отец, который среди желтых паров железной ложкой разливал кипящую серу и произносил странные слова — «микстьен», «мардан». А через несколько лет она, комсомолка, шпыняла его за эти клиросы и иконостасы. Самоуверенно поучали и перевоспитывали его всей своей домашней ячейкой — двенадцать братьев и она. Это была первая комсомольская ячейка на селе — двенадцать братьев и она. Как в сказке.

Сперва отец спорил, потом—кротко улыбался, отговариваясь тем, что нет зазорной работы, а потом—потом уже и не спорил, побаивался ее слов про «опиум», про «религиозный дурман», «реакцию». Слова были чужие, злые. И Клава вспоминала, как робел отец от них, как отмалчивался, опустив голову, и уходил, задыхаясь неизлечимым кашлем.

Запоздалый стыд настиг ее вот здесь, в концлагере, перед самым расстрелом. Господи, как все просто выглядело для нее в те годы, как жестока и глупа была она! Да ведь будь жив отец, он первым пошел бы воевать! И никакой бог не помешал бы ему, не остановил бы его. Какой же он «идейный противник», отец ее,— ее отец, который вот и ее и сыновей всех вырастил в такой любви к своему дому, к России?! Она знала, что никто из ее братьев не дрогнет, не станет предателем, вроде Демьяненко.

Как люди вообще становятся предателями? От страха? Но почему одни могут выстоять, а другие — нет? И, сравнивая и размышляя, она думала о самой себе. Сумеет ли она выстоять, не изменив себе до самой последней минуты расстрела? Она побаивалась себя, побаивалась своей слабости, что дрожала где-то в глубине ее тела, а может быть, уже проникла и в душу, своего страха перед болью. Боялась, что силы иссякнут.

— Приказ-то ночью пришел. Пришел приказ, и отправили нас на фронт,— объясняла она Гале.— На марш ночью училище подняли по тревоге. Ну что же я? Не увольняться же. Я же в военном училище.

Ей хотелось во что бы то ни стало оправдаться перед дочерью через эту Галю — оправдаться перед маленькой за все то, что случилось, за то, что оставляет ее одну, сиротой, за свою смерть оправдаться...

Она ничего не могла избежать, когда ночью училище их подняли по приказу и бросили на Сталинградский фронт, но,

честно говоря, она и не собиралась ничего избегать, она рвалась на фронт.

Они лежали трое в большой побеленной пустой комнате, с дырками от гвоздей в стенах, с затоптанным крашеным полом, с голыми окнами. Непонятно, что это была за комната в этом здании клуба имени Ленина: класс, где занимался какой-то кружок? Канцелярия? Может быть, чей-то кабинет? Из окна был виден двор. Толпы военнопленных лежали, сидели на лестнице, теснились в узкой полоске тени вдоль забора. Там укрывались от солнцепека раненые. Когда она смотрела из окна на этих безоружных мужчин, казалось, что Сталинград пал.

Привезли еще партию пленных. Из машин вываливались моряки в бушлатах, танкисты, летчики — раненые, измученные.

Слухи, непонятные и отчаянные, ползли или умышленно распространялись. Да и немудрено — подвиг Сталинграда только творился. Удары немцев еще не иссякли, весы сражения еще колебались. А ведь на памяти было недавнее окружение наших войск под Харьковом, враг прорвался к Воронежу и к Новороссийску... В мае наши войска ушли из Керчи. Отступления, отходы, поражения первого года войны терзали души людей.

Как там было сказано, в приказе № 227, который Клава прорабатывала во всех взводах? «Отступать дальше — значит погубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину!»

А слухи множились, разрастались... Поговаривали о том, что снова отступают за Волгу, уходят, оставляя города, что немцы уже на Кавказе, в Баку, добрались до нефти... И люди здесь поддавались этим слухам, как-то оправдывая тем самым себя, свой плен.

Однако на допросах Клава особым чутьем оглохшего и ослепшего от боли человека чувствовала нервозность допрашивавших. Она вдруг однажды подумала, что если бы Сталинград пал, то ведь немцы объявили бы об этом. Они не стали бы этого скрывать. С какой стати им скрывать такую новость? «А Сталинград-то держится»,— неожиданно для себя самой произнесла она вслух. Ее ударили, прикрикнули, но никто не посмеялся над ее словами, не отверг.

Уборная находилась далеко. Полицай водил ее туда через весь двор. Она шла медленно и повторяла так, чтобы все слышали: «А Сталинград-то держится!» В словах этой страшно избитой, невесть откуда появляющейся женщины была уверенность.

Надо было найти какую-то свою линию поведения. На что она могла опереться — она, военнопленная, что само по себе уже было позорно, она, женщина, измученная страхом побоев? Да, она не выдавала коммунистов, не рассказывала ни о каких военных секретах. Но в этом лагере про секреты и не спрашивали. Может быть, нашли предателей, может быть, еще что... Ах, если бы ей надо было что-то хранить, что-то защищать, что-то держать в тайне, может быть, ей было бы легче. Нет, какую-то иную линию надо было найти. За что-то надо было бороться, чему-то сопротивляться. И она вдруг решила: держаться за Сталинград!

Давали себя знать отбитые почки. Клава часто просилась в уборную и всякий раз, выходя во двор, объявляла: «А Сталинград-то держится!» Она повторяла это, как заклинание. Проходили часы, дни,— и оказывается, она могла все время повторять: «Сталинград держится!»

Она не знала: может быть, Сталинград держался последние часы, каждую минуту он мог пасть, но пока что Сталинград держался. Каждый день был победой, каждый день жизни Сталинграда она могла повторять это всем и каждому и чувствовала, что этим она может уязвлять немцев, может им что-то противопоставить. Для них ведь тоже к сентябрю многое уже воплотилось в Сталинграде. Сроки, поставленные Гитлером, уже давно прошли, а Советскую Армию удалось потеснить только к окраине города. Взять Сталинград — удастся или нет? Сумеют ли гитлеровские армии сломить сопротивление советских войск до наступления зимы? 6-я германская армия с 28 августа не могла продвинуться к городу ни на шаг. Только танкам 4-й армии удалось вклиниться в нашу оборону в районе Гавриловки. 1 сентября Военный совет фронта обратился к защитникам города, призывая не допустить врага к Волге. Все же на следующий день немцы прорвали фронт, и наши войска стали отходить к окраинам города. В воздухе гудели немецкие самолеты, на земле господствовали немецкая артиллерия и немецкие танки. Казалось, еще одно усилие — и последние поределые советские дивизии будут сброшены в Волгу. Немцы были уверены в этом. Они уговаривали себя, убеждали.

И когда эта ковыляющая на простреленных ногах, изуродованная женщина, словно кликуша, выкрикивала, выстанывала про Сталинград,— и немцы и полицаи выходили из себя. Никто не понимал, зачем она это делает. Зачем она прет на рожон, напрашивается на зуботычины и удары? Они не по-

нимали, что Сталинград — ее опора. Она держалась тем, что держался Сталинград. Она была для себя тоже Сталинградом.

Возвращаясь с допросов, она старалась не стонать. Всеми силами следовало скрывать от полицаев побои. Стоило им увидеть свежие ссадины, как они зверели,— запах крови возбуждал их, и они тоже принимались избивать ее.

Особенно свирепствовал заместитель начальника полиции, старшина лагеря по имени Виктор. Моряк, здоровенный красавец, он хвалился своим предательством. От него пахло одеколоном, сытостью, хорошим табаком. Все на нем выглядело живописно — обтягивающая грудь тельняшка, сияющая золотом морская фуражка, часы, хромовые начищенные сапоги, золотой портсигар.

— Жить надо! — рассуждал он.— А пока жив — надо жить как можно лучше.

Он пощелкивал плеткой, белозубо смеялся. Следил, как сбрасывали в ямы очередную партию умерших к утру от избиений, ран, голода. Бил он жестоко, исступленно, забивая иногда свою жертву насмерть.

К Клаве он заходил побеседовать, «на политминутку», как он говорил.

— Хлеба хочешь?

— Конечно, хочу.

— А комиссарам хлеба нет. Комиссары — самая вредная часть армии. Ну ты-то чего связалась с ними? Была бы медсестрой, жила бы. А теперь расстреляют. Тебя со всеми твоими идеями не будет, а я буду! Смотри, как я живу! Скажешь, мародер? Ну и что? Это слова, в дело они не годятся. Жизнь-то, она короткая, комиссар. А знаешь, как хорошо, когда кругом завидуют! Вот ты жрать хочешь, а я сыт. Значит, ты мне завидуешь. Идеи твои тебя никак не кормят, а я — сыт, пьян и нос в табаке. Значит, моя идея правильная. А у меня идея такая: всех вас передавить! Ну ты мне скажи, вот ты баба. Зачем тебе все это? Чего ты на своем стоишь? И за что ты цепляешься?

— Так ведь все равно помирать,— отвечала Клава как можно равнодушнее.— Раньше, позже — все равно помирать. Чего ж я буду подличать, пресмыкаться. Приятно умереть человеком, чтобы уважать себя.

— Ага, человеком! Вот-вот, ты сказала «человеком»? Ну а как же ты можешь помереть человеком? Ты посмотри на себя, разве ты человек? Вот я — человек, и живу как человек!

Она не могла прогнать его, не могла обругать. Он искал признания или хотя бы возвышенных споров. И не так-то просто было опровергать его и противостоять его сытости.

Ей хотелось узнать, как он стал таким. Очень просто: был осужден на десять лет за хищения, ему заменили срок передовой, и он перешел к немцам. Он ничего не скрывал: она, Клава Вилор, была безопасна — скорый мертвец; а его тешила собственная откровенность. В этой откровенности была жажда не только самоутверждения, но и какого-то самооправдания, что ли. Ему мечталось услышать от нее какое-то признание в правоте его выбора, или его страха, или его цинизма.

Иногда казалось, что он наговаривает на себя, когда он рассказывал, как, защищая Одессу, во время боя стрелял исподтишка в комиссаров, политруков.

Он ничего не скрывал от Клавы Вилор. Он ее ни в чем не переубеждал, ничего не требовал, не допытывался. Ему нравилось беседовать с ней о своей душе. Ему словно хотелось выработать какую-то свою линию самоуважения. То, что он хорошо жил среди умиравших от голода, израненных, измученных военнопленных, то, что он ненавидел все советское,— этого было еще недостаточно. Он пытался понять самое существо Клавиного упорства, то есть не обязательно именно ее упорства, а упорства всех тех, кто, попадая в плен, оставался самим собой, всех тех, кто не сдавался.

Шестого сентября (и как это память ее сохранила все даты!) к ней потихоньку пробрался Баранов и сказал, что он все подготовил для побега. Нынче — последняя возможность. Не согласится ли она попробовать бежать вместе с ним? Она с горечью показала ему свои израненные ноги, поцеловала его на прощание, пожелала удачи и больше его не видела. Его побег вселил надежду, что Баранов где-то там,— если он благополучно доберется,— за линией фронта расскажет о ней...

Наконец наступил день, когда во двор въехала зарешеченная закрытая грузовая машина и ее, Клаву Вилор, вместе с другими военнопленными повезли на расстрел. Расстреливали за городом, у шурфов затопленных шахт. В эти шурфы сбрасывали расстрелянных, а часто сталкивали и живых.

Привезли. Построили. Приказали раздеться. Начали подводить группами к яме.

Клава была шестнадцатой. Перед ней было убито пятнадцать человек. Когда ее подвели к краю, она закрыла глаза. Уже несколько последних военнопленных немцы не расстреливали, а просто сталкивали. Она тоже стояла, ожидая толчка. Вдруг ее взяли за плечо, отвели в сторону и приказали одеться. То же приказали и другим.

Вот эти-то минуты, даже мгновения, когда она стояла, закрыв глаза,— казалось мне, что эти мгновения должны были врезаться и остаться в душе ее так сильно, как это было, например, у Достоевского. Мне почему-то больше всего вспоминался Достоевский. Наверное, потому, что, как никто другой, он отразил эти последние мгновения перед расстрелом, когда он сам стоял на Семеновском плацу на эшафоте и впоследствии снова и снова возвращался к своей казни. В том же «Идиоте», когда он описывал казнь расстрелянием и казнь на гильотине и как самую ужасную муку эти последние минуты — когда всякая надежда отнята и знаешь, что человеком больше не будешь и что это уже н а в е р н о.

Но тут у Клавдии Вилор ничего похожего не было. Муки ее жизни были сильнее ужаса перед смертью. Смерть была бы прекращением боли. Стоя перед шурфом, Клава просто ждала того, к чему давно приготовилась. Она ждала смерти, как ждут снотворного. И Клава не то чтобы была разочарована — нет, но не испытывала никакой радости от избавления и так же равнодушно, а может быть, даже с тоской перед новыми муками стала по приказу одеваться вместе с другими и снова последовала в гестапо.

Выяснилось, что их, оставшихся, возили к шурфу для запугивания. Но лично для нее никакого запугивания уже не могло существовать. Ее доставили в бывшую гостиницу «Донбасс», стали угощать яблоками, грушами, поставили перед ней вареную курицу и предложили подписать признание, что она пошла в армию по принуждению большевиков, которые вынуждены использовать женщин. А потом надо будет выступить перед военнопленными, рассказать им, что хотела перейти к немцам.

Психологический эффект, конечно, получился, но обратный,— она вскочила, проклиная их за то, что они ее не расстреляли.

— Когда вы меня расстреляете?! — кричала она.— Гады! Мучители, расстреляйте меня скорее... стреляйте же!

Через несколько часов, избитая, она очутилась в одиночной камере. С этой минуты, в любое время дня и ночи, дверь

открывалась, и немецкие офицеры из командировок, из госпиталей, а то и просто с гулянья заходили посмотреть на редкий экземпляр: женщину-комиссара. Они останавливались в дверях и обсуждали ее, разглядывали.

V

Жизнь человеческую можно изображать как перечень бед, невзгод, несчастий. У каждого они есть, есть всегда, и составляют свою непрерывную цепь. Впрочем, так же, как существует и своя цепь радостей, любви, счастья. Чаще всего они даже сосуществуют параллельно — обе эти линии в человеческой жизни.

Но та пора в судьбе Клавдии Вилор была составлена, пожалуй, только из бед, мучений, горестей. Наверное, поэтому так тяжко и рассказывать сплошь подряд обо всех ее нескончаемых страданиях в этом повествовании.

И все же... В том-то и особенность любой человеческой жизни, что даже при самых тяжелейших испытаниях, в самой мрачности и безысходности, она, эта жизнь, умудряется сама себе создавать какие-то просветы. И одним из таких просветов у Клавдии Вилор была песня.

Она пела с детства, по любому поводу и просто так. Здесь же, в плену, песня стала для нее единственным способом забыться. Песней она поддерживала себя, поддерживала окружающих. Песня была для нее наиболее доступной формой протеста. В этой массе военнопленных, где старались уничтожить всяческую человеческую индивидуальность, а тем более личность, песня позволяла Клаве ощутить свое «я». Голос у нее был сильный, и в тюрьме, сидя в этой одиночной камере, она старалась петь. Рождала песню тоска, но песня и отгоняла тоску. Она складывала песни — складывала их о самой себе бесхитростными неуклюжими строками, где главными были, может быть, не столько слова, сколько чувства: «Ах ты доля, злая доля, доля горькая моя! Ах, зачем же, злая доля, до гестапо довела? Очутилась я в подвале, и в холодном и в сыром. Здесь я встретилась с подружкой: «Здравствуй, друг! И я с тобой».— «Ах, зачем же, дорогая, как попала ты сюда?» — «Сталинград я защищала и там ранена была».

В соседних камерах подпевали. Где-то неподалеку, тоже из одиночки, доносился мужской голос. Клава узнала, что это был летчик, подбитый на Кавказском фронте. Она пела ему:

«Лети, мой милый сокол, высоко и далеко, чтоб счастье было на земле!» Пели и в других камерах. Ее голос выделялся. Когда она начинала петь, тюрьма замирала, наступала тишина. Чувствовалось, как слушают заключенные. И тогда во весь голос, назло, она пела не только с вызовом, но и с угрозой: «...И вернется армия, и придут желанные, что тогда, легавые, скажете вы им? С мыслями продажными, с мыслями преступными невозможно будет вас уж оправдать!» Вот здесь главными были слова, нескладность действовала сильнее знакомых запетых текстов. И так будет и дальше — в тюрьме и потом во всех злоключениях Клаву будет сопровождать песня.

Есть люди, которые и радости, и горести выражают с помощью песни. Это большей частью натуры музыкальные. Музыкальность позволяет им через мелодию, через песню выразить любые чувства, музыка становится поступком, ей передается вся сила, неистраченная энергия. Может быть, это сродни пению птиц, чисто природному инстинкту самовыражения. Вот такая непроизвольная потребность в песне была глубоко заложена в натуре и этой женщины.

В камеру к ней поместили четырех женщин. Вначале они вели себя с ней осторожно, потом, увидев ее состояние — избитую, с коростой сукровицы, с грязными тряпками, присохшими к ранам на ногах, этот тяжелый, зловонный запах, который шел от нее,— они поняли, что она не «подсадная», прониклись к ней сочувствием и состраданием сразу же, как это может быть только в одной камере; стали вызывать тюремного врача и добились, чтобы ей сделали перевязку.

Они все четверо были из одного партизанского отряда. Теперь они перед ней больше не скрывались. Две из них — Шура и Вера — были разведчицами, причем Шура уже была награждена орденом Ленина, уже бежала однажды из гестапо и сейчас опять договаривалась, чтобы бежать, когда повезут на допрос или на расстрел. Партизанок избивали. У Шуры требовали сказать, куда она спрятала орден Ленина.

Среди партизанок была одна пожилая женщина, которая просила Клаву не петь, зная, что за это избивают. Но однажды наступил день, когда она вдруг махнула рукой на это и стала подпевать, сказав, что с песней умирать веселее. Между прочим, это бывало часто: люди пугались, когда Клава запевала, а потом голос ее завораживал их, или подзадоривала песня, они подхватывали уже с совершенно иным настроением, одни вызывающе, другие с неожиданной беспечностью.

Режим в тюрьме стал строже, избиения — чаще. Избивали во всех камерах. Люди стали кончать с собой — вешались, резались.

Побеги не прекращались, несмотря на то, что за бежавшего заключенного расстреливали каждого двадцатого, десятого.

Клава договаривалась с девушками, что если посчастливится бежать и если кто-нибудь из них доберется к партизанскому отряду, то партизанам обязательно надо будет сделать налет на их тюрьму и освободить заключенных.

Они строили всевозможные планы — и как они будут воевать дальше в партизанах, и как отомстят и уничтожат здешних полицаев-предателей. Эти планы, один отважнее и фантастичнее другого, воодушевляли Клаву. Женщины-партизанки принесли сюда совершенно новые чувства: она вдруг поняла, что и в этих условиях можно воевать, бороться, что и здесь, за линией фронта, существует не только душевное, но и вооруженное сопротивление. Раньше для нее, как для многих солдат, партизаны были понятием отвлеченным. Впервые она познакомилась с настоящими партизанами, которые уже много месяцев действовали в немецком тылу.

Однажды утром всех четырех партизанок увезли в лагерь гестапо. Клава распрощалась с ними, поняв, что прощается навсегда. Они тоже понимали, что вряд ли выйдут оттуда живыми. И тем не менее Клава попросила их в слабой надежде, что, если кто-нибудь останется в живых,— пусть сообщат в город Ворошиловск о том, как она, Клава Вилор, погибла.

Ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее дочь и родные знали, что она погибла как честный человек, никого не выдав, не дав согласия служить фашистам. Она относилась к себе уже как к человеку неживому, как к расстрелянному. Ее будущее заключалось лишь в возможности как-то передать вот эту последнюю весть. Ее интересовало только одно — честь, собственная честь. Она хотела оставить эту честь, которую она хранила из последних сил, ради которой она терпела все муки,— оставить эту честь дочери и чтобы дочь узнала... Есть старое выражение: «Жизнь — Родине, а честь — никому». В конце концов, она ведь старалась действительно не ради кого-нибудь, а ради себя, своей чести. Жизни давно уже не было, с той минуты, как она попала в плен, а честь была, и честь она никому не отдавала. Но иногда ей казалось, что смысл ее борьбы пропадет, если никто из родных не узнает о том, как честно она погибла.

Потом, много позже, она дойдет и до другого понятия своей чести, когда самым высшим будет не забота о том, чтобы узнали другие, а забота о своем собственном суде над собой,— перед самой собой ни в чем не погрешить, ни в чем не отступиться!

Расстрелы производили два раза в неделю — по средам и пятницам. Тюрьма в эти дни замирала. Все ждали своей очереди. Минуты и часы растягивались, длились мучительно долго. Никто не разговаривал. Все прислушивались. И когда машина уходила, забрав очередную партию, оставшиеся заключенные приходили в себя.

На смену увезенным партизанкам в камеру втолкнули молодую девушку — Марусю Басову, которая жила на хуторе Ковалевском. Ее привезли вместе с братом, который был политруком и был направлен в тыл к немцам. Одна из завербованных им женщин оказалась предательницей и выдала потом всю группу — шестнадцать человек, Марусиного брата схватили во время передачи по рации сведений нашим войскам.

В камеру попадали люди из-за тех или иных неудач. Именно эти неудачи проходили перед Клавой поучительной и горькой школой — предательство, неосторожность, провалы, неумелая конспирация.

Маруся Басова прикидывалась на допросах ничего не знающей, утверждала, что понятия не имеет ни о работе брата, ни о какой группе. Вскоре ее отпустили домой.

Как раз в день ее ухода из тюрьмы Клаву вызвали на допрос и так избили, что она, вернувшись в камеру, легла на холодный пол, не будучи в силах двинуться. Маруся сказала:

— Лучше бы ты умерла, Клава. Все-таки своей смертью легче умирать.— И заплакала, обняла, не обращая внимания на то, что Клава такая грязная, что от нее так пахнет. Прощаясь, сказала, что обязательно расскажет о ее гибели, о том, как погибла Клавдия Вилор.

На следующий день ее брат и вся группа были расстреляны. А Клаву вдруг оставили в покое, и в течение двух месяцев не было ни одного допроса.

...А потом с ней сидела другая партизанка — Лида Мартынова. Ее все время возили на облавы, чтобы она выдала своих партизан, а она все прикидывалась слабоумной, говорила, что забыла, ничего не помнит. Ее били, а потом перевели в другой лагерь и расстреляли. Об этом Клава узнала уже позже.

...А потом сидела с ней Соня Булгакова, которую посадили за кражу немецкого обмундирования.

...И еще были Катя Анфимова и Софья Шмит, которую немцы время от времени брали как переводчицу.

Женщин использовали на уборке коридоров, уборных в тюрьме, на мытье полов. Поскольку женщин было мало, их всех заставляли работать. Мужчин до вечера угоняли работать в город, а женщины работали в тюрьме.

Клава попросила Софью Шмит похлопотать, чтобы ее послали работать на кухню. В конце концов Шмит этого добилась. Почти ежедневно Клаву стали посылать в первый этаж, где помещалась кухня, работать вместе с Катей Анфимовой.

Катя сидела в тюрьме уже полгода. В Макеевке у нее жила семья: отец, мать, братья, сестры. И немцы, посылая Катю на кухню, письменно предупредили, заставили расписаться, что в случае побега члены ее семьи будут повешены.

Катя делала, что могла, чтобы как-то помогать заключенным: передавала потихоньку в камеры какие-то записочки, приносила пить, бросала в камеры иногда бураки, иногда кусок хлеба. И Клаве она старалась помочь, хотя в присутствии полицая делала вид, что ее ненавидит.

Раны на ногах у Клавы затянулись; работая на кухне, она несколько окрепла и сразу же стала подумывать о побеге. Работа на кухне эту возможность давала. Трудность состояла в том, чтобы достать женскую одежду, потому что совершать побег в шинели или в тех лохмотьях, которые были на ней, было бессмысленно.

Она стала уговаривать Катю Анфимову достать какую-нибудь одежду. Катя отказывалась, боясь за себя и за своих родных. Никакие клятвы, что Клава ее ни за что не выдаст, не действовали.

Между тем мысль о побеге все больше овладевала Клавой. Она понимала, что положение ее шатко, что не сегодня-завтра ее не выпустят из камеры и тогда пропала последняя возможность. Ее могут снова вызвать на допрос, поставить условие, дать последний срок. Она умоляла Катю. Катя не соглашалась. Из-за этого возникало немало трудностей в их отношениях, тем более что их связывала и работа и жизнь в одной камере.

Наступил день, когда Клаву снова вызвали на допрос. Это был самый ужасный из всех допросов. На ее глазах огромная собака набросилась на заключенного, Клава стояла в углу комнаты, заложив руки за спину. Ей сказали, что если

она не даст согласия подписать обращение, выступить, то на нее точно так же напустят собак. Если же она согласится с их предложением, ее оденут, создадут хорошие условия. «Ноги починим,— говорили ей,— вылечим. Фамилию дадим другую. Никто и знать не будет. За что ты держишься?» Она попросила у офицера дать два-три дня подумать. Другого выхода у нее не было. Ей нужно было, чтобы ее отпустили назад.

Теперь единственным ее спасением было уговорить Катю. Немцы срочно разгружали тюрьму, большую часть заключенных увозили на расстрел, других — в Германию.

Вернувшись в камеру, она сказала Кате, что, если сегодня или завтра она не сумеет убежать, будет уже поздно и Катя Анфимова будет виновата в том, что ее, Клаву, немцы расстреляют. Это был последний аргумент, последняя, пусть жестокая, но возможность как-то убедить Катю.

Она понимала, что у Кати есть своя правда, что в конце концов перед Катей тяжкая проблема: имела ли право она, Катя Анфимова, рисковать своей семьей, родителями ради побега этой малознакомой женщины? Почему жизнь этой женщины ей должна быть дороже жизни ее родных? Причем и побег-то был почти безнадежен, напрасен, потому что вряд ли Клава Вилор могла уйти в таком состоянии далеко, ее так или иначе немцы поймают.

И все-таки перед угрозой Клавиного расстрела Катя Анфимова согласилась. Не вынесла. Прежде всего она уговорила женщину, которая приходила на кухню за картофельными очистками, чтобы та принесла какую-нибудь рваную фуфайку. Женщина принесла и спрятала фуфайку в отбросах в углу кухни. Затем у другой заключенной, у Маруси из девятой камеры, выпросила платье под предлогом того, что, мол, политруку нечего надеть. Кроме того, Катя дала свой большой шерстяной вязаный платок. Теперь надо было решить вопрос насчет обуви. Катя сказала:

— Когда будешь бежать, во-первых, с гвоздя сними этот мой платок, а под скамейкой возьмешь галоши.

Она приготовила еду на дорогу. Наконец, надо было дать адреса. Катя дала адрес, и дала адрес Соня Булгакова. Катя предупредила, что как только Клава убежит, буквально через несколько минут придется поднять тревогу. Она, Катя, скажет, что политрук сбежала и украла у нее платок и галоши. Это было необходимо, чтобы как-то спастись самой Кате.

Целый день они шептались и обдумывали, когда лучше бежать. Решено было, что самое выгодное — бежать примерно

в шесть часов вечера: производится смена полицейских. Сразу после шести, после того как на кухню снесут воду и будет помыт котел, их, всех женщин, отправляли в камеры и закрывали. Вот этот промежуток и надо было использовать.

Наступил назначенный день побега — 26 января 1943 года. Они, как всегда, работали на кухне вчетвером, четыре женщины. Ближе к шести часам трое из них начали носить на кухню воду, Клава же осталась на кухне, якобы для того чтобы мыть котел. Около шести вечера, пока заключенных еще не привезли, она быстро надела фуфайку, на голову — платок, на ноги — галоши, взяла узелок с пищей, приготовленный Катей, в другую руку — помойное ведро (это на всякий случай, как предлог: якобы она идет вылить помои) и начала спускаться по лестнице. Перед ней шли с ведрами Катя и Лида.

Показалась площадка, которая просматривалась полицаем. И тут Катя взяла ее за руку и шепнула, чтобы она не уходила. В последнюю минуту ей стало страшно. Клава ничего ей не ответила. Оторвала ее руку и юркнула в дверь.

В тюремных воротах никто не стоял. Пока все было так, как они и рассчитывали. Она медленно вышла за ворота, пошла по запущенному, заросшему высоким репейником саду, бросила там ведро и пошла быстрее и быстрее, начисто забыв о том, куда повернуть,— о той дороге, о которой ей рассказывала Катя.

Она шла долго, а когда вспомнила об этом повороте, об этом свертыше, то было уже поздно. Навстречу двигались машины, и казалось, в каждой из них сидят немцы, которые ищут ее. И вдруг она вышла на проволочное ограждение концлагеря...

VI

Мог ли подумать когда-либо отец Клавы Вилор, что эта огромная семья, которую он воспитал, выходил, будет почти начисто истреблена в войну — сыновья, сколько их было, дочь, сестры, братья, невестки, внуки? Древо, которому расти и расти, которому, казалось, сносу не будет,— все почти подчистую было вырублено войной. Они пострадали еще и в предыдущую войну — гражданскую. Уже тогда смерть прошлась по ним. Уже тогда белые вели на виселицу мать, лишь чудо спасло ее. Женщины — родоначальницы и продолжательницы — в их роду обладали той жизненной силой и счастливой судьбой, которая спасала от гибели корневище этой семьи.

Клава стояла перед проволочной оградой концлагеря, знакомого ей до тюрьмы, а в тюрьме уже поднималась тревога, потому что Катя, как уговорились, начала кричать, что политрук сбежала. А еще за несколько минут до этого истопник нашел брошенное помойное ведро и принес его коменданту.

Катю тотчас вызвал комендант и стал допрашивать, кто помог бежать комиссару Вилор. Катя твердила:

— Откуда я могу знать? У меня украла она вещи, удрала, и я за нее отвечай!

На всякий случай ее избили и посадили в камеру под замок.

И вот в эти минуты у проволочного заграждения навстречу Клаве Вилор вышла какая-то женщина. Клава спросила ее, как пройти на Рутченковку (это адрес, который дала ей Соня). Женщина осмотрела ее и безошибочно определила:

— Ты что, из лагеря сбежала?

Клава ответила, что она из Макеевки и ищет своих знакомых.

— А почему же ты города не знаешь? — спросила ее женщина.

— Я приезжая.

— Рутченковка далеко. Ты туда сегодня и не дойдешь.

Клава молчала.

— Ну, если у тебя паспорт есть, пойдем ко мне,— сказала женщина.

Клаве не понравилось что-то в ее взгляде, и она отказалась, сказав, что будет искать знакомых.

Она повернула назад. Ноги болели. Было холодно. Наступал комендантский час. Она шла осторожно, остерегаясь любой случайности.

Поздним вечером она добралась в нижнюю часть города. Остановилась. Увидела женщин, которые возвращались с работы. Подошла. Спросила, где 18-я линия, дом 31.

Одна из женщин сказала:

— А кого тебе там надо?

Она ответила:

— Катю.

Оказалось, что женщина живет в этом доме. Согласилась ее довести. По дороге спросила:

— А что тебе надо от них в такое позднее время? Ты, поди, из лагеря сбежала?

Несмотря на фуфайку и на платок, все почему-то безошибочно определяли, что она из лагеря. Печать голода и мучений, очевидно, слишком явно лежала на всем ее облике.

Она подвела ее к квартире. На стук вышла молодая женщина. Клава сказала, что она от Кати. Женщина впустила ее и попросила ничего не говорить матери. Мать услыхала их разговор и, сразу все поняв, стала выгонять Клаву. Дочь упрашивала ее разрешить Клаве остаться.

Клава подошла к печке согреться. От холода моча не держалась. И этот запах, и лужа на полу возмутили старуху, она потребовала, чтобы Клава ушла. Но Клава не в силах была оторваться от печки. Она отвечала на любые вопросы старухи, призналась, что она — политрук, рассказывала про Катю Анфимову. Она могла рассказывать сейчас без конца о чем угодно, лишь бы стоять, прильнув телом к теплой печке. А старуха взяла ее за руку и вытащила на улицу. Стала объяснять Клаве, как пройти к Полине Михалко (это был второй адрес, который дала ей Катя Анфимова).

Дорога была запружена машинами, танками, тарахтели военные мотоциклы. Клаве пришлось свернуть и идти параллельными улицами, прячась, когда она встречала патрули. Так она добралась до центра. В темноте узнала гостиницу «Донбасс», где находилось гестапо и куда ее водили на допрос.

Ветер со снегом бил ей в лицо. Она так замерзла, что уже не чувствовала рук и в темноте перестала разбирать дорогу. Забралась в какую-то яму, сидела там, пока не начало рассветать. На рассвете вылезла из ямы, но идти не могла. Ноги и руки ее не слушались. В ней жило лишь туловище; если бы можно было, она бы покатилась по земле, это было легче, чем передвигать ногами, от каждого движения ими хотелось кричать, выть... Она искала Нефтяную улицу. Это был последний адрес, который она имела.

Наконец она нашла Полину Михалко. Та уже собиралась на работу.

— Я от Кати,— сказала Клава.

Полина смотрела на нее, и Клава понимала, что сейчас, от этого взгляда, решится ее жизнь. Полина имела полное право сказать: «Я не могу вас принять», «Я боюсь вас принять», «Я не одна», «Ко мне нельзя»,— да мало ли какие причины она могла привести, а могла и вовсе не приводить... «Уходите!» — и все тут. И, вероятно, потому, что Клава Вилор это поняла,

такая тоска появилась в ее глазах от ожидания этого ответа,— может, от этого Полина сказала, что оставит ее, но только боится, чтобы Клава ее не... обворовала. Это было совсем неожиданно.

— Что вы! — сказала Клава.— Разве вы не видите? Разве мне до этого?

Полина закрыла ее на замок, предупредив, чтобы она не подавала никаких признаков жизни.

Она прожила у Полины восемь дней, прячась за железным корытом, когда кто-нибудь входил. И вот тут, пожалуй, начало проявляться то особое качество характера Клавы Вилор, которое так сильно развилось в ней дальше.

За эти восемь дней Полина Михалко преобразилась. До прихода Клавы Полина жила замкнуто, боясь всего. Сестра ее и зять работали до войны в Сталинском облисполкоме, они эвакуировались, а она, оставшись здесь, боялась каких-либо допросов, гонений. Живя с Клавой, она несколько распрямилась, вспомнила, что она медсестра по специальности и ведь могла принести какую-то пользу Родине. Однажды она вдруг сказала:

— Знаете что, Клава, давайте спать в комнате.

Вместо того чтобы прятаться в чулан, в бочку с углем, Клава легла на кровать, в комнате, вместе с Полиной.

Она не выбирала, она работала с теми людьми, каких посылала ей судьба. Она была уверена, что каждый, самый запуганный, самый трусливый человек может распрямиться и что-то сделать. Что-нибудь. У каждого человека есть мечта что-то совершить. Неважно, как много, неважно, насколько значительным это окажется, важно стронуть человека.

По вечерам, в темноте, они шептались. Клава рассказывала о себе. Ее история была и исповедью. У человека есть потребность открыться. Это касалось отношений Клавы с мужем, той печальной ссоры, какая произошла у них перед самой войной, когда он взревновал и уехал, и так все нелепо оборвалось.

Полина пыталась связать ее с местным подпольем, но не сумела. Однажды она повинилась перед Клавой: ведь она как медработник обязана была пойти служить в Красную Армию, должна была — и не пошла, за это наказана скотским своим существованием. На что она обрекла себя! Служить этим гадам, всего бояться, смиренно молчать, потупив глаза, глотать оскорбления, угодливо улыбаться, прятать свои мысли, чувства, следить за каждым жестом. Ни разу не посметь сказать

вслух то, что думаешь. Ни выругаться, ни возмутиться. Постепенно это становилось привычным, и все реже она мучилась и презирала себя.

Горячечное это признание придало ей смелость, очистило ее.

Они говорили друг другу, что не боятся умереть, совершенно не боятся умереть, потому что нет смысла так жить.

Назавтра Полина согрела воду, смыла с Клавы тюремную грязь, помыла ей голову. На чистом, истончавшем до прозрачности теле выступили иссиня-черные следы побоев, незаживающие раны, рубцы, ссадины, и было их столько повсюду, и так страшно было это зрелище, что Полина зарыдала.

— Куда же ты пойдешь такая? Я тебя не пущу, ты же не дойдешь. Господи, что ж это делают с человеком!

Но Клаве надо было уходить подальше из Сталина, где продолжали ее искать после побега, передавали по радио ее приметы. И она отправилась через Смолянку в сторону Рутченковки, к родным Сони Булгаковой. Полина провожала ее не таясь, а главное — не желая отныне ничего страшиться.

Помогая Клаве, она ощущала свою смелость. И ни за что не хотела возвращаться в прежнее свое существование.

В этот день штаб фельдмаршала Паулюса вел переговоры со штабом нашей 64-й армии об условиях капитуляции; немцы, не дожидаясь конца переговоров, бросали оружие тут же в снег возле универмага. Было утро, был мороз, немецкие офицеры суетились, кутались, готовясь к долгому пути пленных.

Клава добралась до Рутченковки. К сожалению, сестра Сони не могла достать ей какого-либо документа, по которому можно было бы дальше двигаться к линии фронта. Она лишь накормила ее лепешками из макухи и вывела дальше в сторону Матвеева Кургана. (Клава сказала, что она с Матвеева Кургана и идет домой.)

Сестра Сони проводила ее до самой окраины, показала путь, глухой, заброшенный, через рудники в Чулковку, Алексеевку, Мандрыкино, Мушкетово. Посоветовала не говорить, что сидела в гестапо, и сказала, что на этой дороге каждый шахтер ее примет. Дорога действительно была заброшенной, в каких-то ямах, Клава часто проваливалась в глубокий снег.

Неподалеку от шахты ее встретила бежавшая навстречу женщина.

Она спросила:

— Не видели ли вы, куда погнали пленных? Их, говорят, увозят в Германию. Там один совсем босой. Замерзнет. Вот несу ему бурочки.

Клава сказала, что не видела, и, решившись, призналась ей, что тоже военнопленная, убежала недавно из лагеря и не знает, где можно переночевать, согреться, так как сильно замерзла. Женщина посмотрела на нее с жалостью и попросила, чтобы Клава ее подождала, а сама побежала догонять пленных с надеждой передать бурки.

Клава села на снег, не зная, ждать или нет. Сил не было.

Где ночевать? Ждать ли? Ведь так совсем можно замерзнуть. Ждать или не ждать? Можно ли верить той женщине? Клава научилась определять людей по неуловимым признакам: по взгляду, по движениям лица. В ее распоряжении были считанные секунды, да что там секунды — мгновения, когда приходилось решать: довериться или нет. Слова ничего не значили, значило то таинственное, тот ток, что всегда возникает между двумя людьми. Другой человек и ты, другое я и твое я, вы еще ничего не сказали друг другу, только посмотрели, и уже что-то установилось, почему-то оно, это другое я, стало симпатичным, или же, наоборот, появилась к нему неприязнь. Ничего не произошло, а отношения возникли, и приходится полагаться на эти отношения, потому что проверять себя некогда, выяснять ничего невозможно, а есть лишь безмолвное, мелькнувшее, как тень, чувство.

Здесь же получилось так, что и лица женщины в сумерках не разглядеть было.

Сидеть становилось невмоготу. Начинало клонить в сон, и Клава понимала, что замерзает. Она заставила себя встать, пойти, в это время издали закричали, к ней бежала женщина, махала рукой. Это была та самая, что искала пленных. Так она их и не догнала, и теперь, найдя Клаву, она снова усадила ее, стащила с нее рваные сапоги, надела теплые, фетровые, отороченные кожей бурки и повела к себе.

Она спросила Клаву, куда та идет и как ее зовут. Клава на всякий случай назвалась Катей Остапенко, сказала, что идет домой в Матвеев Курган.

Женщина жила с мужем-шахтером и сыном. Жили они совсем плохо, немцы им ничего не давали, а все, что можно было поменять на продукты, они поменяли. Последнее, что оставалось в доме ценного, были бурки. Поля — женщину тоже звали Полиной — понесла их продавать, но, увидев по дороге пленных, решилась отдать им.

Войдя в хату, Клава поразилась бедности этих людей. Единственная еда была — несколько бураков. Женщина говорила, что бураков хватит, если растянуть, примерно на неделю.

Через два дня Поля, вернувшись из церкви, сказала, что немцы устраивают облавы, делают обыски и всех забирают на окопы.

Клава решила уйти. Для этого ей надо было достать хоть какой-нибудь документ. Поля, поговорив с мужем, вместо документа решила отвести ее в Прохоровку, к одной женщине — Петровне, считая, что этот дом будет самым безопасным.

Когда Поля привела ее в Прохоровку, к Петровне, та приняла ее странно и непривычно для Клавы — как великомученицу, которую послал к ней Илья-пророк. Клава не могла представить, что со стороны, для окружавших людей, она, Катя Остапенко, и впрямь выглядела страдалицей, принявшей неслыханные муки и лишения,— оборванная, израненная, с горящими глазами. Муж Петровны уподоблял ее святой Екатерине, имя которой, известно, означает «всегда чистая». По уверению же Петровны, всем своим обликом и фигурою Клава походила на любимую ее святую Варвару Великомученицу, которой дана благодать спасения от насильственной и внезапной смерти. К великому смущению Клавы, среди верующих, усердно посещавших Петровну, пошел слух о ниспосланной им мученице, и одна за другой стали к ней обращаться женщины, матери, жены, просили заступиться за своих, защитить их от пули, от снаряда, от военной гибели. Отговорки Клавы не доходили до них. Она уверяла в своем бессилии, но эти женщины по-прежнему смотрели на нее с мольбой и верой в чудо.

Клава считала, что она, как коммунистка, обязана бороться с религиозным дурманом, и в то же время что-то мешало ей прямо высказать этим женщинам свое безбожие. Удерживали не опасения, а скорее жалость. Она понимала, что в эти тяжкие времена слабые души обращаются к религии. Заполнив маленькую горницу, женщины в три ряда стояли на коленях, впереди Петровна, и клали земные поклоны, тихо пели, а потом молились.

«Пресвятая дева, веру нашу укрепи, надежду утверди, дары любви сподоби. Умилосердствуйся, всемилостивейшая госпожа наша, на немощные люди твоя: заблудших на путь правый наставь, избави нас от голода, губительства, огня, меча, нападения вражия, наглуя смерти, тлетворных болезней. Утоли моя печали»...

Клава вслушивалась, слова эти ее смущали, она видела, как женщины уходили успокоенные, просветленные. Клава понимала, что утешение их ложное, и в то же время завидовала им. Молитва давала им надежду, помогала жить, существовать, и Клава не смела лишить их этой надежды, да и уместно ли это было сейчас?..

— А как еще охранить матери своего сына? — говорила Петровна.— Чем другим, если не молитвой? Назови это любовью, все одно. Знаешь, как сказано: «Давайте, и дастся вам. Какой мерою мерите, такой же и отмерится вам».

Дивные эти слова согревали душу, но потом начиналась какая-то маета. Бездеятельная вера возмущала бурную натуру Клавы. Будь это мужчины, все было бы проще, она нашла бы, что им ответить, но перед ней были голодные солдатки, матери с малолетками.

Полицаи и немцы не трогали Петровну. В домике ее действительно можно было жить сравнительно спокойно.

Клаву здесь любили, за ней ухаживали, и никто из них не мог понять, почему она однажды утром, расцеловав Петровну, покинула ее гостеприимную хату. Ни уговоры, ни предостережения не могли остановить ее. А ведь было заманчиво: принимать приходящих, советовать им, объяснять, успокаивать, а самой тем временем искать связи с подпольем, собирать сведения о немцах.

Скупые, осторожные слова ее чудесным образом утешали женщин. Было так легко вселить в них надежду и вместе с надеждой — веру в разгром фашизма, в скорое освобождение от оккупантов, а значит, и в необходимость борьбы.

Но эти исстрадавшиеся, иссохшие души жаждали чудес. И когда пошел слух, что она исцелила кого-то, а другой предсказала, что сын жив, и вскоре пришла весточка от него откуда-то из-под Харькова через партизан,— тут вот Клава и решила: хватит, надо уходить.

Она поняла, что может еще что-то делать, но для этого надо избавиться от личины, от навязанного ей Петровной образа святой великомученицы, от религиозной подоплеки, от нимба, который претил ее душе.

Так начались долгие ее скитания из одного дома в другой, от одной семьи к другой. Не просто спасение от гестаповцев, начиналось нечто иное — осмысленность ее пребывания здесь, в этом фашистском тылу, среди измученных лишениями и террором людей.

VII

Теперь уже всех и не вспомнишь. Солдатки, вдовы, голодные ребятишки, заснеженные хаты, где жизнь теплилась у печки, перед чугуном, в котором парились, а то и варились бураки — сахарная свекла. Они нарезались малыми ломтями, желтые, точно сливочное масло, заменяя хлеб, сахар, картошку, мясо,— единственная еда тех голодных мест.

Клава переходила из одного поселка в другой, ее как бы передавали — вернее, она сама выискивала те невидимые тропки, что петляли между семьями.

Она являлась не агитировать, не странницей-проповедницей, она приходила жить. Ей помогали. Ее укрывали, это всегда понимали, даже если об этом и не говорилось ни слова. Она не была гостем. Она жила и старалась поддерживать людей своей верой. Она говорила про Сталинград, иногда от этого люди как бы приходили в себя, поднимались с лежанок, наводили в доме порядок, мыли детей. Клава делилась надеждой, и от этого в ней самой прибывало уверенности. Она знала, что где-то тут действует подполье, еще Катя Анфимова рассказывала ей про партизан где-то неподалеку, чуть ли не в этой же области. Но выйти на них никак не удавалось. И тем не менее присутствие их делало ее сильнее. Она чувствовала себя как бы уполномоченным, политруком, мобилизованным на работу среди гражданского населения.

Впрочем, так и воспринимали ее: как человека, за которым что-то стоит, какие-то силы.

После войны Клаве пришло письмо:

«Здравствуй, дорогая Катя, то есть Клавдия Денисовна!

Вот как будто я и не вам пишу, Клава. Как я рада, что ты прошла и со своей дорогой крошкой вместе теперь! Я так беспокоилась за вас, утро, вечер и ночь призывала имя твое, чтобы ты прошла благополучно к своему ребенку. Я так боялась, чтобы ты не попала к тем извергам опять в плен. Вспоминаю, как ты переживала в плену и у Петровны. Но я стесняюсь тебя затронуть. Петровна все говорила, что тебя прислал Илья-пророк».

Письмо без конверта, сложенное треугольником, как многие другие письма из той пачки, что сохранились у Клавы Вилор.

«Ксения Алексеевна Пискунова» — по этой подписи вспомнилась старушка, крепенькая такая, каленая, хотя по разговору еле слышная, к ней привела Клаву Феня Жукова.

Весь день Ксения Алексеевна варила какие-то травки, коренья, томила из них кашицу, пекла лепешки, кормила Клаву, ухаживала за ней, как за дочерью. Все казалось ей, что собственная дочь ее в медсанбате, ранена и попала в плен и так же измучена и истощена, как Клава.

Раны на ногах медленно затягивались. Это от нее, от Ксении Алексеевны, Клава стала готовиться перейти линию фронта. Ксения Алексеевна наготовила ей лепешек и накануне всю ночь молилась за благополучный исход. Утром вместе с Феней пошла ее провожать.

Уже после освобождения выяснилось, что партизанка Вера Великая бежала.

Было интересно сравнить ее письмо с тем, что рассказала о себе Клава Вилор.

«Однажды ночью меня и другую партизанку нашего отряда Шуру Стеблякову толкнули в камеру № 3. Заговорив, мы узнали, что тут женщина. Познакомились. Она была ранена в обе ноги в тридцати пяти километрах от Сталинграда, политрук РККА Вилор Клавдия Денисовна. В тюрьме мы сдружились. Вилор Клавдия вела себя прекрасно. Мы громко пели революционные песни, вели себя вызывающе по отношению к полицейским и немцам, называя их легавыми. Вилор К. вела себя как подлинная патриотка нашей Родины, ненавидевшая немцев, и в этом ужасном застенке держалась стойко, мужественно, гордо. Мы знали много друг о друге. Клава всегда подбадривала, придавала нам силы своим спокойным голосом. Она научила нас не унывать и научила бежать. И мы ее завет осуществили... С допросов Клава возвращалась избитая, измученная... Но врагам не удавалось узнать от Клавы ни слова полезного. Очень жаль нам было расставаться с нашей подругой. Ее приговорили к расстрелу. Немцы ее звали комиссаром. Нас отправили в концлагерь СД, будучи там, однажды я узнала от вновь прибывших, что 25 января 1943 года К. Вилор бежала. Я была рада как за собственную жизнь... 20 февраля 1943 года, когда Красная Армия, наша освободительница, подошла близко к городу Макеевка, немцы в панике бежали, захватив с собой мужчин, а женщинам чудом удалось спастись. Я разыскала дочку К. Вилор Нелличку...»

Феня отправилась провожать ее дальше, через рудник, чтобы Клаву не задержали. И действительно, там встретили их двое полицейских, потребовали у Клавы документы; Феня сказала, что они из Чулковки; полицейские, которые знали Феню, пропустили их. Когда полицаи скрылись, Феня распрощалась, и Клава осталась одна.

Вечером она пришла в Мосино. Никто не согласился пустить ее переночевать, она стучалась, просилась, прошла до дальнего хутора и наконец забралась в скирду соломы. Она понятия не имела, что происходит на фронтах: наступают наши, отступают, где проходит передний край, но слух уже прошел, что немцы под Сталинградом разгромлены, уничтожены, что Сталинград не только выстоял, но и победил. Туда, к Сталинграду, она и шла и будет идти, ползти, пока душа шевелится.

И опять же, я по себе помнил странную эту уверенность, с какой мы шли из окружения к Ленинграду. Хлюпали по болотам, по ночным лесам, не оставались ни в партизанских отрядах, ни в деревнях. Нам говорили, что Ленинград взят, а мы только отмахивались. Таллин, Псков, Новгород, Луга — сколько городов уже оставлено нашими и сколько еще предстояло оставить, но не Ленинград, только не Ленинград. Это было чувство, иногда похожее на заклинание, иногда на самовнушение: не может так быть, чтобы немцы разгуливали по Ленинграду, невозможно это...

Утром пошла дальше—в Кутейниково. Шла целый день. Кругом копали окопы. Останавливаться было опасно. По всем селам объявлен карантин: свирепствовал сыпной тиф. Въезд и выезд были запрещены. Она не знала, как ей пробраться в Кутейниково. На всякий случай пришла туда тогда, когда стемнело. И опять никто не согласился дать ей ночлег. Боялись и немцев, боялись и тифа.

Встретив на улице женщину, она, потеряв всякую осторожность, попросила ее дать ночлег. Женщина осмотрела Клаву и, конечно, спросила:

— Ты что, военнопленная?

— Да.

И тогда она ее пустила, накормила, уложила спать. Рано утром в хату вошли двое полицаев. Один из них — муж хозяйки. Случайно они нагрянули, предупредила ли их хозяйка — так Клава и не узнала. Они сразу забрали Клаву и направили в лагерь здесь же, в Кутейникове. Убежать отсюда

оказалось нетрудно. Вечером она перелезла через забор, ушла в степь.

Теперь она стала двигаться еще осторожнее. Направилась через кирпичный завод к селу Ивановке. Ночевала ночью в степи в скирде. Где-то выли волки, ревели моторы... Она закапывалась все глубже в солому. Утром еле выбралась, дошла до Екатериновки. На окраине села ей повезло: пустили в хату старики Штода. Старуха рассказала, как на прошлой неделе здесь повесили четырех комсомольцев, посоветовала идти дальше, к ее дочери Екатерине, в хутор Новопавловский, что под Репиховкой. Екатерина обязательно примет и поможет устроиться куда-нибудь. Здесь же в любую минуту могли зайти патрули.

Она слушала старуху сквозь забытье. Снова надо было куда-то идти, в сторону, опять не к фронту, а силы кончаются. Снежная каша чавкала под ногами, дороги ветвились, петляли, и, казалось, она обречена всю жизнь брести и брести. В Репиховке, совсем обезножев, она постучалась в первую же хату. Раны ее открылись. Дальше она не могла двигаться. Рассказала о себе, что она медсестра, военнопленная. Это был дом Марфы Ивановны Колесниковой. Марфа Ивановна предложила пожить у них. Семья была большая — три сына, две дочери. Они хотели уйти в армию, эвакуироваться с нашими войсками, но по дороге их колонну немцы отрезали, и они возвратились домой.

После войны Клава получила такое письмо от одной из дочек:

Здравствуй, роскошная роза!
Здравствуй, прекрасный букет!
Здравствуй, любимая Клава!
Шлем тебе сердечный свой привет!!!

Клава, привет горячий посылаем,
Целуем много-много раз,
Всего хорошего желаем
И не можем забыть о вас.

Далее это торжественное вступление сменяется сердечными словами:

«Приезжай к нам в гости, Клава. Без тебя не с кем посоветоваться. Безродные мы теперь втроем — я, Шура и мама. А ребят нет: Андрюша с Ваней в армии. Отца нашего не слышно, и не слышно брата Феди.

Клава, пожалуйста, не забывай нас.

Колесникова Мария Федоровна».

Колесниковым она призналась, кто она такая.

Она заметила, что люди, узнав, что она политрук, что она бежала из тюрьмы, сперва пугались, потом многие смелели. Подобное признание налагало на людей ответственность, они становились как бы соучастниками. Они ее прятали, они ей помогали, следовательно, они что-то делали. Это было очень важно здесь, в немецком тылу,— дать возможность людям что-то делать.

К Колесниковым приходила молодежь. Клава разучивала с ними песни, фронтовые, а то и просто самодельные, высмеивающие фашистов и предателей. В селе все это не могло остаться незамеченным. За ней стал следить полицай, и она была вынуждена уйти в хутор Новопавловский.

Там Екатерина Штода помогла устроиться на работу к хуторянке Варваре Вольвич. Муж ее воевал, а до войны работал директором совхоза. Она же, то ли вынужденно, то ли по характеру своему, быстро приспособилась к немецким властям, угощала их, оказывала им мелкие услуги и создала для себя довольно сносные условия жизни.

Клава ходила обрабатывать ее поля — полола, окучивала, мотыжила. Но и там, в поле, она старалась собирать вокруг себя молодежь, а потом и старших селян и рассказывала им о подвиге Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, о капитане Гастелло, все то, что знала, весь тот политматериал, с которым работала в армии, вернее — все те случаи, которые ей были известны до плена. Ее слушали здесь иначе, чем в армии. В армии это непосредственно как бы переходило в действие, укрепляло дух солдат, здесь же повергало людей в задумчивость, в угрюмость, в тоску, у каждого по-своему терзало совесть, требовало действия от мужчин, кто по тем или иным причинам остался в тылу у немцев.

После Сталинграда немцы предприняли контрнаступление. В начале марта они нанесли удар в районе Люботина, шестнадцатого марта вновь овладели Харьковом, пошли на Белгород, захватили его, заявили, что цель их летней кампании 1943 года — взятие Москвы. Их пропаганда старалась изо всех сил.

* * *

Постепенно установился обычай идти вместе с Клавой в поле. Ее даже спрашивали, пойдет ли она, и если она шла, то хуторяне шли охотно. В поле они были в безопасности, садились вокруг нее и слушали. Ее звали «ходячая книга».

Не так-то много книг по истории она прочла, но оказалось, что биография ее часто и по-разному связана с историей страны. Это было даже поразительно — обнаруживать в своей жизни подобные связи. Дома у них — она вспоминала — останавливался Буденный (она уже точно не помнила, с кем из старших братьев он был связан), помнила она, как жил у них в доме Василий Иванович Книга, бывал Литвиненко, а потом и Апанасенко. Это все были легендарные герои гражданской войны, которых помнили и здесь. Два ее старших брата организовали в те годы партизанские отряды на Ставрополье.

В доме хранили оружие красных, знамена. Все это было для нее когда-то само собой разумеющимся, и вдруг она обнаружила, что это, знакомое ей с детства, звучит как история, которая волнует людей. Оказалось, что материал можно черпать не из книг, а из своих воспоминаний, в жизни ее семьи тоже отразилась История. Рассказывала Клава и про комсомольскую ячейку, которую создали ее братья,— первую в их селе Дивном комсомольскую организацию. Про то, как белогвардейцы посадили ее мать за содействие красным, потом собрали все село, решив публично ее повесить. И дальше, как селяне подняли шум, вмешался священник, отец Ипатий, и в конце концов ее освободили. Тут же она рассказывала и про подвиг Зои Космодемьянской, не потому что она его знала так хорошо,— наоборот, она его знала лишь из газет,— но потому, что в судьбе Зои было что-то сравнимое с ее собственной судьбой, и она раскрашивала, расцвечивала эту историю, вкладывая в нее собственные переживания, отдавая Зое свои муки и страхи, наделяя ее своей болью.

Хуторяне работали за нее в поле, приносили поесть, попрекали хозяйку: «Тоби, Варька, соромно людыну мучаты. Вона, бачишь, яка хвора».

Местные полицаи, Спиридон и Степан Штода, решили было повести ее в жандармерию, в село Екатериновку. Хуторяне стали отговаривать их: «Ну шо вона вам зробыла?..» Она прикинулась, что совсем обезножела, везти ее было не на чем, и до поры до времени ее оставили в покое. Но она понимала, что все это до случая.

Она выбрала из молодых ребят троих, самых активных, договорилась с ними перейти линию фронта. Тайком собрались и отправились.

По дороге, не доходя до Матвеева Кургана, наскочили на минное поле. Один, самый молоденький хлопчик, подор-

вался, другие были задержаны, а Клава случайно выскользнула, скрылась.

Неудача подкосила ее, и крепко. Со всех сторон она была виновата: и в гибели того хлопчика, и в судьбе тех, которых схватили, угнали в Германию. И то, что сама она осталась при этом невредима... Увлечь сумела, провести не смогла.

А они ей поверили: как же, военная, догадывались, что офицер Красной Армии, ей тут все верили, каждое ее слово ловили.

Но что она могла обещать? Фронты с апреля перешли к обороне. Все ее надежды на быстрое, безостановочное наступление наших войск не оправдались. И силы ее иссякали. Она не знала, дотянет ли.

Начинался третий год войны. Был июнь, лето стояло ветреное, легкое, с быстрыми дождями. Некошеные одичалые травы поднялись высоко, цвели не виданные раньше в этих краях цветы, с белым влажным тычком посреди маковых лепестков. Тычки были похожи на пальцы, указывающие на небо.

Целыми днями она лежала в степи. Не было ни сил, ни желания что-то делать, идти, говорить. Да и что она могла сделать? Все потеряло смысл. На что надеяться? Скитаться по хуторам, пока не изловят и не отвезут в Сталино? Прятаться, спасая свою шкуру? Подвергать других людей опасности? Надоело видеть страх, рабство.

Где-то под Харьковом действовали партизаны, там воевали, но туда не добраться: и мечтать нечего с ее-то ногами.

Из пяток у нее сочился гной, большой палец на руке не заживал, там была гниющая рана. Ноги опухли. Нарывы, вши... Кому она нужна такая — ни подпольщикам, ни партизанам, ни себе самой,— всем обуза. Выходит, только немцам она нужна — для расстрела.

И людям, что шли к ней за утешением, она теперь не находила что сказать. Она пряталась ото всех. Что-то хрустнуло у нее внутри. У самых сильных вдруг рвется душевная струна, гаснет свет, и тот источник, что питает душу стойкостью, неизвестно почему иссякает.

Люба Ятченко не оставляла ее, приходила в степь, подкармливала; глядя на нее, Клава не могла понять: откуда это Люба находит в себе силы жить. Откуда находят силы Колесниковы, Зацепины, Алексины — терпеть голод, видеть, как мучаются их детишки. Зачем жить среди этого нескончаемого унижения, бессловесности, голодухи, издевательств? Для чего?

Как будто такая жалкая жизнь имеет какой-то смысл или цель. Ради чего ей, Клаве Вилор, терпеть эти мучительные боли, страдания своего тела? Чего ради? В тюрьме она знала, что отвечать полицаю, предателю Виктору. Теперь же, на воле, в открытой степи, она была бессильна перед обступившими ее вопросами. Для чего страдать, тянуть эту лямку, цепляться за каждый день?

Все, что привязывало ее к жизни, все разом отпало, показалось незначительным, нестоящим, она смотрела в это небо, что раскинулось над ней в своей вечной невозмутимой красе, безразличное к железному гулу самолетов. Летели бомбардировщики. Земля сжималась, все живое затаивалось, но само небо было как в детстве.

И запахи были из детства, и пчелы. Казалось, что она сейчас вскочит девочкой, в коротеньком платьице, побежит домой, подпрыгивая и напевая. Почему она прячется? На своей земле, под своим небом? Как все это получилось? Как фашисты очутились здесь, в середине России, в ее степях? И отчего она, Клава Вилор, живет под чужим именем, перестала быть собой, от себя самой прячется?

Она задавала себе те самые вопросы, какими осаждали ее хуторяне. Что же она отвечала им? Она пробовала вспомнить и не могла. Какие-то — для них — она находила слова, для себя же слов не было.

Она всегда умела ответить колхозникам про отступление, про неудачи наших войск, приводила причины, находила оправдания, объяснения.

Впервые она сама себе задавала вопросы, без оглядки, напрямую.

Внутреннее чутье подсказывало, что мысли эти ослабляют ее, они не нужны, они разрушают ее волю. Другому, может, это и полезно, ей же не стоит копаться в себе, пробовать отвечать на эти вопросы.

Грязная, немощная, в рваном своем сарафане, лежала она среди цветущего душистого травостоя. Не хотелось приводить себя в порядок. Не было ни жалости к себе, ни отвращения. Она бесчувственно смотрела, как по ней ползают вши и какие-то маленькие черные муравьи. Изредка, облачком наплывала мысль о дочке и таяла. Ничего не оставалось в душе, онемелой, опрокинутой, как это пустое обманное небо.

Если бы у нее хватило сил покончить с собой! Она надеялась, что жизнь сама уйдет из ее измученного, уже не желающего существовать тела.

* * *

— Неужели вам не хотелось узнать про победу?

— Хотелось.

— Так как же вы... Это же сорок третий год, когда война вошла в полную ярость. У нас, например, каждый мечтал добраться до Берлина, хоть глазком одним взглянуть на конец войны, а там уж, пожалуйста.

Клавдия Денисовна смотрит на меня с удивлением.

— Действительно... Я ведь тоже...

Она не может сейчас объяснить себя тогдашнюю. И я тоже не в силах понять отчаяния той Клавы Вилор. Если бы еще в сорок первом году, при отступлении, а то в сорок третьем, после Сталинграда.

Мы вместе с ней пытаемся разгадать, каким образом она вышла, выкарабкалась из того состояния. Мы занимаемся разбором ее поведения, и она готова осудить свое малодушие, вернее, свою тогдашнюю ограниченность. Но ведь она так была оторвана, так мало знала... Незаметно она старается как-то оправдать себя, приукрасить наивные свои понятия, скрыть, приуменьшить свои заблуждения. Я останавливаю ее. Мне не нужны ее поправки, они мешают видеть, какой она была. Мы много поняли и узнали за эти десятилетия и невольно переносим свой опыт в те военные годы. Мы видим себя умными, дерзкими, критически мыслящими лейтенантами, знающими, кто чего стоит, и как кончится война, и как надо наступать, понимающими значение Сталинграда и замыслы наших маршалов.

Но мне дорога та Клава Вилор и в своей слабости и отчаянии, и в жестокости и безоглядности.

Через нее я восстанавливал и какие-то собственные черты. Какими были мы, танкисты третьего полка тяжелых танков, и солдаты второго укрепрайона. Каким был мой комиссар Медведев.

Может, помогло Клаве Вилор выкарабкаться из отчаянья то, что кажется нам сегодня нетерпимостью, прямолинейностью.

А может, подействовали речи Любы Ятченко про силу советского народа и обреченность фашизма, о превосходстве наших идей, о возрастающем упорстве и мастерстве Красной Армии.

Люба по-своему, погрубее, попроще пересказывала Клаве Вилор ее собственные доводы и примеры. Клава с трудом узнавала их. Они возвращались усиленные, окрепшие от по-

второв. Было там много общих слов, так что становилось совестно, и непонятно было, почему они действовали, но и добавлены были раздумья, накопленные долгими ночами матерей и солдаток.

Вероятнее, все-таки сыграло тут другое: Клаву разыскали комсомольцы Иван Колесников и Николай Ятченко. Их вызвали на регистрацию: то ли рыть окопы, то ли собирались отправить в Германию. Они пришли к Клаве за советом. Им не было дела до ее уныния, до ее болей. И это было правильно. Они хотели знать, что делать. Они даже не совета ждали, а указания. Клава прикинула и так и этак, предложила им скрыться, уйти в степь. Она сама ушла с ними подальше, несколько дней пряталась в посевах подсолнуха.

И наступило обновление. Проще всего объяснить это, как выражались в старину: «на нее снизошло». Туманно и вместе с тем определенно. Потому что, бывает, после долгих терзаний, сомнений, поисков вдруг каким-то толчком открывается, приходит то, что называют прозрением, причем чаще всего самое что ни на есть простое, вроде очевидное понимание, стыдно, как это раньше не подумалось, такое само собой разумеющееся, единственное.

Дело ее ясно определилось. Отныне она шла с хутора на хутор не странницей, в поисках приюта, не беглянкой... Какое ж это было дело? Что она могла — бездомная, калека, преследуемая, живущая под постоянной угрозой быть выданной, схваченной?..

Могла беседовать с людьми, рассказывать про Сталинград, про фашистские лагеря. Могла утешать людей, советовать, укреплять их дух. Все это она уже делала. При каждом удобном случае старалась делать; теперь же, вернувшись из степи, она утвердилась в этом как в своем прямом назначении. Словно бы она для этого здесь находилась.

Но было и другое. Она могла не только подбадривать, она должна была и тревожить, спрашивать с людей, не только утешать, но и взывать к их совести. Она не сторонилась ненадежных, малодушных. Она шла к ним и предупреждала, чтобы не помогали немцам. Она требовала, даже угрожала. Она строго допрашивала, она стыдила. Можно было подумать, что она являлась как представитель, как специально посланная, засланная, уполномоченная.

Она предлагала прекратить всякую помощь немцам. Скоро, имейте в виду, очень скоро придется за эту помощь, за пособничество ответить! Придут наши и спросят.

Зайдя к своей хозяйке Варваре, она застала ее за шитьем немецкого мундира.

— Зачем вы это делаете? Какая нужда вам? — допытывалась Клава.— Вы что, голодная сидите? Разве вас немцы заставляют?

— Вот именно заставляют,— сказала хозяйка.

— Ничего подобного. Вы сами взялись. Я вас предупреждаю: пока не поздно, отдайте им обратно.

— Что значит — «не поздно»? Да ты кто? Какое твое дело?

— А то, что вас будут считать фашистской прислужницей. Как вы станете оправдываться? Хотя бы — перед мужем? Он же у вас коммунист. Думаете, он вам простит?

Хозяйка кричала, гнала ее, плакала. Вернуть немцам «фрицевки» она не решалась, но и Клавы боялась. Казалось — чего проще отделаться от Клавы: стоило шепнуть кое-кому, и в тот же день ее забрали бы в гестапо, она исчезла бы навсегда. Толкни ее, она упадет, такая слабая, чего ее бояться, стукни — и не встанет... Однако это ничего бы не изменило. В том-то и сила ее была, и все это чувствовали. Она была не она, не Клава Вилор, или Катя, как называлась она в тех местах, она была всего лишь напоминание о долге. Ее воспринимали как нечто почти безликое, почти служебное, вестник, голос предостережения.

Она приходила к женщинам, которые работали при немецких столовых, прачечных, госпиталях, на дорогах, в мастерских, требовала от них саботировать, предлагала не выходить на работу. Некоторые соглашались, другие уступали, устрашенные ее угрозами, третьи возмущались, кричали ей: а кто детей кормить будет? Она? Лозунгами их не накормишь. И листовку им не сваришь. Детям каждый день что-то надо жевать. Сама-то она небось чужой милостью кормится, не от Красной Армии довольствие получает.

Ее не щадили. Она понимала безвыходность их жизни, но глухо стояла на своем: нельзя работать на немцев. А дети? Как быть с детьми, со стариками, они что же — должны помереть? Да, лучше помереть, издохнуть... Как же она может, мать она или изверг? А как они могут: ведь дети подрастут, им скажут — вот чем мать ваша занималась в войну, так они вас проклянут, будут стыдиться.

Случалось, что ее ругали, гнали, а она твердила и твердила свое. У нее не было тогда еще никаких связей, одиночест-

во в этих незнакомых ей местах угнетало ее, и все же она продолжала действовать безжалостно, уверенная в своей миссии...

* * *

— Что-то тут не так,— говорит Клавдия Денисовна.

— Давайте исправим.

— По фактам все правильно, а вот... Неужели я не считалась ни с чем?

— Я ведь иду по вашим записям, которые вы делали спустя два года после войны. Есть еще ваши объяснения для парткомиссии, есть материалы проверки.

— Что ж, я и детей не жалела?

— Может, и жалели, а все равно требовали.

— Даже не верится.

— Это всегда так. Легче понять другого, чем самого себя. Вам кажется, что вы были не такая, но, может, это потому, что вы изменились, а та Клава Вилор осталась прежней.

— Скажите, разве так может быть, чтобы тогда было правильно, честно, а теперь за то же самое неловко?

— У меня так было.

— Может, мы все же тут насочиняли, может, вы от себя тут прибавили?

Я старался излагать факты, не оценивая их от себя, не делая выводов, не рассуждая о поступках моей героини, я ничего не сочинял, хотя ничего плохого нет в этом слове, литература — это всегда сочинение, сочинительство. Но, по крайней мере, я пробовал свести тут сочинительство на нет, как мог — вытравляя, вычеркивая. Полностью отстраниться я не мог.

С какого-то предела характер стал рассыпаться на факты, даты, поступки... Я перестал понимать своего героя. Чтобы понять, я должен был додумать, совместить, придумать — значит, все-таки сочинить, со-чинить. Узнать было не у кого. От той военной поры у каждого сохранилась своя Клава Вилор, малая часть ее истории.

Мало-помалу она все же продвигалась ближе к фронту.

Шла от хутора к хутору, из села в село. Повсюду оставляла записки с адресами родных, чтобы в случае гибели сообщили о ней.

В селе Марфинка, уже Ростовской области, поселилась, совершенно случайно, как это всегда бывало, у Муратовой. Жила Муратова с тремя детьми в сенях своей горелой хаты, которую сожгли за то, что Марфа Семеновна Муратова прятала военнопленных. Еды не было, дети были такие слабенькие, что ходили, опираясь на палочки. Клава посоветовалась с Марфой Семеновной и пошла проситься на работу к местному врачу Погребной, в больницу. Амбулатория и больница обслуживали местное население и существовали за счет тех продуктов, какими расплачивались пациенты.

Клава выдала себя за медсестру. Вид у нее был ужасный — рваный сарафан, босые распухшие ноги забинтованы солдатскими обмотками.

— Я военнопленная. Медсестра. Помогите мне. Дайте мне работу.

Погребная вежливо отказала, посоветовала идти в тыл, там устроиться легче. Здесь, в прифронтовой полосе, немцы придираются, проверяют...

— Мне нужна работа у вас,— повторила Клава, глядя ей прямо в глаза.

Значительно и твердо сказала, что в тыл не пойдет, там ей делать нечего, ей необходимо быть здесь. Понятно?

В кабинете врача находились медсестры, все смотрели с опаской на эту оборванную просительницу с мрачно горящими глазами.

Погребная стала пояснять, что штатные места все заполнены, показывала какие-то бумаги, Клава отодвинула их, сказала, что ей необходимо поговорить с Погребной наедине, что она придет к ней вечером. Она заставила дать адрес, именно заставила, пользуясь тем, что ее боятся. Какая-то гипнотическая сила росла в ней.

Конечно, риск был, Погребная могла пожаловаться полицаям, вечером Клаву ожидала бы засада. Почему-то, однако, ей все сходило, ее не выдавали, чем требовательнее она держалась, тем надежнее она себя чувствовала.

Советская Армия наступала, самолеты сбрасывали листовки, сообщая, что наступление на Курском и Белгородском направлениях будет продолжаться, пока полностью не изгонят оккупантов. Ощущение приближающихся наших охраняло ее.

Придя к Погребной, она попросила удалить детей и рассказала Софье Алексеевне все про себя, вплоть до того, что сбежала из гестапо, хочет перейти к своим, просит дать ей ра-

боту, чтобы пережить это время, а как будет возможность, она перейдет фронт.

Она говорила ровно, без всякой интонации, словно диктуя. Погребная не собиралась уступать. Она твердо стояла на своем. Вовсе не за себя она боялась. Как врач она прежде всего отвечала за больных в своей больнице, она не имела права подвергать их опасности, нанимая беглого политрука, которого ищет гестапо. Пострадал бы, несомненно, и лечебный персонал — медсестры, санитарки; есть, наконец, и у нее, у Погребной, дети, о них она должна думать.

У Погребной было много доводов, и все же она поддалась, против своей воли, против всякой логики. Согласилась взять медсестрой без оплаты, давать ей хлеб, яйца, огурцы, какие получают от пациентов. Условие она поставила одно: не заниматься агитацией среди больных. Категорически. Чтобы не навлечь репрессий на персонал.

Клава обещала. Она согласилась охотно, мечтая лишь о том, как бы прокормиться и прокормить детей Марфы Семеновны. Легкое это условие оказалось, как ни странно, самым трудным. Для нее, для Клавдии Вилор. Она подсаживалась к больным, прежде всего мужчинам, и не могла удержаться, чтобы не прочесть им очередную листовку, прикидывая с ними, когда наши войска войдут в Марфинку: то ли в конце августа, то ли в начале сентября. Некоторые ей не верили. Она спорила, убеждала. Вскоре об этих разговорах стало известно.

Погребную вызвали в гестапо, расспрашивали про Клаву. Она вернулась бледная, напуганная, однако Клавы не выдала. Это был поступок. Она исполнилась самоуважения. Неприятности, которые Клава доставляла людям, все же окупались. Погребная потребовала немедленно прекратить разговоры с больными. Клава обещала, и опять у нее сорвалось. Тогда Погребная предложила покинуть больницу. Вот это Клава отказалась сделать. Софья Алексеевна Погребная не знала, как поступить. Прибегнуть к помощи властей — означало предать, донести, этого она не могла, но и рисковать больше она не имела права. Она требовала, она просила, умоляла Клаву ради своих детей. Непреклонность Клавы возмущала Погребную: ведь здесь же не на немцев работают, здесь лечат своих, русских людей, какое же оправдание есть у Клавы так жестоко вести себя? Право войны, отвечала Клава, на войне ничего нельзя жалеть для победы, ничего, все для победы, все!

Погребная заплакала. Наверное, она ненавидела Клаву в тот миг за бесчеловечность, и, вероятно, ее можно было ненавидеть. Но впоследствии Погребная всегда вспоминала о ней с уважением. Видимо, какой-то последней черты справедливости Клавдия Вилор все же не переступала.

Спустя несколько месяцев после прихода наших войск Софья Алексеевна прислала Клаве такое письмо:

«Добрый день, милая Клавдия Денисовна! Посылаю Вам характеристику, как бывшей сотруднице моей, медсестре русского лазарета.

Когда нас немцы выслали с Марфинки, я со своей сестрой ушла к родственникам, и, как только советские войска вошли, я сейчас же послала письмо командиру, в котором сообщала о Вас и просила оказать Вам помощь... Меня интересует, нашел ли он Вас... Итак, я до сего времени не могу забыть тех страшных ужасов, какие мы пережили в период оккупации. Никак не верится, что остались живы. Я очень рада, что Вы живы и дочь Ваша жива и здорова... Мой муж погиб в бою за социалистическую Родину в ноябре 1942 года и похоронен в г. Сочи, брат тоже убит. Единственное утешение, что Красная Армия быстро движется вперед. Работаю врачом в районной амбулатории.

Всего Вам наилучшего.
Погребная».

Все же Клава ушла из лазарета. Сама. Во время ночного дежурства надо было сделать укол больной. Клава не сумела это сделать. Больная умерла. Медсестры обвинили Клаву в этой смерти. Погребная защитила ее, заявив, что больную нельзя было спасти. После этого Клава решила уйти.

Все три медсестры ее не любили. Вместо ухода за больными они напропалую гуляли с немецкими офицерами. Посреди дня за ними приезжали на машинах, на мотоциклах. Никакие Клавины уговоры не действовали. «Мы не с немцами гуляем, а с мужиками,— говорили они.— Вреда никому, а нам польза».

«Наше дело молодое,— говорили они,— незамужнее. Мы тебя не трогаем, и ты нас не зацепляй».

«Завидуешь? — говорили они.— На тебя, такую, конечно, не польстятся».

А у одной из них образовалась настоящая любовь с немецким капитаном.

Ничего подобного Клава принять не могла, называя их последними тварями, грозила, ругала, и опять же девки эти, не любя ее, понимали ее ненависть, не каялись, но и не мстили ей. И когда Клава уходила, по-своему хотели помочь, устроить ее в немецкий госпиталь, где дадут паек, по крайней мере она спасется от голода. Обещали рекомендовать ее через своих дружков.

Нервы у Клавы не выдержали. Кажется, впервые за время своих мытарств она сорвалась. Затопала ногами, исступленно закричала, подняв кулаки: «Побираться пойду, издохну, а фашистскую сволочь лечить не буду! Стрелять их, а не лечить! Стрелять всех фашистов, душить, и раненых душить буду!»

Вопила на весь лазарет и такое, что за годы оккупации разучились произносить даже шепотом.

Голос ее гремел, вырывался в распахнутые окна, на улицу, запруженную военными грузовиками.

В кабинете врача все заткнули уши, зажмурились, не зная, что делать с этой бешеной. Испуг окружающих подхлестывал Клаву. Вкус слов запретных, потаенных опьянял. Она кричала, наслаждаясь своей, пусть минутной, безоглядной свободой. И злорадство владело ею, и торжество.

— Прекратите! Иначе я сообщу про вас в комендатуру,— сказала старшая сестра.— Вас не просто заберут. Вы понимаете это?

— Еще бы! Да только вы не сообщите.

— Это почему же?

Клава вдруг успокоилась, посмотрела на нее с жалостью:

— А как вы тогда жить будете?

Она знала, что втайне они ненавидят фашизм. Ей хотелось вызвать эту ненависть наружу. Хотя бы тем, чтобы заставить думать о будущем, том будущем, которое надвигалось вместе с грохотом бомбежек, с надеждой, с освобождением, справедливостью, возмездием.

* * *

Папка, набитая письмами, справками, характеристиками, отзывами.

Часть из них — документы, которые Клавдия Денисовна вынуждена была собирать в 1948—1949 годах, когда ее исключили из партии и она писала протесты в парткомиссию, в ЦК, собирала материалы, свидетельства, чтобы как-то опровергнуть нелепую формулировку обвинения: «...недостойное

поведение тов. Вилор, которое выразилось в том, что сообщила в гестапо свою принадлежность к партии и службу в Красной Армии».

Ее товарищи возмущались несправедливостью, протестовали смело, писали: «как коммунист заявляю, что с т. Вилор поступил жестоко, исключив ее из партии, тогда как она заслуживает награды и уважения за свой подвиг».

Вера Великая писала:

«Вилор К. Д. достойна высокой правительственной награды: она проливала кровь за Родину, вела себя всегда как настоящий коммунист, политрук».

Вместо наград были письма людей, с которыми она встречалась в долгой своей одиссее. Письма стали приходить сразу после освобождения Донбасса, они и ныне — как дорогая награда, может, самая дорогая. Подписаны они уже знакомыми нам именами, но иногда и неизвестными, теми, про кого Клава забыла упомянуть, а то и просто случайными знакомцами, которым врезалась в память эта женщина.

Больше всего писем деревенских, на тетрадных листках, разлинованных карандашом, сложенных треугольником, коряво написанных, полуграмотно, тесно, чтобы каждое местечко заполнить.

Каким-то образом узнавали, что она спаслась. И сама она разыскивала своих спасителей. Долго еще прибывали те записочки... Иногда приходили и такие письма:

«Здравствуйте, Клавдия Денисовна! Может быть, Вам покажется странным, кто пишет Вам это письмо. Может быть, Вы хорошо помните мою мать, которая помогла Вам выйти из немецкого тыла — это Ксения Алексеевна Пискунова. Да, хорошая у меня старуха, видимо, спасая Вас, она думала, что спасает меня, так как я была, в тяжелые дни для Родины, на фронте медиком и была тоже под Шахтинском, и под Изюмом, и под Барвенковом...»

А Клава тоже слала свои бумаги по многим адресам:

«Председателю Анастасиевского райисполкома.

Прошу оказать помощь семье военнослужащего, проживающего в селе Марфинка, колхоз им. Луначарского, Муратовой Марфе Семеновне.

В 1943 году, сбежав из гестапо, я пришла в Марфинку с целью соединиться с нашими передовыми частями. Меня приютила, поддержала, сохранила мою жизнь Муратова М. С., которая знала, кто я есть... Кроме меня, она, рискуя

собою и своими детьми, сохранила жизнь многим военнопленным... В настоящее время Муратова М. С. находится в крайне тяжелом материальном положении. У нее нет жилья, она остро нуждается материально. Узнав об этом, я не могу ограничиться молчанием...

К. Д. Вилор».

Это была та самая Марфа Семеновна Муратова, которая спасла до Клавы, как потом выяснилось, двенадцать советских военнопленных. Клава была тринадцатая.

К Муратовой и возвратилась Клава из лазарета.

Возвратилась в голод. Не позволяла себе взять ни кусочка у голодающей семьи. С утра уходила из дома в поисках работы. Однажды она попала к Цапиной, которая имела большой фруктовый сад. Клава нанялась работать в саду без всякой оплаты, лишь бы разрешали есть яблоки. Вечером она возвращалась к Муратовым, напихав за пазуху опадыши. По ночам вместе с детьми тащила по полям тачку, выкапывала бураки и везла их домой. Четыре свеклы в день на пять человек. Вот чем поддерживали жизнь в те времена.

Муратова выдавала ее за сестру Екатерину, которая действительно у нее была и жила в Таганроге. Впрочем, немцы не обращали внимания на это измученное, оборванное существо, ее почти не замечали, как не замечали старух побирушек, богомолок.

У Муратовой она познакомилась с танкистом по имени Дмитрий и получила от него задание узнать, где тут, в Марфинке или в Синявке, склад боеприпасов. Полученные сведения он должен был куда-то передать по рации. До сих пор она, кроме имени, ничего больше не знает об этом советском разведчике.

Это было за несколько дней до прихода наших войск. Клавдия Вилор выполняла его поручения, наконец-то она занималась тем, чем занимались партизаны, народные мстители, тысячи патриотов в немецком тылу.

Много новых имен, судеб, историй снова возникает в ее рассказах, но этот поворот открывает следующее повествование, связанное с отступлением немцев, приходом нашей 28-й армии и с тем, как Клавдия Вилор возвращала себе свое единственное заработанное в войну звание «политрук»...

Из этой новой ее жизни, может, надо сказать про то, как наши самолеты бомбили Марфинку и Синявку, и прежде всего склады боеприпасов, которые разведала Клава. Склады бы-

ли взорваны в Анастасьевске, в Селезневке и большой склад во фруктовом саду у Цапиной. Пожар охватил всю Синявку. Рвались снаряды, горели машины, дома. Клава плясала от радости, не видя, не слыша, как Марфа Семеновна плачет, жалея родную деревню и своих односельчан.

В семье Колесниковых, которую она посещала, за эти два с лишним года оккупации подросли младшие сыновья, вошли в призывной возраст и жаждали что-то делать, идти в партизаны, воевать, потому что им стыдно было ждать, пока их освободит Красная Армия. Фронт приближался, нетерпение их возрастало. Клава успокаивала — войны еще хватит на их долю. Немцы угоняли население, она уговаривала прятаться, днем с соседями уходила подальше от чужих глаз, в камыши.

«Обстановка в зоне Синявки заставила командира немецкой части собрать всех немцев и добровольцев русских и объявить район на осадном положении с круглосуточной усиленной охраной, боясь, что большевики могут сбросить десант.

Когда я узнала об этом распоряжении, я была вне себя, я все думала, что можно сделать для того, чтобы как можно больше насолить этим фашистским гадам. Знала, что командир немецкой части вовсе не подозревает, что во мне — грязной, завшивленной — народный мститель».

Это — из ее записей, сделанных после войны. Народный мститель — она присвоила себе это звание, оно нравилось ей, оно отвечало самым сокровенным ее чувствам.

«Привет в Ставрополь с моего дома!!!

Здравствуй, дорогая и много раз уважаемая Клавочка!

Посылаю я тебе свой пламенный чистосердечный привет и желаю тебе наилучших успехов в твоей жизни, и жму я тебе и твоей дочери правые ручки. Дорогая Клавочка, мы тебя дожидаем каждый месяц в гости, а тебя все нет и нет, и не знаю я, когда ты уже приедешь, приезжай побыстрее... От Андрюши писем нет и нет. От папы и Феди писем нет. Клавочка, я как вспомню те дни, когда ты была у нас и ты пела нам песни, а мы слушали и волновались, так и сейчас сердце болит. И все вспоминаю свои и твои переживания и все, что мы пережили и говорили «отомстим». Клава, одних твоих врагов нет, Спиридона не слышно, где он, а про других я говорю всем, что вот скоро ты приедешь и отомстишь тому, кто за шкуру людей губил. Мы работаем и часто вспоминаем тебя в поле...»

Долго еще после войны ждали ее по хуторам и шахтерским поселкам во многих семьях. Ей бы надо было поехать.

Если бы не дочь, не работа, не дела, связанные с исключением, а потом с восстановлением в партии, и если бы не болезнь...

Она была нужна. Ждали, что она приедет. Кого-то поддержит, утешит, с кого-то взыщет, кому-то подскажет, поможет.

Сохранились только эти письма, по ним можно восстановить ее переходы из семьи в семью, надежды, которые она оставляла, безверие, уныние, которое она исцеляла.

Каждый человек, каждая семья, хутор знал только часть ее истории, малую часть, связанную с ними, и лишь из писем, из воспоминаний, из материалов проверки восстанавливается нескончаемый путь этой изглоданной мучениями и ранами женщины. Босая, голодная, возникала она внезапно на пороге хаты, приведенная кем-нибудь, а чаще одна, неулыбчивая, со строгим иконописно-темным лицом. Исчезала на заре, в туманном холодке, в дорожной пыли или в снежной волчьей ночи. В памяти на годы оставался ее след, покрывался легендой. Считали, что она была кем-то послана. У нее была особая должность — советчицы, укорительницы, утешительницы. Она слушала. Она понуждала думать, верить. Она была как бы подразделением наших войск — не партизаном, не диверсантом, скорее всего, именно политруком. В сущности, она не сменила свою специальность: в рваном сарафане, без знаков различия, без аттестата и жалованья, она продолжала свою службу. Одним она внушала страх, другим — уверенность, третьим — напоминала о долге.

Людям запомнилась она по-разному — как отчаянная, как суровая, как добрая, как неунывающая. Сохранилась, например, записочка: «Этот конверт исторический. Я его хранила восемь лет. Адрес мне продиктовала живая, веселая Катя. Если она жива, здорова, пусть она мне напишет по адресу...»

Значит, была и такая — «веселая Катя». Плакать-то она разучилась, оставалось одно — смеяться.

Внешний облик ее, черты лица, глаза, движения — все то, что составляет наружность,— забывались быстро. Ее не успевали рассмотреть. В ее облике не было ее самой, соответствия. Так в блокадном Ленинграде ничего нельзя было разглядеть в чернокопотных, обмороженных лицах женщин, голод превращал их всех в одинаковых старообразных, укутанных блокадников, где не отличить было ни возраста, ни красоты, память удерживала нечто общее, образ умирания и стойкости, предел человеческих мук и мужества.

Вера Великая писала ей: «Большое спасибо за фото, мне кажется, что я бы тебя сейчас не узнала».

Вера всматривалась в ее фотографию, совмещая это изображение с тем внутренним портретом, с тем характером Клавы, какой запомнился по полутемной камере.

«Бедная Клава! Сколько горя пришлось перенести тебе. Я думала, что теперь все будет обстоять прекрасно, но эта болезнь...» — писала Катя Анфимова.

Они воспринимали это как несправедливость. Они были разочарованы. Они так верили, что после Победы ее ждет счастье, спокойная жизнь, слава, нечто райское, недаром же она столько выстрадала. Кто же как не она должна быть вознаграждена. Вместо этого на нее обрушились новые невзгоды. Война не отпускала ее. Появились приступы, если по-народному, падучей: она теряла сознание, падала, билась об пол. У нее были отбиты почки, она страдала реактивным неврозом. Недуги накинулись на нее. Окончательно подкосило ее еще исключение из партии в 1946 году.

Оказалось, что Клава Вилор вовсе не железная, не легендарно неуязвимая, что она из того же мира, где живут и Колесниковы, и Алексеевы, и Муратова, что и с ней могут обращаться не по заслугам, и она может быть слабой, обиженной, беспомощной.

Большинство ничего не узнали про ее беды. Они по-прежнему звали ее, ждали ее приезда. Она, как могла, скрывала свои неприятности. Не нужно, чтобы люди узнали про партийные ее дела. Не полезно. Тем более что должны были разобраться, все равно ее восстановят. Она хотела оставаться почти для всех, кто ее скрывал, кормил, спасал, счастливой, сильной. Пыталась казаться такой, какой они мечтали ее видеть: соответствовать. Пусть им будет приятно, что их усилия не пропали даром.

Люди ведь больше всего любят тех, кому они оказали добро. Через Клаву Вилор многие из них приобщились к Победе, чувствовали какое-то оправдание своей жизни в оккупации, хоть в чем-то были сопричастны народной борьбе.

Клава рассылала письма, направляла ходатайства. На фотографиях, которые она посылала, рядом с ней были ее найденная дочь и муж-полковник. Она снова вышла замуж, все трое красивые, веселые — вполне счастливая семья.

В конце концов, спустя десять лет, в 1956 году, когда ее восстановили в партии, все так и получилось, пришло в соответствие. Отпечатки прошлого сейчас в ее жизни еле замет-

ны, остались мало заметные тюремные привычки. Например, она все время считает. Шагая по комнате, считает шаги. Считает ступени, поднимаясь по лестнице. Покупая, считает мандарины, считает пирожки, считает дни и часы.

Она не может смотреть фильмов о войне.

За исключением таких мелочей, это энергичная, деятельная женщина, которая воспитывает внучек, ведет хозяйство, принимает гостей. Никто из соседей, из нынешних знакомых не подозревает всего того, что с ней было. Да и близкие не знают подробностей.

Изредка, ночью, вдруг откуда-то из, казалось бы, наглухо запертых тайников вырывается не то стон, не то видение. Ров под Сталино, заполненный мертвецами. Машины привозят и сбрасывают погибших военнопленных. Тех, кто умер от ран, от голода. Многие еще живы, они шевелятся, когда немцы аккуратно посыпают ров хлоркой. Клава никак не может проснуться, она все стоит и стоит перед рвом, и к ней из-под белой шипящей известковой коры вылезают, тянутся руки...

И снова ее ведут к шурфу расстреливать...

Про эти сны она призналась случайно, когда речь зашла о предателях.

Армия продолжала наступление, а Клавдия Вилор осталась работать в полевом военкомате. Она обнаружила двух полицаев, которые выдавали советских военнопленных. На сборном пункте, куда приводили освобожденных военнопленных, она совершенно случайно обратила внимание на человека, который показался ей знакомым. Она стала присматриваться. Чем-то он был похож на того Виктора, старшину лагеря. На всякий случай она сообщила уполномоченному контрразведки. Его арестовали, устроили очную ставку с Вилор, и было установлено, что она не ошиблась, это и есть он, он самый, Виктор — мародер, истязатель, насильник, убийца. Его судили показательным судом.

С тех пор она целые дни проводила на пункте сбора освобожденных военнопленных, стараясь выявить изменников. Она узнала и разоблачила Гапонова, Иваненко, Парамонова, двух врачей, нескольких полицаев — всего около двадцати человек.

Возмездие, жажда возмездия владела ею. Мечом карающим она себя чувствовала за ров под Сталино, за шурфы, за все и за всех. Чем еще можно было ответить на все то, что она увидела и испытала?

Однажды в военкомат пришел старик и просил ее помочь вытащить девочек из подвала. Она отправилась с ним; взяли с собою четырех солдат. Девочки были его дочери, комсомолки. Когда пришли немцы, он выкопал в сенях неглубокую яму-подполье и спрятал их там. «Я бы выкопал глубже,— объяснял он,— так стала вода грунтовая проступать. Кое-как успел досками настлать». Они просидели в этом подвале больше двух лет. Кто же знал, что немцы столько пробудут. Теперь вот не выходят оттуда, боятся, не верят. Кормил он их тайком, спускал туда, в подполье, специально прилаженный ящик на веревках. В доме все это время жили немцы, и старик совсем извелся, он ни разу не мог туда спуститься к дочерям, ни разу не мог вывести на воздух. Он выглядел восьмидесятилетним стариком, совсем ветхим, хотя ему не было и шестидесяти.

Клава и так и этак уговаривала их выйти, кричала девочкам в подполье, что фашистов уже прогнали, что вернулась Советская власть. Снизу доносилось неясное шуршание. Поставили лестницу, солдаты спустились за ними. Там был такой запах, что один из солдат потерял сознание. Девочек вынесли на руках. Закрыли двери, окна, чтобы постепенно привыкли к свежему воздуху. На расспросы Клавы они еле шевелили губами, издавая не шепот, а еле различимый шелест. Длинные волосы их свалялись и стали бесцветными. Совершенно прозрачные волосы, ничего подобного Клава не видела. Кожа свисала, сухая, бумажная. Старик отец не узнал, не мог различить их. Со всеми предосторожностями Клава отправила их в госпиталь. Она не знает, что стало с ними, они остались в памяти, какими их подняли из подполья.

Такое терзало душу. Не знаю, смогла бы она вынести все, что с ней было, если бы она позволила себе усомниться, пожалеть врага, если бы душа ее не затвердела от ненависти.

Судьба предлагала ей немало искушений, причем не обязательно бесчестных. У нее были возможности остаться на хуторах, устроиться работать и жить, как жили некоторые, приспосабливаясь к обстоятельствам. Ничем не поступаясь, никому не во зло. Было на это, по-видимому, и моральное разрешение. Она была женщина, она обязана была думать о судьбе своей дочери, она была ранена, больна. Имелись разные самооправдания. Вполне уважительные. Она навидалась за эти месяцы достаточно слабостей у мужчин, у военных. Иные плакали, кончали с собой, смирялись, душевно лома-

лись. Так что она тем более могла позаботиться о собственной жизни.

Она была одна среди этих хуторов, поселков, в том смысле одна, что никто от нее ничего не требовал. Если она что-либо решала, то сама для себя. Ей не у кого было спрашивать и не у кого было искать поддержки. Ей самой следовало находить свою линию поведения.

На что могла опираться ее душа? Каким таким свойством обладала ее душа?

Призвание? Особый дар, что совпал с ее званием политрука?

Лет двести назад она, может, стала бы проповедницей. Из подобных натур возникали святые, уходили в раскол, такие вели людей за собою проповедническим словом, примером.

Клавдия Денисовна Вилор верила не в чудо, а в справедливость и раздавала свою веру людям, у которых кончалась сила жить. В ней самой едва теплился огонек жизни, осталось лишь сознание своего назначения. И она брела от дома к дому, твердя, что мы победим. Ей не хватало фактов, доказательств, информации. Она действовала на мысли и на какие-то чувства, что есть, хранятся в каждом народе. Чем-то соответствовала той женщине-матери, в образе которой не случайно изображают Победу. Подвиги женщин всегда особые, будь то Орлеанская дева или Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина. Подвиг Клавы Вилор не обозначен каким-то поступком. У нее не было своей Голгофы. Подвиг ее растянулся на месяцы, это была жизнь, это был, скорее, не подвиг, а подвижничество. Она действовала одиноко, не имея задания, ни оружия, ни тайны.

Через историю Клавы Вилор я, наверное, старался понять собственное фронтовое прошлое. Когда я обернулся на свою войну, многое мне показалось невозможным, непонятно, как мы могли вынести такое, откуда мы брали силы. Человеку труднее всего увидеть самого себя и понять, каким он был много лет назад, на войне.

Мы знаем, кто мы такие сейчас, но не помним, какие мы были, на что мы были способны. И уж совсем забыли прошлые наши суждения. А ведь мы судили не так, как сейчас. Мы пришли на войну юнцами, и немудрено, что иные из нас готовы были валить на старших вину за наше отступление, за неудачи первых месяцев. Я вспоминаю себя и нескольких ребят из нашего взвода: мы были несправедливы

и бездушны; только позднее уразумели мы, что поколение Клавы Вилор приняло на себя главную тяжесть первого года войны. Некоторые из них, из старших, казались нам в чем-то ограниченными, закоснелыми, подобно генералу Горлову из печатаемой тогда в «Правде» пьесы Корнейчука «Фронт». Мы находили у старших черты Горлова. Они говорили лозунгами и по каждому поводу толкали речи. Они все оправдывали. Они были слишком прямолинейны. Были такие. Наверное, эти недостатки существовали. Каждое поколение имеет свои изъяны. Но стойкости мы учились у них. И мужеству и убежденности. Что-то было в этом, теперь уже уходящем поколении, что-то завидное, цельное, что ныне, спустя десятилетия, стало виднее. Это были исполненные веры люди, не знающие сомнения, и, может, именно эти качества, вместе взятые, помогли нам — и старым и молодым — довести войну до победы.

В старых, потрепанных справках написано:

«На тов. Вилор Клавдию Денисовну мы, граждане поселка Марфинка, даем доверительные подписки.

...Она осторожно и умело сообщала об огромнейшей мощи и высокой технике Красной Армии и с большой точностью и уверенностью сообщала, что в последних числах августа 1943 года наш район будет полностью освобожден от фашистского ига, что в действительности и случилось».

Они читаются как справки о чуде, о верности, о любви, как справки, данные в оправдание прожитой жизни. Никогда я не думал, что подобные канцелярские справки существуют...

1975

ЭТА СТРАННАЯ ЖИЗНЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

где автор размышляет, как бы заинтересовать читателя, а тот решает, стоит ли ему читать дальше

Рассказать об этом человеке хотелось так, чтобы придерживаться фактов и чтобы было интересно. Довольно трудно совместить оба этих требования. Факты интересны тогда, когда их не обязательно придерживаться. Можно было попытаться найти какой-то свежий прием и, пользуясь им, выстроить из фактов занимательный сюжет. Чтобы была тайна, и борьба, и опасности. И чтобы при всем при том сохранялась достоверность.

Легко было изобразить, например, этого человека бесстрашным бойцом-одиночкой против могущественных противников. Один против всех. Еще лучше — все против одного. Несправедливость сразу привлекает сочувствие. Но на самом деле было как раз — один против всех. Он нападал. Он первый наскакивал и сокрушал. Смысл его научной борьбы был достаточно сложен и спорен. Это была настоящая научная борьба, где никому не удается быть окончательно правым. Можно было приписать ему проблему попроще, присочинить, но тогда неудобно было оставлять подлинную фамилию. Тогда надо было отказаться и от многих других фамилий. Но тогда бы мне никто не поверил. Кроме того, хотелось воздать должное этому человеку, показать, на что способен человек.

Конечно, подлинность мешала, связывала руки. Куда легче иметь дело с выдуманным героем. Он и покладистый и откровенный — автору известны все его мысли и намерения, и прошлое его и будущее.

У меня была еще другая задача: ввести в читателя все полезные сведения, дать описания — разумеется, поразительные, удивительные, но, к сожалению, неподходящие для литературного произведения. Они, скорее, годились для научно-популярного очерка. Представьте себе, что в середине «Трех мушкетеров» вставлено описание приемов фехтования. Читатель наверняка пропустит эти страницы. А мне надо было заставить читателя прочесть мои сведения, поскольку это и есть самое важное...

Хотелось, чтобы о нем прочло много людей, ради этого, в сущности, и затевалась эта вещь.

...На крючок секрета тоже вполне можно было подцепить. Обещание секрета, тайны—оно всегда привлекает, тем более что тайна эта не придуманная: я действительно долго бился над дневниками и архивом моего героя, и все, что я извлек оттуда, было для меня открытием, разгадкой секрета целой жизни.

Впрочем, если по-честному,— тайна эта не сопровождается приключениями, погоней, не связана с интригами и опасностями.

Секрет — он насчет того, как лучше жить.

И тут можно возбудить любопытство, объявив, что вещь эта — про поучительнейший пример наилучшего устройства жизни — дает единственную в своем роде Систему жизни.

«Наша Система позволяет достигнуть больших успехов в любой области, в любой профессии!»

«Система обеспечивает наивысшие достижения при самых обыкновенных способностях!»

«Вы получаете не отвлеченную систему, а гарантированную, проверенную многолетним опытом, доступную, продуктивную...»

«Минимум затрат — максимум эффекта!»

«Лучшая в мире!..»

Можно было бы обещать читателю рассказать про неизвестного ему выдающегося человека нашего времени. Дать портрет героя нравственного, с такими высокими правилами нравственности, какие ныне кажутся старомодными. Жизнь, прожитая им,— внешне самая заурядная, по некоторым приметам даже незадачливая; с точки зрения обывателя, он — типичный неудачник, по внутреннему же смыслу это был че-

ловек гармоничный и счастливый, причем счастье его было наивысшей пробы. Признаться, я думал, что люди такого масштаба повывелись, это — динозавры...

Как в старину открывали земли, как астрономы открывают звезды, так писателю может посчастливиться открыть человека. Есть великие открытия характеров и типов: Гончаров открыл Обломова, Тургенев — Базарова, Сервантес — Дон-Кихота.

Это было тоже открытие, не всеобщего типа, а как бы личного, моего, и не типа, а, скорее, идеала; впрочем, и это слово не подходило. Для идеала Любищев тоже не годился...

Я сидел в большой неуютной аудитории. Голая лампочка резко освещала седины и лысины, гладкие зачесы аспирантов, длинные лохмы и модные парики и курчавую черноту негров. Профессора, доктора, студенты, журналисты, историки, биологи... Больше всего было математиков, потому что происходило это на их факультете — первое заседание памяти Александра Александровича Любищева.

Я не предполагал, что придет столько народу. И особенно — молодежи. Возможно, их привело любопытство. Поскольку они мало знали о Любищеве. Не то биолог, не то математик. Дилетант? Любитель? Кажется, любитель. Но почтовый чиновник из Тулузы — великий Ферма — был тоже любителем... Любищев — кто он? Не то виталист, не то позитивист или идеалист, во всяком случае — еретик.

И докладчики тоже не вносили ясности.

Одни считали его биологом, другие — историком науки, третьи — энтомологом, четвертые — философом...

У каждого из докладчиков возникал новый Любищев. У каждого имелось свое толкование, свои оценки.

У одних Любищев получался революционером, бунтарем, бросающим вызов догмам эволюции, генетики. У других возникала добрейшая фигура русского интеллигента, неистощимо терпимого к своим противникам.

— ...В любой философии для него была ценна живая критическая и созидающая мысль!

— ...Сила его была в непрерывном генерировании идей, он ставил вопросы, он будил мысль.

— ...Как заметил кто-то из великих математиков, «гениальные геометры предлагают теорему, талантливые ее доказывают». Так вот он был предлагающий.

— ...Он слишком разбрасывался, ему надо было сосредоточиться на систематике и не тратить себя на философские проблемы.

— ...Александр Александрович — образец сосредоточенности, целеустремленности творческого духа, он последовательно в течение всей своей жизни...

— ...Дар математика определил его миропонимание...

— ...Широта его философского образования позволила по-новому осмыслить проблему происхождения видов.

— ...Он был рационалист!

— ...Материалист!

— ...Фантазер, человек увлекающийся, интуитивист!

Они многие годы были знакомы с Любищевым, с его работами, но каждый рассказывал про того Любищева, какого знал.

Они и раньше, конечно, представляли его разносторонность. Но только сейчас, слушая друг друга, они понимали, что каждый знал только часть Любищева.

Неделю до этого я провел, читая его дневники и письма, вникая в историю забот его ума. Я начал читать без цели. Просто чужие письма. Просто хорошо написанные свидетельства чужой души, прошедших тревог, минувшего гнева, памятного и мне, потому что и я когда-то думал о том же, только недодумал...

Вскоре я убедился, что не знал Любищева. То есть я знал, я встречался с ним, я понимал, что это человек редкий, но масштабов его личности я не подозревал. Со стыдом я признавался себе, что числил его чудаком, мудрым милым чудаком, и было горько, что упустил много возможностей бывать с ним. Столько раз собирался поехать к нему в Ульяновск, и все казалось, успеется.

Который раз жизнь учила меня ничего не откладывать. Жизнь, если вдуматься, терпеливая заботница, она снова и снова сводила меня с интереснейшими людьми нашего века, а я куда-то торопился и часто спешил мимо, откладывая на потом. Ради чего я откладывал, куда спешил? Ныне эти прошлые спешности кажутся такими ничтожными, а потери — такими обидными и, главное, непоправимыми.

Студент, что сидел рядом со мною, недоуменно пожал плечами, не в силах соединить в одно противоречивые рассказы выступавших.

Прошел всего год после смерти Любищева — и уже невозможно было понять, каким он был на самом деле.

Ушедший принадлежит всем, с этим ничего не поделаешь. Докладчики отбирали из Любищева то, что им нравилось, или то, что им было нужно в качестве доводов, аргументов. Рассказывая, они тоже выстраивали свои сюжеты. С годами из их портретов получится нечто среднее, вернее — приемлемо-среднее, лишенное противоречий, загадок — сглаженное и малоузнаваемое.

Этого осредненного объяснят, определят, в чем он ошибался и в чем шел впереди своего времени, сделают совершенно понятным. И неживым.

Если он, конечно, поддастся.

Над кафедрой висела в черной рамке большая фотография — старый плешивый человек, наморщив висячий нос, почесывал затылок. Он озадаченно поглядывал не то в зал, не то на выступающих, как бы решая, какую ему еще штуку выкинуть. И было ясно, что все эти умные речи, теории не имеют сейчас никакого отношения к тому старому человеку, которого уже нельзя увидеть и который так был сейчас нужен. Я слишком привык к тому, что он есть. Мне достаточно было знать, что где-то есть человек, с которым обо всем можно поговорить и обо всем спросить.

Когда человек умирает, многое выясняется, многое становится известным. И наше отношение к умершему подытоживается. Я чувствовал это в выступлениях докладчиков. В них была определенность. Жизнь Любищева предстала перед ними завершенной, теперь они решились обмыслить, подытожить ее. И было понятно, что теперь-то многие его идеи получат признание, многие работы будут изданы и переизданы. У умерших почему-то больше прав, им больше позволено...

...А можно сделать и так: предупредить читателя, что никакой занимательности не будет, наоборот, будет много сухой, сугубо деловой прозы. И прозой-то это назвать нельзя. Автор мало что сделал для украшения и развлечения. Автор сам с трудом разобрался в этом материале, и все, что тут сделано, было сделано по причинам, о которых автор сообщает в самом конце этого непривычного ему самому повествования.

ГЛАВА ВТОРАЯ

о причинах и странностях любви

Давно уж меня смущал энтузиазм его поклонников. Не впервые их эпитеты казались чересчур восторженными. Когда он приезжал в Ленинград, его встречали, сопровождали, вокруг него постоянно роился народ. Его «расхватывали» на лекции в самые разные институты. То же самое творилось и в Москве. И занимались этим не любители сенсаций, не журналисты — открыватели непризнанных гениев: есть такая публика,— как раз наоборот: серьезные ученые, молодые доктора наук — весьма точных наук, люди скептические, готовые скорее свергать авторитеты, чем устанавливать.

Чем для них был Любищев — казалось бы, провинциальный профессор, откуда-то из Ульяновска, не лауреат, не член ВАКа... Его научные труды? Их оценивали высоко, но имелись математики и покрупнее Любищева и генетики позаслуженнее его.

Его эрудиция? Да, он много знал, но в наше время эрудицией можно удивить, а не завоевать.

Его принципиальность, смелость? Да, конечно...

Но я, например, не многое мог оценить, и большинство мало что понимало в его специальных исследованиях... Что им было до того, что Любищев получал лучшую дискриминацию трех видов Хэтокнема? Я понятия не имел, что это за Хэтокнем, и до сих пор не знаю. И дискриминантные функции тоже не представляю. И тем не менее редкие встречи с Любищевым производили на меня сильное впечатление. Оставив свои дела, я следовал за ним, часами слушал его быструю речь с дикцией отвратительной, неразборчивой, как и его почерк.

Симптомы этой влюбленности и жадного интереса напомнили мне таких людей, как Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, и Лев Давидович Ландау, и Виктор Борисович Шкловский. Правда, там я знал, что передо мною люди исключительные, всеми признанные как исключительные. У Любищева же такой известности не было. Я видел его без всякого ореола: плохо одетый, громоздкий, некрасивый старик, с провинциальным интересом к разного рода литературным слухам. Чем он мог пленить? Поначалу казалось, что привлекает еретичность его взглядов. Все, что он говорил, шло как бы вразрез. Он умел подвергнуть сомнению самые

незыблемые положения. Он не боялся оспаривать какие угодно авторитеты — Дарвина, Тимирязева, Тейера де Шардена, Шредингера... Всякий раз доказательно, неожиданно, думал оттуда, откуда никто не думал. Видно было, что он ничего не заимствовал, все было его собственное, выношенное, проверенное. И говорил он собственными словами, в их первородном значении.

— Я — кто? Я — дилетант, универсальный дилетант. Слово-то это происходит от итальянского «дилетто», что значит — удовольствие. То есть человек, которому процесс всякой работы доставляет удовольствие.

Еретичность была только признаком, за ней угадывалась общая система миропонимания, нечто непривычное, контуры уходящего куда-то ввысь грандиозного сооружения. Формы этого еще недостроенного здания были странны и привлекательны.

И все же этого было недостаточно. Чем-то меня еще пленял этот человек. Не только меня. К нему обращались учителя, заключенные, академики, искусствоведы и люди, о которых я не знаю, кто они. Я читал не их письма, а ответы Любищева. Обстоятельные, свободные, серьезные, некоторые — очень интересные, и в каждом письме он оставался самим собой. Чувствовалась его непохожесть, отдельность. Через письма я лучше понял свое чувство. В письмах он раскрывался, по-видимому, лучше, чем в общении. По крайней мере так мне казалось теперь.

Не случайно у него почти не было учеников. Хотя это вообще свойственно многим крупным ученым, создателям целых направлений и учений. У Эйнштейна тоже не было учеников, и у Менделеева, и у Лобачевского. Ученики, научная школа — это бывает не так часто. У Любищева были поклонники, были сторонники, были почитатели и были читатели. Вместо учеников у него были у ч а щ и е с я, то есть не он их учил, а они учились у него — трудно определить, чему именно, скорее всего тому, как надо жить и мыслить. Похоже было, что вот наконец-то нам встретился человек, которому известно, зачем он живет, для чего... Словно бы имелась у него высшая цель, а может, даже открылся ему смысл его бытия. Не просто нравственно жить и добросовестно работать, а похоже, он понимал сокровенное значение всего того, что делал. Ясно, что это годилось только для него одного. Альберт Швейцер не призывал никого ехать врачами в Африку. Он отыскал свой путь, свой способ воплощения своих прин-

ципов. Тем не менее пример Швейцера затрагивает совесть людей.

У Любищева была своя история. Не явная, большей частью скрытая как бы в клубнях. Они начинали обнажаться лишь теперь, но присутствие их ощущалось всегда. Что б там ни говорилось, интеллект и душа человеческая обладают особым свойством излучения — помимо поступков, помимо слов, помимо всех известных законов физики. Чем значительнее душа, тем сильнее впечатление...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой автор сообщает сведения, разумеется, достойные удивления и раздумья

Никто, даже близкие Александра Александровича Любищева не подозревали величины наследия, оставленного им.

При жизни он опубликовал около семидесяти научных работ. Среди них классические работы по дисперсионному анализу, по таксономии, то есть по теории систематики, по энтомологии — работы, широко переведенные за границей.

Всего же им написано более пятисот листов разного рода статей и исследований. Пятьсот листов — это значит двенадцать с половиной тысяч страниц машинописного текста: с точки зрения даже профессионального писателя, цифра колоссальная.

История науки знает огромные наследия Эйлера, Гаусса, Гельмгольца, Менделеева. Для меня подобная продуктивность всегда была загадочной. При этом казалось необъяснимым, но естественным, что в старину люди писали больше. Для нынешних же ученых многотомные собрания сочинений — явление редкое и даже странное. Писатели — и те, похоже, стали меньше писать.

Наследие Любищева состоит из нескольких разделов: там работы по систематике земляных блошек, истории науки, сельскому хозяйству, генетике, защите растений, философии, энтомологии, зоологии, теории эволюции... Кроме того, он писал воспоминания о ряде ученых, о Пермском университете.

Он читал лекции, заведовал кафедрой, отделом научного института, ездил в экспедиции: в тридцатые годы он исколесил вдоль и поперек Европейскую Россию, ездил по колхозам, занимаясь вредителями садов, стеблевыми вредителями, сус-

ликами... В так называемое свободное время, для «отдыха», он занимался классификацией земляных блошек. Объем только этих работ выглядит так: к 1955 году Любищев собрал 35 ящиков смонтированных блошек. Их было там 13 000. Из них у 5000 самцов он препарировал органы. Триста видов. Их надо было определить, измерить, препарировать, изготовить этикетки. Он собрал материалов в шесть раз больше, чем имелось в Зоологическом институте. Он занимался классификацией вида Халтика всю жизнь. Для этого надо иметь особый талант углубления, надо уметь понимать такие работы, их ценность и неисчерпаемую новизну. Когда у известного гистолога Невмываки спросили, как может он всю жизнь изучать строение червя, он удивился: «Червяк такой длинный, а жизнь такая короткая!»

Любищев умудрился работать и вширь и вглубь, быть узким специалистом и быть универсалом.

Диапазон его знаний трудно было определить. Заходила речь об английской монархии — он мог привести подробности царствования любого из английских королей; говорили о религии — выяснялось, что он хорошо знает Коран, Талмуд, историю папства, учение Лютера, идеи пифагорейцев... Он знал теорию комплексного переменного, экономику сельского хозяйства, социал-дарвинизм Р. Фишера, античность и бог знает что еще. Это не было ни всезнайством, ни начетничеством, ни феноменом памяти. Подобные знания возникали в силу причин, о которых речь пойдет ниже. Замечу, что, конечно, и усидчивостью он обладал колоссальной. Усидчивость — это ведь тоже свойство некоторых талантов, кстати — распространенное и необходимое для такой специальности, как энтомология: Любищев сам говорил, что принадлежит к ученым, которых надо снимать не с лица, а с зада.

Судя по отзывам специалистов — таких ученых, как Лев Берг, Николай Вавилов, Владимир Беклемишев, цена написанного Любищевым — высокая. Ныне одни его идеи из еретических перешли в разряд спорных, другие из спорных — в несомненные. За судьбу его научной репутации, даже славы, можно не беспокоиться.

Я не собираюсь популярно рассказывать о его идеях и заслугах. Мне интересно иное: каким образом он, наш современник, успел так много сделать, так много надумать? Последние десятилетия,— а умер он восьмидесяти двух лет,— работоспособность и идеепроизводительность его возрастали. Дело даже не в количестве, а в том, к а к, к а к и м о б р а з о м

он этого добивался. Вот этот способ и составлял суть наиболее для меня привлекательного создания Любищева. То, что он разработал, представляло открытие, оно существовало независимо от всех остальных его работ и исследований. По виду это была чисто технологическая методика, ни на что не претендующая,— так она возникла, но в течение десятков лет она обрела нравственную силу. Она стала как бы каркасом жизни Любищева. Не только наивысшая производительность, но и наивысшая жизнедеятельность.

Этика не имеет единиц измерения. Даже в вечных и общих определениях — добрый, злой, душевный, жестокий — мы беспомощно путаемся, не зная, с чем сравнить, как понять, кто действительно добр, а кто добренький, и что значит истинная порядочность, где критерии этих качеств. Любищев не только сам жил нравственно, но чувствовалось, что у него существуют какие-то точные критерии этой нравственности, выработаные им и связанные как-то с его Системой жизни.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

про то, какие бывают дневники

Архив Любищева еще при жизни хозяина поражал всех, кто видел эти пронумерованные, переплетенные тома. Десятки томов, сотни. Научная переписка, деловая, конспекты по биологии, математике, социологии, дневники, статьи, рукописи, воспоминания его, воспоминания его жены Ольги Петровны Орлицкой, которая много работала над этим архивом, записные книжки, заметки, научные отчеты, фотографии...

Письма, рукописи перепечатывались, копии подшивались — не из тщеславия и не в расчете на потомков, нисколько. Большею частью архива сам Любищев активно пользовался, в том числе и копиями собственных писем — в силу их особенности, о которой речь впереди.

Архив как бы фиксировал, регистрировал со всех сторон и семейную и деловую жизнь Любищева. Сохранять все бумажки, все работы, переписку, дневники, которые велись с 1916 года (!),— такого мне не встречалось. Биографу нечего было и мечтать о большем. Жизнь Любищева можно было воссоздать во всех ее извивах, год за годом, более того — день за днем, буквально по часам. Не прерывая, насколько мне известно, ни разу, Любищев вел этот дневник с 1916 года — и в дни революции и в годы войны, он вел его лежа в

больнице, вел в экспедициях, в поездах: оказывается, не существовало причины, события, обстоятельства, при которых нельзя было занести в дневник несколько строчек.

Николай Федоров, которого Толстой и Достоевский называли гениальным русским мыслителем, мечтал воскресить людей. Он не желал примириться с гибелью хотя бы одного человека. С помощью научных центров он намеревался собирать рассеянные молекулы и атомы, чтобы «сложить их в тела отцов». В фантастических человековлюбленных идеях его был страстный протест против смерти, невозможность примириться с ней, подчиниться слепой разлагающей силе — природе. Так вот, в федоровском смысле воссоздать Любищева, или «воскресить», можно, вероятно, легче и точнее, чем кого-либо другого, поскольку для этого имеется множество материалов, иначе говоря — параметров. Можно как бы восстановить все его координаты в пространстве и времени — где он был в такой-то день, что делал, что читал, кого видел.

Естественно, что из его архива меня прежде всего заинтересовали дневники.

Писателя всегда манят дневники, возможности прикоснуться к сокрытому бытию чужой души, проследить ее историю, увидеть время ее глазами. Любой дневник, что добросовестно ведется из года в год, становится драгоценным фактом литературы. «Всякая жизнь интересна,— писал Герцен,— не личность, так среда, страна занимает, жизнь занимает...» Дневник требует всего лишь честности, раздумий и воли. Литературные способности иногда даже мешают беспристрастному свидетельству очевидца. Бесхитростные, самые простые житейские дневники — их почему-то так мало... Проходят годы, и вдруг выясняется, что события исторические, народные, протекавшие у всех на глазах, затронувшие тысячи и тысячи судеб, отражены в записях современников и бедно и скупо. Оказывается, что о ленинградской блокаде имеется считанное количество дневниковых, то есть самых насущных, документов. Часть, очевидно, погибла, другие затерялись, но и велось их мало, вот в чем беда,— дневников всегда не хватает.

Дневники Александра Александровича Любищева сохранились не все, большая часть его архива до 1937 года, в том числе и дневники, пропала во время войны в Киеве. Уцелел первый том дневников — большая конторская книга, красиво отпечатанная на машинке красными и синими шрифтами, начатая первого января 1916 года. Дневники с 1937 года до последних дней жизни составили несколько тол-

стых томов: уже не конторские книги, а школьные тетрадки, сшитые, затем переплетенные,— самодельно, некрасиво, но прочно.

Я листал их — то за шестидесятый год, то за семидесятый; заглянул в сороковой, в сорок первый — всюду было одно и то же. Увы, это были никакие не дневники. Повсюду я натыкался на краткий перечень сделанного за день, расцененный в часах и минутах и еще в каких-то непонятных цифрах. Я посмотрел довоенные дневники — и там записи того же типа. Ничего из того, что обычно составляет плоть дневников,— ни описаний, ни подробностей, ни размышлений.

«Ульяновск. 7.4.1964. Систем. энтомология: (два рисунка неизвестных видов Псиллиолес) —3 ч. 15 м. Определение Псиллиолес —20 м. (1,0).

Дополнительные работы: письмо Славе — 2 ч. 45 м. (0,5).

Общественные работы: заседание группы защиты растений — 2 ч. 25 м.

Отдых: письмо Игорю — 10 м.; Ульяновская правда — 10 м. Лев Толстой «Севастопольские рассказы» — 1 ч. 25 м.

Всего основной работы — 6 ч. 20 м.»

«Ульяновск. 8.4.1964. Систематическая энтомология: определение Псиллиолес, конец — 2 ч. 20 м. Начало сводки о Псиллиолес — 1 ч. 05 м. (1,0.)

Дополнительные работы: письмо Давыдовой и Бляхеру, шесть стр.— 3 ч. 20 м. (1,0).

Передвижение — 0,5.

Отдых: брился. Ульяновская правда — 15 м. Известия — 10 м. Литгазета — 20 м.; А. Толстой «Упырь» — 65 стр.— 1 ч. 30 м. Слушал «Царскую невесту». Римский-Корсаков.

Всего основной работы — 6 ч. 45 м.»

Десятки, сотни страниц были заполнены вот такими уныло-деловыми записями по пять — семь строчек. Из этого и состояли дневники. По крайней мере таков был результат первого осмотра.

На этом следовало бы и кончить с ними. Не было никакого резона возиться с ними еще, из этих сухих перечислений невозможно было выжать ни эмоций, ни любопытных деталей времени, язык их был бесцветно-однообразен, отсутствовала всякая интимность, они были почти начисто лишены горечи,

восторга, юмора, подробности, которые иногда проскальзывали, были телеграфно иссушены:

«Вечером у нас трое Шустовых».

«Весь день дома, слабость после болезни».

«Два раза дождь, отчего не купался».

Читать дальше дневники не имело смысла.

Напоследок, любопытства ради, я посмотрел записи начала Отечественной войны.

«22.6.1941. Киев. Первый день войны с Германией. Узнал об этом около 13 часов...»

И дальше обычная сводка сделанного:

«23.6.1941. Почти целый день воздушная тревога. Митинг в Институте биохимии. Ночное дежурство».

«26.6.1941. Киев. На дежурстве в Институте зоологии с 9 до 18 ч. занимался номографией и писал отчет. Вечернее дежурство... ...Итого 5 ч. 20 м.»

С тем же бесстрастием он отмечает проводы старшего сына на фронт, затем и младшего. В июле 1941 года его эвакуируют с женой и внуком из Киева на пароходе. И там, на пароходе, он с той же краткостью, неукоснительно регистрирует:

«21.VII.1941. Нападение немецкого самолета на пароход «Котовский» — бомбежка и обстрел пулеметами. Убит капитан парохода и какой-то военный капитан, ранено 4 человека. Повреждено колесо, поэтому пароход не сделал остановку в Богруче, а поехал прямо на Кременчуг».

Печальные даты поражений сорок первого года и даты первых наших зимних побед почти не отражались в дневнике. События всеобщие словно бы не затрагивали автора. Май сорок пятого, послевоенное восстановление жизни, отмена карточек, трудности сельского хозяйства... Ничто не попадало в эти ведомости. Происходили научные и ненаучные дискуссии, на биологическом фронте разыгрывались в те годы битвы поистине кровавые — Любищев не сторонился их, не укрывался; были моменты, когда он оказывался в центре сражения — его увольняли, прорабатывали, ему грозили,— но были и триумфы, были праздники, семейные радости — ничего этого я не находил в дневниках. Уж кто-кто, а Любищев был связан и с сельским хозяйством, знал, что происходило в предвоенной деревне и в послевоенной, писал об этом в докладных, в специальных работах — и ни слова в дневниках. При всей его отзывчивости, гражданской чувствительности дневники его из года в год сохраняли канцелярскую невозмутимость, чисто бухгалтерскую отчетность. Если судить по ним, то ничто не в со-

стоянии было нарушить рабочий ритм, установленный этим человеком. Не знай я Любищева, дневники эти могли озадачить психологической глухотой, совершенством изоляции от всех тревог мира и собственной души. Но, зная автора, я тем более изумился и захотел уяснить, какой был смысл с такой тщательностью десятки лет вести этот — ну пусть не дневник, а учет своего времени и дел, что мог такой перечень дать своему хозяину? Из коротких записей не могло возникнуть воспоминаний. Ну, заходили Шустовы, ну и что из этого? Стиль записей предназначался не для напоминаний, не было в нем и зашифрованности. Притом это был дневник и не для чтения, тем более постороннего. Вот это-то и было любопытно. Потому что любой самый сокровенный дневник где-то там, подсознательно, за горизонтом души, ждет своего читателя.

Но если это не дневник, тогда что же и для чего?

Тогдашние мои глубокомысленные рассуждения ныне производят на меня комичное впечатление: сам себе кажешься непонятливым тугодумом. Так всегда, я убежден, что если записать, какие рассуждения предшествовали любому, даже талантливому открытию, то нас поразит количество трухи, разных глупых, абсурдных предположений.

Не существует никаких правил для ведения дневников, тем не менее это был не дневник. Сам Любищев не претендовал на это. Он считал, что его книги ведут «учет времени». Как бы бухгалтерские книги, где он по своей системе ведет учет израсходованного времени.

Я обратил внимание, что в конце каждого месяца подводились итоги, строились какие-то диаграммы, составлялись таблицы. В конце года опять, уже на основании месячных отчетов, составлялся годовой отчет, сводные таблицы.

Диаграммы на клетчатой бумаге штриховались карандашом то так, то этак, и сбоку какие-то цифирки, что-то складывалось, умножалось.

Что все это означало? Спросить было некого. Любищев в механику своего учета никого не посвящал. Не засекречивал, отнюдь, видимо, считал подробности делом подсобным. Было известно, что годовые отчеты он рассылал друзьям. Но там были итоги, результаты.

На первый взгляд систему учета можно было принять за хронометраж прошедшего дня. Вечером, перед сном, человек садится, подсчитывает, на что и сколько времени он потратил, и выводит итог — время, израсходованное на основную ра-

боту. Казалось бы, чего проще! Но сразу же возникали вопросы — что считать основной работой, зачем учитывать остальное время, да еще так подробно, что вообще дает такой хронометраж, что означают какие-то цифры-половинки и единички, расставляемые в течение дня, и т. п.

И был еще вопрос — стоит ли разбираться в этой Системе, вникать в ее детали и завитки и искать ответа на эти вопросы. С какой стати?.. Я спрашивал себя — и тем не менее продолжал вникать, ломал себе голову, возился над секретами его системы. Какое-то смутное предчувствие чего-то, имеющего отношение к моей собственной жизни, мешало мне отложить эти дневники в сторону.

ГЛАВА ПЯТАЯ

о времени и о себе

«Все, о Люцилий, не наше, а чужое, только время наша собственность,— писал Сенека.— Природа предоставила в наше владение только эту вечно текущую и непостоянную вещь, которую, вдобавок, может отнять у нас всякий, кто этого захочет... Люди решительно ни во что не ценят чужого времени, хотя оно единственная вещь, которую нельзя возвратить обратно при всем желании. Ты спросишь, может быть, как же поступаю я, поучающий тебя? Признаюсь, я поступаю, как люди расточительные, но аккуратные — веду счет своим издержкам. Не могу сказать, чтобы я ничего не терял, но всегда могу отдать себе отчет, сколько я потерял, и каким образом, и почему».

Так еще в самом начале нашей эры, в 50-м году от Р. Х., научные работники,— а Сенеку можно вполне считать научным работником,— вели счет своему времени и старались экономить его. Древние философы первыми поняли ценность времени — они наверняка еще до Сенеки пробовали как-то обуздать время, приручить, понять его природу, ибо и тогда оно угнетало людей своей быстротечностью.

Однако мы по своему самомнению уверены, что у древних времени девать было некуда. Что они, со своими солнечными, водяными и песочными часами, измерять его как следует не умели, а значит, и не берегли. Прогресс — он ведь к тому сводится, по мнению делового человека, чтобы сэкономить этому деловому человеку время. Для этого деловой человек из каре-

ты пересел в поезд, оттуда на самолет. Вместо писем придумали телеграммы и телефоны, вместо театров — телевизоры, вместо пуговиц — «молнии», вместо гусиного пера — шариковую ручку. Эскалаторы, компьютеры, универмаги, телетайпы, электробритвы — все изобретается для того, чтобы сберечь человеку время. Однако почему-то нехватка этого времени у человека возрастает. Деловой человек наращивает скорости, внедряет ЭВМ, переделывает универмаги в универсамы, печатает газеты фотоспособом, он и говорить старается лаконичнее, уже не пишет, а диктует в диктофон, а дефицит времени увеличивается. Не только у него — цейтнот становится всеобщим. Недостает времени на друзей, на письма, на детей, нет времени на то, чтобы думать, чтобы не думая постоять в осеннем лесу, слушая черенковый хруст облетающих листьев, нет времени ни на стихи, ни на могилы родителей. Времени нет и у школьников, и у студентов, и у стариков. Время куда-то исчезает, его становится все меньше. Часы перестали быть роскошью. У каждого они на руке, точные, выверенные, у всех тикают будильники, но времени от этого не прибавилось. Время распределяется почти так же, как и две тысячи лет назад, при том же Сенеке: «большая часть нашей жизни уходит на ошибки и дурные поступки; значительная часть протекает в бездействии, и почти всегда вся жизнь в том, что мы делаем не то, что надо». Вполне актуально, если исключить время, которое тратится на работу. За эти две тысячи лет положение, конечно, несколько исправилось, появилось много исследований о времени свободном, времени физическом, космическом, об экономии времени и его правильном употреблении. Выяснилось, что время нельзя повернуть вспять, а также хранить, сдавать его излишки в хранилища и брать по мере надобности. Это было бы очень удобно, потому что человеку не всегда нужно Время. Бывает, что его вовсе не на что тратить, а приходится. Время — его нельзя не тратить, а транжирят его куда попало, на всякую ерунду. Есть люди, которых время обременяет, они не знают, куда его девать.

Известно, что счастливые не наблюдают часов, верно и другое — что и те, кто не наблюдает часов, уже счастливы. Однако Любищев добровольно, не по службе, не по какой-то нужде, взял на себя несчастливую обязанность «наблюдать часы».

Дочь Александра Александровича рассказывала, что в детстве, когда она и брат приходили к отцу в кабинет со своими расспросами, он, начиная им терпеливо отвечать, делал

при этом какую-то отметку на бумаге. Так было всегда. Много позже она узнала, что он отмечал время. Он постоянно хронометрировал себя. Любое свое действие — отдых, чтение газет, прогулки — он отмечал по часам и минутам. Занялся он этим с первого января 1916 года. Ему было тогда 26 лет, он служил в армии, в Химическом комитете, у известного химика Владимира Николаевича Ипатьева. Был Новый год, и Любищев дал себе обет, как всегда дают в этот день, с чем-то покончить и что-то начать.

Первая книга учета, как я уже писал, сохранилась. Там Система еще примитивная, и дневник иной — он полон размышлений, заметок. Система складывалась постепенно, в дневниках 1937 года она предстает в отработанном виде.

Как бы там ни было, с 1916 года по 1972-й, по день смерти, пятьдесят шесть лет подряд, Александр Александрович Любищев аккуратно записывал расход времени. Он не прерывал своей летописи ни разу, даже смерть сына не помешала ему сделать отметку в этом нескончаемом отчете. Но ведь и бог времени Хронос тоже ни разу не перестал махать своей косой.

Сама по себе верность Любищева своей Системе — явление исключительное, само наличие такого дневника, может быть, единственное в своем роде.

Несомненно, что с годами у Любищева от непрестанного слежения за временем выработалось специальное чувство времени: биологические часы, тикающие в глубинах нашего организма, стали у него органом и чувства и сознания. Я сужу по записям о наших с ним беседах, они отмечены со всей точностью: «1 ч. 35 м.», «1 ч. 50 м.»,— при этом он, разумеется, не смотрел на часы. Мы с ним гуляли, я провожал его, и каким-то внутренним взором он чувствовал бег стрелки по циферблату,— поток времени был для него осязаемым, он как бы стоял посреди этого потока, ощущая его холодные струи.

Просматривая его рукопись «О перспективах применения математики в биологии», я нашел на последней странице «цену» этой статьи:

«Подготовка (план, просмотр рукописей и литературы) . . . . .14 ч. 30 м.
Писал . . . . 29 ч. 15 м.
Всего потратил . . . . .43 ч. 45 м.

Восемь дней, с 12 по 19 октября 1921 г.»

Следовательно, уже в 1921 году он имел учет времени, потраченного на работу.

Имел и умел вести этот учет.

Иногда на рукописи ставят дату окончания, реже—число, еще реже — с какого по какое писалось, но затраченные часы — это я видел впервые.

У Любищева была подсчитана «стоимость» каждой статьи. Каким образом шел этот подсчет? Оказывается, никакого специального подсчета не было — его Система, словно компьютер, выдавала ему эти данные: на статью, на прочитанную книгу, на написанное письмо — буквально все оказывалось сосчитанным.

...И времени стало меньше, и цена на него поднялась. Самое дорогое, что есть у человека, это жизнь. Но если всмотреться в эту самую жизнь поподробнее, то можно сказать, что самое дорогое — это Время, потому что жизнь состоит из Времени, складывается из часов и минут. Современный человек так или иначе планирует свое дорогое, дефицитное, ни на что не хватающее время. Как и все, я тоже составляю список предстоящих дел, чтобы разумнее распределить время, я тоже планирую время на неделю, иногда на месяц, отмечаю выполнение. Люди организованные, волевые — те анализируют прожитый день, выясняют, как рационально расходовать время. Правда, только рабочее время, но и то для меня такие люди — положительные герои. У меня не хватило бы воли заниматься этим, да и что тут приятного! Подозреваю, что картина может получиться удручающая. Стоит ли без особой на то нужды терять самоуважение? Одно дело упрекать себя за неорганизованность, за неумение регламентировать свою жизнь, и другое — знать все это про себя в часах и минутах. Когда мы искренне уверены, что стараемся сделать как можно больше, добросовестно вкалываем, и вдруг нам преподносят, что полезной-то работы было, может, час-полтора, а остальное ушло, расползлось, просыпалось на беготню, разговоры, ожидание, бог знает куда. А ведь дорожили каждой минутой, отказывали себе в развлечениях...

Появились специалисты по экономии времени, специальные методические пособия. Больше всего занимаются этим для руководителей предприятий. Подсчитано, что их время самое дорогое.

Научный наставник американских менеджеров Питер Друкер рекомендует каждому руководителю вести точную регистрацию своего времени, оговариваясь, что это весьма

трудно и что большинство людей такой регистрации не выдерживает:

«Я заставляю себя обращаться с просьбой к моему секретарю через каждые девять месяцев вести учет моего времени в течение трех недель... Я обещаю себе и обещаю ей письменно (она настаивает на этом), что я не уволю, когда она принесет результаты. И тем не менее, хотя я делаю это в течение пяти или шести лет, я каждый раз вскрикиваю: «Этого не может быть, я знаю, что теряю много времени, но не может быть, чтобы так много...» Хотел бы я увидеть кого-либо с иными результатами подобного учета!»

Питер Друкер уверен, что вызов его никто не примет. Он профессионал и знает это на своем опыте мужественного человека. Решиться на такой анализ способны немногие. Это требует бо̀льших усилий души, чем исповедь. Открыться перед богом легче, чем перед людьми. Нужно бесстрашие, чтобы предстать перед всеми и перед собой со своими слабостями, пороками, пустотой... Друкер прав — рассматривать себя пристально и беспощадно умели разве что такие люди, как Жан-Жак Руссо или Лев Толстой.

Сомнения корифеев не смутили молодого преподавателя. С годами уточнялись подходы: кое-что приходилось пересматривать, но общая задача не менялась — раз начав, он всю жизнь следовал поставленной цели.

Согласно легенде, Шлиману было восемь лет, когда он поклялся найти Трою. Пример со Шлиманом широко известен еще и потому, что подобная прямолинейная пожизненная нацеленность — в науке редкость. Любищев в двадцать с лишним лет, начиная свою научную работу, тоже точно знал, чего он хочет. Счастливая и необычная судьба! Он сам сформулировал программу своей работы и предопределил тем самым весь характер своей деятельности фактически до конца дней.

Хорошо ли это — так жестко запрограммировать свою жизнь? Ограничить. Надеть шоры. Упустить иные возможности. Иссушить себя...

А вот оказывается, и это примечательно, что судьба Любищева — пример полнокровной, гармоничной жизни, и значительную роль в ней сыграло неотступное следование своей цели. От начала до конца он был верен своему юношескому выбору, своей любви, своей мечте. И сам он себя считал счастливым, и в глазах окружающих жизнь его была завидна своей целеустремленностью.

Двадцатитрехлетний Вернадский писал, что ставит себе целью быть «возможно могущественнее умом, знаниями, талантами, когда мой ум будет невозможно разнообразно занят...» И в другом месте: «Я вполне сознаю, что могу увлечься ложным, обманчивым, пойти по пути, который заведет меня в дебри; но я не могу не идти по нему, мне ненавистны всякие оковы моей мысли, я не могу и не хочу заставить ее идти по дорожке, практически важной, но такой, которая не позволит мне хоть несколько более понять те вопросы, которые мучают меня... И это искание, это стремление — есть основа всякой научной деятельности; это только позволит не сделаться какой-нибудь ученой крысой, роющейся среди всякого книжного хлама и сора; это только заставляет вполне жить, страдать и радоваться среди ученых работ; ...ищешь правды, и я вполне чувствую, что могу умереть, могу сгореть, ища ее, но мне важно найти, и если не найти, то стремиться найти ее, эту правду, как бы горька, призрачна и скверна она ни была».

Они всегда волнуют, эти молодые клятвы: Герцен, Огарев, Кропоткин, Мечников, Бехтерев — поколения русских интеллигентов клялись себе посвятить жизнь борьбе за правду. Каждый выбирал свой путь, но нечто общее связывало их, таких разных людей. Это не сведешь к преданности, допустим, науке, да и никто из них не жил одной наукой. Они все занимались и историей, и эстетикой, и философией. История нравственных исканий русских писателей известна. У русских ученых была не менее интересная и глубокая история их этических поисков.

Здесь, конечно, речь идет о меньшем — увидеть свое профессиональное «я», но и на это отваживаются единицы.

Любищев не был администратором, организатором: ни его должность, ни окружающие люди не требовали от него подобного режима. У него не было возможности препоручить регистрацию своего времени секретарше. Мало того, что он вел самолично каждодневный учет,— он сам подводил итоги, беспощадно подробные, ничего не утаивая и не смягчая, составлял планы, где старался распределить вперед, на месяц каждый свой час. Словом, вся его Система сама по себе требовала изрядного времени. Спрашивается — чего ради стоило ее вести? Какой смысл имело обрекать себя на эту добровольную каторгу? — недоумевали его друзья. Он отделывался весьма общим ответом: «Я к этой системе учета своего времени привык и без этой системы работать не могу». Но для чего было привыкать к этой Системе? Для чего было создавать

ее? То есть для чего она вообще нужна и полезна деловому человеку — понятно, общие рекомендации нам всегда понятны, но вот почему именно он, Любищев, пошел на это, что его заставило?

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой автор хочет добраться до основ, понять, с чего все началось

В 1918 году Александр Любищев ушел из армии и занялся чисто научной работой. К этому времени он сформулировал цель своей жизни: создать естественную систему организмов.

«Для установления такой системы необходимо отыскать что-то аналогичное атомным весам, что я думаю найти путем математического изучения кривых в строении организма, не имеющих непосредственно функционального значения... — так писал Александр Александрович в 1918 году,— *математические трудности этой работы, по-видимому, чрезвычайно значительны... К выполнению этой главной задачи мне придется приступить не раньше, чем через лет пять, когда удастся солиднее заложить математический фундамент... Я задался целью со временем написать математическую биологию, в которой были бы соединены все попытки приложения математики к биологии».*

В те годы идеи его были встречены прохладно. А надо заметить, что Таврический университет в Симферополе, куда приехал работать Любищев, собрал у себя поистине блестящий состав: математики Н. Крылов, В. Смирнов, астроном О. Струве, химик А. Байков, геолог С. Обручев, минералог В. Вернадский, физики Я. Френкель, И. Тамм, лесовод Г. Морозов, естественники Владимир и Александр Палладины, П. Сушкин, Г. Высоцкий и, наконец, учитель Любищева, человек, которого он почитал всю жизнь,— Александр Гаврилович Гурвич.

Но одно дело поклясться в верности науке, пусть своей любимой науке, а другое — поставить себе конкретную цель.

А если Трои не было? Если она рождена фантазией Гомера? Значит, жизнь, потраченная Шлиманом на поиск, уйдет впустую?

А если цель, поставленная Любищевым, недостижима, в принципе недостижима? Если где-то лет через двадцать ока-

жется, что создать такую естественную систему организмов невозможно? Или что современный математический аппарат для этого не годится? Тогда, выходит, все эти годы ушли зазря, цель была ложной, вместо цели — бесцельность.

Ну что же, риск? Нет, тут пострашнее, чем риск, тут на карту ставилась будущность, талант, надежды — лучшее, что есть в человеческой жизни. Кто знает, сколько их, мечтателей, сгинуло, не одолев несбыточных целей!

Фанатичность, нетерпимость, аскетизм — чем только не приходится платить ученым за свою мечту!

Одержимость в науке — вещь опасная: может, для иных натур — необходимая, неизбежная, но уж больно велики издержки; люди одержимые причинили немало вреда в науке, одержимость мешала критически оценивать происходящее даже таким гениям, как Ньютон,— достаточно вспомнить несправедливости, причиненные им Гуку.

В молодости положительным героем для Любищева был Базаров с его нигилизмом, рационализмом. Многие однокашники Любищева подражали в те годы Базарову. Вот, между прочим, пример активного воздействия литературного героя не на одно, а на несколько поколений русской интеллигенции! Подобно Базарову, в молодости они считали сто̀ящими естественные науки, а всякую историю и философию — чепухой. Между прочим, литературу — тоже. Молодой Любищев признавал литературу лишь как средство для лучшего изучения иностранных языков: «Анну Каренину» он читал по-немецки, *«так как переводной язык легче оригинального»*.

Все было подчинено биологии, что не способствовало — отбрасывалось. Он мечтал стать подвижником и действовал по банальным рецептам героизма: прежде всего работа, все для дела, во имя дела разрешается пожертвовать чем угодно. Дело заменяло этику, определяло этику, было этикой, снимало все проблемы бытия, философии, ради дела можно было пренебречь всеми радостями и красками мира.

Взамен он получал превосходство самопожертвования.

Это был знакомый нам культ науки. Биологическая задача, которой он служил, была достаточно важной, остальное его не касалось. Наука требовала максимальных усилий, жесточайшего самоограничения. Либо — либо. Обычная крайность. Либо — святой, герой, либо — обыватель, мироед, личность по всем статьям недостойная. У нас середины не бывает. Если не можешь служить примером, идеалом, тогда уж все равно — быть ли обманщиком или честным ученым, ин-

тересоваться искусством или быть невеждой, хамом... Признается лишь совершенство, а то, что человек добросовестный, порядочный — этого мало.

Любищев начинал обыкновенно: как все в молодости, он жаждал совершить подвиг, стать Рахметовым, стать сверхчеловеком. Лишь постепенно он пробивался к естественности — к человеческим слабостям, он находил силы идти еще дальше, забираться все круче — к простой человечности.

Понадобились годы, чтобы понять, что лучше было не удивлять мир, а, как говорил Ибсен, жить в нем.

Лучше и для людей, и для той же науки.

Преимущество Любищева состояло прежде всего в том, что он понимал такие вещи несколько раньше остальных.

Помогла ему в этом его же работа. Она потребовала... Но, впрочем, это было позднее, на первых же порах она требовала, по всем подсчетам,— а Любищев любил и умел считать,— сил, несоизмеримых с нормальными, человеческими, и времени больше, чем располагает человек в этой жизни. То есть он, конечно, был уверен, что одолеет, но для этого надо было откуда-то взять добавочные силы и добавочное время.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

о том, с чего начинается Система

«...Я сходен с гоголевским Акакием Акакиевичем, для которого переписка бумаг доставляла удовольствие... В научной работе я с удовольствием занимаюсь усвоением новых фактов, чисто технической работой и проч. Если прибавить к этому мой оптимизм, унаследованный мной от моего незабвенного отца, то и получится, что писал «под спуд» многое, на публикацию чего я вовсе не рассчитывал. Конспектирование серьезных вещей я делаю очень тщательно, даже теперь я трачу на это очень много времени. У меня накопился огромный архив. При этом для наиболее важных работ я пишу конспект, а затем критический разбор. Поэтому многое у меня есть в резерве, и когда оказывается возможность печатать, все это вытаскивается из резерва, и статья пишется очень быстро, т. к. фактически она просто извлекается из фонда.

В моей молодости мой метод работы приводил к некоторой отсталости, так как я успевал прочитывать меньше книг, чем мои товарищи, работавшие с книгой более поверхностно. Но при поверхностной работе многое интересное не усваивает-

ся и прочтенное быстро забывается. При моей же форме работы о книге остается вполне отчетливое, стойкое впечатление. Поэтому с годами мой арсенал становится гораздо богаче арсенала моих товарищей».

С годами вырисовывались преимущества не только этого приема, но и многих других методов его работы. Как будто все у него было рассчитано и задумано на десятилетия вперед. Как будто и долголетие его тоже было предусмотрено и входило в его расчеты.

Все его планы, даже самый последний, пятилетний план, составлялись им из предположения, что надо прожить по крайней мере до девяноста лет.

Но до этого далеко — пока что он стремится использовать каждую минуту, любые так называемые «отбросы времени»: поездки в трамваях, в поездах, заседания, очереди...

Еще в Крыму он обратил внимание на гречанок, которые вязали на ходу.

Он использует каждую пешую прогулку для сбора насекомых. На тех съездах, заседаниях, где много пустой болтовни, он решает задачки.

Утилизация «отбросов времени» у него продумана до мелочей. При поездках — чтение малоформатных книг и изучение языков. Английский язык он, например, усвоил главным образом в «отбросах времени».

«Когда я работал в ВИЗРа, мне приходилось часто бывать в командировках. Обычно в поезд я забирал определенное количество книг, если командировка предполагалась быть длительной, то я посылал в определенные пункты посылку с книгами. Количество книг, бравшихся с собой, исчислялось из прошлого опыта.

Как распределялось чтение книг в течение дня? С утра, когда голова свежая, я беру серьезную литературу (по философии, по математике). Когда я проработаю полтора-два часа, я перехожу к более легкому чтению — историческому или биологическому тексту. Когда голова уставала, то берешь беллетристику.

Какие преимущества дает чтение в дороге? Во-первых, не чувствуешь неудобства в дороге, легко с ними миришься; во-вторых, нервная система находится в лучшем состоянии, чем в других условиях.

Для трамваев у меня тоже не одна книжка, а две или три. Если едешь с какого-либо конечного пункта (напр. в Ленинграде), то можно сидеть, следовательно, можно не толь-

ко читать, но и писать. Когда же едешь в переполненном трамвае, а иногда и висишь, то тут нужна небольшая книжечка, и более легкая для чтения. Сейчас в Ленинграде много народу читает в трамваях».

Но «отбросов» было немного. А между тем времени требовалось все больше.

Углубление работы приводило к ее расширению. Надо было всерьез браться за математику. Затем пришла очередь философии. Он убеждался в многообразии связей биологии с другими науками. Систематика, которой он занимался, способствовала его критическому отношению к дарвинизму, особенно к теории естественного отбора как ведущего фактора эволюции. Он не боялся обвинения в витализме, идеализме, но это требовало изучения философии.

Поздно, но он начинает понимать, что ему не обойтись без истории, без литературы, что зачем-то ему необходима музыка...

Надо было изыскивать все новые ресурсы времени. Ясно, что человек не может регулярно работать по четырнадцать — пятнадцать часов в день. Речь могла идти о том, чтобы правильно использовать р а б о ч е е время. Находить время внутри времени.

Практически, как убедился Любищев, лично он в состоянии заниматься высококвалифицированной работой не больше семи — восьми часов.

Он отмечал время начала работы и время окончания ее, причем с точностью до 5 минут.

«Всякие перерывы в работе я выключаю, я подсчитываю время нетто,— писал Любищев.— Время нетто получается гораздо меньше количества времени, которое получается из расчета времени брутто, то есть того времени, которое вы провели за данной работой.

Часто люди говорят, что они работают по 14—15 часов. Может быть, такие люди существуют, но мне не удавалось столько проработать с учетом времени нетто. Рекорд продолжительности моей научной работы 11 часов 30 мин. Обычно я бываю доволен, когда проработаю нетто — 7—8 часов. Самый рекордный месяц у меня был в июле 1937 года, когда я за один месяц проработал 316 часов, то есть в среднем по 7 часов нетто. Если время нетто перевести во время брутто, то надо прибавить процентов 25—30. Постепенно я совершенствовал свой учет и в конце концов пришел к той системе, которая имеется сейчас...

Естественно, что каждый человек должен спать каждый день, должен есть, то есть он тратит время на стандартное времяпрепровождение. Опыт работы показывает, что примерно 12—13 часов брутто можно использовать на нестандартные способы времяпрепровождения: на работу служебную, работу научную, работу общественную, на развлечения и т. д.»

Сложность планирования была в том, как распределить время дня. Он решил, что количество отпускаемого времени должно соответствовать данной работе. То есть кусок дневного времени для работы над, допустим, оригинальной статьей не должен быть очень мал или слишком велик. На свежую голову надо заниматься математикой, при усталости — чтением книг.

Надо было научиться отстраняться от окружающей среды, чтобы три часа, проведенные за работой, соответствовали трем рабочим часам,— не отвлекаться, не думать о постороннем, не слышать разговора сотрудников...

Система могла существовать при постоянном учете и контроле. План без учета был бы нелепостью, вроде той, что совершают в некоторых институтах, планируя без заботы о том, можно ли выполнить этот план.

Надо было научиться учитывать в с е в р е м я.

Деятельное время суток, «нетто», он принял за десять часов; делил его на три части, или шесть половинок, и учитывал с точностью до десяти минут.

Он старался выполнить все намеченное количество работ, кроме работ первой категории, то есть самых творчески насыщенных.

Первая категория состояла из главной работы (над книгой, исследованием) и текущей (чтение литературы, заметки, письма).

Вторая категория включала научные доклады, лекции, симпозиумы, чтение художественной литературы — то есть то, что не являлось прямой научной работой.

Возьмем, к примеру, любую дневниковую запись, летний день 1965 года.

«Сосногорск. 0,5. Осн. научн. (библиогр.— 15 м. Добржанский — 1 ч. 15 м.). Систематич. энтомология, экскурсия — 2 ч. 30 м., установка двух ловушек — 20 м., разбор — 1 ч. 55 м. Отдых, купался первый раз в Ухте. Извест. 20 м. Мед. газ.— 15 м. Гофман «Золотой горшок» — 1 ч. 30 м. Письмо Андрону — 15 м. Всего 6 ч. 15 м.»

Прослежен, разнесен весь день, вплоть до чтения газет.

Что такое «Всего 6 ч. 15 м.»? Это, как видно из записи, сумма работ только первой категории. Остальное учтенное время — работа второй категории и прочее. Каждый день суммировалась работа первой категории. Затем она складывалась за месяц. Например, за этот август 1965 года набралось 136 часов 45 минут рабочего времени первой категории. Из чего состояли эти часы? Пожалуйста, все сведения имеются в месячном отчете.

«Основная научная работа	*—59 ч. 45 м.*
Систематич. энтомология	*—20 ч. 55 м.*
Дополнит. работы	*—50 ч. 25 м.*
Орг. работы	*— 5 ч. 40 м.*
Итого	*136 ч. 45 м.»*

А что такое «Основная научная работа», эти 59 ч. 45 м.? На что они были потрачены? Опять же все расшифровано в отчете:

«1. По таксонам — эскиз доклада «Логика системы»	*— 6 ч. 25 м.*
2. Разное	*— 1 ч. 30 м.*
3. Корректура «Дадонологии»	*— 30 м.*
4. Математика	*—16 ч. 40 м.*
5. Текущая литература: Ляпунов	*— 55 м.*
6. —»— биология	*—12 ч. 00 м.*
7. Научные письма	*—11 ч. 55 м.*
8. Научные заметки	*— 3 ч. 25 м.*
9. Библиография	*— 6 ч. 55 м.*
Итого	*60 ч. 15 м.»*

Можно пойти дальше, взять любой из этих пунктов. Допустим, пункт шестой, текущая литература: биология—12 часов. Оказывается, известно и записано с точностью до минуты, на что они были «израсходованы»:

«1. Добржанский «Мейнкайнд Эвольвинг». 372 стр., кончил читать (Всего 16 ч. 55 м.)	*— 6 ч. 45 м.*
2. Анош Карой «Думают ли животные», 91 стр.	*— 2 ч. 00 м.*
3. Рукопись Р. Берг	*— 2 ч. 00 м.*
4. Некоро З., Осверхдо... 17 стр.	*— 40 м.*
5. Рукопись Ратнера	*— 35 м.*
Итого	*12 ч. 00 м.»*

Большинство научных книг конспектировалось, а некоторые подвергались критическому разбору. Все выписки и комментарии регулярно подшивались в общий том. Эти тома, напечатанные на машинке — как бы итоги чтения,— составили библиотеку освоенного. Достаточно перелистать конспект, чтобы вспомнить нужное из книги.

У Любищева было редкое умение извлечь у автора все оригинальное. Иногда для этого хватало странички. Иные солидные книги сводились к нескольким страничкам. Сущность их никак не соответствовала объему.

Кроме работ первой категории, учитывались с той же подробностью и работы второй категории. Скрупулезность эту объяснить было труднее. С какой стати нужно выписывать и подсчитывать, что на чтение художественной литературы затрачено 23 часа 50 минут! Из них: *«Гофман, 258 стр.— 6 часов»; «Предисловие о Гофмане Миримского — 1 ч. 30 м.»* и т. д., и т. п.

Далее восемь английских названий, всего 530 страниц.

Написано семь плановых (!) писем.

Прочитано газет и журналов на столько-то часов, письма родным — столько-то часов.

Можно было считать такие подробности излишеством, тогда спрашивается, к чему из года в год производить анализ времени, от которого никакой пользы, только зря на него тратится время.

У Любищева все было продумано.

Выясняется, что для Системы нужно было знать все деятельное время, со всеми его закоулками и пробелами. Система не признавала времени, негодного к употреблению. Время ценилось одинаково дорого. Для человека не должно быть времени плохого, пустого, лишнего. И нет времени отдыха: отдых— это смена занятий, это как правильный севооборот на поле.

Ну что ж, в этом была своя нравственность, поскольку любой час засчитывается в срок жизни, они все равноправны, и за каждый надо отчитаться.

Отчет — это отчет перед намеченным планом. Отчет — и сразу план на следующий месяц. Что, для примера, было в плане сентября 1955 года? Намечено: 10 дней в Новосибирске, 18 дней — в Ульяновске, 2 дня — в дороге. Далее: сколько часов на какую работу затратить. В подробностях. Допустим, письма: 24 адреса — 38 часов. Список нужной литературы, которую надо прочесть; что сделать по фотографии; кому написать отзыв.

Хотя бы грубо распределялось время по плану работ, предложенному службой, институтом, по прежнему опыту...

«При составлении годовых и месячных планов приходится руководствоваться накопленным опытом. Например, я планирую прочесть такую-то книгу. По старому опыту я знаю, что в час я прочитываю 20—30 страниц. На основании старого опыта я и планирую. Напротив, по математике я планирую прочитать 4—5 стр. в час, а иногда и меньше страниц.

Все прочитанное я стараюсь проработать. В чем заключается проработка? Если книга касается нового предмета, мало мне известного, то я стараюсь ее проконспектировать. Стараюсь на каждую более или менее серьезную книгу написать критический реферат. На основе прошлого опыта можно наметить для проработки известное количество книг».

«При серьезном отношении к делу обычно отклонение фактически проработанного времени от намеченного бывает в 10%. Часто бывает, что не удается проработать намеченное количество книг, создается большая задолженность. Часто появляются новые интересы, а потому задолженность бывает велика, и скоро ликвидировать ее невозможно, а потому имеет место невыполнение плана. Бывает невыполнение плана по причине временного упадка работоспособности. Бывают внешние причины невыполнения плана, но во всяком случае, мне ясно, что планировать свою работу необходимо, и я думаю, что многое из того, чего я достиг, объясняется моей системой».

Время, что оставалось для основных работ, планировалось: подготовка к лекциям, экология, энтомология и другие научные работы. Обычно работа второй категории превышала работу первой категории процентов на десять.

Всякий раз меня поражала точность, с какой выполнялся план. Случалось, разумеется, и непредвиденное. В отчете за 1938 год Любищев пишет, что работы первой категории не выполнены на 28 процентов:

«Главная причина — болезнь Оли и Вали, отчего увеличилось общение с людьми».

Время у него похоже на материю — оно не пропадает бесследно, не уничтожается, всегда можно разыскать, во что оно обратилось. Учитывая, он добывал время. Это была самая настоящая добыча.

Годовой отчет — уже многостраничная ведомость, целая тетрадь. Там расписано буквально все. В том же 1938 году: сколько заняла экология, энтомология, оргработа, Зообиоло-

гический институт, Плодоягодный институт в Китаеве: сколько времени ушло на общение с людьми, передвижение, домашние дела.

Из этого учета можно узнать, сколько было прочитано, каких книг и сколько страниц художественной литературы на разных языках. Оказывается, за год — 9000 страниц. Потребовалось на них — 247 часов.

Написано за тот же год 552 страницы научных трудов, из них напечатано 152 страницы.

По всем правилам статистики Любищев исследует свой минувший год. Материалов достаточно — это месячные отчеты.

Теперь надо составить годовой план. Он составляется с грубой прикидкой, исходя из помеченных для себя задач.

«Центральный пункт — (1968 год) международный энтомологический конгресс в Москве, в августе, где думаю сделать доклад о задачах и путях эмпирической систематики».

Он пишет, какие статьи надо закончить к конгрессу, что сделать по определению вида Халтика. Сколько дней пробыть в Ульяновске, в Москве, в Ленинграде. Сколько написать страниц основной в эти годы работы «Линии Демокрита и Платона», сколько по таксономии и эволюции — «О будущем систематики». После этого и следует грубое распределение времени в условных единицах.

«Работа 1-й категории	*570 (564,5)*
Передвижение	*140 (142,0)*
Общение	*130 (129)*
Личные дела	*10 (8,5)»*

И так далее, всего — 1095.

В скобках проставлено исполнение. Совпадаемость показывает, как точно он мог планировать свою жизнь на год вперед.

В отчете он придирчиво отмечает:

«Учтенных работ первой категории 564,5 против плана 570, дефицит 5,5, или 1,0%».

То есть все сошлось с точностью до одного процента!

Хотя в месячном отчете есть все подробности, тем не менее в годовом все сделанное, прочитанное, увиденное разбито на группы, подгруппы. Тут и работа, и отдых — буквально все, что происходило в минувшем году.

«Развлечение — 65 раз», и следует список просмотренных спектаклей, концертов, выставок, кинокартин.

Шестьдесят пять раз — много или мало?

Кажется, что много; впрочем, боюсь утверждать — ведь я не знаю, с чем сравнивать. С моим личным опытом? Но в том-то и штука, что я не подсчитывал и не представляю, сколько раз в году я посещаю кино, выставки, театр. Хотя бы приблизительную цифру не берусь сразу назвать, тем более динамику: как у меня с возрастом меняется эта цифра и сколько книг я читаю. Больше я стал читать с годами или меньше? Как меняется процент научных книг, беллетристики? Сколько я пишу писем? Сколько я вообще пишу? Сколько времени в год уходит на дорогу, на общение, на спорт?

Ничего достоверного я не знаю. О самом себе. Как я меняюсь, как меняется моя работоспособность, мои вкусы, интересы... То есть мне казалось, что я знал о себе,— пока не столкнулся с отчетами Любищева и не понял, что, в сущности, ничего не знаю, понятия не имею.

«...Всего в 1966 году учитывалось работ первой категории — 1906 часов против плана 1900 часов. По сравнению с 1965 годом превышение на 27 часов. В среднем в день 5,22 часа, или 5 ч. 13 м.»

Представляете — пять часов тринадцать минут чистой научной работы ежедневно, без отпуска, выходных и праздников в течение года! Пять часов чистой работы, то есть никаких перекуров, разговоров, хождений. Это, если вдуматься, огромная цифра.

А вот как выглядит итог на протяжении ряда лет:

«1937 г.— 1840 часов
1938 г.— 1402 часа
1939 г.— 1362 часа
1940 г.— 1560 часов
1941 г.— 1342 часа
1942 г.— 1446 часов
1943 г.— 1612 часов»

и так далее.

Это часы основной научной работы, не считая всей прочей, вспомогательной. Часы, занятые созданием, размышлением...

Ни на одной, самой тяжелой, работе не было, наверное, такого режима — его может установить человек для себя только сам.

Любищев работает побольше иных рабочих. Он мог бы, подобно Александру Дюма, в доказательство поднять свои руки, показывая мозоли. Написать полторы тысячи страниц

в год! Отпечатать 420 фотоснимков! Это — в 1967 году. Ему уже семьдесят семь лет.

«На русском языке прочитано 50 книг — 48 часов
На английском » » 2 книги — 5 часов
На французском » » 3 книги — 24 часа
На немецком » » 2 книги — 20 часов

Сдано в печать семь статей...»

«...Долгое пребывание в больнице отразилось, конечно, в превышении чтения, но план главной работы перевыполнен, хотя многое не было сделано. Так, например, статья «Наука и религия» заняла в пять раз больше времени, чем предполагалось».

Подробности годовых отчетов напоминают отчет целого предприятия. С каким вкусом и наглядностью очерчен силуэт утекшего времени, все эти таблицы, коэффициенты, диаграммы. Недаром Любищев считался одним из крупнейших систематиков и специалистов по математической статистике.

В числе прочего имелся переходящий остаток непрочитанных книг — задолженность:

«Дарвин Э. «Храм природы» 5 ч.
Де Бройль «Революция в физике» 10 ч.
Трингер «Биология и информация» 10 ч.
Добржанский 20 ч.»

Списки задолженности возобновляются из года в год, очередь не убывает.

Есть сведения неожиданные: купался 43 раза, общение — 151 час, больше всего понравились такие-то фильмы...

Читать его отчеты скучновато, изучать — интересно.

Все же как невероятно много может сделать, увидеть, узнать человек за год! Каждый отчет — это демонстрация человеческих возможностей, каждый отчет вызывает гордость за человеческую энергию. Сколько она способна создать, если ее умно использовать! И, кроме того, впервые я увидел, какую колоссальную емкость имеет один год.

Кроме годового планирования, Любищев планировал свою жизнь на пятилетки. Через каждые пять лет он устраивает разбор прожитого и сделанного, дает, так сказать, общую характеристику.

«...1964—1968 годы... По Халтику: сделал очень много, но если я монографию палеартич. Халтика закончу в следующую пятилетку, то буду очень доволен. Коллекцию кончил, однако до нахождения расстояния между рядами не мечтаю

и в следующей пятилетке... Таким образом, хотя ни по одному разделу я не выполнил формально и половины, тем не менее по всем заметно продвинулся...»

Обычно он работал широким фронтом. Пятилетка, о которой шла речь, была занята математикой, таксономией, эволюцией, энтомологией и историей науки. Поэтому и отчеты, и планы состоят из многих разделов, подразделов.

Учет, конечно, хорош, и все же, простите, на кой ляд это все надо, не лучше ли потратить это время на дело? Не съедают ли эти отчеты сэкономленное время?

Множество разных ироничных вопросов возникает, несмотря на наше восхищение и удивление.

Прежде всего, конечно, в глубине души обязательно прозвучит с ехидством: а кому нужна такая отчетность? Кто, собственно говоря, ее читает? И перед кем, извините, обязан он отчитываться да еще в письменном виде?

Потому как, что бы там ни говорилось, душа не принимала все эти отчеты просто как работу добровольную, ради своего потребления,— все искались какие-то тайные причины и поводы. Что угодно, кроме самовнимания — казалось бы, естественнейшего внимания и интереса к себе, ко внутреннему своему миру. Изучать самого себя? Странно. Все же он чудак. Наилучшее утешение — считать его чудаком: мало ли бывает на свете чудаков...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

о том, сколько все это стоит и стоит ли оно этого

Сколько же времени занимали эти отчеты? И этот расход, оказывается, был учтен. В конце каждого отчета проставлена стоимость отчета в часах и минутах. На подробные месячные отчеты уходило от полутора до трех часов. Всего-навсего. Плюс план на следующий месяц — один час. Итого: три часа из месячного бюджета в триста часов. Один процент, от силы два процента. Потому что все зиждилось на ежедневных записях. Они занимали несколько минут, не больше. Казалось бы, так легко, доступно любому желающему... Привычка почти механическая — как заводить часы.

Годовые отчеты отнимали побольше, семнадцать — двадцать часов, то есть несколько дней.

Тут требовался самоанализ, самоизучение: как меняется производительность, что не удается, почему...

Любищев вглядывается в отчет, как в зеркало. Амальгама этого зеркала отличалась тем, что отражала не того, кто есть, а того, кто был, только что минувшее. В обычных зеркалах человек под собственным взглядом принимает некое выражение, не важно, какое — главное, что принимает. Он—тот, каким хочет казаться. Дневник тоже искажает, там не увидеть подлинного отражения души.

У Любищева отчет беспристрастно отражал историю прожитого года. Его Система в свои мелкие ячеи улавливала текучую, всегда ускользающую повседневность, то Время, которого мы не замечаем, недосчитываемся, которое пропадает невесть куда.

Что мы удерживаем в памяти? События. Ими мы размечаем свою жизнь. Они как вехи, а между вехами — пусто... К примеру, куда делись эти последние месяцы моей жизни с тех пор, как я стал писать о Любищеве? Собственно, работы за столом было немного,— на что же ушли дни? Ведь что-то я делал, все время был занят, а чем именно—не вспомнишь. Суета или необходимое — чем отчитаться за эти девяносто дней? Если бы только эти месяцы... Когда-то, в молодости, под Новый год, я спохватывался: год промелькнул, и опять я не успел сделать обещанного себе, да и другим — не кончил романа, не поехал в Новгородчину, не ответил на письма, не встретился, не сделал... Откладывал, откладывал, и вот уже откладывать некуда.

Теперь стараюсь не оглядываться. Пусть идет как идет, что сделано — то и ладно. Перечень долгов стал слишком велик.

Конечно, признавать себя банкротом тоже не хочется. Лучше всего об этом не думать. Самое умное — это не размышлять над собственной жизнью.

Упрекать себя Любищевым? Это еще надо разобраться. От таких учетов и отчетов человек, может, черствеет, может, от рационализма и расписаний организм превращается в механизм, исчезает фантазия. И без того со всех сторон нас теснят планы — план учебы, программы передач, план отдела, план отпусков, расписание хоккейных игр, план изданий. Куда ни ткнешься, все заранее расписано. Неожиданное стало редкостью. Приключений — никаких. Случайности — и те исчезают. Происшествия — и те умещаются раз в неделю на последней странице газеты.

Стоит ли заранее планировать свою жизнь по часам и минутам, ставить ее на конвейер? Разве приятно иметь перед

глазами счетчик, безостановочно учитывающий все промахи и поблажки, какие даешь себе!

Легенда о шагреневой коже — одна из самых страшных. Нет, нет, человеку лучше избегать прямых, внеслужебных отношений со Временем, тем более что это проклятое Время не поддается никаким обходам и самые знаменитые философы терялись перед его черной, все поглощающей бездной...

Систему Любищева было легче отвергнуть, чем понять, тем более что он никому не навязывал ее, не рекомендовал для всеобщего пользования — она была его личным приспособлением, удобным и незаметным, как очки, обкуренная трубка, палка...

А может, она, эта система, была постоянным преодолением? Или, кто знает, многолетней полемикой?.. С чем? С обычной жизнью. С желанием расслабиться и жить расточительно, не считая минут, как жили все люди вокруг него.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

где автор привычно сводит концы с концами и получает схему, которая могла бы удовлетворить всех

Из отчетов, дневников, отчасти из писем передо мною возникал железный человек, которому ничто не могло помешать выполнить намеченное. Рыцарь плановой жизни. Робот. Подвижник системы.

В 1942 году, когда пришло известие о гибели сына Всеволода, Александр Александрович, несмотря на горе, неукоснительно продолжал свои работы.

План на 1942 год предусматривал:

«...1) Я буду весь год в Пржевальске. 2) Не буду иметь совместительства. 3) Не буду лично вести интенсивной работы по прикладной энтомологии, ограничусь руководством и обследованием фауны Иссык-Кульской области... Исходя из этого, можно общий объем работы первой категории планировать на уровне 1937 года (рекордный год по эффективности), но т. к., во-первых, в связи с войной возможность напечатания исключается, во-вторых, вероятна полная гибель моего научного архива в Киеве, в-третьих, необходимо по моему возрасту приступать, не откладывая, к выполнению основного плана моей жизни — «Теоретическая систематика и общая натурфилософия», — то на 1942 год по основной работе не на-

мечено окончания каких-либо научных работ, кроме трех небольших докладов научно-политического характера».

Запланировал и выполнил, 1942 год был одним из эффективных. Личная трагедия как бы не повлияла на работоспособность.

Пора, пора «приступать, не откладывая»: он словно бы вычислил, сколько ему остается, чтобы «замкнуть круг».

Личная жизнь с ее переживаниями не должна мешать работе — переживаниям и прочим волнениям и горестям отведен свой час под рубрикой «домашние дела».

Я огрубляю, хотя тридцатилетний кандидат технических наук, начальник лаборатории телеуправления НИИ сказал мне, что это не огрубление, а подчеркивание нужных качеств. Слезами горю не поможешь, сказал он, чем раньше человек может взять себя в руки, тем лучше; скорбь по умершим — остаток религиозных чувств, мертвого не оживишь — какой же смысл скорбеть?

— Церемония похорон устарела,— сказал он.— Согласитесь, что прочувствованные эти речи на гражданских панихидах только растравляют души родным, утешения от речей никакого. Процедура нерациональная. Современный человек должен быть рационалистом, а мы стесняемся нашего разума, думаем смягчить себя сантиментами.

Он предлагал мне показать в Любищеве идеальный тип современного ученого. Максимально организованного, недоступного лишним эмоциям, умеющего выжать все, что только можно, из окружающих обстоятельств, и при этом, разумеется, благородного, порядочного...

— ...Между прочим, это, к вашему сведению,— следствие разума. Воля и Разум — вот два решающих качества. Ныне чего-то достигнуть в науке можно, если есть железная Воля, действующая в упряжке с Разумом. Ругают рационалистов, а, собственно, почему? Что плохого, если все — от ума? Разум не противоречит нравственности. Наоборот. Истинный разум всегда против подлости и всякой низости. Умный человек понимает, что нравственность — она, в конечном счете, выгоднее, чем безнравственность.

Сквозь его наивные и умные рассуждения слышалась тоска, желание найти пример, на который можно было бы опереться. Ему нужен был современный Базаров, идеал рационального человека, настоящий ученый, достигший успеха благодаря разумно выстроенной, сконструированной жизни, героические, нравственно-благородные поступки которого со-

вершаются по уму, а не по чувству. Этот идеал, кажется, появился: жил-был обыкновенно способный человек, а стал совершенством, большим ученым, прекрасным человеком; он устроил себя, улучшил... Любищев как нельзя лучше подходил для этой роли — он, можно считать, устроил себя по самой что ни на есть рациональной методе, создал для этого Систему, с ее помощью доказал, как многого можно достигнуть, если фокусировать все способности на одной цели. Стоит методично, продуманно, на протяжении многих лет применять Систему — и это даст больше, чем талант. Способности с ее помощью как бы умножаются. Система — это дальнобойное оружие, это линза, собирающая воедино лучи. Это торжество Разума.

Любищев не год, не два прожил по своей безупречной геометрии. Огромная его жизнь прошла без существенных отклонений, утверждая триумф его Системы. Он поставил на самом себе эксперимент — и добился успеха. Вся его жизнь была образцово устроена по законам Разума. Он научился поддерживать свою работоспособность стабильной и последние двадцать лет жизни работал ничуть не меньше, чем в молодости. Система помогала ему физиологически и морально... А все эти упреки насчет машинности не стоило принимать во внимание. Машинность не страшна ни Разуму, ни душе. Постыдно для духа бояться научного рационализма. Если уж на то пошло, не машинность надо сталкивать с духом, а рабский дух с высоким духом. Дух, обогащенный знаниями, работой мысли, свободен от порабощающей власти машинности...

Таким образом, я вполне мог представить всем этим железным «технарям», моим друзьям из НИИ и КБ, всем молодым кандидатам, перспективным докторам, всем мечтающим достигнуть, добиться, влюбленным в суперменов науки,— великолепного, невыдуманного героя, с именем и биографией, и в то же время идеально устроенную личность, достигшую наивысшего кпд. Все его параметры известны, рекордные показатели — налицо. Живой человек, и в то же время искусственное самосоздание, достойное восхищения.

Моему приятелю было не суть важно, насколько все это достоверно, его мало заботила совместимость моего героя с настоящим Любищевым. Отступления от подлинника неизбежны; главное, считал он, заострить на этом примере идею, выделить ее, так сказать, в чистом виде, как это делал Гоголь...

Довольно ловко у него все сходилось, и получилось убедительно и даже заманчиво, но меня останавливал живой Любищев. Мешал он мне. Тот Любищев, которого я знал, с которым встречался и беседовал, согласно записям дневника, «1 ч. 35 минут» и «1 ч. 50 минут», и еще несколько раз...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

названная самим Любищевым «О генофонде» и о том, что из этого получилось

На самом деле все происходило несколько иначе. То есть факты, которые я приводил, были абсолютно точны, но кроме них имелись и другие. Они путали картину, они нарушали стройность — стоило ли их учитывать? Литература, искусство вынуждены отбирать факты, что-то отвергать, что-то оставлять. Художник выбирает для портрета либо фас, либо профиль. Половина человека всегда остается скрытой за плоскостью холста.

Лист книги — та же секущая плоскость. Я добиваюсь не объема, а лишь впечатления объема. Противоречивые факты мешают законченности. Они взрывают готовую отливку на мелкие осколки, краски покидают рисунок и блуждают по холсту.

Если бы я не был знаком с Любищевым, мне все было бы проще...

Смерть сына он переживал долгие годы. Он держался за жесткий распорядок жизни, как лыжник на воде за трос катера. Стоило отпустить, потерять скорость — и он ушел бы под воду. Были периоды такого отчаяния и тоски, когда он заполнял дневник механически, механически препарировал насекомых, машинально писал этикетки. Наука теряла смысл; его мучило одиночество, никто не разделял его идей, он знал, что окажется прав, но для этого нужно было много времени, надо было пройти в одиночку зону пустыни, и не хватало сил.

Он мог подчинить себе Время, но не обстоятельства. Он был всего-навсего человек, и все отвлекало его — страсти, любовь, неудачи, даже счастье — и то относило его в сторону.

Второй брак принес ему долгожданный семейный покой.

Он пишет вскоре после женитьбы своему другу и учителю:

«...Обстановка исключительного домашнего уюта отвлекает меня от поля моей жизни. Я могу Вам, моему старому другу, признаться, что даже научные интересы у меня резко ослабли. Не обвиняйте меня, дорогой друг, Вы простили мне в прошлом немало прегрешений, простите и это. Это не измена науке, а увлечение слабого человека, прожившего суровую жизнь и попавшего теперь в цветущий оазис...»

Признание даже другу требует нравственных усилий. Человек не может исповедоваться каждый день. Ежедневно Любищев мог лишь отмечаться в своем дневнике. И потом вычислить степени своей слабости, своей расплаты за счастье. И то это требовало огромных душевных усилий. Откуда он черпал волю, откуда он находил силы для одинокого пути, откуда в нем был дух противостояния? Ведь это всегда странно,— откуда вдруг возникают Дон Кихоты, Святые, Юродивые, почему человек вдруг без видимых, да и невидимых, толчков становится революционером, обрекает себя на путь борьбы и невзгод? Бывает воля обстоятельств, среды, но бывает, и часто, что-то заложенное, запрограммированное, то самое, что в старину означалось словом — судьба.

Из письма Александра Александровича Любищева к Ивану Ивановичу Шмальгаузену (1954):

«КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ,
ЧТОБЫ ЛУЧШЕ МОЖНО БЫЛО ПОНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ

(О генофонде)

...В порядке старческой болтливости я попытаюсь Вам изложить тот генофонд, который я получил от моих родителей и дедов.

Вероятно, Вам неизвестно, что мои предки по отцу получили в свое время весьма «направленное» воспитание: они были крепостными графа Аракчеева, но и тогда не теряли бодрости и исправно торговали (видимо, были оброчными). Поэтому я с полным основанием могу утверждать, что в моих хромосомах имеется ген оптимизма или, даже правильнее будет сказать,— гиляризма (от gilarus — веселый). Мой прадед умер от холеры во времена Николая I, и дедушка, отец отца, Алексей Сергеевич, потеряв в течение нескольких дней от холеры мать, отца и двух теток, остался круглым си-

ротой в возрасте восьми лет или девяти лет. Но ген гиляризма был настолько силен, что он не мог плакать на похоронах и для приличия, чтобы вызвать слезы, пользовался луком. В дальнейшей жизни он все рассказы свои всегда сопровождал смехом, даже когда говорил о печальных событиях, и это было не потому, что он был жестокий или равнодушный к человеческому горю человек — напротив, он был прекраснейший человек — просто действовал ген гиляризма.

Мой папаша тоже был очень веселый и неунывающий человек, причем в таких обстоятельствах, что у всех его знакомых вызывал искреннее удивление. По сравнению со своими предками я являюсь, конечно, достаточно дегенерированным потомком, хотя и считаюсь жизнерадостным человеком.

Другой ген, который я скорее унаследовал по материнской линии, можно назвать геном дискутизма или догоррэизма: болтливости или любви к спорам. Моя мать — урожденная Болтушкина, и, очевидно, фамилия была дана моим предкам не зря, так как дедушка мой, Дмитрий Васильевич, очень любил спорить; когда ездил в поезде, то специально отыскивал спорящего собеседника — соглашающийся с ним собеседник его не удовлетворял.

Несомненно от предков я унаследовал ген номадизма (от греческого nomados — кочевник) или даже авантюризма, что и неудивительно, так как оба моих родителя родом из Новгородской губернии и уезда, а новгородцы, как известно, были бродяги убежденные...

...В подтверждение этого гена номадизма могу привести такие данные: 1) дедушка мой, Дмитрий Васильевич, в молодости бежал в Митаву для получения образования, но оттуда обманом был возвращен в родительский дом; 2) дядюшка мой по матери, Василий Дмитриевич, был добровольцем в черняевских отрядах перед русско-турецкой войной 1877 года; 3) дедушка мой по отцу, Алексей Сергеевич, ужасно любил странствовать, и так как в те времена туризма еще не было, то он странствовал по святым местам и был два раза в Иерусалиме.

Ни я, ни моя жена (мать которой была урожденная Любищева) совсем не имеем тяготения к нашему родному городу Ленинграду и, в отличие от большинства ленинградцев, не имеющих в хромосомах гена номадизма, не стремимся там жить.

Должен сказать, что у моих предков имеется тоже ген антидогматизма. Упомянутый мной дедушка, Дмитрий Васильевич, был в достаточной степени вольтерьянцем, читал

Дарвина и Бокля и был достаточно свободомыслящим человеком... Не был догматиком и мой незабвенный отец. Он был искренно верующим христианином, но у него полное отсутствие фанатизма и нетерпимости. По классификации Салтыкова-Щедрина, он был верующим не потому, что боялся черта, а потому, что любил бога, и его бог, как бог бабушки Горького, был бог милосердия и любви. Он регулярно по праздникам посещал церковные службы, эстетически воспринимал их и, когда случалось, например за границей, посещал католические и протестантские храмы, а при проезде через Варшаву обязательно посещал хоральную синагогу.

Отец мой получил самое скромное, как называли раньше—«домашнее» образование в селе, по профессии был коммерсант. Казалось, можно было ожидать, что в нашем семействе были домостроевские нравы. Ничего подобного! С очень раннего возраста я горячо спорил с отцом по политическим вопросам (отец был очень умеренных политических взглядов, т. к. очень не хотел революции), и, однако, я никогда не слышал от отца слов: «Замолчи, ты моложе меня»,—он всегда спорил со мной как равный с равным.

Могу сказать, что по отцовской линии у меня, вероятно, получен г е н з а г р е б е н и з м а. Должно быть, мой прапрадедушка, Артемий Петрович (самый отдаленный предок по отцу, известный мне), носил фамилию Загребин: фамилия чисто кулацкая, и он, как я уже говорил, торговал, будучи крепостным крестьянином. Но загребенизм в нашем роду проявлялся в разных формах: у отца был материальный загребенизм (он был делец, по активности не уступавший, несомненно, американцам) и несомненный умственный загребенизм: он с детства стремился к самообразованию, и умственные интересы, самые живые, сохранил до самой смерти. Умер он восьмидесяти шести лет от роду во время Великой Отечественной войны. У меня материальный загребенизм ослабел. Это вызвало в свое время огорчение моего отца, который (один из немногих) высоко ценил мои практические способности и иногда вздыхал: «Эх, если бы Саша мне помогал, мы бы пол Новгородской губернии скупили». Эти вздохи выражали единственную ноту протеста против избранной мною научной карьеры, которой он не только не препятствовал, но всеми силами содействовал. После революции ему, конечно, не пришлось жалеть о сделанном мной выборе. Интеллектуальный загребенизм у меня сохранился полностью в смысле неослабевающего интереса к разнообразным и все более широким знаниям.

Наконец, в моем генофонде имеется несомненный ген филантропизма. Об этом свидетельствует моя фамилия — Любищев. Основателем ее, кажется, был мой прадедушка Сергей Артемьевич, который любил говорить при обращении: «Любищепочтеннейший», отчего и произошла наша фамилия. Отец мой был исключительно благожелательный человек и всегда думал о людях лучше, чем они того заслуживали, и только тогда верил какому-нибудь порочащему слуху, когда все сомнения исчезали.

Вот какова моя генеалогия: как видите, мои качества я получил от моих предков, в первую очередь от моего незабвенного отца, но, видимо, многое заимствовал от моего дедушки, Дмитрия Васильевича, который меня особенно любил с раннего детства, хотя вообще детей особенно не жаловал».

Самооценки Любищева позволяют выяснить некоторые его нравственные критерии, может быть, наиболее существенное в этом характере. Потому что, когда сталкиваются наука и нравственность, меня прежде всего интересует нравственность. Не только меня. Пожалуй, большинству людей душевный облик Ивана Петровича Павлова, Дмитрия Ивановича Менделеева, Нильса Бора важнее деталей их научных достижений. Пусть противопоставление условно — я согласен на любые условности, чтобы подчеркнуть эту мысль. Чем выше научный престиж, тем интереснее нравственный уровень ученого.

Научная работа Игоря Курчатова и Роберта Оппенгеймера, вероятно, сравнима, но людей всегда будет привлекать благородный подвиг Курчатова, и они будут задумываться над мучительной трагедией Оппенгеймера. Среди высших созданий человека наиболее достойные и прочные — нравственные ценности. С годами ученики без сожаления меняют себе наставников, мастеров, ученых, меняют шефов, меняют любимых художников, писателей, но тому, кому посчастливится встретить человека чистого, душевно красивого — из тех, к кому прилепляешься сердцем,— ему нечего менять: человек не может перерасти доброту или душевность.

Время от времени в письмах Любищева попадаются самооценки. Как правило, он прибегал к ним для сравнения. Они открывают нравственные, что ли, ландшафты и самого Любищева, и его учителей, и друзей.

Член-корреспондент АМН Павел Григорьевич Светлов, один из друзей Любищева, занимался биографией замечатель-

ного биолога Владимира Николаевича Беклемишева. По этому поводу Александр Александрович писал Светлову:

«...Ты упустил одну черту, чрезвычайно важную: совершенно феноменальный такт Владимира Николаевича и его выдержку... Так как у меня эта черта как раз в минимуме, то я всегда поражался ею у В. Н. Я очень резок, и моя критика часто больно ранила людей, даже мне близких. Правда, это ни разу не разрушило истинной дружбы, и часто критикуемые становились моими друзьями, но нередко после обильного пролития слез.

...В. Н. знал хорошо латинский язык (но, кажется, плохо знал греческий) и для отдыха любил читать сочинения римских авторов, хотя, помню, читал и Геродота, но, кажется, не в оригинале. Это у него было занятие для отдыха, не связанное с его научной работой... Помню наши разговоры о Данте. Он был восторженнейший дантист, если можно так выразиться,— считал, что Данте недооценивают... Я признавал красоту стихов Данте, но не видел высоты его мировоззрения. Напротив, многие места Данте меня глубоко возмущали. Например, его знаменитое начало вступления в ад (цитирую по памяти, не уверен в точности):

Per me si va nella citta dolente
Per me si va neleterno dolore
Per me si va tra la perdute gente
Ciustizzia mosse il mio alto fattore
Fecemi la divina potestate
La somma sapienza e il prima amore
Dinanzi a me non fur cose create
Se non eterno e io eterno duro
Lasciate ogni speranza voi chentrate... [1]

Или — в другом месте:

Chi e piu scelleranto' chi colui
Chi a giustizzia divin compassion porta...

---

[1] Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям.
Был правдою мой зодчий вдохновлен:
Я высшей силой, полнотой всезнанья
И первою любовью сотворен.
Древней меня лишь вечные созданья,
И с вечностью пребуду наравне.
Входящие, оставьте упованья.

(Прим. авт.)

...Вторая фраза звучит так: кто может быть бóльшим злодеем, чем тот, кто сострадает осужденным Богом. И эта фраза следует за таким местом, где Данте встречает какого-то своего политического противника, и тот просит чем-то облегчить его страдания. Данте обещает ему это сделать, но в самый последний момент изменяет своему обещанию и злорадно смеется над муками врага...— Это даже не суровое доминиканство, беспощадное к друзьям и родным, а нечто гораздо худшее... Вся его «Комедия» отнюдь не божественная, а самая земная, человеческая... Это и многое другое непонятно с религиозной, прежде всего христианской точки зрения. Для В. Н. же Данте был не только выдающийся поэт (этого я не отрицаю), но и провидец, видевший «умными» очами то, что невидимо обычным людям. Тут, очевидно, проходит грань между мной и мне подобными — многими людьми, видящими в Шекспире не только выдающегося драматурга и в Пушкине не только выдающегося поэта, но и лидеров человеческой мысли, что я вовсе отрицаю. Та моральная высота, которая была уже достигнута в древнегреческих трагедиях учениками Сократа, Платона и Аристотеля, совершенно отсутствует у Данте. Так по поводу Данте мы с Владимиром Николаевичем договориться не могли.

...Я думаю, что то разделение своих интересов, которое В. Н. провел, было оптимальным, а кроме того, от его работы с комарами было огромное нравственное удовлетворение, что эти работы непосредственно полезны народу. А что касается того, что многие планы остались невыполненными, так я думаю, что у всякого человека широкого диапазона планов столько, что их выполнить невозможно.

...Если бы моя резкость была связана с нетерпимостью, то я нашел бы много личных врагов. Мое сильное свойство, что в полемике я никогда не преследую личных целей. В. Н. же умел столь же строгую критику преподносить безболезненно. Я, конечно, веселее В. Н. и люблю трепаться и валять дурака. Я в детстве совсем не дрался и не любил драться, вообще был очень смирным внешне, но интеллектуальную борьбу люблю, и в этой борьбе веду себя подобно боксеру: я не чувствую сам ударов и имею право наносить удары. Эта практика оказалась совсем не вредной, я не нажил личных врагов и, живя в разных странах, великолепно ладил с разноплеменным населением.

...В чем я считаю себя сильнее В. Н. и что он тоже признавал, это, как он выражался, большая метафизическая сме-

лость, истинный нигилизм в определении Базарова, т. е. непризнание ничего, что бы не подлежало критике разума... Ввиду наличия у В. Н. непогрешимых для него догматов он был нетерпимее, чем я, но эту нетерпимость никогда не проявлял извне. Мы же так отвыкли от истинного понимания терпимости, что часто всякую критику (т. е. отстаивание права иметь собственное мнение) уже рассматриваем как попытку «навязать» свое мнение, т. е. нетерпимость. Но единственная сила, которую можно применять,— это сила разума, и сила разума не есть насилие... Я хорошо помню великолепные слова Кропоткина «люди лучше учреждений», это он сказал относительно деятелей царской охранки. Я бы прибавил: люди лучше убеждений.

...По ряду соображений, частично внутренних, частично внешних, я начал собирать насекомых с 1925 года (прежде всего блошек) и примерно с того же времени — читать лекции по сельхозвредителям в Пермском университете.

...Американец Блисс, когда мы с ним ездили в командировку по Украине и по Кавказу, сказал мне по поводу моего обычая одеваться более чем просто, игнорируя мнение окружающих: «Я восхищаюсь вашей независимостью в одежде и поведении, но, к сожалению, не нахожу в себе сил вам следовать». Такой комплимент от действительно умного человека перекрывает тысячи обид от пошляков... По-моему, для ученого целесообразно держаться самого низкого уровня приличной одежды, потому что 1) зачем конкурировать с теми, для кого хорошая одежда — предмет искреннего удовольствия; 2) в скромной одежде — большая свобода передвижения; 3) некоторое даже сознательное «юродство» неплохо: несколько ироническое отношение со стороны мещан — полезная психическая зарядка для выработки независимости от окружающих...»

Цитирую я здесь, как можно видеть, разные, выборочные места, связанные с характером Любищева и с уровнем культуры его среды.

Они могли спорить о Данте, читая его в подлиннике, наизусть. Они приводили по памяти фразы из Тита Ливия, Сенеки, Платона. Классическое образование? Но так же они знали и Гюго, и Гете, я уже не говорю о русской литературе.

Может показаться, что это — письмо литературоведа, да притом специалиста. В архиве Любищева есть статьи о Леско-

ве, Гоголе, Достоевском, «Драмах революции» Ромена Роллана.

Может, литература — его увлечение? Ничего подобного. Она — естественная потребность, любовь без всякого умысла. На участие в литературоведении он и не покушался. Это было нечто иное — свойство ныне забытое: он не умел просто потреблять искусство, ему обязательно надо было осмыслить прочитанное, увиденное, услышанное. Он как бы перерабатывал все это для своего жизневоззрения. Наслаждение и от Данте, и от Лескова было тем больше, чем полнее ему удавалось осмыслить их.

В одном из писем он цитирует Шиллера, куски из «Марии Стюарт» и «Орлеанской девы». Цитаты переходят в целые сцены, чувствуется, что Любищев забылся — и переписывает, и переписывает, наслаждаясь возможностью повторить полюбившиеся монологи. Так что было и такое...

Уровень культуры этих людей по своему размаху, глубине сродни итальянцам времен Возрождения, французским энциклопедистам. Ученый тогда выступал как мыслитель. Ученый умел соблюдать гармонию между своей наукой и общей культурой. Наука и мышление шли рука об руку. Ныне это содружество нарушилось. Современный ученый считает необходимым — з н а т ь. Подсознательно он чувствует опасность специализации и хочет восстановить равновесие за счет привычного ему метода — з н а т ь. Ему кажется, что культуру можно з н а т ь. Он «следит» за новинками, читает книги, смотрит картины, слушает музыку — внешне он как бы повторяет все необходимые движения и действия. Но — без духовного освоения. Духовную, нравственную сторону искусства он не переживает. Осмысления не происходит. Он «в курсе», он «осведомлен», «информирован», он «сведущ», но все это почти не переходит в культуру.

— А наше дело — заниматься конкретными вещами,— говорил мой технарь. Он был упоен могуществом своей электроники, своими сверхкрохотными лампами, их чудодейственными характеристиками, которые обещали дать человеку еще большие удельные мощности.

— Размышление на общие темы не обязательно, не входит в наши обязанности, да и кому это нужно... А впрочем...— Он погрустнел.— Хорошо бы было обо всем этом подумать... Но когда? Не знаю, как это им удавалось. Конечно, если есть условия, если сидеть в кабинете...

Ни Любищев, ни Беклемишев не были кабинетными учеными, никто из них не жил в привилегированных условиях, никто не был изолирован от тревог, грохота и страстей довоенных и военных лет. Действительность не обходила их ни потерями, ни бедой. И вместе с тем, когда читаешь их письма, понимаешь, что содержанием их жизни были не невзгоды, а приобретения.

В Ленинграде, работая во Всесоюзном институте защиты растений, Любищеву приходилось по совместительству читать лекции, консультировать. Нужно было помогать жене, нужно было кормить большую семью:

«...Я рассчитывал, что наряду с прикладной энтомологией буду заниматься и систематической энтомологией и общебиологическими проблемами... но занимался этим мало. Приходилось отдавать много времени на хождение по магазинам, стояние в очереди за керосином и прочими вещами. Жена моя тоже работала, а трудности были большие. Я довольно много занимался математикой, причем делал это и в трамваях, и при поездках, и даже на заседаниях, когда решал задачки. Одно время на это смотрели неодобрительно, но когда убедились, что решение задач не мешает мне слушать выступление, что я доказывал, выступая по ходу заседания, то с этим примирились. При поездках я много читал и философских книг, в частности все три «Критики» Канта были прочитаны мною в дороге... По философии, мне помнится, я написал единственный довольно большой этюд, примерно около ста страниц тетрадного формата, с разбором «Критики чистого разума» Канта. Эта рукопись пропала в Киеве...»

Жизнь народная, со всем ее бытом, была и его жизнью. Удивляет не то, что в тех условиях он находил время изучать Канта, а скорее то, что чтения этого было недостаточно; ищущая его натура должна была усвоить, опробовать и так, и этак, повернуть по-своему; прочитав Канта, он пишет этюд о главной работе Иммануила Канта, критически отбирая то, что ему подходит. Ему надо было найти свое.

На него не действовали ни общие мнения, ни признанные авторитеты. Авторитетность идеи не определялась для него массовостью.

Он считал себя нигилистом — в том смысле, какое дал этому слову Тургенев:

«Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот прин-

цип»... С той лишь добавкой, что это был нигилизм творца. Ему важно было не свергнуть, а заменить, не опровергнуть, а убедиться...

Что-то там, в глубине его ума, бурлило, варилось; он неутомимо искал истину там, где никто ее не видел, и искал сомнения там, где установились незыблемые истины.

В нем жила потребность задаваться вопросами, от которых давно отступились: о сущности природы, эволюции, о целесообразности,— немодная, заглохшая потребность.

Замечательно то, что он пытался отвечать, не боясь ошибок. Ему нравилось не считаться с теми узаконенными ответами, какие имелись в школьных программах.

При всей своей исключительности он не был исключением. Переписка Любищева с Юрием Владимировичем Линником, Игорем Евгеньевичем Таммом, Павлом Григорьевичем Светловым, Владимиром Александровичем Энгельгардтом радует взаимной высотой культуры и духовности. Читать эти письма было и завидно, и грустно — с этим поколением уходит русская культура начала века и революции.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

об одном свойстве некоторых ученых

В Ленинградском университете сохраняется квартира Дмитрия Ивановича Менделеева. Квартира-музей — это нечто особое. Их и осматривать надо иначе, чем обычные музеи. В них надо не ходить, а побыть. Мемориальный музей исключает Время. В этих музеях ничего не меняется. Они нравятся мне подлинностью мгновенного слепка с ушедшего быта. Здесь все как было, не воссозданное, а остановленное. И тот же университетский двор, и тот же шум в вестибюле, кусты под окнами, те же своды, та же мебель.

Музей, в котором стоит, казалось бы, все отжившее, мертвое, на самом деле возвращает жизнь этим старым вещам, хранит эту жизнь. Для музея смерть — не конец, а начало существования. Квартиры Пушкина, Чехова, Некрасова обладают необъяснимой силой воздействия, как будто дух хозяина продолжает жить в этих стенах. Каждый человек носит в себе музей; у каждого есть хранилище совести, пережитого,

есть свои мемориалы, дорогие нам места, вернее — образы этих мест, потому что сами эти места, может, уже исчезли или изменились.

Музеи городов должны, наверное, сохранять квартиры не только великих людей, но и просто людей. Мне хотелось, чтобы сохранилась и коммунальная квартира трудных тридцатых и сороковых годов с коммунальной кухней, тесно заставленной столиками, а на столиках — примусы, а возле примусов — иголки — полоски жести с зажатыми иголочками для того, чтобы прочищать ниппель примуса; чтобы висело расписание уборки мест общественного пользования, чтобы вязанки дров поленницами лежали в передней, в коридоре, в комнатах, за железными гофрированными тумбами печек...

Так мы жили. И наши родители.

...В кабинете Менделеева осталось все как при хозяине: письменный стол, книжные шкафы, этажерка, диван и длинные ящики каталогов. Они-то меня больше всего заинтересовали. Каталожные карточки были заполнены собственноручно Менделеевым. Названия журнальных статей, книг, брошюр его библиотеки аккуратно выписаны, и сверху проставлен шифр. К каталогу имелся указатель. Отделы, подотделы, вся система каталогизации была разработана Менделеевым и исполнена им же. А библиотека насчитывала 16 тысяч наименований. Нужные статьи из всевозможных журналов Менделеев изымал, сгруппировывал в тома, которые переплетались, и для этой группировки нужен был какой-то принцип, какая-то система разделения и классификации. Известно, что книги, тем более оттиски, гибнут в больших библиотеках, если не попадают в библиографическую систему.

Уже в те времена за научной литературой становилось трудно следить. Гигантскую работу, проделанную Менделеевым — тысячи заполненных карточек, подшитых в пачки, подчеркнутых цветными чернилами,— я объяснял необходимостью, рабочей нуждой, а нужда, она научит и лапти плесть, коли нечего есть. Хочешь не хочешь — ему приходилось отрывать время на эту канцелярщину.

Но затем мне показали другие ящики, новый каталог, с иной картотекой и журналом, где был ключ к этому каталогу. Сюда Менделеев заносил свою коллекцию литографий, рисунков, репродукций. Тут уж, казалось бы, прямой нужды не было — тем не менее он расписал тысячи названий; опять все было распределено, систематизировано.

Я смотрел альбом, куда Менделеев после каждого путешествия разносил фотографии. В сущности, это были альбомы-отчеты. Поездка в Англию — подклеены были пригласительные билеты, меню торжественного обеда, какие-то бумажные значки, открытки. Менделеев сам печатал фотографии, сам расклеивал, подписывал. Письма, всю корреспонденцию он тоже подбирал, сброшюровывал по какой-то системе; по другой системе вел записные книжки, записи дневниковые и денежных расходов. Вел изо дня в день, указывал любые траты, вплоть до копеечных. Если бы я увидел эти документы в копиях, допустим в публикациях архива Менделеева, я решил бы, что это либо блажь, либо скупость, мания — словом, какая-то слабость великого человека.

Но передо мною были подлинные документы; у них есть магическое свойство — они способны что-то досказывать, доведывать...

Бумага, почерк, чернила продолжают излучать тепло рук писавшего, его настроение. Перо, я это видел, скользило по бумаге без нетерпения и скуки, чувствовалось тщание, некоторая даже любовность.

Мне вспомнилось признание Любищева:

«...Я сходен с гоголевским Акакием Акакиевичем, для которого переписка бумаг доставляла удовольствие... В научной работе я с удовольствием занимаюсь чисто технической работой».

У Менделеева такая черновая работа была, очевидно, тоже отдыхом, приятностью. Через Любищева становилось понятно, как любовь к систематизации может проходить через все увлечения, и эти менделеевские каталоги, расходные книжки — никакая это не слабость. Все, с чем он ни сталкивался, ему хотелось разделить на группы, классы, определить степени сходства и различия. Черновая, даже механическая работа — то, что представлялось людям посторонним чудачеством, бесполезной тратой времени,— на самом деле помогала творческому труду. Недаром многие ученые считали черновую работу не отвлечением, а условием, благоприятным для творчества.

Я сидел один в кабинете Менделеева и думал о том, что электронно-вычислительные машины, конечно, освобождают человека от черновой работы, но одновременно они и лишают его этой работы. Наверное, она нужна, ее будет не хватать, мы обнаружим это, лишь когда лишимся ее...

Старая мебель окружала меня — тяжелая, крепкая, изготовленная со щедрой прочностью на жизнь нескольких поколений. Вещи обладают памятью. Во всяком случае, пожившие вещи, сделанные не машиной, а рукой мастера. В детстве, пока инстинкты еще не заглохли, я хорошо чувствовал эту одушевленность вещей.

Вспомнилось, еще из детства, ощущение дерева, его мышц,— живого, упрятанного там, за лаком, краской, в глубине древесных сухожилий. Словно что-то передавалось мне от многих часов, проведенных здесь Менделеевым, среди этих книг и вещей.

Страсть к систематизации была как бы оптикой его ума, через нее он разглядывал мир. Это свойство его гения помогло ему открыть и периодический закон, выявить систему элементов в природе. Сущность открытия соответствовала всей его натуре, его привычкам и увлечениям.

Процесс упорядочения, организации материала — для ученого сам по себе удовольствие. Пусть это не имеет большого значения, вроде каталога репродукций, но заниматься этим приятно. Наслаждение такого рода — ведь это уже само по себе смысл.

У Любищева был развит вот такой же тип мышления: ученого-систематика. Стремление создать из хаоса систему, открыть связи, извлечь закономерности в какой-то мере свойственно всякому ученому. Но для Любищева систематика была ведущей наукой. Она имела дело и с Солнечной системой. и системой элементов, и системой уравнений, и систематикой растений, и кровеносной системой: всюду царила система, всюду он различал систему.

Систематика была его призванием; она выводила к философии, к истории; она была его орудием.

Он хотел стать равным Линнею...

Выявлять новые, все более глубокие системы, заложенные в природе...

В его записках 1918 года он строит одну систему за другой, вплоть до системы глупости — полезная глупость, вредная, прогрессивная и т. д. Он пишет о недостатках университетского устава и сразу же пробует создать систему, заложить систему устава.

Быт его был упорядочен разного рода системами: система хранения материалов, система переписки, система хранения фотоснимков.

Бесчисленное количество дат, имен, фактов, которыми так легко оперировал Александр Александрович Любищев, были уложены в его голове по какой-то хитрой системе. По крайней мере так казалось, когда, не «роясь в памяти», он в нужный момент извлекал их, как извлекают из шкафа требуемый том справочника.

Он один из первых стал применять в биологической систематике дискриминантный анализ. Он вооружал систематику — я бы сказал, лелеял ее — математикой. Биологические системы или система в биологии вызывала у него чисто эстетическую радость и одновременно грусть и печаль от этой непостижимой сложности и совершенства природы.

Поражающее многообразие в строении тех же насекомых для него — не помеха, не отвлечение, а источник удивления, того удивления, которое всегда приводило ученых к открытиям. Он мечтал выявить истинный порядок организмов и понимал необозримость этой задачи.

«...Вероятно, большинству кажется, что систематика многих групп — например, птицы, млекопитающие, высшие растения — в основном кончена. Но здесь можно вспомнить слова великого К. фон Бэра: «Наука вечна в своем стремлении, неисчерпаема в своем объеме и недостижима в своей цели»...»

Подобно многим людям, я имел самые высокомерные представления о систематике насекомых. Наукой это не назовешь, в лучшем случае — хобби. Можно ли считать занятием, достойным взрослого мужчины, ловлю бабочек и разных мошек? Какую мошку рядом с какой наколоть... Чудачество, украшающее разве что героев Жюля Верна.

А между тем систематика стала ныне сложной наукой с применением математики, ЭВМ; все шире там пользуются теорией групп, матлогикой, всякими математическими анализами.

Энтомология, букашки, систематика... Коллекции наколотых на булавки, с распростертыми крыльями бабочек. Бабочки, сачок — почти символы легкомыслия. А между прочим, были ученые, которые годами занимались узорами на крыльях бабочек. Вот уж где, казалось бы, пример отвлеченной науки, оторванной от жизни, бесполезной, не от мира сего и т. п. Между тем ленинградский ученый Борис Николаевич Шванвич, сравнивая эти узоры, размышляя над геометрией рисунков, над сочетанием красок, сумел извлечь чрезвычайно мно-

го для морфологии и проблем эволюции. Узоры стали для него письменами. Их можно было прочитать. Природа устроена так, что самая незначительная козявка хранит в себе всеобщие закономерности. Те же узоры, они — не сами по себе; они — часть общей красоты, которая остается пока тайной. Чем объяснить красоту раковин, рыб, запахи цветов, изысканные их формы? Кому нужно это совершенство, поразительное сочетание красок?.. Каким образом природа сумела нанести на крыло бабочки узор безукоризненного вкуса?..

Надо было иметь известное мужество, чтобы в наше время позволить себе отдаться столь несерьезному, на взгляд окружающих, занятию. Мужество и любовь. Разумеется, каждый настоящий ученый влюблен в свою науку. Особенно же — когда сам объект науки красив. Но, кроме звезд, и бабочек, и облаков, и минералов, есть предметы с красотой, невидимой никому, кроме специалистов. Большей частью это бывает с отвлеченными предметами, вроде математики, механики, оптики.

Но есть и вовсе странные объекты. Так, известный цитолог Владимир Яковлевич Александров с упоением рассказывал мне о поведении клетки, о том, что она, несомненно, имеет душу. Любищев был, разумеется, убежден, что наиболее этическая, нравственная наука — это энтомология. Она помогает сохранять лучшие черты детства — непосредственность, простоту, умение удивляться. Прежде всего он чувствовал это по себе—и действительно, чтобы старый, почтенный человек, не обращая внимания на прохожих, вдруг пускался в погоню, через лужи, за какой-то букахой,— для этого надо иметь чистоту и независимость ребенка. А то, что энтомологов, говорил он, считают дурачками,— это иногда полезно, они безопасно могут ходить в самые «разбойничьи» места, благо над ними посмеиваются, как над безобидными юродивыми.

Они и в самом деле чудаки. Некоторые из них по-настоящему влюблены в своих насекомых. Карл Линдеман говорил, что он любит три категории существ: жужелиц, женщин и ящериц. Ловя ящериц, он целовал их в голову и отпускал. «Видимо, почти то же он делал и с женщинами»,— замечает Любищев.

На могиле Шванвича на Охтинском кладбище высечен любимый им узор крыла бабочки.

Чарлз Дарвин, который тоже начинал как энтомолог, вспоминал:

«...Ни одно занятие в Кембридже не выполнялось мною так ревностно и не доставляло мне столько удовольствия, как собирание жуков... Ни один поэт не испытывал большего восхищения, читая свою первую напечатанную поэму, чем испытывал я, увидя в издании Стефенса, «Иллюстрации британских насекомых», магические слова: „Пойман Ч. Дарвином, эсквайром..."»

Пристрастие к энтомологии доходило до того, что Любищев терял присущую ему терпимость, чувство справедливости и даже чувство юмора. Он не мог простить Александру Сергеевичу Пушкину ядовитого рапорта Воронцову о саранче. Он доказывал, что свое отношение к Воронцову Пушкин изменил лишь из-за обиды, после «издевательской» командировки Пушкина на борьбу с саранчой. После этого Воронцов стал для него «полуневежда и полуподлец».

Саранча летела, летела
И села,
Сидела, сидела, все съела
И вновь улетела.

«Для меня ясно,— пишет А. А. Любищев,— *что издевательским был отчет Пушкина. Командировку я вовсе не нахожу издевательской. Насколько мне известно, Пушкин был чиновником особых поручений. Специалистов-энтомологов в то время не было, и поэтому командировка развитого и смышленого человека была вполне уместна. Никаким опасностям он там не подвергался, а мог изучить быт народа... а кстати, отдохнул бы от неумеренного волокитства за одесскими барыньками, включая и мадам Воронцову, что, конечно, отнимало у него гораздо больше времени и сил, чем обследование саранчи».*

Любищев был убежден, что своим здоровьем, работоспособностью он обязан своей прекраснейшей специальности. Работа с насекомыми входила в Систему, дополняла ее физической нагрузкой, приятностью механической работы.

Энтомология, систематика, земляные блошки — пусть стоящие споров и ссор с неодарвинистами,— все равно, что может быть спокойней и укромней, чем это далекое от треволнений актуальных задач науки, это милое академическое убежище, эта безобиднейшая специальность...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

за все надо платить

В тридцатые годы Любищев работал в ВИЗРе — Всесоюзном институте защиты растений, который находился тогда в Ленинграде на Елагином острове, в Елагином дворце.

Любищев изучал экономическое значение насекомых-вредителей. Подойдя к этому математически, Любищев пришел к заключению, несколько ошеломившему всех,—что ущерб, наносимый насекомыми, во многом преувеличивается. На самом деле эффективность их действий значительно ниже, чем ее тогда принимали. Поехав на Полтавщину, он обследовал участки, которые числились как пораженные луговым мотыльком. Поля выглядели странно: свеклы не видно, всюду растет лебеда. Раздвигая заросли лебеды, Любищев обнаруживал угнетенные, но совершенно здоровые побеги свеклы. Ему стало ясно, что мотылек тут ни при чем. Руководители колхоза оправдывались тем, что мотылек был и обязательно съел бы свеклу, но поля опрыскали и спасли. Любищев возражать не мог, поскольку следов мотылька не осталось. Однако на следующий день он наткнулся на приусадебный участок сахарной свеклы и поразился великолепным видом: растения мощные, никаких признаков повреждений. Все разъяснилось, как водится, очень просто: хозяин добросовестно ухаживал за своим участком. В конце концов председатель и агроном признались, что колхозники работать на поля не выходили — свекла заросла, и луговой мотылек здесь ни при чем.

Обследование Северной Украины показало Любищеву, что и в других районах луговой мотылек практически вреда не приносил. Имелись сигналы с Северного Кавказа. Любищев ездил и тщательно осматривал поля, на которые ссылались районные руководители. Нигде не было прямых результатов повреждений. Сведения оказывались, мягко говоря, преувеличенными, вред — сомнительным.

Он гнался за сигналами. В Ростове ему сообщили, что в таком-то совхозе уничтожен подсолнечник. Приехав на место, он выяснил, что подсолнечник вовсе не сеяли. Он побывал в Зимовниках, изучая вредность сусликов; изъездил Азербайджан, изучая вредность стеблевой ржавчины; в Георгиевской обследовал яблоневые питомники.

Армавир, Краснодар, Таловая, Астрахань, Буденновск, Крымская — география его поездок охватывает весь юг России.

Считалось, что вредители, особенно на зерновых, приносят ущерб не менее десяти процентов. Любищев не мог согласиться с этой цифрой. Результаты его поездок, а также изучения данных США заставили его снизить этот процент до двух, о чем он и пишет в докладной записке. Затем он доказал, что шведская мушка, на которую ссылались, не всегда снижает урожай пшеницы и ячменя. Три года Любищев перепроверял свои наблюдения, затем выступил в печати. Ему пришлось сделать логический вывод, что деятельность отдела борьбы с сельскохозяйственными вредителями раздувается и, по чести говоря, отдел в том виде, в каком он был,— не нужен.

Какое, спрашивается, дело было Любищеву, нужно или не нужно данное учреждение? Не его это была забота. Ну, хорошо, допустим, доказал он, что вред лугового мотылька преувеличен, доложил,— ну и все, хватит, долг ученого выполнил... Неужели не понимал, что слишком много разных людей заинтересовано в существовании этого отдела и в том, чтобы все эти мушки, мотыльки, пильщики числились опасной силой — иногда и колхозам было удобно и еще кой-кому...

Может, и понимал. В долгих скитаниях своих по селам и деревням навидался нерадивых хозяев, ищущих, на что бы сослаться. Наверняка понимал, поскольку приготовился к борьбе, вооружился новыми методами вариационной статистики, уточняя роль сельскохозяйственной энтомологии. Теперь, с цифрами, по всем правилам — любой может убедиться — он доказывал, как безграмотно производился у нас количественный учет экономического вреда от насекомых.

«Безграмотно» — он выбрал это слово как самое точное, хотя лучше было бы найти что-то другое, поскольку адресовалось оно людям, имеющим солидные звания и награды. Считалось, что насекомые-вредители распределяются более или менее равномерно на пораженных областях. Отсюда делался вывод о том, что нужно обрабатывать огромные площади зерновых. Задача — и по рабочей силе, и по химикатам — непосильная для тех лет. Любищев доказал, что вредители зерновых распределяются крайне неравномерно, бороться с ними можно на небольших площадях, тем самым сберегая миллионы рублей.

Руководителей отдела экономия не интересовала. Надо было отплатить за оскорбление — они были оскорблены, уязвлены,— и это было важнее всего.

В 1937 году произошло памятное заседание Ученого совета ВИЗРа. Пять часов длилось обсуждение работ Любищева. К сожалению, как это часто бывает, обсуждали не столько проблему, сколько самого Любищева. Его обвиняли в том, что он систематически чуть ли не умышленно снижает опасность вредителей с целью демобилизации борьбы с ними... да и, кроме того, он вообще виталист. В те годы подобные формулировки звучали угрожающе. Слово «вредитель» играло вторым смыслом. Адвокат вредителей, пособник... Раздражало, что Любищев и не думал каяться. Правда, в заключительном слове он признал, что последние годы ему приходилось менять свои взгляды, но, видите ли, никогда он не делал это по приказу. Ему, видите ли, нужны доказательства. Оказывается, это единственное, что может на него подействовать.

Совет признал научные взгляды Любищева ошибочными и ходатайствовал перед ВАКом лишить его степени доктора наук. Постановление было принято единогласно, но и это не смутило Любищева: он полагал, что в науке голосование ничего не решает; наука — не парламент, и большинство оказывается чаще всего неправым.

Нельзя сказать, что он не учитывал реальности. После такого решения ученого совета он вполне мог, как он сказал, «перейти на казенные харчи».

И все же иначе он поступить не мог. Вдруг выяснилось, что он не мог поступать по трезвым доводам рассудка. Или по соображениям пользы науки, своей цели и т. п. Жертвовать собой, так хоть ради чего-то,— но кому какая польза могла быть от его ареста, от того, что его сочли бы вредителем, приспешником... Ясное дело, не существовало никаких разумных соображений т а к себя вести.

Тупо и упрямо он стоял на своем.

Вопреки своему хваленому рационализму.

Это всегда удивительно — ощутить вдруг предел, неподвластный логике, разуму, непонятный, необъяснимый, духовный упор, воздвигнутый совестью или еще чем-то: «На этом я стою и не могу иначе».

...Пока дело тянулось в ВАКе, прихотливая судьба перетасовала все обстоятельства: директора института арестовали, и среди прочих обвинений было — разгон кадров. Тем самым Любищев политически был как бы оправдан, и ВАК (еще и по ходатайству академика Ивана Ивановича Шмальгаузена) оставил Любищеву степень доктора наук.

Похожая история повторилась с ним спустя десять лет, после известной сессии ВАСХНИЛа, в 1948 году.

Выручала его, как ни странно, откровенность, с какой он излагал свои взгляды. Очень он был похож на того старого неподкованного профессора, которого в пьесах и фильмах того времени наставляли, агитировали, перевоспитывали—то уборщица, то пожилой мастер, то подкованная внучка.

Как-то один молодой ученый позавидовал размеренной, благополучной жизни Любищева. На что, верный своей манере, Любищев, отвечая ему, составил таблицу пережитых неприятностей:

«В возрасте пяти лет упал со столба и сломал руку;

в возрасте восьми лет отдавил плитой ногу;

в возрасте 14 лет, препарируя насекомых, порезался: началось заражение крови;

в 20 лет — тяжелый аппендицит;

в 1918 году — туберкулез легких;

1920 — крупозная пневмония;

1922 — сыпняк;

1925 — сильнейшая неврастения;

1930 — чуть не арестован в связи с кондратьевщиной;

1937 — кризис в Ленинграде (ВИЗР);

1939 — после неудачного прыжка в бассейне — мастоидит;

1946 — авиационная катастрофа;

1948 — проработка после сессии ВАСХНИЛа;

1964 — тяжелое падение затылком о лед;

1970 — сломал шейку бедра...»

Все это — не считая множества других инцидентов. Он обладал высокой «инцидентоспособностью». Он не умел уклоняться от неприятностей, от опасных споров, от скользких мест, и если падал, то разбивался...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

о противоречиях

Время от времени он рассылал свои отчеты друзьям. Назывались они — «годичные послания». Разумеется, не полный отчет, а некоторая выборка. Сами же годичные отчеты оставались в архиве. Годичные послания — ясно; на запросы друзей он отделывался как бы общим письмом, где рассказывал, что сделано, над чем работает, каково состояние здо-

ровья. Сухие ведомости годовых отчетов преображались в годичных посланиях друзьям. Описание прошедшего года со всеми злоключениями, невзгодами и радостями,— это и весело, и серьезно:

«...В январе получил хорошую встряску, поскользнувшись и упав затылком об лед. Первый раз понял, что значит «память отшибло». Я сознания не потерял, но когда поднялся, то совершенно забыл, что хотел зайти к одному знакомому... Вредных последствий не было, даже думаю, что были полезные. Прецеденты описаны: говорят, митрополит Филарет Дроздов в молодости отличался слабыми способностями и был пастухом, но как-то получил крепкий удар по лбу, после чего обнаружил способности и сделался митрополитом. Но он был известен как реакционер, что вполне понятно, так как получил удар по лбу, что дало ему толчок назад. Получивши же подзатыльник (старинное русское педагогическое мероприятие), человек получает стимул двигаться вперед, что и объясняет способность русского племени. Хотя таким образом разработана теория и практика подзатыльников, я решил от применения этих мероприятий к себе воздержаться...»

Но для кого, собственно, составлялись сами отчеты, те, что оставались в его архиве, многостраничные, со всеми перечнями? Перед кем он отчитывался? Если только для анализа прошедшего года, то вряд ли стоило выписывать все названия прочитанных книг, всех адресатов писем, все прослушанные оперы... Достаточно было бы привести количественные, так сказать, характеристики: сколько томов, страниц, часов и т. п. В его отчетах явно ощущался дух именно отчета перед кем-то, перед чем-то. Он отчитывался. Перед собою? Звучит это, конечно, красиво, но реальности тут мало: скорее искусственный домысел, больше литературный, чем жизненный. Что значит — перед собою? Это требует некоего раздвоения психики, почти комического: я пишу себе же, отчитываюсь и жду решения...

Думаю, предполагаю, что дело обстояло несколько иначе, что возникли отчеты из необходимости анализа: с каждым годом у Александра Александровича Любищева возрастало ощущение ценности времени, какое появляется к зрелости у каждого человека, у него же — особенно. Система вырабатывала уважение к каждой частице времени, благоговение перед временем.

Эта характерная черта подмечалась людьми, хорошо знавшими его.

«Время его жизни,— писал Павел Григорьевич Светлов,— это не его собственность, оно отпущено ему для работы в науке, именно в этом заключается его долг и главная радость его жизни. Во имя исполнения этого долга он экономил время, учитывая все часы и минуты, бывшие в его распоряжении».

Он отчитывался за время, «отпущенное» ему, как выразился Павел Григорьевич Светлов, за время одолженное... Кем? Здесь мы касаемся уже его философии жизни, отношения к цели, к Разуму, к сложнейшим вопросам бытия, в которых я не готов разбираться. И не решаюсь касаться.

Мне ясно лишь одно: его Система не была сметой расчетливого плановика — скорее ее можно сравнить с потребностью исповедаться перед Временем.

То чувство благоговения перед жизнью, о котором пишет Альберт Швейцер, у Любищева имело свой оттенок — благоговение перед Временем. Система его была одухотворена чувством ответственности перед Временем, куда входило понятие и человека, и всего народа, и истории...

Итак, он много сделал, поскольку следовал своей Системе, поскольку никогда не считал полчаса малым временем.

Его мозг можно назвать великолепно организованной машиной для производства идей, теорий, критики. Машина, умеющая творить и ставить проблемы. Неукоснительно действующая в любых условиях. Четко запрограммированная на важнейшую биологическую проблему и безупречно проработавшая с 1916 года, то есть пятьдесят шесть лет подряд. Нет, сам он, как уже выяснилось, не был роботом, отнюдь: он страдал, и веселился, и совершал безрассудные поступки, причинял себе неприятности, так что во всем остальном он был подвержен обычным человеческим страстям.

«С моей точки зрения,— говорил он сам,— *представление о человеке как о машине есть суеверие, примерно такое же, как суеверие, что лежит в основе составления гороскопов».*

Пример с гороскопами не случаен — считалось, что звезды жестко предопределяли судьбу человека. Любищев предопределил себя сам.

Для Любищева была предопределена не судьба, не поступки, не переживания, а его работа. Так, по крайней мере, вытекало из его Системы. Все было расписано, вычислено для достижения цели. Ради этого — планировалось, подсчитывалось, было распределено по входным и выходным каналам. И отчитываться он должен был — насколько он продвинулся вперед, к цели.

Однако чем дальше, тем загадочнее становился его путь— то и дело он отклоняется в сторону. Без видимых причин, беспорядочно, надолго отвлекается, забывая о своей главной задаче. При этом нельзя сказать, что он человек разбросанный: начав какую-нибудь работу, он кончает ее, но сама эта работа — посторонняя, никак не предвиденная.

В 1953 году, казалось бы ни с того ни с сего, он садится за работу «О монополии Лысенко в биологии». Сперва это были некоторые практические предложения, потом они разрослись в труд, имеющий свыше семисот страниц. В 1969 году так же неожиданно он пишет «Уроки истории науки». Пишет воспоминания о своем отце; печатает в «Вопросах литературы» статью «Дадонология»; ни с того ни с сего разражается «Замечаниями о мемуарах Ллойд-Джорджа»; пишет вдруг трактат об абортах, и тут же — эссе «Об афоризмах Шопенгауэра», и следом — «О значении битвы при Сиракузах в мировой истории». Ну что ему Сиракузы? С какого боку!

Однако стòит вникнуть — и выясняется, что известные наши историки-античники советуются с ним, посылают ему на отзыв работы. Он выступает как знаток античной истории, для специалистов он интересен как мыслитель—и здесь у него свои взгляды, своя трактовка, свой еретизм.

В той же статье о Сиракузах он пишет:

«Казалось бы, что если бы в этой битве верх одержали Афины, то они сумели бы под своей гегемонией объединить всех эллинов, создать обширное государство, в рамках которого шло бы безостановочное развитие эллинской культуры... Эту точку зрения я все время воспринимал без критики. Афины казались каким-то чудом истории — на крошечном клочке земли, разделенном еще на множество мелких полисов, возникла поразительной высоты культура, которая и сейчас вызывает наше восхищение: искусство, литература, философия, наука и едва ли не первая попытка демократического строя... И постоянным антагонистом великолепных Афин было мрачное солдафонское государство Спарты с его полным отсутствием культурного наследства... пламенной самовлюбленностью и ограниченностью».

Как и все, он считал, что правда на стороне афинян и что афиняне, возглавляемые талантливым Алкивиадом, должны были победить. Но обратите внимание на следующую фразу: «...Сейчас ряд соображений заставляет меня решительно изменить свои взгляды на роль Афин в мировой истории».

И далее он излагает по порядку соображения, подробно аргументируя их.

Можно подумать, что его профессия — история Афин или по крайней мере древняя история и какие-то новые материалы заставили его передумать, пересмотреть и изменить свой взгляд на роль Афин. Разве придет в голову, что это пишет биолог? Опять-таки дело не в эрудиции. Поражает другое: ему, видите ли, не дает покоя роль Афин в мировой истории!

Теперь, когда его нет, любой вопрос безответен — надо рыться в письмах, рукописях, чтобы найти ответ. Изучая его отчеты, я уяснил, что в этот период он готовил работу о расцвете и упадке цивилизации и поэтому продумывал роль Афин. Так что все это — не игры досужего ума. А работу о цивилизациях он затеял потому, что считал необходимым раскритиковать социал-дарвинистские взгляды крупнейшего английского генетика Рональда Фишера, который пытался социологию свести к биологии и доказать, что генетика — ведущий фактор прогресса человечества, причина расцвета и упадка цивилизации.

Вероятно, во многом, что кажется у Любищева случайным, можно проследить необходимость и связь с его главной работой. Но есть и вещи совсем неприкаянные, начисто посторонние. С какой стати он берется за трактаты о Марфе Борецкой, садится за труд об Иване Грозном? Конечно, и это можно оправдать и обосновать. Особенно хорошо обоснованы бывают слабости. Любищев явно не умеет себя ограничивать. Он увлекается вещами, *для него* посторонними, ввязывается в дискуссии, не имеющие к *нему* прямого отношения. Что ему за дело до постулатов этики — на то есть специалисты-философы; какого черта ему надо писать свыше пятидесяти страниц «Замечания о мемуарах Ллойд-Джорджа» — это же непозволительная роскошь! Это может позволить себе лишь праздный ум...

Существует древняя поговорка: врач не может быть хорошим врачом, если он только хороший врач. То же с ученым. Если ученый — только ученый, то он не может быть крупным ученым. Когда исчезает фантазия, вдохновение, то вырождается и творческое начало. Оно нуждается в отвлечениях. Иначе у ученого остается лишь стремление к фактам.

...Отвлечения занимали все больше и больше места в его работе. Он сам сетовал, что не в состоянии укрыться от страстей окружающего мира, но я думаю, что и свои собственные

страсти он не в силах был обуздать. Он не умел соблюдать диету своего ума — в этом смысле он грешил лакомством или обжорством. Там, где ему попадалось что-либо вкусненькое для его мощной логики, он не мог удержаться.

Как это сочеталось с его Системой? Да никак. Она становилась инструментом, на котором он играл что придется — импровизации.

Он учитывал время со всей скрупулезностью, но на что он его тратил? Друзья и близкие все чаще упрекали его за это, особенно же остро вставал вопрос «надо» или «не надо», когда Любищев взялся за большую свою работу о положении в биологии:

«...Самое серьезное и самое убедительное для меня в Вашем письме — это то, что Вы ощущаете свое молчание как болезнь, что оно, в сущности, и есть причина болезни. Это прекрасное мужское свойство... Я видела, что мужчины — очевидно, люди с более глубокой социальной совестью, чем мы, бабье,— всегда болели, а часто и умирали, если не могли говорить о науке или искусстве того, что им велела совесть». И далее: *«...Но ведь у Вас есть и долг перед наукой (в более глубоком смысле социальный), который заставляет Вас сидеть у микроскопа, писать статьи о науке... Есть два долга: один — наука, другой — ответственность за те формы, которые получает данная отрасль данной науки в данную историческую минуту. Я не уверен, что второй долг серьезнее первого. Решает ведь первое. Именно первое — открытие, событие; находка сметает второе».*

Мнения друзей сводились к одному: дело ученого — решать свои непосредственные задачи. Научная критика, говорили они, играет подсобную роль в решении больших вопросов, «это все скорее — тактика, политика, а не научный спор. Эти вопросы надо отнести к компетенции партии и правительства».

Опасения были справедливы, доводы умны и дальновидны. Ему, как и предсказывали, пришлось столкнуться с дирекцией института и подать в отставку. Потом правота его была признана, его звали назад: но то — потом, спустя годы, в том прекрасном Будущем, в котором обязательно справедливость торжествует, а порок, как и положено, наказан, а пока что каждый мог его спросить: вот видишь, что получилось, так стоило ли?

Рукопись свою, несмотря на уход из института, он довел до конца. Рассуждая логически, он не сумел бы доказать, что

работа эта стоила всех неприятностей, стоила того, чтобы отвлечься от основной своей работы... Разве что — совесть, гражданская совесть. Может, это решало — весьма туманная материя, вроде бы никак не связанная с разумом? Да и совесть его тоже страдала от того, что он забросил, отложил дело своей жизни. Он все время как бы брал отпуск за свой счет, отпуск от любимой своей работы. Ради чего? Боролся за правду? Но ведь не его это назначение, он — ученый, он ищет истину, а не правду. Обязан — не обязан. Должен — не должен. Совесть его разрывалась. Он чувствовал болезненное это противоречие, яростную полемику между долгом вмешаться, откликнуться и главным долгом своей жизни. Он понимал, что в каком-то смысле жертвует собою, откладывая осуществление любимого дела. В сущности, он жертвовал своим временем, своим покоем. Он не мог найти для себя компромисса.

В его продолжительной жизни не было решения, она была неутихающим спором. Внутренний спор делал его все более чутким и непримиримым ко всякому злу жизни. Неумолчный этот спор питал его нравственность. В нем росло как бы ощущение всемирности, когда человек сознает, что в нем самом и для него творится история. И что судьба страны есть его собственная судьба. Это чувство гражданина страны. Не случайно он так чтил Тимирязева за то, что тот совмещал преданность чистой науке и сознание общественного долга ученого перед народом. Ощущение всемирности — ощущение принадлежности к роду человеческому.

В числе его любимцев были и Эйнштейн, и Кеплер, и Леонардо да Винчи. То есть — самые разные как бы типы ученых. В Леонардо нравилось Любищеву отрицание догмата, какого-либо авторитета,— и математический подход к разнообразным явлениям. Леонардо был религиозен, но Любищев отмечал, что религия толкала Леонардо не к созерцанию, а к творчеству. Этические мысли Леонардо, так же как, впрочем, и мысли на этот счет Макиавелли, нисколько не смущали Любищева:

«Они кажутся безнравственными только потому, что новая этика кажется безнравственной. Фактически это — та же высокая этика Сократа: оправдание морали разумом».

Любищев часто превозносит Разум, а сам ведет себя неразумно, нерасчетливо. Самодисциплина его действует, но она итожит траты, порой расточительные, которые ему явно не по карману.

Ах, что мы знаем об увлечениях и отвлечениях. Кто смеет говорить: «Человек должен быть таким-то». Откуда мы знаем? А если без этих отвлечений он не мог? Вспомните отвлечения Ньютона. Величайшим созданием своей жизни Ньютон считал «Замечания на книгу пророка Даниила...». Он тратил массу времени на богословские сочинения, и легче всего полагать, что зря его тратил. Некоторые историки снисходительно жалеют его. Но, оказывается, религиозные его воззрения уживались — даже взаимодействовали — с его научными взглядами. Парадоксальную эту особенность подметил Сергей Иванович Вавилов в своей превосходной биографии Ньютона, а за ним и Любищев показал, что Ньютону при решении вопроса о принципах всемирного тяготения нужно было чем-то заполнить мировое пространство. Он заполнил его Богом. Только участием Бога он мог объяснить тяготение. Занятия теологией пошли ему вроде бы на пользу — так же как Кеплеру его астрологические суеверия позволили построить правильную теорию приливов, основанную на влиянии Луны.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,—

писала Анна Ахматова.

Что ж, астрология отвлекала Кеплера, мешала ему? Что было главное, а что лишнее? Кому судить об этом? Вагнер, например, ценил свои стихи выше, чем свою музыку. Но что, если он был прав и стихи помогали ему писать музыку и были для него тем самым дороже всего?.. Что, если отвлечения помогали Любищеву?

В 1965 году он занят разглядыванием морозных узоров на окнах. Он делает сотни фотографий этих узоров и наконец пишет статью «О морозных узорах на окнах».

Его нисколько не смущает эта фельетонная тема, отличный повод для насмешек,— морозные узоры на окнах, из которых отставной профессор пытается высосать науку.

Что нового можно сказать об этом всем известном явлении? Кто не любовался мохнатыми зарослями, которые рисует мороз на стеклах? Каждый открывал странное сходство этих рисунков с растениями, папоротниками, травой, с древесным миром.

Дело в том, что и картина эта, и человеческое удивление насчитывают уже сотню-другую лет, тираж наблюдений со-

ставляет миллионы, миллиарды раз,— так что вряд ли можно было увидеть тут что-то новое. Но в один прекрасный зимний день появляется человек, который смотрит на эти узоры, откуда никто никогда не смотрел. Не сходство обнаруживает он, а закономерность сходства. Он делает всего-навсего один шаг дальше, начинает оттуда, где все удовлетворенно останавливаются. Закономерность сходства, а значит — общие законы строения и гармонии в естественных системах. Их можно выразить математически. Юлий Анатольевич Шрейдер — один из исследователей творчества Любищева — пишет, что в этой статье Любищев выдвигает две новые отрасли науки: теорию сходства и теорию «симметричных форм, не заполняющих пространство». Морозные узоры вдруг нежданно-негаданно дополняют общую картину мира, которую создает Любищев. Он берет материал для нее отовсюду, из самых обыденных, примелькавшихся явлений, он открывает новый, более глубокий уровень понимания — и обычное становится необычным. Для настоящего ученого источником открытия могут быть вещи самые ничтожные.

Софья Ковалевская занималась волчком — детской игрушкой — и по-новому решила задачи вращения твердого тела. Кеплер стал вычислять по просьбе виноторговца объем бочек. Его работа «Новая стереометрия винных бочек» содержала начала анализа бесконечно малых. Кантор размышлял над Святой Троицей и создал свою знаменитую работу — теорию множеств. Не из карточных ли игр родилась современная теория игр?..

Друзья, которые упрекали Любищева за то, что он разбрасывается, сами с удовольствием читали его «посторонние» работы. И для меня наиболее интересны как раз его отвлечения. Они всегда были неожиданны, захватывающи. Они всегда что-то открывали — его комментарии к книге об Амундсене или к собранию сочинений шлиссельбуржца Николая Александровича Морозова, его размышления о романе Веркора «Люди или животные». Специальных работ я не понимал, а понимал именно эти, общие... Или же — то общее, что было в его специальных работах. А там всегда были выходы в историю, в философию. Стоит прочесть, например, его посмертно опубликованную статью «Поли- и моно-». Она ставит одну за другой, своеобразно, проблемы жизни на других планетах, теории развития, астробиологии, законов, управ-

ляющих ходом эволюции, трактует, как понимали эволюцию Энгельс и Ленин...

Кто сможет сказать, что̀ из написанного Любищевым останется,— может, именно общефилософские или науковедческие работы? Он сам об этом не думал, решая по-пастернаковски:

> ...но пораженье от победы
> ты сам не должен отличать.

Нет, должен...

Что позволено поэту, не позволено ученому. Не позволено ему утрачивать способность самокритики. Он обязан отличать удачные результаты от неудачных, нужные работы от ненужных и поражения от побед. Не для того Любищев создавал, отшлифовывал свою Систему, не для того он экономил время, чтобы тратить его потом на свои увлечения. В какой-то мере он дискредитировал свою Систему. Она не удержала его, не воспротивилась — она так же послушно стала служить его слабостям, как служила его силе.

...Но что, если Любищев с какого-то момента иначе работать не мог? Желание откликнуться на то, что его волновало, стало потребностью его натуры. С какой стати он должен был насиловать себя? Он хотел как можно полнее воплотить в самых разных своих работах все стороны своего разума, все, что задевало его; нравственные проблемы представлялись ему иногда важнее научных, и он не отставлял их в сторону.

Так-то так, но что же тогда называется разбросанностью?

Писатель доволен, когда его герой начинает поступать вопреки логике. Должен сделать то-то — и вдруг под влиянием чувств совершает нечто не предусмотренное и самим автором. Действия героя никак не вытекают из обстоятельств и в то же время по-человечески понятны. Выдуманный герой в такие моменты приближается к полнокровному живому человеку и убеждает своей противоречивостью.

Но когда тот же самый писатель сталкивается в знакомом ему человеке с малопонятными действиями, он обяза-

тельно будет искать какое-то логическое объяснение. А если писатель описывает этого человека или же какое-либо историческое лицо, то уж тут во что бы то ни стало постарается найти причину его действий и мотивы и вывести их со всей точностью и последовательностью. То есть — устранить всякую противоречивость.

Это самое произошло у меня с Александром Александровичем Любищевым. Мне обязательно надо было растолковать его поведение, обнаружить, в чем там секрет. Я убежден был, что все дело — в моей недогадливости. В неосведомленности.

Может быть, я не учитываю общественный его темперамент; может, через историю, философию он пытался выразить то, что всех нас так занимало эти годы. Отсюда его интерес и к Ивану Грозному и к этике.

А может, биологические проблемы, поднятые Любищевым, затрагивали множество укоренившихся предрассудков. Куда бы он ни обращался — к диалектике, к истории, к механике, к учениям Коперника, Галилея, к философии Платона,— повсюду он умудрялся видеть вещи иначе, чем видели до него. Он наталкивался на чужие заблуждения: куда бы он ни ткнулся, повсюду они возникали,— и он обязательно должен был расправляться с ними. Способность видеть то, что не видят другие,— мучительная способность. Великолепный этот талант — скорее наказание, чем отрада.

Вместо того чтобы уклониться, он вступал с ними в бой. Они вырастали, как головы лернейской гидры. И опять он должен был рубить их — Геракл, которому никто не задавал работ и никто не подсчитывал его подвигов.

А все же почему — должен? Ведь никакой логики тут не было. Любищев жил по Системе, которая заставляла поступать логически, подсказывала наиболее разумные, продуманные решения. Из всех вариантов она выбирала самые выгодные. Что могло быть лучше такого советчика? Но в одном случае она отказывала. Когда он поступал вопреки своей пользе. Перед противоречивостью Система была бессильна. Слабой логике она могла противопоставить сильную. Тут же логики не было, а все шло наперекор разуму. Система подсказывала одно поведение. Любищев же вел себя иначе, нелепо, как бы по самому невыгодному, непредвиденному варианту...

Почему?.. Я вдруг понял, что не нужно отвечать на этот вопрос. Незаконный это вопрос. Глупый. Ничего не надо боль-

ше искать. Наконец-то я наткнулся на то, что уже нельзя объяснить. Это была материковая порода.

Узнать другого человека — это и значит добраться до его противоречивости.

Узнать-то я узнал, а вот объяснить не мог. Узнать и понять — это ведь разные вещи.

Противоречия эти, однако, не обессиливали его. Размышления о жизни, о себе, о науке не уменьшали его активности. Жажда действия возрастала, мысль подстегивала его. Он не боялся вопроса о том, каков смысл в его неутомимых писаниях, в его энергичной деятельности. Одно он знал твердо и повторял другим: тот, кто мирится с действительностью, тот не верит в будущее.

Впрочем, и это не всегда помогало. Ему хотелось ни на что не отзываться, ни о чем постороннем не задумываться, остаться наедине со своей главной, единственной, давней работой. Ему хотелось примириться с действительностью, не обращать на нее внимания. Ничего этого он не мог. Его разрывало на части. Трещина шла через его душу. Это было мучительно. Еще больнее было оттого, что он не знал, выполняет он свой долг — или же нарушает его. Жертвует он собой — или же уклоняется от боя...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

счастливый неудачник

Выполнил ли Любищев намеченную программу? Природа дала ему (или он взял у нее?) для этого все — способности, долгую жизнь; он создал Систему, он, пусть с уклонениями, постоянно следовал ей, используя и время и силы...

Увы, он не выполнил намеченного. Под конец жизни он понял, что цели своей не достиг и не достигнет. Пользуясь своей Системой, он мог точно установить, насколько он не дойдет до когда-то поставленной цели. Ему исполнилось семьдесят два года, когда он решил сосредоточить силы на книге «Линии Демокрита и Платона». Он рассчитал, что она займет лет семь-восемь и будет последним его трудом. Как всякий послед-

ний труд, он станет главным трудом, в котором предстоит разобрать общебиологические представления.

По ходу работы центральная часть стала обрастать общефилософскими размышлениями, гуманитарными дисциплинами — и не случайно, потому что речь должна была идти о единстве человеческого познания.

За несколько лет он дошел до Коперника. Стало ясно, что вряд ли он успеет охватить биологические науки. Намеченные исследования по конкретной систематике тоже сорвались. С 1925 года он всячески сужал свои занятия насекомыми. От рода Апион отказался, оставил земляных блошек — и тех пришлось сократить. К 1970 году он решил задачи надежного определения самок всего шести мелких видов Халтика. Как много было задумано и как мало сделано! Сорок пять лет работы над этими блошками — и такой ничтожный итог.

Его друг Борис Уваров, который начинал вместе с ним, за эти годы из двух тысяч видов африканских саранчовых описал около пятисот новых видов. Всю жизнь Уваров занимался только саранчовыми и стал первым в мире специалистом, организовал борьбу с саранчой в Африке во время второй мировой войны, за что получил ордена от Англии, Бельгии, Франции. Правда, Уваров ставил себе иные задачи, но все же...

А когда-то Любищеву мечталось связать работу по блошкам с общетеоретическими проблемами. Не успел. Так что и здесь его постигла неудача. Конечно, работа по вредителям дала результат, и по энтомологии, попутно, некоторые обобщения удалось получить (и не такие малые, как выясняется теперь); например, о том, что иерархическая система не универсальна. Это касалось не только биологии. Его работами заинтересовались математики, философы, кибернетики. Можно найти немало утешений. Но задуманного сделать не удалось. То, ради чего он отладил свою Систему, которая стала системой жизни,— этого сделать не удалось. Не повезло. Несчастливый он был человек.

...Он один из тех людей, кто сумел выйти за пределы своих возможностей. Здоровья не бог весть какого крепкого, он, благодаря принятому режиму, прожил долгую и в общем-то здоровую жизнь. Он сумел в самых сложных ситуациях оставаться верным своей специальности, ему почти всегда удавалось заниматься тем, чем он хотел, тем, что ему нравилось. Не правда ли, счастливый человек?

В чем же тут счастье? Программа, которую он разработал, вычислил, распланировал,— завалилась. Ни один из ее пунктов не выполнен так, как хотелось. Большая часть написанного не была напечатана при его жизни. Самое обидное, что поставленная цель оказалась самой что ни на есть насущной, она не разочаровала — наоборот, он своими работами приблизился к ней настолько, чтобы увидеть, как она прекрасна, значительна. И достижима. Он ясно видел это теперь, когда срок его жизни кончался. Ему не хватало немногого — еще одной жизни. Было горько сознавать, что он просчитался и все было напрасно. Несчастье — как иначе это назвать? — несчастливый человек!

...У него было все, чтобы прославиться: воля, воображение, память, призвание и прочие качества в нужных пропорциях. Это очень важно — пропорции; можно сказать, весь фокус — в пропорциях. Небольшой перебор или нехватка — и все насмарку. Я знал физика, который должен был совершить по крайней мере три крупнейших открытия — и всякий раз он перепроверял себя еще и еще, пока его не обгоняли другие. Его губила требовательность к себе — слишком он боялся ошибиться. Ему не хватало нахальства, или беззаботности, или еще чего-то. Тут мало соображать, тут нужен еще и характер.

Любищеву всего этого хватало, ему отпущено было в самый раз; если бы он выбрал себе цель поскромнее, он достиг бы куда большего, его ждала бы известность Фабра или Уварова...

Не повезло ему, подвела его Природа. Кто мог знать, что так сложно все устроено? Он-то, когда брался, следовал Ивану Андреевичу Крылову: «Берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтоб в делах утешный был конец». А утешного конца и не вышло.

Неудачник. Он и сам себя так называл.

Но почему же с годами все больше молодых ученых — да и не только молодых, а и заслуженных, прославленных — тянулось к нему? Почему с таким уважением прислушивались к нему в разных аудиториях? Отчего он сам считал себя счастливым человеком? Вернее, жизнь свою счастливой?

Пользуясь библейской мифологией, его можно сравнить с Иоанном Предтечей: он один из тех, кто готовил новое понимание биологии. Он сеял — зная, что не увидит всходов.

В нем жила уверенность, что то, что он делает,— пригодится. Он был нужен тем, кто остается жить после него. Это было утешение, привычное, скорее, художнику, чем ученому. Но и современники нуждались в нем, каждый по-своему.

Недавно, комментируя посмертно опубликованную его статью, известные наши ученые Сергей Викторович Мейен и Алексей Владимирович Яблоков писали:

«Среди биологов А. А. Любищев известен как решительный противник наиболее популярных сейчас эволюционных взглядов, совмещающих учение о ведущей роли естественного отбора эволюции с достижениями популяционной генетики. Поскольку с эволюционным учением прямо или косвенно связаны чуть ли не все другие общие проблемы биологии, то неудивительно, что и в подходе к этим проблемам А. А. Любищев очень часто не разделял господствующих взглядов. В этой постоянной «оппозиции» — особая ценность. Даже многие научные противники благодарны Любищеву за умную критику... Критики, подобные Любищеву, видимо, вообще необходимы науке — даже если они в конце концов окажутся неправыми».

Чего он не терпел, так это бесспорных истин, уверенности, категоричных суждений.

«...Вы выдвигаете положение: н а у к а с в я з а н а с о б щ е с т в е н н ы м и и с т и н а м и, ф и л о с о ф и я н и о д н о й т а к о й о б щ е п р и з н а н н о й и с т и н ы н е и м е е т... Дорогой мой, с какой луны Вы свалились? Сейчас как раз можно сказать обратное: в самых точных науках нет общепризнанности, а, наоборот, имеется большое расхождение мнений. В математике: ряд неэвклидовых геометрий, разброд в философии математики... какой разброд в теории вероятностей и математической статистике! В астрономии вместо одной теории Лапласа сейчас целая куча, в генезисе Земли вместо контракционной теории опять разнобой... Но тут Вы говорите: «Кроме того, существуют незыблемо установленные факты, например, что Земля кругла, а не блин». Есть окончательно установленные отрицания, например, что Земля не блин, но что касается положительного значения формы Земли, то на этот счет сейчас удивительное разнообразие мнений... Создается математическая теория очертаний Земли, формы осколков ставятся в связь с историей Земли. В частности, указывается, что когда-то Луна была гораздо ближе к Земле, чем сейчас, они составляли почти одно целое... Чем менее точны науки, тем они более неподвижны, а в точных колоссальная, постоянно идущая перестройка...»

У него был особый талант научного еретика, умеющего подвергать сомнению самые, казалось бы, прочные догмы. Он опровергал, оспаривал иногда вещи, которые для меня были очевидны, и это заставляло думать. Вот что, пожалуй, существенно: он возбуждал мысль, он пробуждал к мысли людей, давно отвыкших от этого. Как ни странно, многие ученые страдают болезнью бездумья. Орган, заставляющий мыслить, у них атрофировался. Тем более что бездумье нисколько не мешает их научным показателям...

Он отвечает молодому талантливому ученому (которому, кстати, он был многим обязан), сетующему, что нет времени на размышления:

«...Ученый, не имеющий времени на размышления (если это не короткий период — год, два, три),— конченый ученый, и если он не может переменить свой режим, чтобы иметь достаточно времени на размышления, то ему лучше бросить науку... Вы сейчас уже доктор наук, имеете солидное положение. Вам уже некуда торопиться, и надо постараться осознать себя. Какую цель Вы себе ставите? Если Вы ставите цель—достигнуть максимально возможного результата в науке, то надо обязательно оставить время на размышления... «Наблюдения и размышления» — так озаглавил свои произведения великий К. фон Бэр, а в современных работах очень много наблюдений и часто очень мало размышлений... Ваши философские суждения (как и суждения по философии большинства биологов) стоят на уровне суждений по биологии П. (писатель, который написал в свое время ряд малограмотных статей по биологии.— *Д. Г.): в обоих случаях — не только полное невежество, но и догматическое утверждение того, что на самом деле является суеверием. Можно ученому философию игнорировать? Можно, но тогда уж не приводить философских аргументов... Найдите время, чтобы поразмыслить над тем, что Вам сейчас кажется бесспорным, не пишите популярных книг, пока Вы этого пробела не заполнили, или плюньте на эволюционное учение, которое при невозможности размышлять Вам, очевидно, не под силу».*

Можно ли мерить человека целью, которую он себе поставил? Чем вообще оценивать прожитую жизнь? Пользой? Талант приносит пользы больше, чем заурядность! А гений — больше, чем талант! Но чем же человек виноват, что нет у него таланта, выдающихся способностей? И в чем заслуга того, талантливого? Да, гениальный ученый даст науке больше, чем средний. Но в гениальном ученом выражает себя скорее Природа, чем он сам.

Любищев — не тот гений, который обычно предстает перед нами как заканчивающий, кому приходится завершать то, над чем трудились умы предтеч. Любищев и интересен мне тем, что не гений, потому что гений разбору недоступен, вникать в него, слава богу, бесполезно. Гений пригоден для восхищения. Любищев же манил за собой тем секретом, каким удалось ему осуществить себя. Хотя никакого секрета он не делал, отвергал разговоры о чудесах своей работоспособности.

Кроме Системы, у него имелось несколько правил:

«1. Я не имею обязательных поручений;

2. Не беру срочных поручений;

3. В случае утомления сейчас же прекращаю работу и отдыхаю;

4. Сплю много, часов десять;

5. Комбинирую утомительные занятия с приятными».

Правила эти невозможно рекомендовать, они — его личные, выработанные под особенности своей жизни и своего организма: он изучил как бы психологию своей работоспособности, наилучший ее режим.

Он почти не жаловался на отсутствие времени. Я давно заметил, что людям, умеющим работать, времени хватает. Нет, пожалуй, лучше сказать иначе: времени у них больше, чем у других. Мне вспоминается, как в Дубултах Константин Георгиевич Паустовский подолгу гулял, охотно заводил свои веселые устные рассказы; можно было подумать, что ему нечего делать,— он никогда не торопился, не ссылался на занятость и при этом успевал работать больше любого из нас. Когда? Неизвестно.

Похоже, что люди, подобные Любищеву, устанавливают тайные, не ведомые никому отношения со Временем. Они бесстрашно заглядывают в лицо этому ненасытному божеству.

Человек всегда относился ко Времени враждебно. Пространство, материю — этих удавалось как-то приручить. Время оставалось тем же дико-первобытным. С тех пор как человек заглянул в дали Вселенной, услышал тиканье мировых часов, отсчитывающих миллиарды лет, увидел, как рушатся галактики,— Время, пожалуй, стало еще страшней.

Меня поражала у Любищева смелость, с какой он обращался с плотью Времени. Он умел ее осязать. Он научился обращаться с пульсирующим, ускользающим «теперь». Он не боялся измерять тающий остаток жизни в днях и часах. Осторожно он растягивал Время, сжимал его, стараясь не уро-

нить, не потерять ни крошки. Он обращался с ним почтительно, как с хлебом насущным; ему и в голову не могло прийти — «убивать время». Любое время было для него благом. Оно было временем творения, временем познания, временем наслаждения жизнью. Он испытывал благоговение перед Временем. Оказалось, что жизнь вовсе не так коротка, как это считается. Дело тут не в возрасте и не в насыщенности трудом. Урок Любищева состоит в том, что можно жить каждой минутой часа и каждым часом дня, с постоянным напором отдачи. Жизнь — долгая-предолгая штука. В ней можно наработаться всласть и успеть многое прочитать, изучить языки, путешествовать, наслушаться музыки, воспитать детей, жить в деревне и жить в городе, вырастить сад, выучить молодых...

Жизнь спешит, если мы сами медлим.

Ведь мы живем какими-то избранными моментами и запоминаем лишь сгустки жизни. Полчаса — для нас это не время. Мы признаем только целые моря Времени, его расчищенные, свободные от обстоятельств и случайностей площадки. Там мы готовы развернуться. Меньшее нас не устраивает, мы сразу же ссылаемся на помехи, на обстоятельства. О, могущество независимых от нас обстоятельств, властных, оправданных. На них так удобно переложить ответственность...

Мы не замечаем, как разлагают и обессиливают душу эти ссылки... Мне хотелось привести печальный пример моего друга, когда-то неплохого ученого, а потом руководителя крупного института. Но тут же мне вспомнилась точно такая же судьба одного писателя, которого я близко знал, и еще одного писателя. Должности действительно отнимали у них много времени и мешали работать, и постепенно они привыкли к власти этих обстоятельств. Все они мечтали освободиться и часто говорили, как вот тогда-то они займутся любимым делом как следует, ибо урывками книги писать нельзя и наукой заниматься невозможно. Они освободились. Для каждого пришел такой день. И скоро обнаружилось, что никто из них уже не может работать. Они долго не признавались себе в этом, они искали обстоятельств, то есть каких-то поручений, отсрочек, избегая свободы, о которой они столько твердили и, возможно, добивались. Первый запил и покончил с собой. Второй как-то угас, незаметно и тихо. И третий.. Другие живы.

Любищев называл себя неудачником, и при этом он чувствовал себя счастливым человеком. Отчего возникает ощу-

щение счастья? У него — наверное, от полноты осуществления себя, своих способностей. Неудачник и счастье — не знаю, как это совмещалось. Может быть, он понял, что главное — это не результаты...

Он жалел тратить время на проталкивание своих произведений, на хождение по редакциям, всякие ходатайства, напоминания...

Он избегал обязательных визитов, праздников.

Но было одно постоянное занятие, на которое он «раскошеливался»,— это на письма. Я не касаюсь писем родным и друзьям: сколь бы они ни были подробны, щедры — тут все понятно. Я имею в виду письма деловые и научные. Среди последних есть по десять — двадцать — сорок страниц убористой машинописи. Тут и замечания на присланные рефераты, рукописи, и отзывы о книгах, и разбор разных статей. С чем только к нему не обращались! Спрашивали его мнения о Тейяре де Шардене, о телепатии, о проблеме адаптации, о природе хаоса, о названиях насекомых, о демографии, о кашалотах...

Возьмем первый попавшийся год, чтобы представить масштабы его переписки:

«1969 год. Получено 410 писем (из них 98 из-за границы). Написано 283 письма. Отправлено 69 бандеролей».

Адресаты его — институты, научные общества, академики, журналисты, инженеры, агрономы... Некоторые его письма перерастают в трактаты, в научные статьи. Некоторые письма, например переписка с Павлом Григорьевичем Светловым, Игорем Евгеньевичем Таммом, с Алексеем Владимировичем Яблоковым, с Юлием Анатольевичем Шрейдером, с Рэмом Баранцевым и с Олегом Калининым, составляют как бы научные обзоры, диалоги, научные диспуты, могут быть изданы сборниками.

Если взять только научную переписку Любищева, эти большие переплетенные тома, то они сами по себе — энциклопедия современного естествознания, философии, истории, права, науковедения, этики и еще невесть чего.

Я никогда не мог понять, каким образом ухитрялись в прежние времена люди поддерживать такую обильную переписку. Тем более умирающее это искусство изумляло у Любищева, человека нашего века.

В одном из писем он поясняет свои правила ведения переписки. На каждый месяц он составлял план, кому отвечать.

Полученные письма он как бы размечал, ставя знак: нужно отвечать или нет.

«На срочные письма я отвечаю немедленно, а остальные откладываются, и когда пишу серьезную работу, то на известное время накладывается мораторий на всю переписку, кроме срочной.

Но тут говорят, что надо отвечать на все письма, притом сразу — этого требует вежливость. Конечно, в современных биографиях выдающихся людей, написанных в стиле старинных акафистов, отмечаются совершенно неправдоподобные добродетели, вроде той, которая прописана в житии Николая-чудотворца, что он с самого рождения был благочестив и по постным дням отказывался от материнской груди... В частной переписке всякое обязательство должно быть обоюдным. Я считаю совершенно бесспорной и в государственных, и в личных отношениях великую идею договора, восходящую, как известно, к Платону. Никто не имеет права требовать ответа на свое письмо, ответ всегда — или результат договора с корреспондентом, или любезность (вовсе не обязательная). Я стараюсь отвечать на все письма, потому что переписка в том умеренном размере, которую я веду, доставляет мне удовольствие, потому что она не мешает моим основным целям, напротив, в значительной степени им способствует».

Читать его письма — удовольствие особое. В них проявляется широта его таланта, позволяющего ему видеть мир целостно. Вещи далекие, экзотические, какие-то частности, осколки всегда становятся у него частью целого, соединяются в единую картину. Он умел находить место любой вещи и учил восстанавливать эту утраченную целостность восприятия.

Исподволь, однако, подбиралась досада — да как же не жаль ему было расточать такие богатства втуне! Не для общего пользования, а для какого-то одного человека, часто ему, Любищеву, малознакомого. Некоторые из писем — готовые статьи: бери и печатай; в других привлечен огромный материал; он раздаривал свои мысли, идеи, накопленные наблюдения, и все это делал обстоятельно, подробно, как будто это входило в его обязанности, словно по службе. И времени расходовал на это — уйму. Ну ладно, отвлечения, допустим, писал статьи об истории, так то хоть статьи, а это ж — частные письма, их прочитает адресат — и все, больше ни для кого они не предназначены.

Опять — разбросанность, опять — противоречие. Экономить время, собирать его по крохам и тут же транжирить на письма, порождая в ответ лавину новых писем... Среди адресатов были и мало совестливые: хватай, пользуйся, благо задарма.

Все так, если судить по нашим законам. Но у Любищева были свои законы. Письма имели адрес, их ждали, они были нужны не вообще людям, как нужны статьи и книги,— а нужны человеку имярек, и это было Любищеву дороже времени. Так же как истинный врач творит для одного человека, одного больного, так и Любищев ничем не скупился, если кто-то нуждался в нем. Как он ни ценил время, он мог жертвовать и им. В нем не было всепоглощающей, нетерпимой научной одержимости. Наука, научные занятия не могут и не должны быть высшей целью. Должно быть нечто дороже и Науки и Времени...

Написав это, я вспомнил замечательного советского художника Павла Николаевича Филонова. Вот, пожалуй, наиболее сильный из известных мне примеров человеческой одержимости. Филонов был исступленно предан своему искусству. Он жил аскетично, нередко голодал — не потому, что не мог заработать, а потому, что не хотел зарабатывать себе живописью. Вел он себя нетерпимо, не соглашался ни на малейшие компромиссы. Судя по воспоминаниям его сестры, Евдокии Николаевны Глебовой, обстановка его мастерской — она же жилище — была самая спартанская. К другим художникам он относился в лучшем случае критически, а чаще — просто не признавал. Опять же из-за своей одержимости он не мог не отвергать все иные художественные школы и направления. Только свою живопись он считал подлинной, свою манеру считал революционной. Он не щадил своего здоровья, не щадил близких, не замечал никаких лишений; единственное, к чему была устремлена вся его натура,— живопись. Работать, писать, рисовать, стоять у холста, искать новые приемы, способы — это, и только это, было способом его существования, это было жизнью... Можно, конечно, уважать и чтить подобную художническую преданность, но человечески симпатичного в ней мало. А вместе с тем живопись Филонова поразительна. Значит, что же — одержимость, фанатичность помогали ему? Великолепные картины его, посвященные революции, петроградским рабочим, проникнутые энтузиазмом, живописные в каждом малом кусочке полотна,— все это получалось, несмотря на одержимость? Или благодаря ей?

Одержимость, значит, помогает таланту? Ничего в ней нет плохого? Да и что, спрашивается, нам за дело до того, какой ценой досталась Филонову эта красота, когда мы сегодня любуемся его картинами.

Так что же, чем плоха такая одержимость, если она помогает художнику? Ведь то же самое может быть и с ученым...

Важны результаты, важно открытие, добытая истина...

Вроде бы все так, но, почему-то уже без всяких доводов, мне по-прежнему несимпатична, неприятна одержимость. Иногда, перебирая рисунки Филонова, я мысленно благодарю его — и возмущаюсь, вспоминаю его жизнь и отвергаю ее всей душой, и не могу понять, прав он или неправ и имел ли вообще человеческое право на это?..

Письма были то немногое, чем Любищев мог практически помогать людям. Возможность помочь делала его нерасчетливым, он забывал о времени, выкладывался, не жалея себя. Его отзывы — это, в сущности, пространные рецензии. Он делал их бескорыстно, бесплатно. Он разбирал ошибки, находил сомнительные места, спорил, он совершал работу редактора — правил, подсказывал, советовал. К нему обращались малознакомые, вовсе незнакомые — он не отказывал.

Масштабы его деятельности соответствовали целому учреждению: «Главсовет», «Главпомощь», «Бюро научных услуг» — что-то в этом роде. Кроме научных советов, были и нравственные. Он не стеснялся выступать наставником, учить, требовать, разбирать поступки. Лично для меня наиболее драгоценное в его письмах — это нравственное учительство. Вот, например, он пишет одному из своих корреспондентов:

«...О Чижевском — я не уверен, что вы правы, скорее склонен думать, что вы не правы. Вы пишете: «Сейчас разобрался в двух вещах: 1) чижевщина — т. е. связи эпидемических явлений с солнечной активностью. Это чудовищное очковтирательство, на каковое клюнуло Общество испытателей природы...» ...Чижевского я читал немного (помню, целый том по-французски), просматривал давно. Называть человека очковтирателем и проходимцем — значит, иметь уверенность в том, что все его данные безграмотны, фальсифицированы и направлены для достижения личных, низменных целей... Даже если его выводы сплошь ошибочны, его ни очковтирателем,

ни проходимцем назвать нельзя. Возьму для примера такого автора, как Н. А. Морозов. Я читал его блестяще написанные «Откровение в грозе и буре» и «Христос» (семь томов). Морозов совершенно прав, когда пишет, что если бы теории, поддерживаемые «солидными» учеными, получили бы такое обоснование, как его, то они считались бы блестяще доказанными... Но его выводы совершенно чудовищны: царства — египетское, римское, израильское — одно и то же. Христос отождествляется с Василием Великим, Юлий Цезарь — с Констанцием Флором, древний Иерусалим не что иное, как Помпея, евреи — просто потомки итальянцев... и проч. Можно ли принять все это? Я не решаюсь, но отсюда не значит, что Морозов очковтиратель и проходимец. Можно сказать, что Морозов собрал Монблан фактов, но против него можно выставить Гималаи фактов. Но ведь совершенно то же самое можно сказать, по моему глубокому убеждению, и по отношению к дарвинизму. Дарвин и дарвинисты действительно собрали Монблан фактов, гармонирующих с их взглядами, но моя эрудиция позволяет мне сказать с уверенностью, что дисгармонируют с дарвинизмом Гималаи, которые все растут и растут...» И далее: *«...Могут сказать, что дарвинизм все-таки приводит к разумным выводам, а Морозов — к глупым... но не все работы Морозова приводят к нелепым выводам. Очень высоко ценят химики работу Морозова «Периодические системы строения вещества», где он предвидел нулевую группу, изотопы и еще что-то. Это, несомненно, был очень талантливый человек, но своеобразие его жизни позволило развиться лишь одной стороне его дарования — совершенно исключительному воображению — и, по-моему, недостаточно способствовало развитию критического мышления. Как же быть? Принять или отвергнуть Морозова? Ни то и ни другое, а третье: использовать как материал для построения критической гносеологии... Можно критиковать Чижевского, разобрав его доводы и показав, что они ничего не стоят... Это означает ошибочность взглядов Чижевского (как и ошибочность взглядов Морозова), но не дает нам еще права называть его очковтирателем. Но мне кажется, что Вы отвергаете Чижевского из общих «методологических», как у нас говорят, соображений. Тут я решительный Ваш противник. История точных наук в значительной мере является борьбой сторонников «астрологических влияний» (куда относятся Коперник, Кеплер и Ньютон), допускавших действие небесных тел на земные явления, и противников (наиболее выдающийся — Галилей),*

полностью это отрицавших. Классические астрологи ошибались, допуская возможность простыми методами определять судьбу индивидуальных людей, противники их, со скрежетом зубовным приняв астрологический принцип всемирного тяготения, стараются дальше «не пущать». Последние годы «астрологические принципы» как будто наступают: магнитные бури, солнечные сияния, связь с эпидемиями чрезвычайно вероятна. Но ведь эпидемии вызываются бактериями! Верно, но вспомним спор Петтенкофера с Кохом: в опровержение гипотезы Коха Петтенкофер выпил пробирку с холерными бациллами и остался здоров: опроверг ли он Коха?..»

Терпеливо, фактами и примерами, он поднимал нормы научной этики. Его слушали. С ним спорили, на него обижались, и тем не менее люди больше всего нуждались именно в нравственной его требовательности. Более того, у меня было такое ощущение, что нуждались в том, чтобы их осуждали, упрекали.

Пользуясь каждым случаем, Любищев требовал честного, аргументированного спора, терпимости к инакомыслящим. Он был из той редкой категории людей, с которыми спорить приятно. Начиная бороться с серьезным противником, он старался усвоить положительные стороны противника.

«Истинный ученый и искатель истины никогда абсолютной уверенности не имеет (дело касается тех областей знания, где есть споры), он пытается все новыми и новыми аргументами добиться согласия своего противника не потому, что он чувствует горделивое превосходство перед ним, и не из тщеславия, а прежде всего для того, чтобы проверить собственные убеждения, а не прекращает спора до тех пор, пока не убедится, что понял всю аргументацию противника, что противник держится своих взглядов не на основании строго объективных данных, а по причине тех или иных предрассудков и что, следовательно, дальнейший спор бесполезен... Серьезный спор может быть кончен тогда, когда автор может изложить мнение противника с той же степенью убедительности, с какой его излагает противник, но потом прибавить рассуждения, показывающие корни предрассудков противника».

Правила по строгости своей и щепетильности напоминают чуть ли не дуэльный кодекс.

«Где появляются ошибки, там намечается предел сил ученого. Тот, кто не ошибался, тот не испытал своих сил до

конца. Такой человек заслуживает порицания — он предпочел душевное благополучие выполнению долга...»

«Какое бы то ни было искажение истины человеком, призванным служить ей, есть нарушение служебного долга и совершенно аналогично преступлению офицера, бросившего свою часть на поле боя. Но потому, что нарушение воинского устава сурово карается законом, тогда как ученый, изменивший правде, может разгуливать, не рискуя жизнью и свободой, именно поэтому его измена нечто худшее, чем преступление дезертира. И такой ученый заслуживает по меньшей мере позора и бесчестия».

Трудно удержаться, чтобы не приводить еще и еще цитат такого рода. Большая часть их лишена категоричности требований и (что тоже характерно!) относится к наблюдениям, размышлениям.

«Полное отрицание положения «цель оправдывает средства» совершенно невозможно, все дело в том, чтобы применять отрицательные средства в возможном минимуме и не называть плохих средств хорошими только потому, что они служат для хороших или приемлемых целей».

«Я полагаю возможным формулировать такую общую формулу этики, которая может обнять все существовавшие формулы: поступай так, чтобы твое поведение способствовало прогрессу человечества, выражающемуся в победе духа над материей».

«Против большого зла можно применить меньшее зло, причем все зло в сравнении: можно применять любое зло, лишь бы оно было меньше того зла, с которым приходится бороться».

«Личное бессмертие меня как-то никогда не привлекало, даже в детстве, когда искренне верил в бессмертие. Мне казалось непонятным, что я буду делать в течение вечности. Я представлял себе, что души летают в виде ангелов. Ну, конечно, полетать хорошо (мне неоднократно снилось, что я летаю, и это было чрезвычайно приятно), ну год, два, но летать целую вечность ведь надоест. Думаю, что в такой примитивной форме бессмертия нет, да и в превосходной строке А. К. Толстого «в одну любовь мы все сольемся вскоре». Это что-то похоже на буддийскую нирвану, а не на личное бессмертие».

В одном из писем он цитирует фразу Лесгафта: «Из ста человек, переходящих Дворцовый мост, девяносто шесть могут сделаться первоклассными зоологами».

И далее А. А. Любищев пишет:

«...Лесгафт не говорил «учеными». Вероятно, есть много наук, где можно продвигаться вперед и достигнуть известных степеней только при помощи усидчивости и трудолюбия. Лица, далекие от науки, как Л. Толстой, встречая таких людей, приходили к заключению о невысокой роли науки. Есть науки, требующие особых способностей для успешной работы, например — математика, но известно, и мне приходилось наблюдать, что высокие математические способности иногда уживаются в одном человеке с необыкновенными провалами в других областях. Талантливый и умный — совершенно не одно и то же. Умный человек может быть совершенно бездарен. Есть даже такая поговорка: «Нормальный человек — бездарный человек, гений — человек безумный...»

У Ницше есть выражение: „Гений и ученый всегда враждовали друг с другом..."»

Невозможно быть эпигоном А. А. Любищева. «Творческий потенциал этого примера тем и прекрасен,— писал поэт и ученый Ю. В. Линник,— что он содействует высвобождению ресурсов самобытности и самостоятельности в каждом человеке, задумавшемся о таких простых вещах, как правда, добро, совесть».

А. А. Любищев позволял себе в сугубо научных работах высказывать этические положения:

«Почти в каждом человеке живет необходимость опираться на что-либо прочное, абсолютно достоверное. Без абсолютного, какого-то совершенного авторитета, какой-то веры трудно жить даже людям с высоким интеллектом... Тяготение к авторитету не бессмысленно, оно укрепляет мысль человека в определенных направлениях, закрывает свободу в других, иначе получается растекание мыслей по древу, бесплодие...»

«Фанатизм основателей нового учения, готовых принести в жертву самих себя для торжества нового учения, сменяется фанатизмом церковников, склонных более принести в жертву своих противников».

«...среди религиозных людей имеются две очень резко различные категории: одна, для которой религия есть отыскание окончательно установленной истины, для других истина есть искание истины, сюда относится, например, Лессинг. Наш общий друг В. Н. относится к первой категории, я — ко второй... Ко второй категории принадлежат, конечно, все ересиархи, лидером второй категории среди христиан является апостол Фома Неверный. Но ведь Фома не был осужден цер-

ковью, и даже, помню, в одном из песнопений поется: «О доброе неверие Фомино»; скептики и ересиархи, по-моему, предусмотрены вселенским штатным расписанием».

Если когда-нибудь подобрать выписки из разных сочинений и писем Любищева касательно этики, то получится целый свод морали, правил жизни и поведения — не то чтобы законченное этическое учение, но, во всяком случае, обширная этическая программа, своеобразная и точная. Своеобразие ее хотя бы в том, что понятие «порядочный человек» мало устраивало Любищева. «Порядочными людьми» были для него те, умственный и моральный уровень которых соответствует «уровню коллектива». Он же требовал иного — истинной моральности, то есть чтобы человек самостоятельно работал над повышением этого морального уровня; чтобы мораль для него была не исполнением прописей, а процессом преодоления, работы. Он понимал, что таких людей всегда немного, но всегда их было достаточно, чтобы обеспечить моральный прогресс человечества.

Одним из образцов ученого для него был Климент Аркадьевич Тимирязев. Почему именно Тимирязев? Отнюдь не из-за чисто научных достижений, не из-за каких-то способностей исследователя, которым Любищев мог бы позавидовать. Нет, прежде всего из-за его нравственных качеств. Не то чтобы он специально изучал мемуаристику, и лично Тимирязева он не знал — судить он мог, лишь читая его работы. Какие же именно душевные качества извлекает Любищев из научных сочинений Тимирязева: а) преданность чистой науке; б) сознание общественного долга ученого перед народом и обществом.

Многим эти две тенденции кажутся несовместимыми.

«...Одни ученые берут первую часть и, замыкаясь в башню из слоновой кости, считают, что они вправе игнорировать запросы времени, при этом такие ученые очень часто смешивают истинно чистую, теоретическую науку с погоней за бирюльками, с бесполезной наукой. Другие, выражая (часто только на словах) свою готовность служить народу и обществу, заниматься узким практицизмом, на деле не двигают ни чистую науку, ни практику. Великолепную отповедь таким дельцам от науки Тимирязев дал в подлинном шедевре «Луи Пастер».

Но эта великолепная биография открывает нам и другую замечательную сторону личности Тимирязева: он не смешивал научные заслуги ученого с его мировоззрением. Ведь Пас-

тер был глубоко верующим католиком, а Тимирязев — воинствующим атеистом, и в том споре, в котором некоторые не по разуму материалисты вставали на сторону противников Пастера, он решительно принял сторону Пастера».

В каждом из ученых, кого он чтил — Карл фон Бэр, Фабр, Коперник,— на первом месте стоял нравственный элемент. Не вообще нравственность, а всякий раз какие-то конкретные качества, какие-то точные, активные свойства души, которые вызывали восхищение Любищева.

С трогательным постоянством он пользовался каждым случаем, чтобы воздать должное своим друзьям — Владимиру Николаевичу Беклемишеву и Александру Гавриловичу Гурвичу.

Его восхищение вызывали Альберт Эйнштейн и Мохандас Ганди.

При его напряженной духовной жизни его герои, его любимцы, его примеры менялись, и было бы интересно проследить, как именно менялись. Про Любищева никогда нельзя было сказать: «он стал». Он всегда — «становился». Он все время искал, менялся, пересматривал, повышал требования к себе и к своим идеалам.

Помогала ему Система. Или заставляла его...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,

которую лучше всего назвать — «искушение»

Не стоит считать его уж таким альтруистом. Он тратил много времени на письма, но они же и сберегали ему время. Копии писем в переплетенных томах стояли на полках вместе с томами конспектов прочитанных книг — оттуда Любищев часто черпал заготовки для своих работ. Иногда письма почти целиком входили в рукопись. Система помогала ему использовать весь огромный, накопленный десятилетиями материал.

Под воздействием Системы жизнь, несмотря на внешние события, обретала монотонность, столь нужную и благотворную для ученого. Ритмично, с назойливостью метронома, она отщелкивала месяцы и годы, не разрешая забыть о текущем времени.

Она создавала ему максимально разумную и здоровую жизнь. Она, его Система, обеспечивала ему такую занятость, что ему легко было не замечать многих бытовых, да и житейских невзгод. Она помогала ему не раздражаться, легко, по-олимпийски, переносить и людскую глупость, и бестолковость служебных порядков и беспорядков. Этим объяснялось его спокойствие и здоровые нервы.

Ему нужно было очень мало: место для книг, для работы и покой. Конечно, покой — это не так мало. Покой в наше время — вещь дефицитная. Но покой Любищева был простейший — тишина и свобода от срочных дел. Он никогда не стремился иметь большую квартиру, дачу, машину, картины, красивую мебель — ту обстановку, уют, которые для некоторых входят в понятие покоя.

У него бывали случаи обрести такой комфорт, ничем особым не поступаясь. Так сказать, без компромиссов. Время от времени открывались высокие научные должности. Как возможность. Некоторые усилия — и он мог бы продвинуться... Но ему ничего этого не надо было. Ничего сверх самого необходимого. Не то чтобы он нарочно лишал себя каких-то благ — ему просто не нужно было многое из того, что считается обязательным. Глядя на роскошные квартиры некоторых своих ученых коллег, на эти гарнитуры, отделку, где столько сил, забот вложено в каждую дверную ручку, он мог удивленно повторить слова одного философа: «Как много есть вещей, в которых я не нуждаюсь!»

Это была свобода. Он был свободен. Но окружающим, близким от такой его свободы было тяжко. Окружающие были обычные люди, они не могли довольствоваться той малостью удобств, какой хватало ему. Их тяготила его постоянная занятость, нескончаемость работы, та мельничка из сказки, которая все молола и молола соль...

Его считали чудаком. Он не отказывался от этого звания. Сократа тоже считали чудаком, что, кстати говоря, полностью отвечало сущности сократовского характера. Любищев понимал, что, вступив на еретический путь, он чаще всего будет встречать непонимание. Недаром Оскар Уайльд говорил: «Когда со мною соглашаются, я чувствую, что я неправ».

Истины, которые Любищев еще недавно защищал как оригинальные, завтра становятся банальными. Научную истину надо обновлять. Наука для него начиналась с сомнения и кончалась уверенностью. То же относилось и к философии.

Жизнь его нельзя назвать аскетичной. Все выглядело обыкновенно. Он занимался спортом. Плавал. Гулял. Мечтал купить новую пишущую машинку. Нужда была средней: то, что называется домом, выглядело ничем не примечательно; только близкие помнили, сколько за этой скромностью было упущенных возможностей — устроиться в Москве, в Ленинграде...

Он сознавал, что все это — неизбежная плата за свободу, за возможность оставаться самим собой. Плохо, конечно, что расплачиваться приходилось не ему самому, а самым родным и любимым людям.

Платить надо было и другим — при большой внутренней продуктивности его Система давала малый выход, то есть в печать работ попадало немного...

Всякий раз перед ним возникала необходимость выбора. Либо — приспособиться к требованиям научных журналов, редакций: писать так, чтобы не вызывать протеста, не дразнить, не перечеркивать господствующих взглядов. Он уважал своих противников, ему нужен был спор, а не возмущение. Это не означало приспособленчества. Но, чтобы возникла дискуссия, ему надо было применять тактику. Выступать против учений, принятых большинством биологов, одному — против признанных корифеев,— для этого требовались терпеливые и умные ходы. В чем-то уступить, в чем-то отдать должное... И ничего в этом не было зазорного... Ведь он не просто предлагал новую формулу — он опровергал, он отрицал, и тут он должен был уметь переубедить.

Либо же — развивать свои взгляды на эволюцию, ни на кого не оглядываясь. Не считаться с противниками, а сохранять независимость. Думать не про победу своих идей, а про оснащение их. Остаться верным избранной Системе — то есть следовать намеченному плану, пункт за пунктом; писать так, как будто не существует никаких человеческих страстей, самолюбий; не иметь в виду, что академик Н. говорил про Р. Фишера и что Т. — лауреат и директор института...

Он выбрал этот последний, совсем не такой уж бесспорный вариант, тем самым обрекая себя на всякие трудности с печатанием. Иногда — на многолетнее молчание.

О нем забывали. Кто-то справлялся: где он, жив ли... «А-а, тот самый Любищев, который так обещающе начинал?» — «Кажется, где-то преподает в провинции». Мало ли

их, несостоявшихся провинциальных профессоров: когда-то они что-то сделали, потом так и застряли, угасли, что-то печатают в местных трудах, в сборниках, которые никто не читает. Не всем же удается удержаться...

Не следует думать, что это его не мучило. Провинциализм для ученого — вещь опасная, незаметная. В современной науке такие темпы, что вчерашние звезды сегодня вспоминаются с трудом. Это не литература, где можно писать, не заботясь о конкуренции, писать под спуд, впрок, в стол. То есть можно и в науке, но это очень рискованно — слишком быстро все стареет. Это в XVII веке Кеплер мог утешать себя: «...Я писал свою книгу для того, чтобы ее прочли, теперь или после— не все ли равно? Она может сотни лет ждать своего читателя, ведь даже самому Богу пришлось 6000 лет дожидаться того, кто постиг его работу».

Складывать написанное в стол было невесело. В сущности, каждый раз, начиная работу, он терзался перед выбором. Казалось бы, все было решено, но бесы снова и снова искушали его. Они были умны, современны. Они не обольщали его голыми блудницами, не булькали вином, не звенели золотом. Они знали, с кем имеют дело. Длинные влажные листы верстки шелестели и вкусно пахли краской, сверкали глянцевые корешки переплетов, где золотым тиснением поблескивала фамилия автора. «И ты бы мог, и ты бы...» — шептали страницы. Не ради славы, ни в коем случае, только ради пользы дела.

А всякий успех укрепляет положение, репутацию, а это, в свою очередь, приведет к тому, что его сделают членом редколлегии, ученого совета, член-корреспондентом, а это опять же позволит ему еще свободнее печататься и пропагандировать свои биологические идеи и поддерживать своих молодых сторонников.

Пора, пора, довольно воздерживаться... В наше время — проповедовать научные истины в частных письмах? Средневековье! Неужели он всерьез надеялся на интерес потомков к его рукописям, надеялся на то, что время не обесценит его трудов?..

Древние отгоняли бесов молитвами. Любищев держался за свою Систему, она была как крестное знамение. Она позволяла различать крупицы будущего. Так, старые его работы, некогда напечатанные в провинциальных изданиях, не оставались незамеченными. Их все чаще цитировали. Однажды перепечатали за границей, и отовсюду начали приходить

запросы на оттиски. Он хвалился количеством таких запросов. То же повторилось с другой статьей. Это был показатель.

Вдруг выяснилось, что этот гордец, отшельник, альтруист — нормально честолюбив. Не тщеславен, а честолюбив. Ведь это разные вещи! Тщеславен Герострат, честолюбив Кеплер. Впрочем, Герострат, как заметил Любищев, не самый хороший образец честолюбца:

«...За свой «успех» (ибо, сожгя храм, он таки добился своего — прославился на века) он поплатился жизнью,—множество куда более вредных честолюбцев строят свой успех на огромных пирамидах трупов».

Не ожидая похвал, он научился сам воздавать себе должное. Система учета давала ему объективные показатели своего состояния. С гордостью он отмечал 1963 год как рекордный по числу рабочих часов — 2006 часов 30 минут! В среднем в день 5 часов 29 минут. А до войны получалось примерно 4 часа 40 минут! Он отчетливо понимал подлинную цену этим цифрам, он сам устанавливал свои нормы, сам следил за собою с секундомером в руке, сам награждал и сам наказывал себя.

...Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Суд, творимый им, был строже иных судов — потому что он судил себя на основании документов и фактов, проводя всякий раз тщательное расследование.

При таком суде некоторые события получали неожиданное оправдание, а злодеи и обидчики оказывались благодетелями.

— Хвала мудрому начальству,— восклицал Любищев,— приостановившему мне возможный путь к яркой карьере.

Не нам понять высоких мер.
Творцом внушаемых вельможам!

Под личиной смешка он и в самом деле был доволен, что так все сложилось. Он умел использовать себе на пользу не только отбросы времени, а и подножки судьбы. Куда бы его ни посылали, где бы он ни жил — он жил полноценно, все с тем же крайним напряжением. Провинция? Тем лучше, больше времени работать, думать: спокойнее, тише, здоровее... В любом положении он отыскивал преимущества. Не мирился, не ждал милости,— вся его Система была призывом к повышению человеческой активности.

Есть такие натуры: там, где они находятся, там — центр мира, там проходит земная ось. То, что они делают, и есть самое наиважнейшее, самое необходимое.

Пять с половиной часов в день чистого труда. Круглый год! Это ли не достижение! Это вам не жук на палочке!

...Что это — упоение собой? Эгоизм? Нет, нет, это счастье осуществления самого себя. А человек, который осуществляет себя и живет в этом смысле для себя, приносит наибольшую пользу... В этом была требовательность к себе — не к другим, это мы умеем, а прежде всего — к самому себе. В какой-то мере и то, что он писал, он как бы писал для себя, соотносил написанное с собою. Большая часть разного рода сочинений пишется ведь д л я д р у г и х. Трудятся, чтобы учить д р у г и х, а не для того, чтобы познать себя и внутренне просветиться самим. Я знал авторов, которые из написанного ими не делали никаких для себя выводов: то, на чем они настаивали, никакого отношения к ним самим не имело. Единственное — когда книга встречала возражения, они бросались защищать ее. Воспитывать — д р у г и х, заставлять мыслить — д р у г и х, призывать к добродетелям — д р у г и х... Автор же при этом никак не обращает на себя свои рассуждения, он считает себя вправе как бы самоотделиться; важно, что мысли его полезны, он отвечает за их правильность, а не за их соответствие с его жизнью. Соответствует или не соответствует — не важно, никому нет до этого дела, важно, чтобы было талантливо. Вокруг этого все и вертится (в лучшем случае!) — талантливо или неталантливо. А что сам талант при этом исповедует, какова лично его этика, следует ли он тому, к чему призывает,—это считается второстепенным делом.

До поры до времени.

Пока не встретится человек, у которого требования к другим и требования к себе совпадают. И тогда сразу чувствуется преимущество цельности. Вот почему мы так радуемся, видя среди ученых, философов, писателей, среди мыслителей, учащих жить,— примеры высокой морали. Особенно богата этим история русской интеллигенции — тот же Владимир Вернадский, и Лев Толстой, и Владимир Короленко, и Николай Вавилов, и Василий Сухомлинский, и Игорь Тамм...

С совершенно особым чувством читается книга Альберта Швейцера «Культура и этика» — именно потому, что Швейцер подвигом всей своей жизни заработал право обращаться к нашим душам.

Таланту мы готовы многое прощать.

Александр Любищев принадлежал к тем талантам, которые не желали пользоваться льготами и снисхождением. Его дневники, его письма — летопись духовной работы, которую вел этот человек больше чем полвека над формированием своей личности.

Такая работа многим казалась ненужной, даже раздражала. Было так удобно считать, что среда, общество, в первую очередь, воздействуют на человека, что обязанность общества — работать над личностью, заставлять ее становиться лучше, требовать от нее, и т. п.

Любищев требовал от себя сам, сам себя контролировал, сам за собой следил, сам перед собой отчитывался.

Перед собой ли? Только ли перед собой? Снова и снова я пробовал объяснить чувство, которое владело им. Скорее всего, это ощущение бесценности дарованной жизни, которая не просто — единственная и неповторимая, но и каждый день которой наделен той же единственностью и неповторимостью.

Как ни странно, но его рационализм рождал энтузиазм, от его методичности возникало каждодневное удивление перед чудом жизни. Его Система как бы обновляла эту чудность, не давала к ней привыкнуть.

Большая часть людей не пробует выйти за пределы своих возможностей; за свою жизнь они так и не пробуют узнать, на что они способны и на что — неспособны. Они не знают, что им не под силу. Печальнее всего эта благоразумность в науке. Ученый, который выбирает себе задачи по силам, достигает почета и солидной репутации. Он не совершал ошибок. Списки его работ безупречны, никто их не опровергал, они всегда были результативны. Если он брался за дело, он доводил его до конца. Но где-то там, за чертой этого длинного списка его печатных работ, начинается ненаписанное, несделанное — вот там, среди несовершенных ошибок, избегнутого риска и даже позора, таились, может быть, действительно великие открытия. И уж наверняка — открытие самого себя. Обидно прожить жизнь, не узнав себя — человека, который был тебе вроде ближе всех и которого ты так любил...

В этом смысле Любищев изведал себя. Он мерил не задачи по своим силам, а свои силы по задачам. Лучше иметь духовный долг, считал он, чем сохранять душевную безопасность.

У Демокрита есть выражение: не поступок как таковой, а намерения определяют нравственный характер. Раньше я не понимал этой мысли. И не принимал.

Любищев многое не успел — не получилось, но для меня было важно, что он хотел, его намерения: из них возникало душевное притяжение его личности.

Через свою Систему он изучал себя, испытывал: сколько он может писать, читать, слушать, работать, размышлять? Сколько и как? Не перегружал себя, не взваливал не по силам; он шел по кромке своих способностей, оценивал их все более точно. Это был безостановочный путь самопознания. Для чего? Для самосовершенствования? Для наивысшей самоотдачи? Для полноты выявления себя?

Как украсилась бы жизнь, если бы каждый человек мог знать, на что он способен! Ведь каждый может куда больше, чем ему кажется,— он и смелее, чем он себя считает, и выносливее, и сильнее, и приспособленней. В голодную зиму ленинградской блокады мы насмотрелись на чудеса человеческих душ. Именно душ, прежде всего душ, потому что в этих истощенных, изглоданных муками телах поражали энергия души, ее стойкость. Теоретически даже медицина не могла представить организм, способный вынести столько лишений. Для человека — как и для стали, для проводников, для бетона — существуют пределы допустимых нагрузок. И вдруг оказалось, что пределы эти можно превзойти и люди могут жить не физическими силами — их не было, они были исчерпаны, а люди продолжали жить и действовать силами, не предусмотренными медициной: любовью к Родине, ненавистью, злостью. Во время блокады поражала не смерть — она была законна,—поражала живучесть: то, что мы чистим от снега траншеи, таскаем снаряды, воюем.

Героизм войны — исключение. Но ведь и в будничной жизни бывают такие нечаянные часы, когда человек реализует себя с необычайной полнотой. Невесть откуда — и нахлынут силы, и ум заострится, вскипит воображение... Счастливое, блаженное это состояние писатели называют вдохновением, спортсмены — формой, ученые — озарением; это бывает у каждого человека — у одних редко, у других чаще... Вот это-то и важно: возможность такого состояния, когда человек превос-

ходит себя, свои обычные способности и пределы. Значит, это возможно, а если это возможно о д н а ж д ы, то почему не дважды и не каждодневно?..

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ,

когда пора подумать о душе

Но одним из лучших украшений человеческой жизни является дружба. Автор начал эту главу с предлога «но» потому, что он внутренне спорит с теми, кто считает А. А. Любищева человеком сухим, расчетливым, лишенным эмоций, зависимым от своей Системы и т. п. Автор не хотел, чтобы у кого-нибудь сложилось такое впечатление. Впрочем, в глубине души автор надеется, что такого рода мнение высказывают люди, которые не умеют пользоваться жизнью, тратят ее бестолково, безалаберно, впустую и хотят как-то оправдаться.

Вот почему автор хотел рассказать о той нежной дружбе, которая связывала его героя со многими людьми. Рассказать хотя бы на примере того же Павла Григорьевича Светлова, замечательного ученого-генетика, человека того же, как бы сказать, калибра, что и Александр Александрович. Для этого автор не нашел ничего лучше, чем привести кое-какие отрывки из их переписки, которая длилась лет тридцать и сама по себе есть литературное произведение, диалог двух любящих друг друга людей, которые по-разному думали о главных вопросах бытия и от этого еще более ценили друг друга.

1 апреля 1960 г.

П. Г. Светлов — А. А. Любищеву

Дорогой Александр Александрович!

Как мне стало известно, в этом году тебе исполняется 70 лет. Эту почтенную и знаменательную дату следует особенно отметить. Позволь поздравить тебя от всего сердца, заочно обнять и пожелать здоровья и сил на предстоящем этапе жизни, очень ответственном: нужно подводить итоги и производить конечные синтезы на высшем уровне! Собирать урожаи посевов, сделанных за более чем полвека напряженной работы, просматривать свою «кладовую» и приводить все в окончательный порядок. Работа большая, в соответствии с размерами твоей «кладовой» и количеством запасов в ней, ждущих надлежащего использования.

Ты и Владимир Николаевич[1]*—наиболее выдающиеся люди из всех, с которыми сводила меня судьба. Были еще двое: одного ты не знал (В. Н. Кириллин, поэт, мой гимназический товарищ, убитый на войне в 1914 году в возрасте 25 лет), а другой — Д. М. Дьяконов, человек исключительно и разносторонне одаренный, скончавшийся в 1923 году. С тобой и В. Н. мне довелось провести большую часть жизни; общение с вами обоими столь обогатило мою жизнь, что мне трудно найти адекватные слова для выражения своей любви и признательности своим старым товарищам, дружбой с которыми я горжусь. В данный момент я хочу, с целью отметить твое семидесятилетие, кое о чем вспомнить и кое о чем поболтать.*

Наше знакомство состоялось в Перми, как будто в 1921 году (или в 1920?). Тебе было тогда всего 30 с небольшим лет. Я младше тебя всего на два с половиной года, но чувствовал себя тогда по сравнению с тобой совершенным юнцом, т. е. рассматривал тебя как «большого», самого себя считал «маленьким» (к чему были положительные основания). Представь, это отношение к тебе, как к старшему, осталось до сих пор, хотя теперь разницы в летах между нами практически не существует. Встреча с тобой была для меня большим событием, которое очень повлияло на мое дальнейшее развитие. Может быть, и смешно говорить о «развитии» в возрасте около 30 лет (nel mezzo del cammin di nostra vita[2], как охарактеризовал *Данте свой возраст, в котором он написал свою поэму, но ко мне это подходит в высшей мере, т. к. я развивался исключительно медленно и считаю, что я еще не закончил своего «развития», хотя мне уже пора бы «свиваться»... Я слушал все, что ты говорил, буквально развесив уши. Особенное значение для меня имели в дальнейшем твоя пропаганда идеи поля, формы, как самостоятельной проблемы и в том числе эстетической(!), естественной системы в оригинальном понимании ее, математика в биологии и т. д. Усиливал впечатление необыкновенный энтузиазм в высказываниях, благодаря чему они производили впечатление ослепительного фейерверка. Вообще, прибегая к древней терминологии, можно сказать, что при создании твоей личности в качестве основной субстанции был взят огонь; остальные три стихии участвовали в этом событии в минималь-*

---

[1] В. Н. Беклемишев.
[2] «Земную жизнь пройдя до половины...» *(Пер. М. Лозинского).*

ном количестве, необходимом для приготовления человека. Так как этот огонь согревал не только интеллектуальные центры, а проникал все мое нутро, то, естественно, я быстро был расплавлен целиком, т. е., проще говоря, ты стал мне столь близким человеком, что мне даже немного совестно писать тебе дифирамбы. Причиной стыда в этих случаях является, по-видимому, то, что близкий человек становится как бы частью самого себя.

Я много от тебя получил, но, думается, имею основание ожидать от тебя еще большего в смысле твоей дальнейшей научной продукции. Да этого ждут от тебя и многие другие. Ты ведь занимаешь совершенно особенное место в нашей научной общественности. Не имея чинов, орденов, почетных званий и т. д., ты занял в ней прочное и видное место как основатель нового направления в систематике, знаток и пропагандист математических методов в биологии, лидер оппозиции казенщине в философии (не говоря о твоем авторитете у энтомологов по борьбе с вредителями и специальным вопросам).

Итак, переходим в следующий этап жизни, на котором, надеюсь, наша близость не уменьшится. Есть шансы, что она увеличится, т. к. я не теряю надежды высказать некоторые соображения по общим вопросам, судьей которых я хочу надеяться иметь тебя. Я все откладывал это дело, но теперь подошло время, когда дальше его откладывать некуда. Ты уже неоднократно советовал мне «подумать о душе», что пора сделать. Совет правильный, и по-настоящему его надо принять к руководству; при этом, мне думается, в него нужно вложить троякий смысл (в данном случае). Прежде всего нужно избавиться от «суеты» жизни, каковой являются сейчас для меня служба и экспериментальная работа. Последняя, при всей своей увлекательности, ограничивает горизонт и поэтому известным образом «отупляет». Подобно тому, как «эпоха Возрождения» по чьему-то выражению (кажется Бердяева) оказалась и «эпохой вырождения» могучих духовных сил средневековья, современная наука при всем ее блеске, хотя и идет по правильному и необходимому руслу, заслоняет другие аспекты действительности (отнюдь их не опровергая, конечно). Пора остановиться и подытожить сделанное в цеховой части, это — первое. Далее, нужно подытожить вообще все, что возможно, по интеллектуальной части: «сопрягать надо», как снилось П. Безухову на Бородинском поле.

Но прежде всего этот совет надо понимать в том его прямом и простом смысле, в котором выражение «подумать о ду-

ше» понималось нашими матерями и бабушками, а также и всеми величайшими духовными отцами человечества.

Чем ближе становится роковой предел жизни, тем больший субъективный интерес приобретает величайший из всех великих вопросов — вопрос о личном бессмертии. Я не знаю твоих взглядов на этот вопрос, но полагаю, что для платониста он не должен решаться отрицательно. Что до меня, то

Сердцем вещим знаю я —
Обеты данные не ложны...

Содержание сущности этих обетов выражено у особо чтимого нами обоими поэта:

В одну любовь мы все сольемся вскоре,
В одну любовь, широкую, как море,
Что не вместят земные берега...

Конечно, несмотря на все обеты, «последний рейс» — страшная вещь. Главная причина этого, думаю,— неизвестность...

А. А. Любищев — П. Г. Светлову

Милый мой друг Павел Григорьевич!

Из всех писем и других приветствий, полученных мной в день моего 70-летия, твое было самое длинное и самое содержательное. Не скажу, чтобы оно было наиболее приятным, несмотря на то, что оно было необыкновенно приятно. Наиболее приятным и неожиданным было получение длинного письма-телеграммы за подписью Павловского, извещавшее об избрании меня почетным членом Энтомологического общества. Дело, конечно, не в звании самом по себе, а в том, что Павловский решился подписать телеграмму исключительно теплого характера, в которой отмечались мои заслуги общественного характера (а всякий знает, что это значит) и в частности моя работа по математизации биологии...

Ты пишешь, что хотя разница наших лет и невелика (два с половиной года), ты до сих пор сохранил ко мне отношение, как к старшему. Я же могу тебе сказать, что отношение, как к старшему, было у меня к В. Н. Беклемишеву, хотя он моложе меня на полгода. Когда я впервые познакомился с ним (по-настоящему познакомился с ним я в Мурмане в 1911 году), он явно был выше меня и, пожалуй, всех наших товарищей по степени своего развития, и, конечно, я от него многое получил, разница между нами, может быть, та, что я с ранней мо-

лодости поставил перед собой задачи, превосходящие мои умственные силы, а В. Н. по-своему все-таки не использовал всех своих умственных сил. Поэтому, хотя он и дал биологии очень много, но он бы мог дать еще больше. К такому выводу я пришел в свое время в Перми. В. Н. Беклемишев чрезвычайно помог мне в продумывании вопросов общей систематики, и, например, ясное различие между коррелятивной и комбинативной системой мне стало ясно только благодаря ему. В. Н. начал читать курс по теории системы (не помню, слушал ли я этот курс), я был усердным слушателем и даже писал письменные комментарии к его лекциям. К моему удивлению, теорию системы он строил только касательно обычной иерархической системы, совершенно не касаясь других форм системы, которые он отлично понимал. На мой вопрос, почему он это делает, он сказал, что считает необходимым ограничить свою задачу, так как хорошо будет (его подлинные слова), если ему удастся «оправдать веру отцов, возведя ее на высший уровень рационального понимания» (это, кажется, слова Вл. Соловьева, за точность слов не ручаюсь). Возможно, что я сделал ошибку, стараясь захватить слишком крупную добычу... и разбрасываясь по разным направлениям. Ответить можно будет на этот вопрос только на смертном одре, а я постараюсь еще пожить. Мне, во всяком случае, наверное, нельзя будет сделать упрека, что я старался работать ниже своих способностей. От университета я получил, видимо, больше, чем ты. В смысле расшатывания установившихся воззрений много сделали приват-доценты Аверинцев, Педашенко, К. Н. Давыдов, Е. А. Шольц, и я окончил университет с большим накоплением противоречий отчасти и под влиянием чтения (де Фриз, Штейнман и др.). И вот, вскоре после окончания университета я встретил А. Г. Гурвича; эта встреча мне дала, конечно, больше, чем кто-либо другой. Поэтому мое развитие в значительной степени является следствием ряда благоприятных встреч. Развиваюсь я тоже очень медленно и как будто еще продолжаю «расти», хотя я уже прошел не «меццо дель каммин», а всю дорогу (которая во времена Данте считалась, как и в Библии, за 70 лет)...

15.8.1969.

А. А. Любищев — П. Г. Светлову

Моей «чудовищной работоспособности» ты завидуешь совершенно напрасно. Когда я жил в Ленинграде, то работо-

способность была гораздо ниже. Крупные города, в особенности Москва, созданы со специальным назначением: показать, что вечность мучений вполне совместима со благостью божьей. Мучения не противоречат благости, если они выбираются добровольно, а москвичи крепко держатся за свой ад, что, впрочем, можно сказать и о ленинградцах.

Секрет моей работоспособности сейчас: 1) я не имею обязательных поручений, чрезвычайно вредно действующих на нервную систему; 2) я не беру срочных поручений и в случае утомления сейчас же прекращаю работу или отдыхаю, или перехожу на неутомительное занятие; 3) сплю очень много, сейчас восемь часов ночью и два после обеда, всего не менее десяти, и регулярно гуляю; 4) веду учет, как тебе известно, уже более 50 лет, и поэтому не распускаюсь; 5) комбинирую утомительные занятия с приятными, так что целый день один участок нервной системы никогда не работает.

Но соблюдение всех указанных условий трудно при нахождении на государственной службе и в больших городах. Те, кто при неблагоприятных условиях может работать,— вот это действительно работоспособные люди...

23.5.1970.

А. А. Любищев — П. Г. Светлову

Дорогой друг Павел Григорьевич!

...Рассматривать мою жизнь как нечто исключительное по изоляции от сочувственной среды совершенно невозможно. Сочувствие компетентных друзей сопровождало мою жизнь, и, что особенно отрадно, число сочувствующих и интересующихся все время возрастает, и я могу быть уверен, что ценное в моей работе не пропадет после моей смерти, даже если не будет опубликовано при жизни. Это великое утешение, и если принять во внимание трагическое время, в котором протекала моя жизнь, то я вправе назвать свою жизнь очень счастливой. Единственное действительно серьезное несчастье — это была смерть моего несравненного сыночка Всеволода. За мою счастливую жизнь «я долг своим сыном заплатил». А старость моя действительно исключительная: по продуктивности моей основной задачи она много превышает более ранние периоды моей жизни и в значительной мере потому, что на усвоение интересовавших меня книг я никогда не жалел времени и сейчас я пожинаю плоды той разбросанности интересов, которая многим казалась нецелесообразной.

Число друзей у меня непрерывно растет и, что меня особенно радует, и среди молодежи. И в старости есть много радости. Вопреки твоему утверждению, я не был участником сказочных успехов науки, но я надеюсь, что, когда (вероятно, после моей смерти) биология на совершенно новой (не биохимической) основе достигнет действительно сказочных успехов, и мое имя не будет забыто.

Заманчиво было бы привести и другие этапы переписки этих, таких разных и таких необходимых друг другу людей. Хотя бы ради наслаждения уровнем мысли, взаимоуважением, игрой ума... Однако автору приходится себя ограничивать. Автор не пишет книгу о научных, философских взглядах Любищева, ни о его работах и достижениях. О его жизни тоже не пытается рассказать. Это ни в коем случае не биографическая повесть, и, как говорится, никаких претензий насчет неполноты и недостаточности жизни героя автор не принимает. И если автор позволяет себе отступление, то это нарушение правил, и именно за это его, то есть автора, можно упрекать. Конечно, плохо, что автор не может удержаться. Заговорив о дружбе, о чувстве любви и уважения, которое окружало А. А. Любищева, хочется понять природу этих чувств. Особенно теперь, спустя годы после ухода его из жизни. «Пора подумать о душе...» — повторим мы вслед за П. Г. Светловым. Что составляло прелесть его души, как видится она в отдалении? Чем помнится она? Разным людям по-разному — независимым духом его исследований, предельной честностью и щедростью натуры, уважением к инакомыслящим.

Между прочим, это подчеркивают все. Он любил дискуссии, но не позволял себе пользоваться слабостями оппонента. Ему нужен был сильный противник не для того чтобы торжествовать, а чтобы укрепить Истину с обеих сторон.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

с грустью и признаниями

Превзойти свои возможности...

Не только в критических обстоятельствах, а, судя по примеру Любищева, в с я деятельность может превышать обычные возможности.

Ресурсы человека еще плохо изучены.

Впервые я размышлял об этом и о собственной жизни и старался думать о себе, как об авторе, в третьем лице, потому что так казалось легче.

...Автор уверен, что в будущем не поймут, почему люди — в конце двадцатого века — так невыгодно жили, так плохо использовали свой организм, может быть, хуже своих предков.

По мере изучения архива Любищева автор невольно оглядывался на себя — и убеждался, что жил он чуть ли не вдвое «меньше себя». Это было грустно. Тем более что автор до сих пор был доволен своей работоспособностью.

В чем другом, но в смысле занятости и поколение автора, да и следующие поколения не щадили себя. Днем — завод, вечером — институт; они — и заочники, и вечерники, и экстерны; они выкладывались честно, сполна.

Однако стоило автору безо всяких эмоций сравнить факты, и стало видно, насколько Любищев за те же самые пятидесятые годы и прочел больше книг, чем автор, и чаще бывал в театре, и прослушал больше музыки, и больше написал, наработал. И при всем этом — насколько лучше он понимал и глубже осмысливал то, что происходило.

В этом смысле к Любищеву вполне можно отнести слова Камю: «Жить — это выяснять».

Перечитывая письма, заметки Любищева, автор понимал, как мало и лениво он, автор, думал. Понимал он, что добросовестно работать, с энтузиазмом работать — это еще не значит умело работать. И что, может, хорошая система нужнее энтузиазма.

Но зато автор, возможно, где-то в другом выигрывал свое время, возможно, он зато больше развлекался или предавался какому-то увлечению, или, наконец, больше бывал на природе?

Если бы! Легко доказать, что герой нашей повести и спал больше, и не позволял себе работать по ночам, и больше занимался спортом, а о пребывании на природе и говорить не приходится. Он наслаждался жизнью куда больше автора.

Так что никаких «зато» автор найти не может.

На крайний случай автор готов был бы все свести к таланту Любищева и превосходству этого таланта. Увы, таланту добавочного времени не придается... Талант тут не поможет. Скорей всего, тут сказывалась Система.

Скромная система учета времени стала Системой жизни. Согласно этой системе получалось, что у Любищева имелось вдвое больше времени. Откуда же он его брал? Вот в чем состояла загадка.

Волей-неволей автор призадумался над своими собственными отношениями со Временем. Куда оно пропадало? Исчезало — неизвестно куда, как будто автор жил меньше своего возраста. Есть закон сохранения энергии, закон сохранения массы — почему же нет закона сохранения времени? Почему оно могло бесследно выпадать из человеческой жизни?

Размышляя над этим упущением природы, автор почувствовал, что где-то оно, это сгинувшее Время, все же существует — укором нам, нашей виной...

В совершенстве героя было что-то укоряющее. Странно, что герой, который был так хорош для жизни, так дивен для общения, оказался нехорош для изображения. Жизнь его получалась настолько праведной, что ясно было, что автор чего-то не разглядел. Либо же утаил, преувеличил.

.Один журналист сказал автору:

— Так не бывает. Значит, ваш герой — человек одной, но пламенной страсти. Значит, он не гармоничный. В этом-то и парадокс: хотим, чтобы человек всесторонне и гармонично развивался, а хорошо известно, что более всего матери-истории ценны как раз люди, на всю жизнь одержимые одной страстью...

Он был уверен, что «одна, но пламенная страсть» исключает гармоничное развитие. Это была приятная житейская мудрость: страсть мешает человеку всесторонне развиваться. Лучше без страсти, безопаснее. Всего понемногу. Как будто рекомендованные комплекты интересов и есть гармония. Как будто существуют действительно гармоничные люди, лишенные страсти.

Возможно, кому-то это и удобно, и желательно, но автору почему-то вспоминаются примеры наших великих писателей, ученых, художников — людей широкой культуры и в то же время могучих страстей, порой даже губительных.

Однако страсти их не были фанатизмом, а были той самозабвенной увлеченностью, без которой не может жить творческая душа.

Всесторонность совмещалась у Любищева с верной, единой страстью. Разлад между ними не мешал ему — недаром он отказался от аскетического обета, принятого в юности.

Все это, однако, нисколько не проясняло автору проблему Времени.

Система Любищева могла экономить имеющееся время, но не увеличивать его. Однако дело было даже не в количестве: само Время получало у Любищева другое качество; можно

подумать, что ему удалось установить какие-то личные взаимоотношения со Временем.

Причуды Времени давно интересовали автора. Маленькие дети, например, как заметил автор, плохо чувствуют время. Ощущение его растет и обостряется с возрастом, и к старости — чем меньше остается Времени, тем слышнее становится его ход.

Автор вспоминает, как поразила его в самолете, летевшем через океан в США, женщина, которая сидела рядом и вязала свитер. Спицы позвякивали в ее руках. Петля цеплялась за петлю... Внутри межконтинентального времени струилось старинное неизменное время наших бабушек. На печи сонно попискивали цыплята, светилась лампадка, пахло хлебом, все было как в детстве, в деревне Кошкино. А под крылом «боинга» проносились Азорские острова... Автор также вспоминает войну, танковый триплекс, перекрестье прицела — и время, которое вдруг кончилось. Оно явно остановилось вместе с сердцем — стрельба замерла, оборвался звук мотора, в раскаленной паузе дрожало перекрестье прицела и надвигалось орудие немецкой самоходки...

Таким образом, время идет то медленнее, то быстрее, иногда оно останавливается, замирает. Есть моменты, когда ход Времени чувствуется воспаленно остро, оно мчится с такой скоростью, что только ахаешь, оглянуться не успел, и день куда-то провалился, и снова стоишь перед зеркалом, бреешься, а бывает, оно мучает своей неторопливостью, вязкой медлительностью. Вдруг оно начинает тянуться, минуты вытягиваются нескончаемой нитью. От чего это зависит? Насыщенность? Но есть ли тут связь? Когда время не замечаешь — когда много дел или же когда отдыхаешь? Заполненный работой день тоже может промелькнуть, а может и измотать душу медлительностью... Нет, тут случается по-всякому, и как-то не совсем ясно, от чего зависит скорость времени, что его подгоняет, а что его тормозит...

У большинства людей так или иначе складываются собственные отношения со Временем, но у Александра Александровича Любищева они были совершенно особыми. Его Время не было временем достижения. Он был свободен от желания обогнать, стать первым, превзойти, получить... Он любил и ценил Время не как средство, а как возможность творения. Относился он к Времени благоговейно и при этом заботливо, считая, что Времени не безразлично, на что его употреблять. Оно выступало не физическим понятием, не циферблатным

верчением, а понятием, пожалуй, нравственным. Время потерянное воспринималось как бы временем, отнятым у науки, растраченным, похищенным у людей, на которых он работал. Он твердо верил, что время — самая большая ценность и нелепо тратить его для обид, для соперничества, для удовлетворения самолюбия. Обращение со временем было для него вопросом этики.

На что имеет человек право потратить время своей жизни, а на что не имеет. Вот эти нравственные запреты, нравственную границу времяупотребления, Любищев для себя выработал.

Люди деловые, организованные уверяют, что они — хозяева Времени.

Нарастающий культ Времени становится показателем деловой хватки, умения жить. Часовые стрелки подгоняют, и человек мчится, боясь отстать. Он должен находиться в курсе, на уровне, соответствовать. Он служит Времени как языческому богу, принося в жертву свою свободу. Не Время расписано, а человек расписан. Время командует. Гончие Времени мчатся по пятам...

Божество Времени строго мерит достижения: сколько напечатал, что успел защитить, получить, продвинуться, где побывать... В этом смысле Любищев не зависел от Времени и не боялся его.

Когда автор погрузился в стихию его Времени, он испытал счастливое чувство освобождения. Это Время было пронизано светом и покоем. Каждый день всей протяженностью поглощал самое важное, существенное — как зеленый лист впитывает солнце всей поверхностью.

Вникая в Систему Любищева, автор увидел Время словно через лупу. Минута приблизилась; она текла не монотонным, безразличным ко всему потоком — она отзывалась на внимание, растягивалась, выявлялись сгустки, каверны, структура что-то означала, как будто перед глазами автора проявилось течение мысли, время стало осмысленным...

Насчет космического времени или мирового — автор судить не берется; человеческое же время, как он убедился, можно научиться ощущать и даже слышать его звенящий ток.

Время сворачивалось в кольцо, концы соединялись с началом, прошлое обгоняло настоящее, как в Алисиной Стране Чудес. Перед взором автора проплывали погибшие, потерянные Времена, упущенные годы, когда-то полные молодых сил и надежд,— пустые, высохшие, останки Времени.

Жаль, что документальная проза не позволяет автору вставлять всякие фантастические картины. Автор хотел бы показать огромность Времени внутри нас, целые месторождения, открытые Любищевым,— неразработанные, так сказать, залежи Времени в недрах человеческого бытия.

Если сравнивать время с потоком, как это принято было еще у древних греков, то Любищев в этом потоке—гидростанция, гидроагрегат. Где-то в глубине крутится турбина, стараясь захватить лопастями поток, идущий через нас. Вот в этом — и пожалуй, только в этом — свойственна была Любищеву машинность.

Каждого человека можно представить как потребителя времени. Он перерабатывает время на разные мысли, чувства и работу. И хотя перерабатывается небольшая часть, а все остальное пропадает, все равно принято считать, что времени не хватает, его мало.

У Любищева времени всегда было достаточно. Времени не могло быть мало — любое Время для чего-то достаточно. Таким свойством отличалось его Время. И не только Время — это относилось ко всем жизненным благам: в молодости, когда Любищев был хорошо обеспечен, и в старости, когда он получал скромную пенсию, он одинаково не стремился иметь много, ему нужно было лишь необходимое. Необходимого ему всегда было достаточно, а достаточного, как известно, не бывает мало. Оно, необходимое, хорошо тем, что не тяготит, не бывает лишним, не надоедает, как не могут надоесть вода, хлеб, свет, стол.

Кроме делового, настоящего, Любищев чтил, да и любил — прошлое. Он остро ощущал связь времен, незримую цепь, о которой так прекрасно написал Чехов в рассказе «Студент». В каждой научной проблеме Любищева живо занимали, даже волновали, родословная идей, их эволюция, он передумывал, наново оценивал «пережитое». Порой история даже связывала его. Почему прошлое играло такую большую роль для Любищева? Автор не знает. Поэтому он и ссылается на гениальный рассказ Чехова. Там тоже ничего не объяснено — и все понятно.

Урывая время от основной работы, Любищев писал подробные воспоминания об учителях, о гимназии, о родителях, об А. Гурвиче, К. Давыдове, М. Исаеве... В нем жила признательность к прошлому, которое теперь так легко забывают ради будущего.

Автор не стыдится ни наслаждения, ни зависти, какие он испытывает от любищевского Времени. Оно удивительно своей кристаллической стройностью и прозрачностью. Десятилетия просматриваются насквозь, в них нет туманностей или запретных зон. Прожить нашу эпоху такой открытой жизнью — это редкость.

Автор убежден, что проблема разумного, человеческого обращения со Временем становится все настоятельней. Это не просто техника экономии, проблема эта помогает понять человеку смысл его деятельности. Время — это народное богатство, такое же, как недра, лес, озера. Им можно пользоваться разумно, и можно его губить. Рано или поздно в наших школах начнут учить детей «времяпользованию». Автор убежден, что с детства надо воспитывать любовь к природе и любовь ко времени. И учить, как беречь время, как его находить, как его добывать.

Самое же главное научить отчитываться за время. Любищев, конечно, идеальный пример...

Нет, автор вовсе не очарован своим героем. Автору известны многие его слабости и предрассудки, раздражает его пренебрежение к гуманитариям, этакая спесь к эстетике, мнения его о Пушкине прямо-таки невыносимы, так же как и его претензии к Достоевскому. Словом, хватает всякого. Но любого, самого великого человека не следует рассматривать вблизи, во всех подробностях его вкусов и привычек.

Тот, кто однажды столкнулся с Любищевым, будет снова возвращаться к нему. Автор заметил это не только по себе, но и по многим людям, число которых даже растет.

Печально, конечно, что уже не тот возраст и нельзя воспользоваться опытом Любищева. Не стоит даже считать, сколько (без всяких уважительных причин) потеряно лет и прочего. С другой стороны, надо быть последовательным: если никакое время не бывает мало, то, значит, никогда не может быть поздно вступить в новые взаимоотношения со Временем. Сколько бы человеку ни оставалось жить и на каком перегоне ни застала бы его эта мысль!.. И даже чем меньше остается времени, тем умнее его надо расходовать.

Однако теперь, когда так просто сделать нужные выводы, автору почему-то не хочется все сводить к пользе. Както неинтересно. Автор вроде бы некстати задумается: можно ли его героя считать действительно героем, а жизнь его — героической, достойной подражания? Так ли все это...

Героизм — это вспышка озаряющая — и сама озарение, требующая крайнего напряжения сил. Стать героем можно поступком, далеко выходящим за рамки обыденного долга. Совершая подвиг, герой жертвует, рискует всем, вплоть до жизни — во имя истины, во имя Родины. Ничего такого не было у Любищева.

...Была не вспышка, а терпение. Неослабная самопроверка. Изо дня в день он повышал норму требований к себе, не давал никаких поблажек. Но это ведь тоже — подвиг. Да еще какой! Подвиг — в усилиях, умноженных на годы. Он нес свой крест, не позволяя себе передохнуть, не ожидая ни славы, ни ореола. Он требовал от себя всего, и чем больше требовал, тем явственней видел свое несовершенство. Это был труднейший подвиг мерности, каждодневности. Каждодневного наращивания самоконтроля, самопроверки. Впрочем, нашелся человек, который усомнился, подходит ли сюда слово «подвиг». Потому что какой же это подвиг, если он доставляет одно удовольствие?

Всегда находится такой усомнившийся человек. И слава богу, что люди эти не выводятся, хотя никаких благоприятных условий для их размножения не существует. Вопрос усомнившегося человека затруднил автора. Вскоре и у самого автора начались некоторые сомнения. Какой же тут крест, думал автор, если этот крест нисколько же Любищева не тяготил, а, наоборот, приносил удовлетворение, и ни за какие коврижки он не сбросил бы этот крест. А чем он жертвовал ради своей Системы? Да ведь ничем. И невзгод особых из-за нее не терпел, и опасностей. Восторгаться же его настойчивостью, добросовестностью, волей, какими бы плодотворными они ни были,— неразумно: все равно что хвалить ребенка за хороший аппетит.

И в результате таких размышлений получалось, что никакого подвига в том, чтобы сделать себя счастливым, не может быть. А раз нет подвига, то выходило, и призывать не к чему. А насчет служения науке, то ведь на самом деле не он служил науке, а наука служила ему.

Не сразу автор разобрался в том, что все это, так сказать, с точки зрения самого Любищева, и тем более удивительно. Потому что каким душевным здоровьем надо обладать, чтобы чувствовать счастье от ежедневного преодоления. У нас, наблюдающих издали это непрестанное восхождение, все равно рождается чувство восхищения, и зависти, и преклонения перед возможностями человеческого духа.

Подвига не было, но было больше, чем подвиг,— была хорошо прожитая жизнь. Странность ее, загадка, тайна в том, что всю ее необычайность он считал для себя естественной. Может, это и была естественная жизнь Разума? Может, самое трудное — достигнуть этой естественности, когда живешь каждой секундой и каждая секунда имеет смысл. То, что он получал от науки, было больше, чем он давал ей, и это было для него естественно, а для нас тоже странно, потому что, казалось бы, он все, что мог, отдавал науке.

Множество подобных секретов и странностей скрыто в его жизни, и, честно говоря, автор не всегда может оценить и понять их. Автор, например, не в состоянии извлечь какие-то рекомендации, и хотя повествование кончается, автор еще не может вынести окончательные суждения, дать какие-то советы читателю. Автор надеется, что читатель в них и не нуждается. Потому что сам автор, оставаясь полным раздумий, глубоко благодарен своему герою, который заставил его усомниться в развитии своей жизни.

1974

ВЫБОР ЦЕЛИ

В апрельский полдень 1945 года на берегу Эльбы встретились части нашей Пятой гвардейской армии с частями Первой американской армии.

Эльба напротив городка Торгау неширока. На пароме через реку, с торжественно развернутым американским знаменем, подплывают к нашему берегу американские офицеры. Пожилой американский генерал, с планками боевых орденов, берет знамя и вручает его советскому полковнику.

— Это знамя мы пронесли от Соединенных Штатов через Атлантический океан в Англию, через Ла-Манш, на берег Эльбы. Передавая вам знамя, я передаю вам и офицерам вашей Армии мою любовь и уважение.

На крутом «американском» берегу толпятся солдаты, машины, танки, и наш берег полон солдат, замерших в торжественном внимании к этому долгожданному и праздничному моменту войны.

Советский офицер принимает знамя, вручает американцам альбом с медалью «За оборону Сталинграда».

— Дружба наших народов, выкованная в огне войны, скрепленная кровью, должна остаться навеки!

Американский генерал взволнован:

— У меня не хватает слов... Дружба между нашими народами выльется в союз на долгие годы...

— А теперь прошу вас к нам обедать! — приглашает советский офицер.

Залпами из автоматов, винтовок солдаты на обоих берегах салютуют встрече. Приветствия на кумаче полыхают сквозь пороховой дым. Развеваются союзные флаги. Солдаты обнимаются, угощают друг друга походным своим довольствием — сигаретами, махрой, водкой, виски. Обмениваются пуго-

вицами с гимнастерки, дарят сувениры: звездочки, открытки, конверты — кто что может. Заиграл баян, зазвенела песня. Смешалась русская, английская речь, каким-то образом объясняются, понимая что к чему, а главным образом «по-немецки»: «Гитлер капут! Фашизм капут!» Обмениваются открытками — вот Кремль, а вот Капитолий, Белый дом. Огромный негр и наш мальчишечка-сержант отплясывают друг перед другом в полукруге у самой воды, кто кого перепляшет.

Внимание кого-то привлек плывущий по реке шар, довольно большой, величиной с хорошую тыкву.

— Мина!

Негр, в хмельной браваде, хватает автомат:

— Гитлер капут, мина капут!

Остановить, задержать его уже невозможно, единственное, что успевают крикнуть:

— Ложись! — И все привычно плюхаются на землю. Строчит очередь. Взрыва нет. Странный этот шар, мокро блистающий на солнце, крутится, прошитый пулями, и продолжает плыть, медленно погружаясь в воду, среди всеобщей тишины.

Русский сержант прыгает с берега, бежит по воде в своих высоких кирзовых сапогах, палкой подгребает шар.

— Мать честная, глобус! — восклицает он с жалостью.

Оказывается, это всего-навсего большой школьный глобус. Сержант поднимает его. Из пробоин тонкими струйками хлещет желтая вода. Сержант стоит, расставив ноги, и бережно держит над собой, на вытянутых руках этот израненный пулями, блистающий голубой шар, со всеми его океанами и материками.

Потсдам. Резиденция И. В. Сталина в Бабельсберге. Большая бильярдная. Играют Сталин и Жуков. Молотов видит, как Сталин прицеливается и мажет, подставляя шар. Молотов предостерегающе посматривает на Жукова. Сталин берет мел, натирает кий.

— Вячеслав Михайлович, маршал Жуков сам знает, что надо делать.

Жуков прицеливается и не может удержаться, кладет шар в лузу. Игра закончена.

— Что-то маршал Жуков стал часто побеждать,— хмуро произносит Сталин и направляется в столовую. Прохаживается вдоль стола, на котором расставлены супницы и стопки чистых тарелок. Поднимая крышки и заглядывая в супницы, он приговаривает:

— Харчо... куриная лапша, нет... а вот и щи... нальем щей.

Жуков и Молотов тоже наливают себе щи, садятся за стол.

— Что произошло с Трумэном? — говорит Молотов.— Его словно подменили. Стал вдруг заносчив. Вы обратили внимание — даже Черчилль поглядывал на него с удивлением. Похоже, что американцы готовы сорвать конференцию. Хотят, чтобы мы пошли на их требования насчет Болгарии и Румынии.

— Я знаю, почему Трумэн стал несговорчивым,— говорит Сталин. Он открывает бутылку вина, нюхает его, разливает не торопясь, поигрывая паузой.

— После заседания Трумэн, как бы невзначай, сказал мне, что у них появилось новое оружие. Бомба. Необычайной разрушительной силы. Черчилль стоял чуть в стороне, так он впился в меня глазами. Я сделал вид, что ничего особенного, пусть они подумают, что Сталин ничего не понял.

Молотов говорит:

— Цену себе набивают.

— Пусть набивают,— Сталин смеется.— Надо будет переговорить об этом с... как его,— в досаде щелкает пальцами, но никто не может подсказать.— С Курчатовым! — вспоминает он малознакомую ему фамилию.— Да, с Курчатовым!

На лодке, в конце жаркого августовского дня, возвращались по реке трое рыбаков. Курчатов в заплатанных брюках сидел на корме, выставив руку, по большой его ладони ползла божья коровка.

Божья коровка, улети на небо,
Принеси мне хлеба,
Черного и белого,
Только не горелого...—

как в детстве, приговаривал он и осторожно дул ей под брюшко, пока она не выпустила из-под оранжевого своего панциря прозрачные крылышки, взлетела.

Вьется река. Мимо навесистого ивняка, мимо полей с высокими хлебами, серебристыми овсами и полей пустых, незасеянных. Откуда-то, из-за плеса, доносится песня, поют хором, весело и в то же время чуть надрывно. Рыбаки причаливают в заводи к берегу, поросшему ольшаником, берут снасти, кукан с уловом, поднимаются по обрыву.

Перед ними открылась сожженная, полуразрушенная подмосковная деревня. От колокольни остался разбитый снарядами каркас. На околице стоит заросший лопухами горелый немецкий танк. Торчат могучие остовы русских печей; между черными развалинами уже белеют подлатанные свежими досками, тесинами рамы, двери, флигеля, редкие избы. Кирпичи разобраны, сложены аккуратными грядками.

Рыбаки — Курчатов, работник ЦК Зубавин и Переверзев, помощник Курчатова,— подходят ближе.

Во дворе стоят столы, уставленные нехитрым угощением тех трудных лет. Идет гулянье. Вернулись с войны первые демобилизованные солдаты. Они, двое, сидят во главе стола при всех своих медалях и значках, окруженные радостью, заботой баб, инвалидов, детей, стариков.

Начинается мирная жизнь. И люди сегодня веселятся без тоски, без слез.

— Заходите, заходите,— приглашает рыбаков хозяйка.— У нас такой праздник. Вернулись наши! Живы, здоровы!

Переверзев и Зубавин смотрят на Курчатова.

— Не неволь, Настя, может, им неинтересно с нами. А от угощения не отказывайтесь.

Курчатов кланяется ей, подходит к столу:

— С возвращением!

Они садятся за столы, сооруженные из досок, положенных на ножки из кирпичей. На скатертях печеная картошка, капуста, огурцы, свиная тушенка из армейского пайка. Их рассадили между женщин, и сразу начались смешки, и «ах, пожалуйста», и «кушайте на здоровье».

Соседка спрашивает у Курчатова:

— А вы ведь молодой, почему вы, извиняюсь, с бородой? — И тут же прыскает: — Как складно получилось: молодой, молодой, зачем ходишь с бородой!

— Я зарок дал на фронте,— поясняет Курчатов.— До победы не бриться. А теперь привык. И скажу вам по секрету — нельзя мне ее снимать.

— Это почему?

— На работу не пустят. На пропуске-то я с бородой заснят.

Девушки смеются:

— Разыгрываете?

Зубавин спрашивает у хозяйки:

— Где тут есть телефон?

— В сельсовете, ребятишки проводят.

Он отдает ей улов:

— Вот, пожалуйста, присоедините...

И уходит. А за столом уже поют, выводят:

За Доном гуляет,
За Доном гуляет,
За Доном гуляет
Казак молодой...

Курчатов подпевает, постепенно входя в широкий разлив этой старой песни.

Зубавин вернулся, подошел сзади к Курчатову, присел, будто помогая петь, и тихо на ухо:

— Американцы сегодня сбросили атомную бомбу. На Хиросиму. Город разрушен. Нас вызывают. Сюда выехала машина.

— Ах ты... Боже мой...— Курчатов замечает устремленные на него взгляды. Но в это время вдруг частым перебором ударила гармонь, и все вскочили, закружились.

Поднимая пыль, потянулось стадо, несколько коровенок, которые возвращались с пастбища.

Курчатову припомнилось другое: огромное мычащее стадо измученных, недоенных коров, что шли мимо Эрмитажа, мимо могучих атлантов, мраморных портиков, мимо дворца, мимо Капеллы.

Июльский полдень сорок первого года, когда усталые, запыленные колхозники гнали эту процессию сквозь город. Прохожие молча стояли на тротуарах, глядя на необычное зрелище. Остановились трамваи, машины. Никогда еще Дворцовая площадь не знала такого. Курчатов на «эмке» напрасно пытался пробиться. В конце концов он тоже вынужден был остановиться, выйти из машины.

Идут, тянутся по набережной, протяжно, голодно мыча, коровы с запавшими боками, изможденные долгой дорогой.

В маленьком сквере Физико-технического института собирается отряд ополченцев. Свалены в кучу чемоданчики, рюкзаки. Люди на этой июльской жаре снимают пиджаки, пальто, плащи, сворачивают их в виде скаток.

Из парадной института выносят ящики, грузят в машины. Часть института эвакуируется. В коридорах перестук молотков, стружка, сотрудники несут приборы, пакуют. Печальная эта картина пустеющих лабораторий почему-то мало тро-

гает Курчатова. Он мчится, перепрыгивая через доски и коробки, взбудораженный радостью.

— Еду! — сообщает он каждому встречному.— Разрешили! Еду на флот, в Севастополь!

Заглядывает в непривычно просторные лаборатории, где стоят пустые длинные столы, высокие распахнутые шкафы, голые стеллажи.

— Абрама Федоровича не видели?

Иоффе в своем кабинете, тоже частью опустошенном, складывает в стопку какие-то оттиски, справочники — самое необходимое.

— Абрам Федорович, получил вызов! — с порога, ликуя, объявляет Курчатов.— Поздравьте, теперь все в порядке.

Иоффе смотрит на него с любовью и жалостью:

— Это вы называете «все в порядке»?

— Буду в Севастополе налаживать защиту кораблей от магнитных мин!

Иоффе слушает его пылкую речь без сочувствия. И так нелегко видеть, что творится с институтом, а тут еще расходятся, разъезжаются лучшие сотрудники, цвет института, руководители ведущих лабораторий.

— Абрам Федорович, дорогой, не могу я ехать с вами в Казань, не могу.

— Что останется от лаборатории... какая была тема, как все шло...

Курчатов беспечно машет рукой:

— Кому это сейчас нужно, Абрам Федорович, все наши атомные исследования сейчас роскошь. Все для фронта! Верно? Воевать! Флеров ушел в армию, Петержак на фронте, Александров в Севастополе. Чем я хуже? Самое насущное надо делать, самое главное...

Зазвонил телефон, Иоффе слушает, кивает словно бы на слова Курчатова и вдруг, отложив трубку, говорит грустно:

— То, что нужно, мы знаем... А вот что окажется ненужным — это неизвестно.

Удивительное у него лицо, то старчески мудрое, то совершенно молодое.

Вырезки из разных газет, журналов: карикатуры на Рузвельта. Чьи-то руки подклеивают их в альбом, одну за другой, едкие и беззлобные, смешные и пошлые...

Большой письменный стол. Высокое до потолка окно выходит на зеленую лужайку. За столом, в кресле с двумя флагами по бокам, сам президент США, это он перебирает свежую партию карикатур на себя для своей коллекции. Странное увлечение, которое развлекало Рузвельта в последние годы его жизни.

За кофейным столиком напротив президента Александр Сакс, плотный мужчина, примерно одних лет с президентом, продолжает устало и упрямо:

— ...Эйнштейн полагает, что если найдут способ применения быстрых нейтронов, будет несложно создать опасные бомбы...

Рузвельт посасывает сигарету, зажатую в длинном мундштуке, и, усмешливо прищурясь, разглядывает очередную карикатуру.

— ...Правительство должно установить прямой контакт с физиками...— настаивает Сакс.— Эйнштейну можно верить.

Рузвельт демонстративно поднимает и откладывает в сторону письмо Эйнштейна.

— Вера... Нет, Алекс, вера — аргумент для постройки церквей, а не заводов. Все это интересно, но вмешательство правительства пока что преждевременно.— И Рузвельт в лупу разглядывает новую карикатуру: президент на своей коляске едет навстречу немецким танкам и беспечно смеется.

Но Сакс не хочет сдаваться.

— Дорогой президент,— говорит он, не скрывая возмущения,— я приехал в Вашингтон на собственные деньги, я не могу отнести расходы за счет правительства, поэтому прошу вас быть внимательнее.

Рузвельт, вздохнув, захлопывает альбом.

— Поймите, Фрэнк, немцы, очевидно, взяли старт. Когда бомба окажется у Гитлера, то человечеству будет угрожать смертельная опасность. Тогда карикатур у вас будет еще больше. Это все реально. У Гитлера есть выдающиеся физики, есть уран. Они начали работать...

Входит официант, забирает поднос с посудой, в приоткрытую дверь врывается черный шотландский пес Фал, бросается к хозяину.

Рузвельт достает мяч, бросает, Фал ловит мяч в прыжке, приносит в зубах, начинается привычная их игра.

Сакс, чувствуя безнадежность положения, встает, но задерживается, разглядывая развешанные по стенам гравюры

старых кораблей. Взгляд его останавливается на изображении первого парохода Фултона.

— Будь я проклят,— кричит Рузвельт,— Алекс, посмотрите, что он наделал!

Фал замочил ковер и теперь виновато жмется под столом.

— Майк, Майк! —зовет Рузвельт; входит охранник, схватив Фала за ошейник, тычет его носом в мокрый ковер и выносит.

— До свидания, Фрэнк,— говорит Сакс.

— До свидания, Алекс,— весело отвечает Рузвельт.— Буду рад видеть вас снова!

Сакс подходит к дверям, но снова смотрит на гравюру с пароходом Фултона.

— Фрэнк, могу я отнять у вас еще минуту?

— Что у вас еще за блестящая идея?

Сакс постукивает пальцем по гравюре:

— Фрэнк, вы знаете, что здесь изображено?

— Разумеется. Это первый пароход Фултона.

Сакс молчит.

— Ну и что? — спрашивает Рузвельт.

— Хочу напомнить вам одну легенду,— говорит Сакс.— Во время наполеоновских войн к императору Франции явился молодой американский изобретатель и предложил ему построить паровой флот. Чтобы Наполеон мог пересечь Ла-Манш при любой погоде. И высадиться в Англии. Корабли без парусов? Тогда это тоже несколько дико звучало для уха политика. Великий корсиканец прогнал Фултона. По мнению историка Актона, это хороший пример того, как Англия была спасена... Прояви Наполеон больше воображения, история девятнадцатого века пошла бы иначе.

Некоторое время Рузвельт сидит молча, посасывает потухшую сигарету. Затем поднимает трубку:

— Генерала Уотсона.

Входит Пат Уотсон.

Рузвельт берет письмо Эйнштейна, протягивает генералу:

— Пат, разберитесь, это, кажется, требует действия.

Курчатов, ничего не слыша, не видя, встает из-за стола, продолжая повторять:

— Боже мой... значит, сделали... И сбросили... И сбросили.

Женщины смотрят на него, но в это время гармонист прошелся по ладам и выкрикнул:

— Тустеп!

И, отвлекая Курчатова, встает его соседка, рослая, красивая, протягивает ему руку с таким ожиданием, что Зубавин совсем неуверенно пробует помешать:

— Да он не танцует.

— Так ведь они обещали!

— Точно. Обещал. И буду, наперекор всему на свете,— объявляет Курчатов. И началось... Знал ли Курчатов этот танец, неизвестно, но во всяком случае это не имело никакого значения для этой девушки. Важно было, что она танцует с мужчиной, а не как другие — «бабочка с бабочкой». Да и Курчатов хотел соответствовать. Танцевать так танцевать. Пропади они пропадом, американцы с их бомбами. Назло! Нарочно! И Переверзев не выдержал, пошел танцевать, и демобилизованные. Один Зубавин остался за столом...

А перед Курчатовым кружится разгоряченное счастливое лицо девушки, и кружение, и музыка напоминают ему тот вечер, когда он танцевал в последний раз. Как давно это было, словно в другой жизни. Хотя всего лишь пять лет назад.

Вместо травы был паркет, и вместо двора — зал физтеха, вместо этой незнакомой девушки — с ним в вальсе кружилась Марина. Горела свечами высокая новогодняя елка. Висел транспарант: «С Новым годом! 1941-й!» Оркестр играл Штрауса, и «Дунайские волны», и румбу...

На верху лестницы появляется Абрам Федорович Иоффе, с ватной бородой,— Дед Мороз. За ним несут мешок с подарками. Каждому выдается подарок со значением: кому — рогатка, кому — кукла. По очереди один за другим подходят к Иоффе, вот и Курчатов, ему Иоффе достает голубой воздушный шарик с надписью «ядро атома». Курчатов протягивает руку, но в этот момент Иоффе, чуть усмехнувшись, отпускает ниточку, и шарик поднимается вверх. Курчатов прыгает за ним, не достает, и шарик уплывает выше и выше...

Несутся звуки вальса, молодой безбородый Курчатов, молодая Марина Дмитриевна, все вокруг Иоффе молодые, веселые, и сам Иоффе еще не стар.

Поет, разливается гармонь, наигрывая тустеп. И этот деревенский танец долетает до английского замка Фэрм-Холл. Сельская подмосковная гармонь, она упорно возвращает нас

в тот рубежный августовский день 1945 года. Здесь, в Англии, содержались в августе 1945 года пленные немецкие ученые-физики, цвет немецкой науки, захваченные, собранные специальной службой ОЛСОС.

Вдоль высокого забора прогуливается седой большеголовый человек. Багрово-красного кирпича особняк Фэрм-Холл, зеленые подстриженные лужайки, вечернее солнце и тишина. Прочная мирно-сельская тишина. Ничто здесь не напоминает войну. И только из открытого окна, с хрипом и воем помех, взахлеб бормочет радиоприемник. Что-то особенное в голосе диктора. Мужчина прислушивается. В окно высовывается английский майор. Он прижимает к уху наушник, лицо его сияет.

— Ган! Мистер Ган! — зовет он и неистово машет рукой, показывая, чтобы Ган скорее поднялся к нему.

Голос по радио нарастает:

— ...Через пять минут после сброса бомбы темно-серая туча диаметром пять километров повисла над Хиросимой... Город, имеющий более трехсот тысяч жителей, закрыт облаком дыма... Очевидно, уничтожен... Изготовление атомной бомбы обошлось союзникам в пять миллионов фунтов...

Майор Риттнер от восторга, от возбуждения все время чешется.

— Атомная! — кричит он.— Слыхали?! Мистер Ган, это по вашей части! Это что, бомбы из атомов?

Он весело хлопает Гана по плечу, исполненный гордости за своих.

— ...Изготовление атомной бомбы — потрясающее достижение союзных ученых! — кричит диктор в полном упоении.— Взрывная сила ее эквивалентна двадцати тысячам тонн взрывчатки!

Ган затыкает уши, жмурится, чтобы не слышать, не видеть.

— Эй... что с вами? — встревожился майор.

Покачиваясь из стороны в сторону, Ган полубезумно твердит:

— Это я... Вот оно, боже мой, это я, я виноват, это мое открытие, вот оно к чему привело...

— Какое открытие, при чем тут вы? — не понимает майор.

Замутненные глаза Отто Гана невидяще смотрят на него:

— Это же я открыл расщепление урана!

— Ну и что?

Ган, не слушая его, кричит:

— Сотни тысяч людей. Я их убийца! Они, и я тоже, я, Отто Ган! Но ведь я не хотел... Я не имею к этому отношения! — Он хватает Риттнера за руки.— Знаете, Риттнер, еще тогда у меня были предчувствия. Но я не думал...

— Бросьте,— говорит Риттнер.— Вы же в Германии работали над этой штукой. Ну ладно, не вы, так ваши дружки.

— Да, да, все равно, немцы, американцы, они меня сделали соучастником,— с отчаянием соглашается Ган.— Я убийца! — Он бьет кулаком себя по лбу.— Я, я подтолкнул их!

Риттнер наливает ему стакан виски.

— Выпейте. Вот так. Вы хоть и пленные, но я отвечаю за вас. Чего вы мучаетесь? Это же война. А когда ваши летчики бомбили Лондон?

Стакан в руке Гана трясется, но он подставляет еще и еще, ему надо напиться. Мелкие слезы скатываются, застревая в морщинах его разом постаревшего лица.

Они пьют вместе.

— По мне,— говорит Риттнер,— лучше сто тысяч этих японцев, чем потерять хоть одного нашего английского парня.

Отто Гану шестьдесят шесть лет, пожалуй, он самый старый из собранных здесь немецких физиков. Кроме Макса фон Лауэ, его одногодка, но который почему-то числился старше Гана, и выглядел старше, да и считался чуть ли не патриархом. А Ган, крепкий, широкоплечий, сильный,— никому и в голову не приходило называть его стариком.

Пинком ноги он распахивает дверь в столовую.

Кирпичные своды, длинный стол со скромной вечерней трапезой. Застывшие, оцепенелые фигуры ученых. Сразу ясно, что они уже знают, они слышали это известие.

Захмелевшему Гану что-то напоминают люди, сидящие за этим столом по обе стороны от Вернера Гейзенберга. Он во главе. Он — признанный авторитет, руководитель, гений, учитель. Ах, да — Учитель, а кругом апостолы, сколько их — девять? Десять? Двенадцать? Так вот оно что — это же Тайная вечеря!

Как они там вопрошали, апостолы: не я ли, господи?.. Вот что их терзало.

— Не я ли, господи? — вслух произносит Ган.— Вот что надо спрашивать!

Все смотрят на Гейзенберга. Он сидит в торце стола, худощавый, подтянутый, гордость немецкой физики, уже двенадцать лет назад награжденный Нобелевской премией.

— Это блеф,— говорит он как можно уверенней.—Не может быть. Никакая это не атомная бомба. Разве в сообщении было слово «уран»?

— Нет,— говорит кто-то.

— Значит, это просто пропаганда. Нет, это не атомная бомба,— упрямо, как заклинание, повторяет он.

Хартек, что-то прикидывая карандашом на салфетке, сообщает негромко, ни к кому не обращаясь:

— Эквивалентно двадцати тысячам тонн взрывчатки... Похоже...— но не решается высказать до конца.— Что ж это, по-вашему?

Уставив руки в дверной проем, пьяно усмехается Ган. Он безжалостно разглядывает каждого.

— Эх вы... А если американцы ее сделали? Тогда что? Тогда вы все пос-ред-ственности! Бедный Гейзенберг, это именно атомная бомба. Значит, вы тоже посредственность. Зря вас тут держат. Всех нас — зря! Ха, они воображают, что захватили великих немецких физиков. Вы самозванцы!..

Воцаряется тишина.

И словно бы перед глазами их всех возникает пятилетней давности картина — встреча Нового года, того самого 1941 года, который вспомнился Курчатову, но который встречали и в замке Гитлера, в Берхстенгадене.

Огромная, отделанная зеленым мрамором столовая, где собрались близкие Гитлеру люди, не так уж много, человек пятнадцать. Гитлер необычайно любезен, весел, в черном фраке с цветком в петлице, он сидит между двумя дамами за празднично накрытым столом.

— ...С Новым годом!

Все встают.

— Наступает тысяча девятьсот сорок первый год! — возглашает Гитлер.— Год окончательной победы великой Германии! За счастливый год! За победу! Наши солдаты ее обеспечат!

В большом окне, которое тянется чуть ли не во всю стену, огни плошек на темных аллеях, светит белизна альпийских снегов. А дальше при холодном свете луны угадываются лесистые горы. Расцвечены лампочками иллюминации дороги, ведущие к Берхстенгаденскому замку.

Официанты обносят гостей огромными подносами с гу-

сем, поросятиной. Гитлер, положив себе салата, овощей, вздыхает, глядя, как Геринг накладывает себе в тарелку мясо.

— Ах, Герман, Герман,— укоризненно замечает он,— если бы вы побывали на скотобойнях... несчастные животные... Эти жалобные, беспомощные крики...

Рядом, в гостиной, перед зажженным камином, идут последние приготовления к традиционному новогоднему гаданию, которое любил Гитлер. На огне греется тигель с расплавленным свинцом, и рядом большая медная чаша с водой.

Гитлер поднимается, неловко целует руки сидящих рядом дам, выходит из-за стола. Вслед за ним встают гости. Большинство из них, да и сам Гитлер, старательно изображают «высший свет», аристократов, поэтому одни держатся чересчур церемонно, другие слишком развязны,— все это достаточно напряженно. К Гитлеру подходят генералы, чиновники, поздравляют его с Новым годом, и затем все следом за хозяином направляются в холл. Гитлер идет, держа под руки двух дам. В большом зале люди кажутся маленькими, тени от камина колышутся на стенах, увешанных гобеленами.

Начинается гадание. Гитлеру подают ковш с расплавленным свинцом, Гитлер держит его за длинную ручку, сосредоточивается, чувствуется, что он серьезно относится к этому гаданию. Наклоняет ковш, струя свинца льется в воду. Шипение, брызги, пузыри, облака пара окутывают чашу. Наконец открывается медный блеск днища и на нем застылые извивы свинца, причудливые фигурки.

Наголо обритый гадальщик, опустив подведенные синью глаза, поясняет, истолковывает; слов не слышно, но слышно, как медовый голос его кое-где поскрипывает, обходя опасные места. Наклонясь над чашей, Гитлер подозрительно всматривается — там, среди изломанных веток, сучьев сухостоя, горелого леса, ему чудится, а может, и впрямь что-то напоминает очертания черепа.

— Все равно мы будем...— ожесточенно бормочет Гитлер.— Меня не сбить... Больше самолетов...— Он отходит к окну, голос его поднимается, становится острым, почти кричащим: — Я знаю! Самолеты... Никто не знает... Только я... я!.. Строить самолеты...

Трещат поленья в камине. Отсветы пламени выхватывают вынужденные улыбки, показную беззаботность гостей. Они делают вид, что ничто не может испортить их настроения.

Впрочем, все они искренне хотят как-то утешить, отвлечь своего фюрера. Первым решается на это министр почтового ведомства генерал-полковник Онезарг. До сих пор он скромно держался позади, но тут он понял, что пробил его час, ему выпала миссия поддержать фюрера. Он спускается со ступеней и идет к окну, где одиноко стоит Гитлер.

— Мой фюрер, позвольте сообщить вам о новом оружии.

Гитлер рассеянно кивает.

— ...Группа немецких физиков, собранных по инициативе почтового ведомства, работает над получением взрывчатого вещества из урана. В принципе одна такая бомба сможет уничтожить целый город, несколько бомб — и с Англией будет кончено. А несколько десятков бомб — и...

Гитлер поднимает палец, и Онезарг умолкает на полуслове. Отсутствующий взгляд Гитлера устремлен на его замершую фигуру.

— Полюбуйтесь, господа! В то время как мы ломаем себе голову, каким образом выиграть предстоящую войну, является наш почтмейстер и приносит готовое решение. А?

Гости облегченно и громко смеются. Все рады возможности отыграться, как-то исправить положение, люди ожили, распрямляются. А Гитлер продолжает, нагнетая:

— ...Не нужно полководцев, не нужно усилий нации... Где же эта чудо-бомба?

От унижения и страха Онезарг мучительно заикается:

— Т-требуются ис-с-следования... нужны оп-пыты... чтобы сделать проект...

Гитлер взрывается:

— Я запрещаю тратить деньги на исследования! Мне надо оружие, которое можно изготовить в течение трех месяцев. Полгода максимум! — Он потрясает кулаком.— У нас слишком развивается интеллект! Слишком много ученых. Наша военная техника обеспечит блицкриг без этих халдеев!

Гитлер, а за ним и вся его свита переходят к роялю. Все рассаживаются. Гитлер садится на ступеньку. Где-то в стороне Геринг отводит в сторону Онезарга, расспрашивает его, согласно кивает...

Выходит хор малышей — девочки в голубеньких платьицах с бантами, мальчики в коротких штанишках, с галстучками. Нежные детские голоса великолепно звучат в этом зале. Трогательная рождественская песня разгоняет мрачные мысли.



O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie grün sind deine Zweige!
Du blühest nicht nur in Sommerzeit —
Und auch im Winter, wenn es schneit... [1]

А через несколько месяцев, в сентябре 1941 года, под неистовую дробь барабанов, сотни девочек и мальчиков, одетых в форму гитлерюгенда, самозабвенно маршируют на лейпцигской площади. Рослые унтеры командуют детьми. Чеканный прусский шаг отбивают подошвы по каменной брусчатке. Сухие листья несутся из-под ног. На детских лицах восторг. Сотни рук взлетают вверх в приветствии:

— Зиг-хайль! Зиг-хайль! Зиг-хайль!

Они надвигаются на Гейзенберга и Лауэ, которые пересекают площадь. С болью, с ужасом Лауэ вглядывается в эти пылающие счастьем лица марширующих детей.

— Боже мой, что с ними сделали...

Гейзенберг не замечает ничего, он увлечен сейчас своим, он только что из лаборатории, где, кажется, что-то начинает получаться.

— ...Как только наш котел начнет действовать, я обойдусь и без урана-235. У нового элемента будет такая же взрывчатая сила. Я вам сейчас покажу.

Они заходят в пивную, тут же на площади, присаживаются у окна, за свободный столик.

У прилавка висит карта Восточного фронта. По флажкам видно, что линия фронта приближается к Москве, вплотную окружила Ленинград.

Максу фон Лауэ уже за шестьдесят, но в нем сохраняется детская голубоглазая наивность, то доверчивое прямодушие, про которое говорят: ну что с него спросишь...

И он действительно, пожалуй, единственный из немецких физиков продолжал держаться независимо, он позволял себе резко высказываться против антисемитизма, помогал преследуемым ученым. Он был в те годы нравственным примером...

Лауэ почти не смотрит на то, что пишет и рисует перед ним Гейзенберг,— пофыркивая, он вглядывается в его лицо.

Наконец Гейзенберг замечает это молчание.

— Что с вами?

---

[1] О елка, елка,
Как зелены твои ветки!
Ты цветешь не только летом,
Но и зимой, когда идет снег...

Лауэ молчит.

— Вы что не верите? Вы бы могли меня поздравить.

— Поздравляю.

— Я надеюсь, мы обставим всех.

— И что дальше, дружок?

Гейзенберг откидывается, быстро пьет пиво.

— Макс, согласитесь, это интереснейшая задача.

— Итак, господин лауреат, мы открываем путь к атомной бомбе для наших дорогих прохвостов. Они сразу станут хозяевами. Потом уже мы не сумеем остановить их.

Лауэ выразительно оглядывает пивную — сановную лейпцигскую пивную тех лет, с гравюрами старинных замков и рыцарей. За столиками пьют, курят офицеры, эсэсовцы, чиновники в мундирах.

— Теперь, когда следующий вариант твоего котла может стать успешным, не мешало бы спросить себя: имеем ли мы моральное право давать им в руки такое оружие? — откровенно формулирует Лауэ.

— Хорошо, а если американцы его сделают?

Лауэ задумывается.

— Это не довод... Вот что. Надо поехать в Копенгаген. Придумать какой-нибудь предлог...

— Предлог можно найти, там через две недели будет симпозиум.

— Ну и прекрасно... Пойми, Вернер, если бы я мог тебя заменить, я бы не раздумывал. Но ни с кем из нас Бор не станет говорить, как с тобой. Ты его любимец.

— Был. Для них мы все теперь наци...

— Я тебя понимаю, это риск...

— Я связан с секретной работой.

— Учти, что и за ним наверняка следят...

— Господи, что за страна, в которой даже нельзя совершить геройство,— с тоской произносит Гейзенберг.— Тихо запрячут в концлагерь и запретят упоминать, как будто тебя и не было. Активное сопротивление — это бессмыслица. Парадокс в том, что можно что-то сделать, лишь сотрудничая с ними...

Он почти перешел на шепот. Лауэ соблюдает осторожность совершенно иначе: голос его не снижается, он разговаривает так, как будто они продолжают обсуждать свои дела.

— Я лично всегда держал военных в неведении относительно результатов работ. И тебе советую. Нельзя им давать

никаких надежд. Я не хочу думать об американцах. Нам пора для самих себя определить нашу позицию. Чтобы говорить с Бором, надо понять, что мы предлагаем.

— Не знаю. Я хочу просто посоветоваться с ним. Пусть он скажет, что нам делать.

— Но для этого ты обязан ему все рассказать, все!

— Это нельзя... А если мы идем впереди американцев?

Они молчат. Лауэ допивает пиво, подходит кельнер, забирает стаканы, вытирает столешницу.

— Надо иметь мужество информировать его... полностью,— говорит Лауэ, не стесняясь кельнера.

Гейзенберг ждет, пока они останутся одни.

— Информировать его, а значит, и их, наших противников... то есть предать... совершить...

— Измену? Подумаешь. Меня эти слова не трогают. Кому измену?

— Макс, я не могу желать поражения своей стране. Мы с вами немцы... Нильс поймет меня. Давайте рассуждать логически. Что реально в наших условиях? Для обеих сторон? Договориться, чтобы и мы и они затормозили изготовление бомб...

— Но как ему это сказать?

Звуки фанфар. По радио передают победную сводку.

Отряды гитлерюгенда на площади останавливаются. Кельнер подходит к карте, переставляет флажки ближе к Москве.

Военные, видимо фронтовики, встают, затягивают песню «Мы уходим на Восток». И вся площадь поет. Пьяный капитан с перевязанной рукой подходит к физикам с поднятым стаканом вина.

Они машинально приподнимаются, продолжая разговор.

— Нет, это невозможно. Ты должен с ним договориться,— настаивает Лауэ.

— Нельзя подвергать Бора опасности.

— Отставить разговоры! — кричит капитан.— Петь! Всем петь!

Лауэ подзывает кельнера.

— Уберите его,— свирепея, кричит он.— Это невоспитанный человек!

Кельнер отводит капитана, что-то шепчет ему.

— С ним надо быть откровенным,— продолжает Лауэ.

И тут капитан со своей компанией громко провозглашает:

— Великому ученому нашей великой Германии!

Они высоко поднимают кружки в честь Гейзенберга. Шипит, лопается пена. Гейзенберг кланяется, морщась, и все же слегка польщенный.

Все стоит на прежних местах в гостиной дома Нильса Бора. Так же горит камин, и так же дымится большой кофейник на столе. Но сместилось значение вещей. Одним из главных предметов стал телефон. На молчащий аппарат посматривают, к нему прислушиваются. Часы тикают встревоженно, и все слышат этот отсчет. Приемник дежурного бормочет в углу. И шторы плотно закрывают окна.

— Если он согласился возглавить Кайзер-Вильгельм-институт,— говорит Розенталь, близкий друг и сотрудник Бора,— значит, он помогает фашистам.

— Он оправдывал оккупацию Польши,— говорит сын Бора.— Что можно ждать от него?

— Такие заявления бывают иногда вынужденными,— говорит Розенталь.— Мы знаем, как заставляют их делать.

— Что, его пытали? — спрашивает Нильс Бор.— Нет, я никогда не понимал двойной игры. И не желаю понимать.

Они трое ходят по гостиной, встречаясь и расходясь, Нильс останавливается у пианино, пробует пальцем начало той песенки, что когда-то пелась в этом доме.

— Ах, Вернер, Вернер...— говорит он.— Но для чего ему понадобилось это свидание? Чего он хочет?

— Может быть, он надеется что-то узнать,— говорит Розенталь.

— Во всяком случае, отец, ты должен быть крайне осторожен.

— А если его специально подослали? — спрашивает Розенталь.

— Послушайте, это же Гейзенберг! — с отчаянием восклицает Бор.— Это же не полицейский провокатор.

Он с треском захлопывает крышку пианино. Надевает пальто.

— Отец, проводить тебя?

— Нет, нет.

...Моросит дождь по набережной Ни-Карлсберга. У воды стоят, как всегда, рыболовы с удочками. Нильс Бор идет под зонтом, рядом с ним Гейзенберг. Он иногда оглядывается. Воротник его плаща поднят, шляпа плотно надвинута.

— ...Ничего особенного, я просто давно не видел вас. Я решил воспользоваться этой конференцией...— объясняет Гейзенберг.

— Благодарю вас, очень рад,— церемонно приговаривает Бор.

— Я представляю себе, как изменились ваши оценки немецкой физики,— говорит Гейзенберг.— Многие люди связывают имена ученых Германии с нынешней государственной политикой. Но вы-то понимаете, что тут надо разделять... Власть — это одно, ученые — это другое, и вряд ли мы должны отвечать за их действия...— Он осторожно обрывает себя.— Нельзя не учитывать нажима, который оказывают на каждого ученого. Трудно даже передать атмосферу, в которой мы живем.

— Хм, не знаю, не знаю,— бурчит Бор.

— Иногда приходится заниматься вещами, которыми и не хотел бы.

— Хм...

— Например, урановой проблемой...— и Гейзенберг выжидательно замолкает.

— Что же тут такого неприятного?

— Нет, нет, ничего... Однако урановая проблема связана с проблемой атомного оружия.

— Хм...

— Вы думаете, атомное оружие практически невозможно создать?

— Не знаю. Я с начала прошлого года ничего не слыхал о развитии атомных исследований,— официальным тоном отвечает Бор.— Ни в Англии, ни в Америке. Может быть, они держат их в секрете. А может, и бросили заниматься этими вещами.

— А если не бросили?

— Кого вы имеете в виду?

— Я хочу спросить вас напрямую, Нильс. Имеем ли мы вообще моральное право во время войны заниматься таким оружием, как атомная бомба?

Бор пытается вникнуть, разгадать шифр этого вопроса,— не замечая, он шагает по лужам. Весь разговор как шахматная партия, дебют разыгран, и теперь надо все тщательнее рассчитывать очередной ход.

— Раз вас интересует такой вопрос,— чутко и осторожно выводит Бор,— значит, вы уже не сомневаетесь, что расщепление атома можно использовать для военных целей?

— Теоретически — да.

— А практически?

— Не знаю,— тотчас замыкается Гейзенберг.— Думаю, что технически это слишком дорого и сложно.

— Ого, значит, уже технически...

— Я надеюсь, что никому не удастся это осуществить в ходе войны.

— Кто бы мог подумать, что дело у вас зайдет так далеко...

— Нет, нет, вы меня не так поняли,— страдальчески вырывается у Гейзенберга.

Они останавливаются. Бор ждет. Кажется, сейчас начнется то главное, ради чего приехал Гейзенберг. Где-то поблизости клацают солдатские сапоги — проходит патруль. Каждый вглядывается в лицо другого, каждый неуступчиво ждет от другого первого шага, и оба молчат.

Гейзенберг протягивает руку и не решается прикоснуться к Бору, стряхивает намокший рукав. Они оба страдают от недоверия друг к другу и оттого, что не в силах преодолеть это недоверие.

— Я так надеялся получить от вас совет... помощь...

— Вы знаете, Вернер, все слишком круто изменилось, боюсь, что физики в этих условиях будут продолжать начатое, как бы ни были опасны такие работы.

— Послушайте, Нильс, надо их остановить, пока не поздно. Мы должны договориться.

— О чем?

— Ученые не должны толкать свои правительства... чтобы, ну, словом, разворачивать эти работы.

— Вот как...

— Вы думаете, это нереально?

— Вы не могли бы, Вернер, несколько полнее сформулировать свою мысль?

— Нильс, вы пользуетесь достаточным влиянием в Англии и Америке. Вы единственный, с кем я могу говорить об этом. Скажите, как вы полагаете, пошли бы в Америке физики на то, чтобы не создавать бомбу? Если, конечно, и немецкие физики сделают то же. Возможно ли такое соглашение?

— Странно,— задумчиво говорит Бор.— Странное предложение,— при своем простодушии он не в состоянии скрыть внезапное подозрение.— Это же рискованный вариант. Какие у нас могут быть гарантии?

Гейзенберг не сразу понимает, в чем его заподозрили.

— Но если мы договоримся...

Бор берет его под руку.

— Дорогой Вернер, мало ли что мы... вы сами толковали мне про то, как заставляют немецких физиков. Согласитесь, что ваш фюрер в смысле коварства...

— Да при чем тут фюрер? — вырывается у Гейзенберга, он оскорбленно высвобождает свою руку.

— Все равно, Вернер, ваше предложение в условиях войны выглядит двусмысленным,— вежливо и твердо заканчивает Бор.

— Вы мне не доверяете?

Бор молчит.

— Когда-то вы считали меня своим любимым учеником. Вы не доверяете мне за то, что я остался в Германии. Но я немец.

— А я датчанин, и должен бежать из Дании.

— Это ужасно, что мы так разговариваем.

— Ах, Вернер, разговаривать можно как угодно. Трагично, что мы не в состоянии договориться, и что и вы, и американцы будут продолжать делать бомбу...

— Да, вы правы, Нильс. Прощайте, привет Маргарет и вашим ребятам. Да хранит вас бог.

Бор остается один. Дождь часто, все громче, стучит в зонт. Откуда-то из-за угла появляется Оге Бор. Он берет отца под руку.

— Они делают бомбу. Они занимаются вовсю атомной бомбой,— потрясенно повторяет Бор...

Они возвращаются домой узенькими улочками, и, проходя мимо кинотеатра, Бор вспоминает одну давнюю историю.

Это произошло в тридцатые годы, когда в очередной раз его мальчики съехались к нему.

Интересно, вспоминал ли эту историю Гейзенберг?

Или Оппенгеймер, ведь он тоже мог вспомнить ее?

...Из темноты кинозала доносится стрельба. На экране довоенный американский вестерн: шериф, невозмутимый и неуязвимый стрелок, спасает от бандитов бедную очаровательную красотку. Стоит кому-то из бандитов взяться за пистолет, как этот парень вытягивает свой кольт, и очередной злодей падает, сраженный пулей. Бар завален трупами бандитов...

Молодежь, которая затащила Нильса Бора в это кино, хохочет, но сам Бор чем-то заинтересовался, он внимательно сле-

дит за действиями героя, за всей этой, казалось бы, чепуховой игрой в поддавки. И на улице, после картины, Бор отключен от общего веселья.

— Надо же нагородить такую безвкусицу...

— Оппи, и тебе не стыдно за твой Голливуд?

— Каков супермен! — Оппи наставляет вытянутые пальцы и палит из двух пистолетов.— Бах, бах, бах!..

Они потешаются и резвятся, пародируя неправдоподобные подвиги героя.

— Нильс, пожалуйста, простите нас, неразумных,— говорит Сциллард.— Это все Оппи, это его продукция.

Однако Бор не разделяет их иронии. Вполне серьезно, без улыбки он говорит:

— Мне думается, ситуация довольно реальная.

Несмотря на любовь и уважение к своему учителю, его спутники не могут скрыть веселого удивления.

— Господи, о чем вы, это же бред собачий,— не выдерживает Сциллард.

— Разве так бывает...

Бор берет Гейзенберга за пуговицу пиджака:

— А не кажется ли вам, Вернер, что тот, кто защищается, действует быстрее?

Гейзенберг недоверчиво пожимает плечами, да и остальные насмешливо переглядываются.

— Инстинкт самосохранения должен срабатывать быстрее...— упрямо продолжает Бор, теребя пуговицу.

— Давайте проверим,— предлагает Сциллард. С энтузиазмом экспериментатора он жаждет опыта, реальных доказательств и тут же организует этот опыт.— Купим пистолеты и сейчас все это выясним.

Сказано — сделано. Они направляются в ближайший магазинчик, выходят оттуда с парой детских пистонных пистолетов. Поединок решено провести безотлагательно, здесь, на улице.

— Кто будет гангстером? — распоряжается Сциллард.— То есть кто нападает?

— Я!.. Я!..— одновременно выкрикивают Оппи и Теллер.

— Тогда я жертва, то есть благородный герой,— требует Гейзенберг.

— Нет уж, героем буду я,— простодушно просит Бор.— Все-таки это моя гипотеза.

— Прекрасно, я гангстер! Теоретик должен сражаться с теоретиком,— восклицает Гейзенберг.— И вообще, мы, нем-

цы, любим стрелять,— он бесцеремонно забирает у Сциллар-да пистолет.

Оппи недоволен.

— Силы неравны... Этот Вернер и не подумает уступить. Сейчас он укокошит своего учителя.

Бор и Гейзенберг становятся в позицию. Лео Сциллард помогает Бору зарядить пистолет.

— Итак, Вернер, ты начинаешь! — командует Лео.

«Враги» прячут пистолеты в карманы. Наблюдатели окружают их кольцом. Гейзенберг, уверенный в победе, не спешит. Бор немного смущен, доброе большое лицо его совершенно не соответствует происходящему и невольно вызывает улыбки.

Гейзенберг выхватывает пистолет, но, на какое-то мгновение опережая, весело хлопает пистон. Невероятно, что это успел выстрелить Бор, такой неуклюжий, сутулый, чем-то напоминающий медведя.

— Ого! Вот так штука! Еще, еще, снова! — требуют все.

Собираются прохожие, привлеченные шумным сборищем, необычным в этом респектабельном Копенгагене. Отворяются окна, останавливается возчик пива. Подходит полицейский:

— В чем дело, господа? Добрый вечер, господин Бор!

— Видите ли, мы проверяем одну психологическую теорию, как бы это выразиться...

— Судьба агрессора,— подсказывает Сциллард, он снова заряжает пистолет и подает сигнал.

— Всякое действие,— продолжает рассуждать Бор, засунув пистолет в карман,— которое требует решения, выполняется медленнее...

— Дайте я попробую,— просит Оппи.

Он отбирает пистолет у Гейзенберга, решив во что бы то ни стало опередить Бора. Закусив губу, он ждет, изготовился.

— Нильс, следи за ним,— предупреждает Сциллард.

— Он мне не мешает... Так вот, решение неизбежно выполняется медленнее, чем действие, вызванное внешним раздражителем...

Решившись, Оппи выхватывает пистолет, вкладывая в движение всю свою молодую стремительность, и снова Бор успевает выстрелить раньше.

Ему аплодируют.

— Это похоже на фокус,— досадливо бурчит Гейзенберг.— Я понимаю вашу теорию, но что же получается? Что же делать бедным бандитам?

— Если они хотят убить друг друга,— необычайно серьезно заключает Бор,— то им ничего не остается другого, как разговаривать. Ибо тот, кто решится стрелять, будет убит прежде, чем исполнит свое решение.

Маленькое зимнее солнце в морозном ореоле, и ветер. Тишина безлюдного заснеженного Ленинграда. Репродукторы на столбах гулко разносят тиканье метронома. Литейный мост через Неву. Отсюда открывается путаница тропинок по льду, бездымные заводские трубы, белый город над белой рекой. У набережной стоит пар над прорубью, окруженной ледяными наростами, прорубленные ступеньки, редкие фигуры людей, тянущих ведра на саночках.

Молоденький воентехник Гуляев, в полушубке, с вещмешком, бредет по бесконечно длинному Лесному проспекту. Мимо разбитых домов и домов с замерзшими окнами — по ним видно, что там еще живут. Постукивает движок в какой-то мастерской. Закутанные, перевязанные платками люди, не поймешь, кто они — мужчины, женщины, разбирают крыльцо деревянного дома. Обвязав веревкой столб, тянут, пытаясь свалить его. Воентехник подходит, впрягается. Столб трещит, падает.

Снова даль проспекта, свистящий навстречу ветер, сугробы снега на путях, на мостовой, развалины, тропинки. Красный трамвай «девятка», воентехник читает привычную надпись: «Нарвские ворота — Политехнический институт». Провода давно оборваны, пути занесены, и уже трудно представить, как попали сюда эти два вагона. Воентехник поднимается в передний передохнуть, укрыться от ветра. Нетронутый холм снега на открытой площадке. Дверь открывается с пронзительным вскриком стылого железа.

Воентехник садится, закрывает глаза. Тишина, ветер, удары метронома. Еле слышно возникают звуки движения колес, голоса людей, хранимые памятью тех мирных дней, когда он каждое утро ездил в институт этим трамваем и у Финляндского в трамвай набивались приезжие, а у Флюгова шумно втискивались студенты Политехнического. Голос кондукторши, звон денег, гудки машин, и вдруг, обрывая эти воспоминания, резко и громко дзенькает трамвайный сигнал.

Заледенелый подъезд Физико-технического института. Напротив, в парке, зенитная батарея. Из вестибюля доносятся голоса. Воентехник открывает дверь...

На застекленной веранде дачи Сталина в Кунцеве несколько человек сидят в ожидании. Сюда вызваны трое из ведущих физиков страны, причем каждый из них не случайно: Владимир Иванович Вернадский — как крупнейший специалист по радиоактивным материалам, Сергей Иванович Вавилов — как директор Физического института и Абрам Федорович Иоффе — как директор Ленинградского физтеха и глава школы советских физиков.

На веранде кожаный учрежденческий диван, желтый канцелярский стол и желтые стулья, вся эта мебель какого-то обезличенно-казенного вида.

Входит Сталин, здоровается с ожидающими здесь Зубавиным и академиками.

— Здравствуйте, товарищ Сталин. Разрешите представить вам — Владимир Иванович Вернадский... Абрам Федорович Иоффе... Сергей Иванович...

— Мы знакомы,— говорит Сталин, обращаясь к Иоффе, затем к Вернадскому: — Здравствуйте, Владимир Иванович.

— Здравствуйте, здравствуйте, очень рад с вами встретиться,— добродушно и беззаботно отвечает Вернадский. Он здесь самый старший и обращается со всеми, включая Сталина, по-отечески покровительственно.

— Наверное, товарищ Зубавин рассказал, что нас интересует? Как вы полагаете,— говорит Сталин,— могут ли немцы изготовить бомбу такой силы? Реальна опасность того, что они ведут эти работы?

Вавилов решается ответить первым:

— У немцев, товарищ Сталин, для этого есть все, у них отличная химия. У них осталось немало крупных ученых, великолепные лаборатории... Что касается физики, то Абрам Федорович может подтвердить, он работал в Германии, физика мирового класса...

— Так, так,— Сталин переводит взгляд на Иоффе.

— Теоретически не существует никаких препятствий,— начинает было Иоффе, но спохватывается: — Как практически сложится у них... у немцев... не знаю. Видите ли, слишком мало данных есть, чтобы судить...

— А вот некоторые ваши молодые сотрудники, Абрам Федорович, сообщают нам, что в западных журналах перестали печатать статьи по атомной физике,— не торопясь, рассказывает Сталин.

— Да. Сперва в английских прекратили,— подтверждает Иоффе,— а сейчас и в американских.

— На основании этого они делают вывод, что работы засекречены. Почему, спрашивается?

После некоторого молчания Вавилов отвечает:

— Возможно, чтобы не давать материала немцам. Они опасаются, что немцы развернули работы над бомбой.

— Так, так...

— А может, американцы с англичанами сами тоже приступили к работам,— добавляет Иоффе.

— И нам, товарищ Сталин, пора бы подумать об этом,— простодушно советует Вернадский.

— Почему же вы, академики, специалисты, сами не ставили об этом вопроса? — Голос Сталина становится жестко-угрожающим.— Почему вы ждете, когда вас вызовут? Почему, наконец, товарищ...

— Флеров,— подсказывает Зубавин,— младший лейтенант...

— Да, младший лейтенант, обыкновенный научный сотрудник, сопоставил факты и не постеснялся написать, предложить, а вы стесняетесь?

Молчание.

Сталин продолжает:

— Вот, например: союзники сейчас усиленно бомбят завод тяжелой воды в Норвегии. Что это, по-вашему, значит?

— Тяжелая вода нужна для атомных исследований,— говорит Иоффе.

— Вот видите!

— Но можем ли мы сейчас, во время войны, позволить себе...— И Вавилов выразительно умолкает.

— Это уж мы сами будем решать, товарищ Вавилов. Речь ведь идет об оружии, не так ли?

— Да, товарищ Сталин.

— Не надо оправдываться войной, не стоит... Что нам надо для того, чтобы подготовить такое оружие?

— Это потребует огромных затрат. Трудно сразу определить.

— А может, вы все же попробуете, Владимир Иванович? — неожиданно обращается Сталин к Вернадскому.

Нисколько не смущаясь, Вернадский поясняет:

— Примерно это будет стоить столько, сколько стоит одна война.

— То есть?

— Очень просто. Весьма дорого и неопределенно. Смотря по тому, как будет уклоняться от нас истина. А кроме то-

го... вот, например: наш маленький урановый рудник придется развернуть так, чтобы резко увеличить добычу. В сотни раз...

Сталин нетерпеливо постукивает по столу.

— Вы считаете — нам следует за это дело приниматься?

Все молчат. Никто не решается первым высказать свое мнение.

— Но если союзники занимаются атомной проблемой,— говорит Вернадский,— то зачем же нам тратить на это средства? Можно же договориться, я знаю там Комптона, и Лоуренса, и доктора Рабби. Это вполне порядочные люди...

Сталин недоверчиво приглядывается к Вернадскому, как бы раздумывая, потом вдруг начинает тихо смеяться.

— Политическая наивность,— говорит он, обрывая свой смех.— Они с нами делиться своими секретами не станут. Нам самим надо решать для себя... Как, товарищ Вавилов?

— Я думаю, что нам придется заниматься этим, и чем раньше, тем лучше,— говорит Вавилов.

— Вы полагаете, наши ученые смогут решить эту проблему?

— Думаю, да. Если организовать и дать средства...

— А кто, по-вашему, мог бы возглавить эту работу?

Вавилов смотрит на Иоффе.

— Я думаю... Курчатов,— говорит Иоффе.

— Кто такой Курчатов? — спрашивает Сталин.

— Это физик, молодой, энергичный, отличный ученый. Он как раз перед войной руководил исследованиями по ядру...

Сталин поднимает руку, останавливая:

— Почему Курчатов, что у нас мало академиков?

— Товарищ Сталин, Курчатов — профессор, доктор наук, и потом, это работа не на месяц... на годы...

— Совершенно верно,— подтверждает Вернадский.

— Курчатов совмещает в себе хорошего организатора и крупного ученого, специалиста именно в этой области,— настаивает Иоффе.

— Значит, вы рекомендуете Курчатова. Так? А вы? — обращается Сталин к Вавилову.

— Я поддерживаю.

— Где он?

— На фронте. В Севастополе,— отвечает Иоффе.

Сталин смотрит на Зубавина:

— Надо отозвать.

— Может быть, и еще несколько специалистов? — спрашивает Зубавин.

Сталин, не сразу, кивает.

...Постукивает, мотает ночной вагон. Раскинулись ноги в кирзе, валенках, обмотках. Проход забит спящими, прикорнувшими и между скамеек, на мешках, чемоданах.

Старик и старуха развязывают торбу, достают хлеб, яйца.

— Угощайтесь,— говорит старуха Курчатову, который сидит напротив и смотрит за окно, в ночь... Он в матросском бушлате, вид у него больной. Лицо заросло, он недавно начал отращивать бороду.

— Спасибо. Не хочется что-то.

— Севастопольский?

— Да нет, из Ленинграда я,— говорит Курчатов.

— Семья там?

— Отец с матерью... остались.

— Господи, как подумаешь о них, ленинградцах,— говорит старик,— так наше горе не бедой кажется.

— Отец умер,— вдруг сообщает Курчатов,— не знаю, как мать. Может, и она. А?

Привыкшие за эти месяцы ко всему, люди молчат, не сочувствуя, не утешая, потом деликатно переводят разговор:

— И куда ж ты сейчас?

— В Казань. Институт наш там. Жена там. Вот, вызвали.

Вагон мотает, колышутся тени, где-то плачет ребенок. Душно, жарко, а Курчатов кутается, озноб бьет его... Он идет, перебирая рукой по стене и полкам вагона.

И улица Казани шатается, как вагон. Вздрагивают дома, лязгают сугробы. С трудом Курчатов находит дом, где живет Марина Дмитриевна, заходит во двор, присаживается на чурбан, уже не в силах подняться, сделать последние шаги до квартиры...

Марина Дмитриевна, которая шьет на машинке, вдруг поднимает голову и видит его, вернее узнает, еще вернее — угадывает, бежит во двор, поднимает его, тащит на себе...

Проходная комната Курчатовых в большой коммунальной квартире. Женщина-врач осматривает Курчатова. В коридоре за полуоткрытой дверью ждет Иоффе с пакетом в руках.

— Ваше сердце нуждается в полном покое,— гремит голос врача,— миленький, вы некультурный человек... Думаете,

на войне можно не щадить здоровья... Извините. Жизни не щадить, это да, а здоровье извольте беречь.

В дверях она сталкивается с Иоффе, подозрительно оглядывает его и обращается к жене Курчатова:

— Марина Дмитриевна, и никаких серьезных разговоров. Хотя бы недельку — анекдоты, одни анекдоты.

Иоффе входит в комнату, кладет на стол пакет. Марина Дмитриевна провожает доктора через кухню, завешанную бельем и пеленками. За окном шумит крикливый казанский двор. Сквозь проходную комнату все время, бочком, деликатно, ходят какие-то люди.

— Абрам Федорович, почему вы меня рекомендовали? — тихо и быстро спрашивает Курчатов.— Как вы могли?

— А кого? Никто лучше вас не справится. Слава богу, я вас достаточно знаю.

— Вы говорите так, будто ясно, как решать эту задачу.

— От нас, специалистов, требовали сказать «да» или «нет». Простите, Игорь Васильевич, я не мог сказать «нет».

Разговор идет торопливый, приглушенный, и, когда в коридоре раздаются шаги Марины Дмитриевны и она входит в комнату с чайником, Курчатов внезапно начинает смеяться:

— Ох, уморили, Абрам Федорович, великолепно. Вот это анекдот!

— Расскажите, Абрам Федорович,— просит Марина Дмитриевна.

Абрам Федорович укоризненно смотрит на Курчатова.

— Маша, это не для дам,— выручает его Курчатов.

— Вот уж не знала за вами, Абрам Федорович!

— Огрубел, Марина Дмитриевна... Между прочим, тут сахар и даже некоторые лекарства.

Марина Дмитриевна накрывает на стол. Со двора доносится звук трубы. Она берет жестяную банку.

— Керосин привезли, я сейчас. Игорь, ты бы прилег.

Как только она выходит, Курчатов увлекает Иоффе в коридор:

— Тут нам никто не будет мешать.

Они укрываются за развешанными пеленками, в глухом полутемном тупичке, Курчатов с наслаждением закуривает.

— Судя по всем данным,— тотчас начинает Иоффе,—немцы занимаются ураном, и американцы, и англичане.

— Но, Абрам Федорович, вы представляете, чтобы начать — только для опытов — графит нужен, производство налаживать надо, тяжелая вода нужна, а уран? Тонны урана!

Рудники необходимо переоборудовать. А измерительная аппаратура, где ее брать? Чистого изотопа ни столечко нет. Начинаешь думать, голова идет кругом. Я сейчас в Севастополе, Абрам Федорович, нахлебался — самолетов нет, снарядов в обрез. Какое же право мы имеем отвлекать огромные средства?! За счет крови наших людей? Я понимаю, если бы броню нам поручили усовершенствовать, это конкретное дело, а бомба — кот в мешке. Годы и годы нужны.

Марина Дмитриевна возвращается с керосином, заглядывает в комнату — никого нет, обеспокоенная, идет на кухню, спрашивает у мальчугана, восседающего на горшке:

— Дядю Игоря не видел?

— Там... они про бомбу говорят.

Из-за развешанного белья Марина Дмитриевна слышит голос Иоффе:

— ...Материальные трудности — полбеды. Образуется. Сложнее угадать правильный путь. С чего начинать...

Решившись, Марина Дмитриевна раздвигает белье:

— Хороши!

Курчатов виновато возвращается в комнату.

— Зачем вы его уговариваете, Абрам Федорович? — говорит Марина Дмитриевна.— Дайте ему другую работу. Почему именно он...

— Он лучше других сумеет воодушевить людей...— Иоффе разводит руками.— Но пусть он сам решает...

— Я боюсь,— говорит Марина Дмитриевна,— боюсь, боюсь...

С открытыми глазами Курчатов лежит в темноте. Стучит швейная машинка. Марина Дмитриевна шьет тряпочных зайцев. Это работа, которую она берет на дом. Груды белых ушастых зайцев растут на столе.

Время от времени она поглядывает на мужа.

Он видит новогоднюю елку, летящий голубой шарик с надписью «ядро атома», вальс, и следом горящий Севастополь, себя на борту эсминца, раненых, которых несут по сходням на корабль, эвакуацию под бомбежкой, и снова бал в физтехе, и снова обстрел Севастополя... Кружатся, сталкиваются эти две картины, нет, уже не картины, не воспоминания, а два направления жизни: война, бой, его солдатский долг, и физика, атомное ядро, лаборатория — два, как ему кажется, разных, даже противоположных направления жизни. Потому что заняться атомными делами — это, как бы там ни было, оставить фронт, уйти с войны...

Голубой воздушный шарик поднимается все выше, выше и лопается страшным взрывом, кроваво-слепящим столбом, который медленно поднимается к небесам, растет, превращается в атомный гриб.

В кабине пилота — веселые ребята команды самолета «Энола Гэй». Ведет свой репортаж американский журналист Лоуренс, который получит потом за это высшую журналистскую премию — Пулитцера:

— ...Наш самолет «Энола Гэй», названный полковником Тибетсом по имени своей покойной матери, соответствует двум, а может, четырем тысячам «летающих крепостей». Впереди лежит Япония. В мгновение, которое нельзя измерить, небесный смерч превратит в прах ее обитателей... Столб фиолетового огня в пять тысяч метров высотой. Вот он уже на уровне самолета!.. Это уже не дым, не огонь, а живое существо, рожденное человеком.

Души всех японцев поднимаются к небесам! О том, что здесь был город Хиросима, я могу судить лишь по тому, что минуту назад видел его собственными глазами... Мы передавали репортаж корреспондента газеты «Нью-Йорк таймс» с театра военных действий....

Ужин закончен, скатерть снята, открылся черный дубовый стол, за которым восседали физики-апостолы. Теперь они бродят по этой большой столовой, не находя себе места, не в силах успокоиться. Сообщение о бомбе не сплотило, а разъединило их.

Большинство не могло поверить, они просто не хотели верить тому, что американцы сделали атомную бомбу.

Карл Виртц, например, был убежден, что он вместе с Гейзенбергом, точнее, их группа первая в истории осуществила цепную реакцию. Не совсем осуществила, не до конца, но это уже технические детали, а в принципе у них уже получилось. Там, в пещере под скалой в Хайгерлохе, осталось совсем немного, чтобы разогнать котел. В самом начале марта они уже получили на сто нейтронов — семьсот, реакция вот-вот должна была пойти, еще немного — и возникли бы критические условия. Нужно было только добавить еще урана.

Не хватало еще хотя бы полтонны урана и меньше чем тонны тяжелой воды. Один грузовик. Тем более что все это было у группы физиков, возглавляемых Дибнером.

Поначалу хотели все оставить Дибнеру, весь уран, всю тяжелую воду, все вывезенное из Берлина оставить в той тюрингской деревушке, где этот ловкач Дибнер приспособил школьный подвал для нового реактора, и все машины, которые Виртц вел из Берлина, уже разгрузили там. Виртц поднял шум, накрутил Гейзенберга, надо было, чтобы тот дозвонился до начальства, чтобы как-то переиграть это решение. Гейзенберг сам с Вейцзеккером приехали в Штадтильм к Герлаху и выхлопотали несколько грузовиков урана и тяжелой воды. В Штадтильме и во всех окрестных городках воздушная тревога не прерывалась. Сигналов отбоя почти не было. В небе одна за другой плыли эскадрильи союзных и краснозвездных бомбардировщиков. Был февраль сорок пятого года.

Если бы еще поднажать, можно было бы взять еще тонну урана. Виртц не мог простить себе... В который раз успех, удача в самую последнюю минуту ускользали от него. Так было и в Берлине. Он собрал последний реактор, самый большой реактор с тяжелой водой. Оставалось только залить тяжелую воду. Полторы тонны. И начинать пуск. Двадцать девятого января поздно вечером его группа кончила последние приготовления. А на следующий день пришел приказ демонтировать реактор, и во двор института прибыли тяжелые крытые грузовики с охраной для эвакуации. Из Берлина уходили, уезжали, бежали. Свет в бункере то и дело меркнул, гас. Бомбежки усилились. Виртц был вне себя — ему не хватило двух-трех дней.

В пещере Хайгерлоха пахло винным спиртом, и на деревянных стеллажах кое-где лежали старые бутылки. Его люди работали не жалея себя, готовя котлован для реактора, монтировали контейнеры, баки, приборы. Условия были здесь самые примитивные, никакого сравнения с берлинским бункером, где имелся кондиционер, а наверху ходил тельфер, люди были изолированы от реактора стальными дверями, специальными иллюминаторами. Котлом можно было управлять на расстоянии, с подземного пульта. Предусмотрено все для защиты людей от радиации.

Хайгерлох был деревушкой, живописной и никак не приспособленной для исследований. Негде было даже расточить подшипник насоса. И все же они за неделю вручную подвесили к проволокам почти семьсот кубиков урана и к первому марта начали закачивать тяжелую воду в новый котел.

По дорогам тянулись потоки беженцев из Пруссии, из разбомбленного Дрездена, из Чехословакии. Воздушные налеты

не прекращались. Однажды бомбы попали в тюрьму, что стояла на утесе, и в пещере все дрогнуло, бетон у контейнера треснул.

К этому времени и Виртц и Гейзенберг поняли, что можно было обойтись без тяжелой воды, без всей этой норвежской эпопеи, без жертв и боев за эту тяжелую воду. Графит вполне годился как замедлитель.

Безумная надежда подстегивала Виртца: может быть, им все же удастся опередить всех, не только своих немецких конкурентов, но и вообще всех в мире, он чувствовал, что они подошли вплотную к получению атомной энергии.

Они были совсем близко и невероятно далеко.

Они двигались быстро, но понимали, что советские войска приближаются еще быстрее.

Что подгоняло этих последних действующих физиков гитлеровского рейха? Любознательность? Тщеславие? Одна за другой опустели лаборатории Кайзер-Вильгельм-института в Берлине. Американские войска приближались к Штадтильму, работа там тоже прекратилась, эсэсовцы приказали всем атомщикам Дибнера эвакуироваться на юг. А в пещере Хайгерлоха все еще лихорадочно работали. Виртц пытался дозвониться в Штадтильм: один грузовик с брикетами урана — вот что ему надо было. Если бы они успели прислать всего один грузовик...

...Все сорвалось в последний момент. Опять не хватило нескольких дней. Роковое стечение обстоятельств преследовало их неотступно уже второй год.

Со всех сторон Гейзенбергу твердили, что если реактор заработает, то немецкая наука обретет великое преимущество. Открытие поможет добиться приемлемых условий мира. Секрет этого открытия необходим для всех стран, можно будет спасти ученых Германии, сохранить ее науку...

И он, Гейзенберг, верил им всем, и этому хлопотуну Вальтеру Герлаху, который пытался быть хорошим для всех и всех выручить, и всем помочь, и мотался между Герингом и Борманом. Они и впрямь считали, что они откроют миру глаза, они, немецкие физики... И это в то время, когда, оказывается, давно уже в Штатах работали реакторы и бомбы были сделаны.

...Гейзенберг не ушел из столовой. Он решил испить чашу унижения до конца. Единственное, что он не мог себя заставить,— встретиться глазами с Отто Ганом. Почему-то перед ним было особенно стыдно. То ли потому, что Ган не постес-

нялся сказать им всем правду в глаза. То ли потому, что Ган один среди них всех чувствовал свою вину, взвалил ее на себя, мучился.

— А я рад, что бомба не у нас,— вдруг вскакивает Вейцзеккер, с вызовом оглядывает всех.— Американцы совершили безумие.

Хартек останавливается перед ним:

— Все же они оказались способны сделать ее. А мы нет. Если бы не наша клика невежд и тупиц, мы были бы первыми.

— А может быть, все дело в том, что не они, не наши невежды, а мы сами не хотели успеха. Во всяком случае, большая часть наших физиков.— Голос Вейцзеккера крепнет, с каждым словом он обретает уверенность.

— То есть как?

— А так! Из принципиальных соображений! — со значением творит легенду Вейцзеккер.— Если бы мы желали победы Германии, мы бы добились своего, но мы не хотели. Мы уклонялись...

Ган поднимает голову:

— Брехня! Не верю.

Скандал вот-вот разразится. Единственный, кто чувствует себя свободным, даже довольным этой напряженностью, это Лауэ. Он берет Гана за плечи, с помощью Карла Виртца усаживает в кресло.

— Вейцзеккер, простите меня, это абсурд! — возмущается Эрих Багге.— Может, вы и не хотели успеха. Не знаю. Но остальные — вряд ли.

— Выходит, вы саботировали работы над бомбой. Допустим,— ядовито соглашается Хартек.— Но правильно ли это? Если б мы сделали такое оружие, наша наука не оказалась бы сегодня в этом положении,— он выразительно обводит руками их место заключения.— Что будет с Германией... Средневековье...

Гейзенберг ходит, опустив голову, садится, встает.

— Как они это сумели? Мы ведь занимались тем же... Неужели они настолько обогнали... Непостижимо.— Гейзенберг не в силах скрыть свое расстройство, его самолюбие уязвлено.— Какой стыд!

— Вы считали себя первым,— не унимается Ган,— а вы второй... вы третий... а может быть, вы сотый...

Поздно вечером того же дня Лауэ и Гейзенберг стоят у дверей комнаты Гана. Из полуоткрытых дверей светит ночник. Ган мечется, стонет во сне.

— Я боюсь за Отто,— говорит Лауэ.— У него мания вины.

Он берет Гейзенберга под руку, они спускаются по скрипучей деревянной лестнице. Мимо проходит сержант английской охраны.

— Я всерьез занялся физикой в семнадцать лет,— говорит Лауэ,— я мечтал превратить ее в великую науку и быть свидетелем исторических событий. И то и другое осуществилось.

— Да, осуществилось...— удрученно повторяет Гейзенберг. — Но как...

В Принстоне, в саду при доме Эйнштейна, они встретились весною 1945 года. Альберт Эйнштейн и Александр Сакс, приятель Лео Сцилларда, советник Рузвельта, тот самый Сакс, который уговаривал президента пять лет назад начать работы над бомбой.

Цветут яблоки, вишни, белые лепестки осыпают седую голову Эйнштейна. Сандалии на босу ногу хлопают по гравию. Эйнштейн напоминает библейского старца. А может, и самого господа, идущего по райскому саду. Только бог этот не всемогущ, не грозен, а дряхл и печален.

— Стыдно... стыдно...— повторяет он слова Гейзенберга, но иначе, совсем иначе.— Вы знаете, Сакс, самое ужасное, что у нас нет оправдания, у всех этих военных и политиков есть оправдание, а у нас с вами нет...

Сакс отводит свисающие на их пути ветви.

— Откуда мы могли знать? — несогласно говорит он.— По всем данным, немцы работали над бомбой. Они не успели. Вернее, мы обогнали их. Это же все так и было. Разве мы виноваты, что теперь, когда немцы разбиты, бомба в руках таких, как Гровс, а Рузвельта уже нет? Послушайте, профессор, я понимаю, мы все влипли, но я сам ничего не могу исправить. Я могу только просить вас. Вы должны обратиться к президенту.

— Опять? Один раз я уже спасал человечество — я просил сделать бомбу. Теперь вам снова нужно мое имя. Чтобы спасать мир от бомбы...

К ним навстречу по аллейке спешит Сциллард. Это тот самый Сциллард, который пять лет назад приезжал к Эйнштейну организовать письмо Рузвельту. Сциллард, который работал над бомбой в Лос-Аламосе, Сциллард — любимый ученик Макса фон Лауэ.

— Простите, Сакс, я задержался. Профессор, я точно знаю: они хотят сбросить бомбу на Японию.

— При чем тут Япония? — удивляется Эйнштейн.— Германия капитулировала. Война окончена.

— Япония воюет. Гровс сказал, если у нас есть такое оружие, то мы должны применить его.

Они выходят на лужайку. Пять лет назад здесь Сциллард и Теллер обсуждали с ним текст письма к Рузвельту.

Эйнштейн подавил вздох.

— Я думаю о том, что подтолкнуть на новое оружие всегда легче, чем остановить...

— Мы были правы и тогда, мы правы и сейчас,— настаивает Сакс.

— Надо просить Трумэна воздержаться,— говорит Сциллард.— Какие могут быть колебания, если мы можем спасти жизнь тысяч и тысяч людей. Мы сейчас единственные, кто понимает, что стоит взорвать бомбу — и русские поймут, что она реальность. Они ее сделают. Если успеют. Зачем им зависеть от милости всяких Гровсов.

Эйнштейн безнадежно кивает.

— ...Мы не могли предвидеть так далеко,— говорит Сакс.— Да, мы испугались чучела.

— Когда-то я предупреждал вас, что мы ходим возле самой субстанции.— Эйнштейн устало опускается на скамейку.— Дело сделано... Бомба у них... Что мы теперь...

— Именно теперь,— Сакс заставляет себя воодушевиться.— Авторитет и влияние науки поднялись как никогда...

Птица, покачиваясь на ветке, смотрит на Эйнштейна. Круглый глаз ее неподвижно и вдумчиво блестит.

Эйнштейн тоже смотрит на нее. Сакс и Сциллард стоят перед ним, ожидая ответа. Он говорит, глядя на эту птаху:

— Я не знаю, во что вы верите, но в науку верить нельзя. Она беспомощна и равнодушна... Видите, она позволяет пользоваться ею как угодно. Она может установить только то, что есть, а не то, что должно быть.— Он горько усмехается.— Грустно убеждаться, что есть вещи, куда более нужные людям, чем знания...

Птаха улетает, и Эйнштейн обрывает себя, как будто он говорил ей.

— Где ваше письмо? — устало спрашивает он.

Сакс достает письмо; не читая, Эйнштейн подписывает.

— А как же Оппенгеймер? — вспоминает он.— Ведь он может куда больше, чем я...

Сциллард молчит, и Сакс тоже молчит. Эйнштейн встает, направляется к дому.

Сбоку от старых гравюр пароходов и парусников, ближе к окну, висит большая фотография Рузвельта, увитая траурными лентами.

В кабинете президента за столом Гарри Трумэн. Перед ним сидят генерал Гровс и военный министр Стимсон.

— Что им не нравится, этим ученым? — спрашивает Трумэн, отодвигая прочитанное письмо.— Они ж сами ее делали. Чего они теперь боятся?

Отвечает Стимсон, он старается не смотреть на президента: трудно привыкнуть к тому, что за этим столом, в этом кабинете, на месте Рузвельта, хозяйничает этот маленький человек.

— Видите ли, атомная бомба — не просто новая бомба. Сила ее взрыва эквивалентна двадцати тысячам тонн тротила.

Трумэн вскакивает, снова садится.

— Ничего себе! А! Сколько ж она сама весит? — подозрительно спрашивает он.

— Взрывной заряд не больше апельсина,— поясняет Гровс.

Трумэн оценивающе взвешивает в руке круглую пепельницу.

— А вы уверены, что у России нет такой штуки?

— Нет, и не скоро будет. У них на это не хватит ни промышленных мощностей, ни сырья.

— А у англичан?

Гровс пренебрежительно машет рукой.

— Атомная бомба обеспечит американской дипломатии большую силу,— говорит Стимсон.— Это козырная карта в политике.

— У вас остается единственная возможность продемонстрировать бомбу перед всем миром,— решительно говорит Гровс.— Сбросить ее, пока Япония еще не капитулировала.

И все станет ясно. Всем станет ясно! Когда увидят действие атомной бомбы. Гарантирую, что Советский Союз станет более уступчивым в Восточной Европе. Да и вообще...

Трумэн поворачивается на своем вертящемся кресле к портрету Рузвельта, разглядывает его, тонкие губы его поджаты. Потом он весело раскручивается в обратную сторону.

— Послушайте, Стимсон, но это же меняет все дело. Тогда я смогу по-другому разговаривать с русскими. Я буду диктовать. Если они заартачатся — пусть убираются к черту... А она взорвется? — вдруг спрашивает он у Гровса.

— Разумеется, господин президент.

— Если она взорвется, у меня будет хорошая дубинка для русских парней.

— Но можем ли мы не считаться с протестами ученых? — Стимсон кивает на письмо.— Они отражают мнение влиятельных кругов.

— Не стоит преувеличивать. Среди ученых разные мнения.— Гровс замысловато вертит рукой.— Я изучил эту публику. Если они что-нибудь сделали, они обязательно хотят пустить это в ход, они все тщеславны.

Трумэн внимательно следит за его жестом.

— Я тоже думаю... но хорошо, если б они сами вынесли рекомендации.

— Господин президент,— говорит Гровс,— я надеюсь, что они дойдут до этого.

Гровс и Стимсон молча спускаются по лестнице.

— Господи, как он мог, как у него хватает духа, чтобы так легко согласиться на такое? — удрученно произносит Стимсон.— Сбросить бомбу...

Гровс неожиданно хохочет:

— Знаете, Стимсон, он не так уж много сделал, сказав «да». Сейчас надо иметь куда больше мужества, чтобы сказать «нет».

В другое время Стимсон оценил бы это замечание, но теперь победный вид Гровса раздражает его.

— Боюсь, что с учеными вам будет потруднее, чем с Трумэном,— едко замечает он.— Особенно с этим вашим Оппенгеймером. Вряд ли на него подействует ваша эрудиция...

...Черный лимузин, сигналя, пробивается через карнавальное шествие какого-то маленького американского городка. Взрываются петарды, сыплется конфетти, веселые маски за-

глядывают в окна машин. Тамбурмажор-девица вышагивает впереди женского оркестра.

За рулем машины Оппенгеймер, он в светлом костюме, в лихо сдвинутой шляпе. Рядом с ним Сциллард. Сквозь разряды и потрескивание включенного приемника доносится скрипичный концерт.

— ...Рвется крохотный сосуд в голове одного человека, и все...— говорит Сциллард.— Ход истории нарушается. Чего стоит этот мир, построенный на таких случайностях? Если бы Рузвельт прожил еще несколько дней... всего несколько дней... А мы пытаемся установить какие-то законы развития. Ищем логику...

— Будь Рузвельт жив, он бы тоже не сумел остановить военных,— утешает его Оппенгеймер.— Ты идеалист, Лео. Вся разница в том, что Рузвельт сделал бы это нехотя, а Трумэн делает охотно.

— Я вижу, ты ловко устроился в этой разнице,— со злостью говорит Сциллард.— Ладно. Ясно, что надеяться нам не на кого. Только на себя. Пока эти упыри с нами считаются, мы должны их придержать.

Машина сворачивает в боковую улочку, где сидят на крылечках старые негритянки. Гирлянды бумажных цветов повисли между дощатыми лачугами, сколоченными из фруктовых ящиков. Ограда из колючей проволоки, пакгаузы, и там, в глубине складов, на открытых площадках пирамиды стальных солдатских касок. Они высятся, никому уже не нужные, до следующей войны, как курганы, как памятники...

— Отправить еще килограмм писем? — насмешливо спрашивает Оппенгеймер.

— Не валяй дурака. Ты руководитель проекта. Ты отец бомбы, ее папуля, папочка... кумир всех горилл в генеральских мундирах. От тебя зависит больше, чем от кого-либо из нас.

Перед ними расстилается безрадостная равнина. Прямое шоссе, размеченное рекламными щитами, бетонной стрелой воткнулось в горизонт. Шлейф пыли клубится за одинокой машиной.

— Ничего от меня не зависит,— говорит Оппенгеймер,— я технический советник.

— Оппи, ты начинаешь работать на дьявола,— предостерегает Сциллард.

— Дьявол...— Оппи кривится.— Не ты ли хлопотал, чтобы его выпустили из бутылки?

— Мы все ответственны за это, но ты, Оппи, ты обязан остановить их, тебя послушают. Если ты этого не сделаешь...

— Я не хочу вмешиваться в политику. Я ученый.

— А зачем же ты начинал работу над бомбой? Ну-ка потревожь свою знаменитую память. Мы делали бомбу против Гитлера, теперь он разгромлен. Зачем же сейчас ее сбрасывать? На кого?

— Лео, ты делал ее против Гитлера. Я тоже, но, кроме того, я делал ее для своей родины. Я — американец...

— Ага, а я — эмигрант... Вот до чего мы дошли... Ну конечно, ты политик, только ты плохой политик. Это оружие принесет твоей Америке больше вреда, чем пользы. Ах, Оппи, как разделила нас эта проклятая бомба. Гейзенберг, Ган... теперь ты. Мне кажется, что ты все время чего-то боишься.

— Чего мне бояться?—голос Оппи вдруг срывается на крик.— Я ничего не боюсь!

— Тебя окружает страх,— не слушая, продолжает Сциллард.— Ты не смеешь оглянуться. И боишься смотреть вперед...

Голос Сцилларда отдаляется, затихает. Машина мчится по бетонному шоссе. За рулем Оппи, и рядом уже нет никого...

По вечернему подмосковному шоссе с зажженными фарами мчится ЗИС-101.

В машине Курчатов, Зубавин, Переверзев, в рыбацких своих плащах и ватниках, они возвращаются из того колхозного застолья.

Затихают звуки гармони, кончается вальс, отлетают все дальше за стеклом огни деревень. Курчатов смотрит в темноту.

— Игорь Васильевич,— оборачивается к нему Переверзев, сидящий рядом с шофером.— Для чего они?.. Что теперь будет?

Курчатов молчит. Кончился вальс, кончился праздник, кончилась песня — для него все это мирное разом кончилось. Не успев по-настоящему начаться. Когда теперь ему придет случай вернуться к мирной жизни? Что проносится перед ним в зеркальной глубине стекла?

— Они метили не в Японию,— говорит Зубавин.— Она что... Она полигон.

— Хотят нас запугать?

Курчатов откидывается на сиденье, возвращается к своим спутникам.

— Итак, начинается новая эра — эра атома. Атомный век,— задумчиво говорит он.

— Ничего себе начало,— бурчит Зубавин.

— Да, кровавое начало... Боюсь, многое сейчас будет зависеть от того, успеем ли мы ее сделать.

Зубавин с особым вниманием посмотрел на Курчатова, словно бы увидел его иначе, совсем не так, как привык за эти два года.

— Да, все зависит от вас,— говорит он.— Впервые, наверное, в истории отвечать будут ученые.

Курчатов озабоченно кивает:

— По крайней мере ясно, что ее сделать можно.

Под утро Курчатов, Зубавин, несколько ответственных работников Совета Министров и генералов вышли из подъезда дома в Кремлевском переулке.

На свежеполитой площади их ждали машины.

Курчатов молча попрощался с товарищами, еще не замечая, как перед ним вытягиваются...

Пешком через площадь он направился к Троицким воротам. Его обгоняли автомобили. Позади, в отдалении, следовал Переверзев.

Вдруг Курчатов свернул на Соборную площадь. Одинокие шаги его гулко звучали в тишине раннего утра. Москва еще спала. А может, сюда не доносились ее шумы. Солнце только позолотило маковку колокольни Ивана Великого. Все было в тени, но там, наверху, полыхало. Сверкали золотые купола колокольни и Успенского собора. И такой покой, тишь царили кругом, что казалось, время спит, что его нет, а существует эта незыблемость, исчисляемая веками, нерушимость устоев... И вдруг Курчатову послышался свист, вой падающей бомбы. Ему увиделось небо, охваченное пламенем. Облака и весь небосвод горели, корчились в неистовой вспышке, чернели, прожигались насквозь. Колокольня Ивана Великого начала оседать, крениться, стали плавиться купола Успенского собора, потекли камни древних стен...

В кремлевском кабинете Сталина за длинным столом сидят Курчатов, Зубавин, работники Совета Министров.

Сам Сталин, как обычно, ходит по кабинету, то останавливаясь у письменного стола, то подходя к своему креслу во

главе стола заседаний. Идет одно из тех рабочих совещаний, на которых решались подробности достаточно серьезные и достаточно спорные. Зубавин, в защитной суконной гимнастерке, обычной для того времени, докладывает и, как видно, подводит первые итоги.

—...Кабель, изоляторы обеспечиваем за счет фондов легкой промышленности. Стройматериалы, цемент, металл снимаем с южных районов — то, что было намечено для восстановления городов. Начатые там объекты придется заморозить, оставляя только Донбасс.

Его слушают хмуро. В сущности он забирает самое насущное, режет без ножа, потому что в 1945 году всего этого, и цемента, и металла, в стране, еще не оправившейся от войны, было в обрез, на счету была каждая тонна металла, каждый вагон цемента, надо было восстанавливать разрушенные заводы, шахты, города. Немудрено, что предложения Зубавина, то есть проект приказа, хозяйственники встречают мрачным молчанием. Оно настолько явно, что Сталин вынужден спросить:

— Как, товарищ Сергеенко, обеспечите?

Сергеенко встает, он старается говорить бесстрастно, никак не выдавая своих чувств.

— Трудности в том, что многие предприятия с людьми выехали обратно. В Харькове одни развалины...— Он следит за выражением лица Сталина и заканчивает несколько иначе, четко и бодро: — Будем исходить из того, что нужно, товарищ Сталин, а не из того, что есть.

— Вот это правильно,— одобряет Сталин.— Продолжайте, продолжайте.

Зубавин отрывается от бумаг:

— Оба химкомбината на Урале передать в распоряжение Александрова. Но, товарищ Сталин, приборостроителей нужно втрое больше, чем есть,— он выжидательно умолкает.

Мягко ступая, Сталин останавливается боком к столу и смотрит на министра, затем с легким нетерпением спрашивает:

— Ну, как же?

Министр поднимается, одергивает черный пиджак:

— Простите, я прошу два месяца, чтобы хоть как-то подготовить замены.

— Товарищ Зубавин?— вопросительно проверяет Сталин.

Зубавин покосился на Курчатова, но тот сидит, опираясь на палку, совершенно безучастно, никак не помогая Зубави-

ну, не отзываясь на его призыв, он смотрит прямо перед собою, лицо его холодно и неподвижно.

— Месяц,— жестко говорит Зубавин.

— Ясно,— подчеркнуто по-военному, показывая, что это подчинение, а не согласие, чеканит министр.

А Зубавин дожимает, он учитывает растущую напряженность и торопится скорее выложить все конфликтные дела. Каждое слово у него продумано.

— Самое трудное, товарищ Сталин, с электроэнергией,— предупреждает он, давая тем самым некоторые возможности своим оппонентам.— Главный объект, как известно, весьма энергоемкий — потребуются две линии передач, и надо обеспечить мощностью.

Сталин повозился с трубкой, потом спрашивает:

— Как, товарищ министр?

Министр встает, докладывает почти ожесточенно:

— Линии протянем... Но вот насчет мощностей... в тех районах...— Он выразительно замолкает.

— Мощности нужны когда?

— К зиме,— чуть виновато отвечает Зубавин, потому что он-то понимает, как это плохо, что к зиме, то есть к максимуму, к самому тяжкому времени для энергетиков.

Министру все это уже известно из предварительных разговоров с Зубавиным, и Зубавину известна его позиция, но министр еще на что-то надеялся до этой последней минуты. Сейчас он говорит убито:

— Понятно.

— Это хорошо, что вам понятно,— говорит Сталин. Министр продолжает стоять, и Сталин, помедлив и подумав, спрашивает: — Ну? Вы, кажется, что-то хотите сказать?

— Нет, товарищ Сталин,— привычно отвечает министр, но, услышав себя, он неожиданно решается: — Да, товарищ Сталин. У меня нет мощностей в тех районах. Нет,— тверже повторил он.— И я не знаю, откуда их взять. Разве что отключить города, держать людей в потемках. Это ж невозможно, не война. Что я скажу людям? Первая зима. Хоть бы дали прийти в себя...— Он спохватывается. Не принято говорить так в этом кабинете.— Простите, пожалуйста.

— Ничего, ничего,— успокаивает его Сталин, у него своя тактика в этом разговоре, его даже устраивает такой поворот.— Я вас понимаю. Что же мы будем делать, товарищ Зубавин?

Никто не обращается к Курчатову, его обходят, и тем не менее круги, которые все делают, сужаются.

— Товарищ Сталин, я думаю...— начинает было Зубавин.

Не доводы министра потрясли Зубавина, а его смелость. Чем-то она зацепила его, был в ней упрек, укор ему.

— Что вы думаете?— Взгляд Сталина становится тяжелым.

— Правильно он говорит. Там же люди. Если бы сроки первой очереди передвинуть, тогда мощности значительно сократятся. Надо искать какой-то выход.

Сталин раскуривает трубку, все смотрят на него, он долго прохаживается, потом садится рядом с Курчатовым.

— Товарищ Курчатов, может быть, вы в чем-то пойдете навстречу просьбам товарищей?

Настигла все же и его эта доля... Он поднимает голову и смотрит на Сталина, прищурясь, разгадав его маневр — переложить все на него, на Курчатова, и чтобы при этом еще и сам Курчатов лишний раз взял на себя ответственность.

— К сожалению, товарищ Сталин, мы не в состоянии ничего сократить против наших расчетов. Никаких сроков сдвигать не можем. Никаких,— еще раз подтверждает он.

Сталин доволен его ответом. Он разводит руками:

— Вот видите, товарищи. Ничем не могу вам помочь. Ничем,— он встает.

Ну что ж, все получилось как нельзя лучше, он ни при чем. Он подходит к окну, поднимает белую штору,— за окном рассвет, розовое небо полыхает, поднимается над Кремлем. Он смотрит на часы:

— Полпятого утра уже. Почему вы приуныли?— удивляется он.— Пойдемте, посмотрим хорошее кино.

И все за ним направляются в кинозал, маленький, на несколько человек, уставленный глубокими креслами. Все рассаживаются, гаснет свет, и начинается «Большой вальс».

На экране едет, мчится под звуки штраусовского вальса карета, катит по солнечной аллее, несутся кони, счастливые лица Штрауса и его возлюбленной, они поют, и в лад им цокают копыта, и мелькают тени раскидистых яблонь, карета движется на нас, покачивается смеющийся кучер, сверкают зубы Милицы Корьюс.

А Курчатов видит на этом экране другое: как впряглись в плуг бабы, тащат на себе цугом, пробуя вспахать землю, как упираются грудью в жердину и босыми ногами в заросшую пашню...

Видит он русскую печь посредине поля — все, что осталось от сожженной деревушки, в этой печи пекут хлеб пополам с корой, голодные ребятишки в ватниках, в каких-то отцовских пиджаках вертятся тут же... Видит он разрушенные кварталы Харькова, обгорелые коробки каменных домов тянутся длинными улицами, переходят в развалины, уже поросшие крапивой.

Видит Курчатов подбитый фашистский самолет, где живут люди, и военные землянки, тоже приспособленные под жилье, и даже в горелом танке живут, потому что надо же где-то жить.

Это не его воображение, а документы кинохроники, то, что он сам видел, то, что безыскусно снимали кинооператоры в те послевоенные месяцы.

А на экране под плавные звуки вальса мчится в венском лесу карета, и молодой Штраус беззаботно напевает свой вальс...

Висят карты, лежат папки с фотографиями. В кабинете Зубавина накурено, людно, за столом министры, генералы, хозяйственники. Совещание кончается. Несколько в стороне, скрытый тенью книжного шкафа, сидит Курчатов.

— Что же делать,— заключает Зубавин,— если другого выхода не найдете, будете лимитировать, даже отключать...

— Да ведь и так на голодном лимите держим,— с отчаянием восклицает молодой человек в очках.

К Курчатову доносятся голоса.

—...Новороссийский цементный разбит... Минский тракторный... Кировский... Я буду жаловаться в Политбюро...

Зубавин подходит к пожилому усатому начальнику главка.

— Не надо жаловаться,— дружески и очень серьезно говорит он.

Начальник главка опускает голову.

— К сожалению, никаких сроков мы сдвигать не можем,— продолжает Зубавин, обращаясь ко всем.— Никому объяснить тоже не можем. Да, как на войне.— Зубавин идет вдоль стола, сочувственно оглядывая этих видавших виды людей, переживших такую войну, сумевших эвакуировать промышленность, развернуть заводы, построить электростанции в Сибири за короткие сроки, но даже им нынешнее задание не в меру тяжело.— Может, и потруднее, чем на войне,— признается он.— Американцы считают, что атомную пробле-

му мы решим не раньше, чем через десять лет. За это время они хотят диктовать нам... Да, они надеются многое успеть. Ну что ж, часы включены. Строительство объектов будем вести теми же темпами, как разворачивали эвакуированные заводы. Насчет кадров...

Курчатов горбится, пригнутый тяжестью, что все наваливается и наваливается на него. Пожалуй, даже этим людям, у которых отбирают последнее, им и то легче,— лишаться в этом положении легче, чем забирать.

—...Обкомы партии обеспечат мобилизацию специалистов: строителей, химиков, электриков. Учтите, людей берем на длительный срок. Лучше холостых. Все. Прошу остаться вас и вас...

Люди молча расходятся. Многие из них еще не знают Курчатова, они проходят мимо, не обращая на него внимания, обмениваясь иногда короткими репликами в адрес Зубавина, на него направлено их возмущение.

Курчатов сидит все в той же позе, в опустевшем кабинете, где кроме Зубавина остались генерал и начальник геологического управления. Сцепив руки, он положил их на палку...

Зубавин отдергивает занавеску, открывая карту на стене.

— Прошу сюда, товарищ Николаев. Две танковые части перебросить надо в Сибирь. Сюда. Точный пункт назначения вам дадут к вечеру.

— С боекомплектами?— спрашивает генерал.

Впервые короткая улыбка освещает изможденное лицо Зубавина:

— Нет, лучше с концентратами. Танки помогут расчистить площадки в тайге. После этого вашим ребятам придется остаться работать на стройке,— он обращается к штатскому: — Твоим изыскателям сколько еще надо?

— Месяц. И не дави,— предупреждает геолог.

— У меня есть всего две недели,— говорит Зубавин.—Боря, прошу тебя,— неожиданно и устало обращается он.

Наконец кабинет опустел.

Зубавин идет вдоль стола, сваливает окурки в большую пепельницу.

— Бедняги... Ну, что, довольна твоя душенька?— осуждающе говорит он Курчатову.— Подчистую обираешь...— Он выходит выбросить окурки, но тотчас возвращается, распаленный собственными словами, накопленным гневом.— Ни задавиться, ни зарезаться нечем. Что делаем, что делаем...— Он ходит все быстрее по кабинету, наконец-то давая выход

своим чувствам.— Все, что по сусекам, можно сказать, люди сгребли, все забрал.— Он подходит к дверям и говорит Курчатову со всей возможной едкостью:— Да, правду говорят: бог дает денежку, а черт дырочку...— И уходит к себе в закуток, с силой хлопнув дверью.

Курчатов встает, открывает захлопнутую дверь: в маленькой узкой комнатке — койка, тумбочка с телефоном; на койку, закинув руки за голову, прилег Зубавин. Огромная фигура Курчатова заполнила эту каморку, нависла над железной койкой.

— Не понимаю смысла этого разговора,— начинает Курчатов.— Если ты думаешь, что я запрашиваю лишку, пожалуйста, соберем экспертную комиссию, устроим проверку.

— Пользуешься?.. А смысл разговора моего тот, что не могу я...

Курчатов поднимает палку, трясет ею:

— А зачем ты мне душу мотаешь? Я ничего этого слушать не желаю. Я беру необходимое и буду брать! И избавьте меня, Виталий Петрович, от подобных совещаний!

— Нервы бережешь? — с вызовом спрашивает Зубавин.

— Да, берегу! — с еще большим вызовом отвечает Курчатов.

— Конечно, так оно поспокойнее. Только учтите, Игорь Васильевич... Вы хотите ваших людей вдоволь обеспечить. А может, зря? — с каждым словом Зубавин накаляется, он вынужден сидеть на своей койке, встать он не может, слишком мало места, все свободное пространство занял Курчатов.— Да, да, зря, от достатка мозги заплывают. Голь-то, она подогадливее.

— Вот что, товарищ Зубавин,—яростно подчеркивая официальный свой тон, выговаривает Курчатов.— Мне дело надо делать. Либо корма жалеть, либо лошадь. Давайте договоримся: то, что мне поручено, я буду делать так, как я это понимаю.— Каждое слово он загоняет молотком.— Устраивает вас — пожалуйста...

Зазвонил телефон, Курчатов в запале, чтоб не мешал, хлопает трубкой о рычаг. Тут Зубавин не выдерживает:

— Да ты что? Ты что хозяйничаешь?! — кричит он и, перейдя на непримиримую вежливость, сообщает: — Имейте в виду, Игорь Васильевич, отныне на поблажки не надейтесь. Ни одного дня, ни одной минуты!

— А я и не надеюсь!

— И не надейтесь!

— И вы не надейтесь!

Бессмысленно, не слыша друг друга, они со злостью твердят одно и то же. Опять звонит тот же телефон, и теперь уже Зубавин остервенело хлопает трубкой...

Пушки на башнях повернуты назад. Колонны тяжелых танков, развернувшись уступом, прокладывают дорогу в тайге. Ревут моторы. Облака снежной пыли взлетают от падающих елей. Стелется синий дым выхлопа, сквозь лязг гусениц слышен треск ломаемых стволов. От вывороченных корней летят комья мерзлой земли. Горят огромные костры, темнеют военные палатки.

Столик вкопан в снег. Тут же рации, полевые телефоны. Карты. Танкисты, вместе со штатскими, командуют этой операцией, похожей на сражение. Нежданно появляется Курчатов. В распахнутой шубе, с палкой, он нагрянул в сопровождении целой свиты. Не слышно, что он говорит, но заметно, как он недоволен. Резко указывает он палкой, куда направить машины, где ускорить работы. Кто-то из генералов пробует ему возражать, и вдруг оказывается, что этот академик, интеллигент, способен ставить генералов по стойке «смирно», что он умеет не только докладывать, но и приказывать. Стремительно шагает он через рытвины и завалы, танкисты из машин смотрят удивленно за этой странной фигурой, столь непохожей на привычных начальников, даже самых больших.

За ним еле поспевают.

У сопок, из передних машин, навстречу ему вылезают геодезисты с приборами. Вбивают колья, натягивают бечевки.

Раскидистый, опушенный снегом кедр вздрагивает под напором танка, но не поддается. Ствол обматывают тросом, танк, взревев, тянет, кедр трещит, рушится, открывая вывороченное нутро земли.

В этом снежно-земляном месиве только Курчатов может вообразить ряды однообразных глухих бетонных зданий, которые вскоре поднимутся здесь, окруженные высоким забором.

За окнами салон-вагона проплывают платформы, груженные станками, автомашинами, барабанами с кабелем. Повсюду на запломбированных вагонах размашисто написано: «В Сибирь». В тамбурах стоит военная охрана.

За большим столом в салон-вагоне идет утреннее чаепитие. Стаканы в подстаканниках, по-походному на бумаге ле-

жат хлеб, сухари, нарезанная колбаса. Халипов пьет чай вприкуску, наслаждаясь, как истый чаевник.

— Что творится, а? — глядя в окно на эшелоны, говорит Таня.— Что творится?..

Со стаканом чая в руке подходит Федя. Еще издали он возглашает:

— Грязный, грязный, как свинья. Я погибаю от грязи, а им и дела нет...

— Что случилось? — без интереса спрашивает Таня.

— Он опять грязный, этот уран. Что ни делаем, никак не избавиться. Примеси, примеси. В графите примеси, здесь примеси. Свинство! Я умру.

— Это по-мужски,— соглашается Таня.— Лучше умереть в грязи, чем жить в чистоте.

Опустошив очередной стакан и отдышавшись, Халипов продолжает, видимо, прерванный разговор с Изотовым:

— Не согласен. Послушайте, друзья, я считаю, что все же надо поговорить с Зубавиным. Иначе это черт знает чем может кончиться.

— Не знаю, не знаю,— задумчиво повторяет Изотов.— Борода ничего не делает наобум.

Халипов отодвигает стакан, сахарницу, всю посуду, вытаскивает бумаги, раскладывает их.

— Полюбуйтесь! Вы уж простите меня, я так не умею. Я всю жизнь привык сперва производить эксперимент, потом давать заключение. А сейчас надо наоборот. Мало того — посадили в поезд, везут черт знает куда и еще требуют рекомендации! Есть же в конце концов профессиональная репутация, честь... Мне моя честь дороже!

— Дороже чего? — задумчиво спрашивает Таня.

— Дороже всего.— Халипов поправил очки, вспомнив, усмехнулся: — Знаете выражение — жизнь родине, честь никому.

Вряд ли Таня знала это выражение, никто из них, молодых, его не знал, не мудрено, что они в первую минуту призадумались.

Федя вдруг стучит кулаком по столу:

— А меня никто не слушает! А почему? Потому что у меня нет бороды...

Увидев в дверях салона Зубавина, Халипов сразу же агрессивно обращается к нему:

— Вы хотите спросить, как у нас дела? Плохи у нас дела, плохи. Эксперименты еще не кончены. А мы уже заводы строим. Как лучше — не знаем, а строим. А если ошибемся?

Где это видано — стрелять в цель, которая еще не появилась! Зачем вы толкаете на это Курчатова? С вас ведь тоже спросят!

Зубавин садится на стол, не спеша наливает чай.

— Хорошо, если спросят, а то и спрашивать не станут,— благодушно усмехается он, никак не затронутый наскоками Халипова.

Тот недоумевает:

— Тогда зачем же вы? Как же вы...

— А что я могу, если Игорь Васильевич сам предлагает!

— Сам? — Вот чего Халипов, да и остальные не ожидали.— Сам?.. Отговорить!

Зубавину остается лишь вздохнуть над подобными советами, все это продумано им и так и этак, и он охотно поясняет:

— Речь, между прочим, идет о том, чтобы выиграть полгода. Полгода! При нынешнем международном положении кто меня слушать станет, всякие мои опасения?.. А представьте себе, что Курчатов прав? А?

— Физкультпривет!.. Федя, ну как, открытие есть? — С этими словами входит Курчатов, веселый, бодрый, потирающий руки от удовольствия энергично начатого дня. Ему освобождают место за столом, и он включается в чаепитие.

— Простите,— говорит Халипов Зубавину.— А если Курчатов не прав? Уж больно все это зыбко...

Пауза. Курчатов, улыбаясь, пьет чай.

— Ах, да! Чуть не забыл. У меня же для вас сюрприз,— громче обычного объявляет Зубавин и выкладывает на стол несколько фотоснимков.— Толя, и вы тут есть,— сообщает он Изотову.

— А, да... да, да,— приговаривает Изотов, рассматривая фотографии.— Это Бор... Это мы у него дома. А это Гейзенберг. Это Сциллард...

Это была юная счастливая пора физики, которая больше никогда не повторится. Изотова тогда направили работать в Копенгаген, к Бору, в институт, этот трехэтажный, похожий на школу дом под красной крышей, где играли в пинг-понг, пили без конца кофе и работали все время, даже во сне.

А Гейзенберг был тогда белокурым долговязым парнем, он любил щеголять в кожаных шортах, цитировать древних греков и без конца обсуждать с Бором свои идеи. А венгр Лео Сциллард, который был ассистентом Лауэ и работал у него в Берлине, тоже приезжал к Бору на его собеседования.

Они собирались сюда со всего света, гении и корифеи, старики и мальчишки, путешественники и домоседы,— они все тогда знали друг друга. Мало кто из них еще был похож на свои будущие портреты. Всем им придется заняться бомбой. Одни будут делать ее в Англии, в Америке, другие в Германии и третьи в Советском Союзе.

— А вот там Вейцзеккер,— продолжает узнавать Изотов.

Карл фон Вейцзеккер, сын германского статс-секретаря, был другом и в какой-то мере учеником Вернера Гейзенберга, получившего уже тогда Нобелевскую премию; он тоже работал тогда у Бора и сделал неплохую работу, кажется, по изометрии.

— А это кто? — спрашивает Курчатов.

— Это? По-моему, Оппенгеймер,— говорит Изотов.— Оппи...

...Стройный, пижонистый, заядлый курильщик Оппи, который умел быть центром всякого так называемого физического трепа. Ему было за тридцать, он хорошо знал мифологию, но, кажется, по физике у него серьезных работ не было, во всяком случае, Изотов не помнил.

— Да, это Оппенгеймер,— подтверждает Зубавин,— отец атомной бомбы, как его называют в Америке.

На фотографии он в компании других молодых физиков на какой-то улочке Копенгагена. Курчатов разглядывает его, пытаясь выделить, обособить, угадать в этих чертах будущего Оппи.

— И ты тут, Толенька! — восклицает Таня.

— А... это на конгрессе. Помните, вы тогда отказались ехать, Игорь Васильевич?

Да, это было, когда Курчатов только взялся за работу на циклотроне у Халипова. Ему надо было получить пучок, и пришлось отказаться от конгресса. Как давно это было! Кто мог знать, что пройдет много лет, прежде чем он встретится с этими физиками, знакомыми ему по работам, по статьям, по теориям, взглядам, ошибкам, пристрастиям... Тогда казалось, что не на этот конгресс, так на следующий, через год, он тоже поедет к Бору, или в Геттинген, или на Сольвеевский конгресс, да мало ли...

Изотов перебирает снимки с грустью и удивлением. Неужели это он был среди них? До чего ж быстро изменились судьбы и взгляды всех их...

— Эйнштейн... А это старик Лауэ! — узнает Изотов, и нежность непроизвольно прорывается в его голосе.

Эйнштейн — понятно, но Лауэ? На него смотрят недоуменно, и он смущается, хмурится,— конечно, в их глазах знаменитый физик Лауэ сейчас — физик гитлеровской Германии; для него же он прежде всего веселый, сердечный человек, тогда он считал его стариком, но вокруг этого старика постоянно звучал смех, он был первый лыжник, первый музыкант и первый автомобилист. И ученый он был первоклассный. Как объяснить им всем, что Лауэ не мог стать нацистом? Он так ненавидел расизм, он не побоялся выступить против избрания фашиста Штарка в Академию наук, он ни черта не боялся,— не может быть, чтобы за эти годы Лауэ изменил свои взгляды. Хотя, наверно, нельзя ручаться, чего только не происходило с людьми за годы войны...

— Да, Лауэ,— упрямо повторяет Изотов с нежностью.

— Фон Лауэ! — поправляет Курчатов.

Изотов ничего не может возразить: Курчатов ведь Лауэ не видел, и холодность и даже враждебность его понятны.

Все выяснится еще только через год-полтора, как достойно и мужественно держался Макс фон Лауэ все годы фашизма, вплоть до конца войны. Он был совестью и нравственным примером, доказывая всем, что даже под гнетом фашизма человек мог не согнуться, не сломаться.

— Это Ган... Это Гейзенберг,— показывает Изотов.

Какие они тут все беспечные, ничто еще не разделяет их.

И Гейзенберг, в свитере, в темных очках, и Отто Ган, в клетчатой рубахе, в тирольской шапочке с пером, над чем они хохочут? Отто Ган, неужели и он, этот благородный человек, тоже стал фашиствующим физиком?..

— Так вот,— вдруг прерывает Курчатов.— Американская стратегия нам не подходит. Мы фронт исследований сужаем. Риск? В какой степени? Ну что ж, степень риска, осторожности — все это ведь тоже можно просчитать научно.— Он чертит в воздухе: — Вот выигрыш во времени. А вот степень риска. Наша задача: найти оптимальный вариант...

— Нашел! — вдруг завопил Федя.— Какая голова! Таня, погладьте эту голову! Пощупайте ее, пожалуйста, разрешаю! Голова гения! Я гений! Я сделал великое открытие!.. Нет... Кажется, ерунда. Ерунда...

Курчатов не обращает внимания на его возгласы. Снова его привлекает к себе фотография Оппенгеймера.

— С кем это он?

Огромный, плечистый, грузный человек в форменной рубашке рядом с Оппенгеймером. Они стоят как приятели, позируя фотографу.

— С генералом Гровсом,— поясняет Зубавин.— Начальником Манхэттенского проекта. Снято это, если я не ошибаюсь, году в сорок втором, когда Оппенгеймера назначили руководителем Лос-Аламосской лаборатории.

Курчатов всматривается в фотографию, пытаясь разгадать, что же за человек этот Оппенгеймер.

Летят за окном заснеженные ели и кедры сибирских лесов, и вдруг они сменяются жаркой аризонской равниной. Кое-где распаханные, засеянные кукурузой и маисом прерии тянутся вплоть до коричневато-красных скал на горизонте. Проплывают редкие фермы — низкие белые постройки с рекламными щитами.

В купе входит Борис Паш — спортивный, всегда улыбчивый блондин, лишенный каких-либо примет, и тем не менее знакомый даже тому, кто видит его впервые. Именно такие лица постоянно улыбаются с рекламных объявлений. Он приятно безлик. Его трудно запомнить, но зато он хорошо запоминает.

— Ваш Оппи на подходе, генерал,— сообщает он Гровсу, сидящему у карты, разложенной на столе.

Дверь салона открывается. На пороге нерешительно останавливается Роберт Оппенгеймер. Он в пальто, с поднятым воротником. Гровс поднимается ему навстречу, огромный, полнеющий, в расстегнутой генеральской куртке.

— Рад вас видеть, мистер Оппенгеймер, могу сообщить приятную новость — вы утверждены руководителем проекта игрек.

И, отбросив торжественность, приятельски хлопает Оппенгеймера по плечу:

— Поздравляю, Оппи. Мне пришлось крепко повоевать за вас. Некоторым нашим бюрократам хотелось чего-то посолиднее, например, Нобелевского лауреата!..— Он смеется, с грубоватой прямотой добавляет: — Да и прошлое ваше не очень устраивало. Но я поручился... Ну, ладно, располагайтесь, и за работу. Мы поэтому и здесь. Пора решать — где разместить ваш атомный центр.

Оппенгеймер, сбросив пальто, садится к карте, они начинают работать.

— Да, да... Я думал... Лучше всего к Санта-Фе, там есть прекрасное плато, неподалеку от Лос-Анжелеса... У меня тут ранчо неподалеку,— поясняет Оппи.— Правда, в Санта-Фе я давно не бывал, лет восемь...

— Девять,— вдруг с улыбочкой поправляет Паш.

Оппи внимательно смотрит на него.

— Ну что ж, давайте сразу поедем туда,—решает Гровс,— дорог каждый день. У русских все трещит, Сталинград не сегодня-завтра падет. И тогда...— Гровс машет рукой.

— Вы так полагаете? — недоверчиво спрашивает Оппенгеймер.

— А вы? — с интересом проверяет Паш.

— Я думаю несколько иначе,— твердо говорит Оппенгеймер.— Я думаю, что русские удержат Сталинград.

— Вы высокого мнения о них,— вежливо говорит Паш и смотрит на Гровса с уличающей, не очень понятной Оппенгеймеру усмешкой.

Гровс хмуро прокладывает на карте трассу.

— У вас какой-то знакомый акцент,— задумчиво замечает Оппи.

Паш доволен:

— Знакомый, да? Я русский. Правда, не из тех, кто вам нравится.

— Простите, а кто же вы по профессии? — невозмутимо и как бы наивно спрашивает Оппенгеймер.

Паш, улыбаясь, молчит. Гровс громко смеется:

— Борис Паш — познакомьтесь! Кто он по профессии? Бейсбольный тренер! Спортивный авторитет! — чуть мстительно подкалывает этого приставленного к ним Паша и смеется, превращая все в шутку.— Вы должны понять, Оппи, эта штука не просто бомба. Вы думали об этом?

Оппи встает. За окном по красному от заката плато на лошади скачет мальчик.

— Я думал о другом, вы никогда не задавались вопросом — почему Данте отправил Вергилия искать истину в ад, а не в рай? — Голос Оппи становится опасно острым.— Может, мы берем на себя смертный грех. Никто не знает, чем это все кончится, но сегодня я не могу заботиться о своей душе. Для меня... для физика это единственная возможность воевать с фашизмом, не дожидаясь вашего фронта...

А за окном вагона смеркается, какой-то городок проносится, мелькая вспыхами цветных реклам, гудит под колесами мост, и снова огни прочерчивают широкое вагонное стекло.

Поезд, поскрипывая тормозами, останавливается на большой узловой станции.

Курчатов, стоя у окна, наблюдает привокзальную толчею тех лет. Пути забиты теплушками. Возвращаются домой реэвакуированные, с детьми, с чемоданами. Демобилизованные солдаты тоже возвращаются, но эти на Восток, хотя есть и такие, кто едет с японского фронта. И те, кто никуда не возвращается, а ищут, куда бы податься. Вокзал забит спящими, ждущими поездов, люди обосновались в садике, вдоль стен, с ребятишками, со всем своим скарбом, тут же едят, меняют хлеб, консервы, махорку на белье, на подметки, кто на что. Вокзальная торговля идет быстро, без споров и сожалений. Стоят неубывающие очереди к ларькам, где дают по аттестатам, очередь с чайниками за кипятком.

Тянутся длинные дощатые прилавки, за которыми продают местные — кто вареную картошку, кто семечки, кто сухари.

Халипов с Изотовым прогуливаются по перрону. Толпа окружила сидящего на подстилке безногого. Идет игра в три листика. Вдруг Изотов кидается к однорукому солдату. Они обнимаются, в полном счастье трясут друг друга, и начинается неслышный Курчатову выразительный разговор фронтовых друзей, расспросы, ахи, вздохи...

Гудок, поезд трогается. Изотов все не может оторваться, бежит, оглядываясь на дружка, вскакивает на ходу, расстроенный, мрачный.

Проходит по тряскому коридору мимо строя полированных дверей, не отвечая на вопросительный взгляд Тани, идет к себе в купе, достает зеленую бутылку водки, наливает в стакан. Выпивает. Сидит, стиснув голову, глядя в мелькающую мимо лесную глушь.

Курчатов работает у себя в купе, пьет чай, синька разложена у него на коленях.

Стук в дверь, входит Изотов с шахматами в руках:

— Сыграем, Игорь Васильевич?

— Сыграем.

Изотов усаживается напротив, открывает доску, расставляет фигурки.

— Выпил? — спрашивает Курчатов.

— Выпил.

Они разыгрывают цвет и начинают партию. Изотов вслушивается в перестук колес и вдруг начинает читать Блока:

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели,
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели...

Потом спрашивает:

— Помните эти стихи, Игорь Васильевич? Вот мы с вами в желтых или синих... едем... А куда едем? От кого? Лично я еду от своего фронтового дружка Васи Фролова. Тороплюсь. Некогда мне. Не до него. Что мне судьба Васи Фролова, с которым вместе в танке... Я ведь судьбы человечества решаю, бомбу делаю, это важнее, это высшая цель. Оправдание жизни. А если не оправдание?.. Не хочу! Не хочу!

— Чего не хочешь? — обдумывая ход, интересуется Курчатов.

— Ну, сделаем мы бомбу, сделаем... А потом нас спросят: а что кроме бомбы дает людям ваша наука? Или мы так и останемся: «Люди, которые сделали бомбу»? Вот чего я не хочу.

Курчатова раздражают излияния Изотова, но он сдерживает себя, пытается притушить спор, свести на шутку:

— А знаешь, мы ведь еще ее не сделали.

— Сделаем, не беспокойтесь, сделаем, ничем не хуже Оппенгеймеров и прочих, таких же...

Вот тут Курчатова зацепляет:

— Нет, не такие же! Не желаю быть таким же.

— А-а-а... конечно, мы вынуждены делать, это нас оправдывает,— обрадовался Изотов.— Мы имеем право не терзаться сомнениями, ни о чем не думать... Лучше ни о чем лишнем не думать, беречь рабочее настроение. Нам нельзя отвлекаться. Нильс Бор, тот пусть мучается, ему положено, буржуазный специалист, прослойка!..

Наконец-то ему есть на кого взвалить свои сомнения, Курчатов силен, он выдержит,— Изотов не замечает, как жестока его откровенность, это жестокость любви — она безжалостна.

— Скажи, пожалуйста, в чем ты можешь упрекнуть себя?— говорит Курчатов.— Вот я тебя могу упрекнуть: дела не сделали, а ты уже в сторону глядишь, тебя на ускорители тянет, мирное использование... Между прочим, тебя не для этого с фронта отзывали. Небось когда с фронта писал: «надо работать над бомбой», тебе все ясно было, а теперь что же?

— А теперь не война, Игорь Васильевич. Можно думать о другом. Ведь я же совсем думать перестал. Кто я? Машина для производства опытов. А какие у машины угрызения? Ей, чем меньше угрызений, тем лучше. Считаешь, если мы бомбы не сбрасывали, значит, мы чистенькие? Я себе тоже так до-

казывал. Но совесть понятие не относительное. Или она есть, или ее нет.

Курчатов в гневе сгребает шахматы с доски, с грохотом укладывает их. Невозможно в этом тесном купе ему разрядиться в движении.

— Иди-ка ты со своими угрызениями знаешь куда... Думать стал! Вот и думай — какое мы имеем право ехать в комфорте, за счет кого это все? И ковыряешься в душе своей за чей счет? Ты мне все это говоришь почему? Потому что знаешь, что я себе такого позволить не могу. Я сомневаться не имею права. Да. Знаю — найдутся люди, которые будут считать, что мы и этот Оппенгеймер одним миром мазаны. Осудят нас... Я это не беру в расчет. И даже тех не беру в расчет, кто еще через годы поймет всю разницу между американцами и нами. Мне себя не жалко. Каким я буду выглядеть? Плевать мне на то, как меня будут расценивать в будущем! Я делаю дело не в расчете на место в истории. Мне важен суд моих соотечественников, моего народа, а в будущем... Если будущее будет и будут жить в нем потомки наши, самое главное, что они будут жить! Что хочешь мне говори, а я буду думать только одно: успеть, успеть! Мы успеть должны! — кричит он, и огромная ручища его трясет Изотова.— Вот вся моя нравственность! Они там, эти американцы, создали себе эти проблемы, пусть и расхлебывают. А для меня нет этих проблем. Нет! Понятно? И для тебя нет, мир не обеспечишь призывами даже самых лучших людей, таких, как Бор. Это все слова! А вот когда у нас бомба будет — вот тогда можно будет и разговаривать и договариваться!.. А у нас с тобой проблема, если хочешь знать, пострашнее, чем у них у всех, самое страшное... Это...

В последнюю минуту осаживает на полном ходу. Лицо его каменеет, сжимается, так что проступает широкая кость. Он выходит из купе, заставляя себя не хлопнуть дверью, а медленно с силой притворить ее.

Изотов сидит. Стучат колеса, все громче, громче.

Высокий, сияющий огнями зал. Между мрамором колонн течет разодетая толпа, снуют официанты с подносами. Идет какой-то официальный прием, один из бесчисленных приемов, какие задавались в конце войны, когда в единодушии близкой победы соединялись дипломаты с военными, негры с белыми, ученые с чиновниками. Мужчины сегодня во фраках,

женщины в пышных туалетах того времени, блистающие драгоценностями и ослепительными вырезами. Роберт Оппенгеймер чувствует себя в этом обществе великолепно, он весел, игрив, возбужден, зарницы восходящей славы сияют над его головой. Он знает, что здесь ловят каждое его слово, каждый жест.

Гровс проходит сквозь эту светскую толпу, небрежно раскланиваясь, грубовато-неуклюжий. Генеральский мундир его измятый, отнюдь не парадный. Только широкие полосы орденских планок украшают его. Прислонясь к колонне, Гровс свысока, и в смысле роста и в смысле выражения лица, оглядывает, процеживает проходящих, пока не находит Оппенгеймера, и выходит ему навстречу.

— Хелло, Гровс! — замечает его Оппи без особой радости.

Безмятежно улыбаясь, Гровс берет его под руку. Вряд ли Оппенгеймеру приятна демонстрация этой близости, но он сохраняет беззаботность и даже улыбчивость воспитанного человека. Подозвав официанта, они берут по стакану виски и отходят в сторону, отыскав пустой столик. Оппенгеймер садится на диванчик, помешивает лед в стакане. Голос Гровса доходит к нему обрывками фраз, то отчетливо громкий, то невнятно стихающий:

—...если проявить характер, Ферми вас поддержит. И Лоуренс... Комитет должен вынести рекомендацию... Это же ваше детище... Оппи, ради чего вы вкалывали четыре года... весь мир узнает и ахнет...

Оппенгеймер допивает виски, нетерпеливо бренчит льдом в пустом стакане, как в колокольчик.

— Когда-то, Гровс, мне хотелось самому довести эту штуку до конца, я благодарен за то, что вы позволили мне это сделать и даже защитили меня.— Фразы его отчетливы и вежливо-холодны, он отстраняет ласковые заходы Гровса и его грубую генеральскую лесть. Пришла пора поставить этого солдафона на место.— Наверное, после всего, что было, вы думаете, что буду плясать под вашу дудку?

Он внимательно наблюдает за реакцией Гровса — сказано достаточно откровенно, однако Гровс делает вид, что ничего не произошло, он не обиделся, он неуязвимо добродушен.

— Эти битые горшки попросту завидуют вашей славе,— продолжает свое Гровс.

Оппи презрительно хмыкает на примитивную хитрость:

— Не воображайте, Гровс, что вы можете играть на моем

тщеславии. Моя репутация в глазах этих битых горшков дороже мне, чем вы полагаете, и даже...

— Ах, ваша репутация! — с вызовом подхватывает Гровс. И умолкает, растягивая опасную, угрожающую паузу.

Но тут Оппи уклоняется, ему выгодно зайти с другого бока.

— Послушайте, Гровс, на кой черт вам приспичило сбрасывать бомбу?

— Чтобы ускорить мир.— Гровс откровенно посмеивается.— Чтобы показать, что мы не зря потратили деньги, чтобы утвердить наш приоритет.

Оппенгеймер доволен, он правильно рассчитал, с наслаждением он вытягивает ноги, берет у проходящего официанта еще виски.

— Не морочьте мне голову, Гровс, плевать вам на мир и на приоритет. Вы хотите запугать Россию. Запугать всех. Думаете, я не понимаю? Вы меня изучали, но и я вас изучил. И хватит. Мы квиты. Я буду на комитете голосовать, как я хочу. И нечего меня обрабатывать.

Все, казалось бы, все, но Гровс спокойно пьет, разглядывая стакан на свет, ничего не дрогнуло в этой глыбе, затянутой в мундир, железная решимость Оппенгеймера нисколько не подействовала на него.

— Мы квиты,— повторяет Оппи, чтобы пробить толстокожесть этого кабана.

И тогда Гровс улыбается. Предостерегающе. Чуть приоткрывая свои козыри. И Оппенгеймер не выдерживает, срывается на крик:

— Мне надоело, не боюсь я вас, со всеми вашими агентами, микрофонами, кинокамерами... Убирайтесь отсюда!

А рядом, за колоннами, так же заманчиво струится нарядная веселая толпа, занятая светскими разговорами, шутками, мелькают обнаженные женские руки, слышен смех и звон бокалов.

— Убирайтесь отсюда!

Но Гровс и не думает уходить. От этого вскрика ему становится грустно. Утешая себя, он отпивает виски и говорит с жалостью:

— Бедный маленький Оппи, вы слишком многим пожертвовали — вот в чем была ваша ошибка...— Он кладет свою громадную руку на плечо Оппи, грубовато, бесцеремонно встряхивает его.— У вас нет своей репутации. Запомните это. Ваша репутация — вот она где...— Он чуть касается своего

бокового кармана, набитого бумагами.— Хотите, я вам напомню, как вы продали своего друга Шевалье?— Гровс брезгливо морщится: этот Оппи сам напросился, идиот, честное слово, он изрядный идиот, этот великий и прославленный корифей...— Вас никто не тянул за язык... Ведь он был неплохой парень, этот Шевалье. Хотя и коммунист. А?.. Думаете, нам неизвестно, отчего покончила с собой ваша любовница? Славная была девочка. Как ее звали?— Подождав, Гровс со вздохом напоминает:— Джейн? Знаете, Оппи, я солдат, и не очень мне приятно копаться в этой вашей грязи. Но типы, подобные Пашу, знают свое дело...— Он примиряюще накрывает своей рукой руку Оппенгеймера, но тот яростно сбрасывает ее.

— Ненавижу вас! Какой вы солдат...— Гнев душит его, он сжимает стакан.— Ублюдок! — отчетливо произносит он.— Не боюсь! Не боюсь вас! — Он встает и совершенно прямо, слишком прямо уходит с застывшей усмешкой.

Гровс провожает его глазами. Такой же огромный, невозмутимый. Пожалуй, он чуть погрустнел, сочувствуя этому естественному, но бесполезному трепыханию маленького Оппи.

У входа в свой номер Оппенгеймер сбрасывает черные лакированные туфли, в одних носках входит в темный холл. Там, у окна, в глубоком кресле, при неровном мигающем свете уличных реклам, сидит человек. Оппи останавливается, пальто на плече, туфли в руках.

— Шевалье?— в ужасе узнает он.

—...Все же я не понимаю, Оппи, почему вы скрываете свои работы от русских?— доносится в ответ давний вопрос Шевалье. Это его, его голос, мягкий, доверчивый.— Они же наши союзники, они воюют как никто...

Оппи зажигает свет: просторный холл пуст, в кресле никого, за окном вспыхивает и гаснет реклама.

Пошатываясь, он бредет к ванной комнате. Лицо его в поту, глаза блуждают. Из ванной слышится шум воды, он распахивает дверь. За занавеской под душем моется женщина. Это Джейн, очертания ее тела просвечивают, движутся. Он отшатывается, захлопывает дверь, но тут же снова распахивает ее, отдергивает занавеску. Никого. Он один в этой слепяще-белой холодно-кафельной ванне. Он сует голову под кран, пытаясь прийти в себя, освободиться от преследующих призраков.

Он садится на унитаз, вода с волос, с лица стекает на его накрахмаленную сорочку, на черный фрак. Мокрый, изму-

ченный, он, медленно трезвея, смотрит на белый ровный кафель, окруживший его со всех сторон.

— Господи, какой ты смешной, Оппи! — говорит Джейн, наклоняясь к нему: они сидят за стойкой какого-то бара, а может, ресторана, потому что кругом танцуют, и они тоже танцуют, и снова пьют за столиком, Джейн водит пальцем по его щекам, разглаживает морщинки в углах губ, он любуется ею, какая она красивая, и вдруг говорит:

— Джейн, мы больше не увидимся. Мы должны расстаться.

— Почему?— Она ничего не понимает.— Почему?

Щелкает затвор фотоаппарата. Короткий металлический звук — как звук взведенного курка. Перо в чьей-то руке обводит чернильным кругом лицо Джейн на фотографии.

Спина Паша, его круглый, ровно подстриженный затылок.

Он за канцелярским столом. Напротив на табурете сидит Джейн. Яркий белый свет лампы направлен ей в лицо.

— Выгораживаете своего дружка? Напрасно,— предупреждает Паш. Он допрашивает с удовольствием, и с еще большим удовольствием выкладывает ей в лицо про Оппенгеймера: — Он все рассказал нам, все... и как Шевалье подкатывался к нему, все вытряхнул... вы все одна шайка коммунистов. Ах ты простушка, ты поди считала его полубогом? А ты знаешь, что стоило чуть пригрозить, и он наложил полные штаны, твой святой Оппи?.. Он от всех вас готов отречься, плевать ему...

Джейн бежит по ночной пустынной улице. Белые снопы света ловят ее, скрещиваются на ее фигуре, как лучи прожекторов, не отпуская следуют за ней, настигают ее в воздухе, когда тело ее летит с Бруклинского моста к застылой поблескивающей далеко внизу глади воды.

— Оппи! Оппи!..

Крик этот настигает его в кабинете военного министра США Стимсона.

Идет заседание комитета по выбору цели.

На стене карта Тихоокеанского театра военных действий на июнь 1945 года. Острова Японии окружены флажками.

—...Атомный удар несомненно ускорит конец войны. Прежде всего мы должны поберечь жизнь наших американских солдат,— говорит генерал Маршалл, начальник штаба сухопутных войск.

— Почему именно атомный?— не соглашается адмирал Леги, который был начальником штаба Верховного Главнокомандующего.— Японские города перенаселены. Там большая скученность. Это классический объект для самой обычной авиации.

— Да потому, что нам важен элемент психологический,— настаивает Маршалл.— Удар будет такой сокрушительный, что любой дух будет сломлен. Все сразу решится. Никто и не подумает о продолжении войны.

— А вы уверены, что японцы еще хотят продолжать?— спрашивает Леги.

Стимсон, который сидит во главе стола и ведет заседание, примирительно стучит по столу.

Они сидят в высоких кожаных креслах, удобных для заседаний. Все они люди в возрасте и привыкли относиться к этим заседаниям достаточно цинично, но сегодня действительно кое-что решается. Стимсон понимает, что от них не зависит, сбрасывать бомбу или нет. От них зависит лишь куда сбросить. Он реалист и не хочет зря тратить время и возбуждать какие-то надежды у этого славного старика Леги.

— Господа! По поручению президента комитет ученых вынес рекомендации. Прошу вас, профессор Оппенгеймер.

Он допущен. Штатский. Его считают своим эти мундиры всех цветов, увешанные орденами, украшенные золотым шитьем. Точнее — почти своим.

— Я не знаю военного положения Японии,— начинает Оппенгеймер.— Если можно заставить ее капитулировать другими средствами...

Он ни на кого не смотрит, он смотрит в сырую ночь, где летит с моста Джейн...

Стимсон с усмешкой косится на Гровса. Не выдержав, Гровс перебивает Оппенгеймера:

— Простите, профессор, мы так никогда не доберемся до существа.

Оппенгеймер умолкает. Никто не вмешивается. Все ждут, что произойдет. Это не секунды, а миги последнего сопротивления Оппенгеймера, он все еще пытается удержаться... А потом что-то происходит. То есть в том-то и штука, что ничего, совсем ничего не происходит, если не считать возросшего до невыносимости напряжения.

— Для выявления максимального эффекта атомной бомбы,— начинает Оппенгеймер совершенно новым, бесцветноровным голосом,— избранные объекты должны представлять

тесно застроенную площадь на равнине, желательны деревянные постройки. Они создадут дополнительный эффект из-за пожаров. Чтобы воздействие бомбы было достаточно наглядным, цель следует выбирать из объектов, которые еще не подверглись бомбардировке...

Леги с шумом отодвигает свое кресло. Чего угодно, но этого он не ожидал, и от кого, от этого шпака!..

— Такая война не для моряка моего поколения.

Надо отдать должное Гровсу, мгновенно он срабатывает в защиту своего компаньона:

— Профессор Оппенгеймер докладывает техническое заключение,— подчеркивает он и, не дожидаясь предложения, кладет на стол фотографии намеченных к уничтожению городов.— Наш комитет по выбору цели должен на случай облачности предложить на выбор не менее трех-четырех городов-мишеней. Нам нужно визуальное бомбометание.

— Что выбрано конкретно?— спрашивает Стимсон.

— Хиросима, двести тысяч жителей, двадцать пять тысяч солдат, армейские склады, порты; Ниигата — порт, двести тысяч жителей, промышленность; Киото, миллион жителей, культурно-промышленный центр...

Поворачиваясь в вертящихся креслах, они передают друг другу большие фотографии — снимки городов сверху, снимки площадей, узких многолюдных улочек, парков, дворцов. Чья-то рука держит фотографию храма со сложным и тонким рисунком крыш и лакированными колоннами, длинная процессия паломников тянется к храму, где восседает гигантский Будда.

Но члены комитета выше Будды, они боги богов, они решают судьбы храмов и городов, сотен тысяч людей — кто из них останется на земле, а кто исчезнет, испарится вместе с дворцами, синтоистскими храмами и буддистскими храмами и школами...

— ...Нагасаки, порт, триста тысяч жителей.

— В Нагасаки лагерь наших военнопленных,— вспоминает адмирал Леги.

— Но там японские военные доки,— настаивает Гровс.

— Вот в них-то и работают военнопленные.

Гровс идет на уступку:

— Тогда есть Киото. Прекрасная цель. Большая площадь застройки. Можно точно определить радиус разрушения.

Стимсон рассматривает фотопанораму Киото с его пагодами, садами, с золотыми павильонами, великолепный замок

Нидзе, императорскую виллу Капура, ярко-красный лакированный храм...

— Киото... невозможно,— говорит Стимсон,— немыслимо, это же древняя столица Японии. Я там был. Боже, какие там дивные памятники старины!.. Нет, лучше пусть останется Нагасаки.

— Думаю все же, что наше дело заботиться не о памятниках,— твердо возражает Гровс.— Киото имеет наибольшую площадь, и для меня, как для военного человека, это лучшая цель.

Стимсон покачивается на стуле, сохраняя внушительность и уверенность министра, ему надо осадить этого генерала, который сейчас чувствует себя хозяином положения: он владелец нового оружия. И кажется, такого оружия, которое сделает все их штабы, и корабли, и военных, и академии—ненужными... Отныне и вовеки веков?.. Война кончена, но война начинается.

— К счастью, Гровс, нам приходится думать не только о наших интересах.

В одной руке фотография Киото, в другой — Нагасаки. Они решают, они делают выбор, кому остаться на этой земле...

Последний взгляд на Нагасаки, и на месте города разливается море огня. Пламенные смерчи поднимают в небо крыши домов. Плавится железо, течет камень, все превращается в прах, в летучий смертоносный пепел.

На бетонном полу котлована с помощью мостового крана физики выкладывают графитовые и урановые блоки. Растет основание реактора, диаметр его около восьми метров. Блоки урана и графита складываются специальной решеткой. Тянутся провода от счетчиков нейтронов, от неоновых сигнальных ламп. Каждый слой укладывается с величайшей предосторожностью. Восемнадцатый... двадцать первый...

Сколько намучились с этим графитом, пока стали получать от заводов вот эти чистые плотные бруски. А урановые блоки кругленькие, с тусклым желтоватым блеском.

Гуляев наносит точки на график. Кривая должна показать, как возрастает плотность нейтронов с каждым законченным слоем. На схеме реактора каждая ступенька — слой —

отмечена номером. Всего их 70. Гуляев обводит кружком тридцатку. Уложен тридцатый слой.

Курчатов вычисляет с логарифмической линейкой в руках.

— Теперь каждый слой стройте с вдвинутыми предохранительными стержнями.

Три кадмиевых стержня спущены в каналы.

— Вот сюда... Аккуратнее. Ими регулировать и останавливать. Иначе...

Над котлованом в дюралевых трубах висят кадмиевые стержни. В любой момент по сигналу они падают в каналы реактора. Это надо, чтобы быстро погасить цепную реакцию. На аварийный случай. Потому что всякое могло быть.

Курчатов возвращается к себе, у дверей кабинета его поджидает Федя.

— Волнуетесь, Игорь Васильевич?

Напряженная деловитость Курчатова как бы спотыкается. И вдруг, неожиданно для себя, доверчиво решается:

— Я? Очень.

— Я тоже,— с облегчением и даже радостно признается Федя. И обоим от этого признания становится спокойнее.

Все с большей осторожностью идет укладка блоков. Плотность нейтронов растет. Уже вспыхивают неоновые лампы на пульте управления. Раздаются щелчки нейтронных датчиков.

Пятьдесят восьмой слой. Быстро поднимаются стержни. На короткое время слышны щелчки.

— Все в порядке. Приближаемся,— говорит Гуляев.

Он звонит по телефону:

— Игорь Васильевич, уложили шестидесятый слой... Хорошо... Ждем...

— Придется всем уйти,— говорит Гуляев.

Курчатов приходит, осматривает пульт, оглядывает график, проверяет приборы радиационной опасности.

— Игорь Васильевич, ну как, попробуем?

— Рано.

— Я знаю, что рано, а все же...

Курчатов почесывает бороду:

— Мне самому не терпится. Ладно. Давай. Поднять стержни,— командует он.

Гуляев нажимает кнопку управления, поднимая предохранительные стержни. Громкоговорители отщелкивают редкие удары. Вяло вспыхивают и гаснут неоновые лампы.

— Маловато...— Гуляев разочарованно смотрит на счетчики.— Что-то не того.

Перо самописца еще немного ползет вверх и переходит на горизонтальную линию.

— Почему нет нейтронов? — спрашивает Гуляев.

— А может, опять где-нибудь грязь? — говорит Федя.

— У тебя одна надежда на грязь. Тысячу раз проверили. Самые чистые блоки отбирали.— Гуляев потирает щеку, оставляя черноту графита на и без того уже измазанной физиономии.

Не обращая на них внимания, Курчатов разглядывает графики.

— Прекрасно, идем дальше,— решает он.

Гуляев молча отпускает стержни. Смолкают громкоговорители, гаснут лампы. Федя и Гуляев недоверчиво следят за Курчатовым, но он не отвечая уходит.

Белые стены котлована почернели. Пыль, как сажа, покрывает пол, который стал скользким,— люди в халатах, в защитных очках ступают осторожно. Лица их тоже черны, блестят лишь зубы и белки глаз.

Черная громада реактора растет.

Кладка идет уже на лесах.

На пульте Гуляев обводит кружком цифру 60. Осторожно, рывками, Курчатов сам поднимает предохранительные стержни. Дробь в громкоговорителях нарастает. Учащенно вспыхивают неоновые лампы.

Курчатов неотрывно следит за круглым пятнышком — зайчиком гальванометра. Кажется, что вот-вот зайчик дрогнет, двинется. Но идут минуты, зайчик остается на месте. И частота щелчков больше не увеличивается.

Волнение людей спадает. Наваливается разочарование, усталость.

Курчатов опускает стержни. Лампы гаснут.

Курчатов, Гуляев, Федя садятся за графики, проверяя расчеты.

Пользуясь перерывом, люди дремлют, некоторые от усталости засыпают тут же на стульях.

— Реакция может вот-вот начаться,— бормочет Курчатов, работая линейкой и нанося на график последние точки.— Ну, что у тебя, Федя?

Кривая, которую вычерчивает Федя, пересекается с линией графика на уровне шестьдесят второго слоя.

— Еще бы сантиметров на десять поднять стержень.

Курчатов молча разглядывает график.

— Кто его знает, может, десять, а может, двадцать,— нервничает Гуляев.

Раздается чей-то могучий всхрап. Гуляев вздрагивает.

— Фу, черт.

— Это Павлов храпит,— смеется Курчатов,— а ты думал, начался разгон реактора...

— Хуже нет работать вслепую.

Все ждут от Курчатова ответа. Он должен знать. Он должен принять решение. В эту минуту никто не думает — откуда ему знать.

Помедлив, Курчатов подытоживает:

— Будем пробовать при шестидесяти двух слоях!

— А ведь может и фукнуть! — мрачно заявляет Гуляев.

— Не должно! — Федя задумывается.— А впрочем...

— Ну и хай поднимется...— Гуляев вздыхает.

— Тебя это уже не будет касаться,— утешает его Курчатов.

— Обидно что? Что не узнаем, в чем была ошибка.

— Кроме того, он может расплавиться,— меланхолично отмечает Федя.— Управлять мы еще не умеем. Как-никак это первый реактор. Бог знает, что мы рожаем — беспомощное дите или дракона...

— Понесло.

Но Курчатов слушает Федю с удовольствием.

— А что, в каком-то высшем смысле он прав? А? — поддразнивает он Гуляева.

Идет кладка следующего слоя.

Часы показывают час ночи.

Павлов, что стоит наверху, подстраховывая аварийный сброс стержней, жалуется:

— Неужели Новый год будем тут встречать?

Гуляев обводит кружком цифру 62.

— Начинаем?

Курчатов оглядывает помещение.

— Выйдите, Федя.

— Игорь Васильевич, ни за что. Теоретики тоже люди.

Курчатов, пожав плечами, нажимает кнопку. Медленно поднимаются стержни. Дробь усиливается, неоновые вспышки учащаются. Перо самописца идет вверх. Гуляев и Федя сияют, но тут Гуляев подталкивает Федю локтем, они видят, как Курчатов напряженно вслушивается.

— Что-то учуял,— говорит Гуляев.

— Где?

— Не знаю.

Перо самописца замирает и переходит на горизонтальную линию. Щелчки обретают определенный ритм.

— Стоп! — командует Курчатов.

Гуляев опускает стержни. Становится темно и тихо.

— Реакция не самоподдерживающаяся,— произносит Курчатов.

На него смотрят с надеждой. В эти решающие минуты все доверились ему, они хотят видеть в нем всезнающего, всеведущего. Они убеждены, что он догадается, что происходит в реакторе.

— Может, отложим?..— нерешительно предлагает Федя.— Соснем?

Курчатов встряхивается, встает, расправляя плечи.

— Неужели вы могли бы уснуть, Федя?.. Я — нет.— Азарт охватывает его, он снова свеж, бодр, полон вызова.— Мы кто? Мы солдаты. А солдаты себя не должны... Что?

— Жалеть! — отвечают все хором.

— Верно. Отдохнем и поднимем еще. Это вам не теория, а техника, со всеми последствиями,— подмигивает он своим помощникам.

Часы показывают пять.

В дверях Таня, за ней теснятся еще несколько сотрудников.

— Игорь Васильевич... разрешите нам присутствовать... Мы поможем.

— Нет, спасибо,— холодно отказывает Курчатов,— я сказал: всем удалиться.

Таня вспыхивает от возмущения:

— Господи, одни герои вокруг, ни одного нормального человека! Скоро у них над головами нимбы появятся!..— Она в сердцах хлопает дверью.

Раздаются краткие команды Курчатова:

— Чуть выше... Еще... Еще...

Щелкают громкоговорители. Поднимаются стержни. Реакция нарастает. Курчатов следит за пером самописца, щелчки убыстряются.

Федя, не выдержав, отворачивается от приборов.

— Еще немного,— командует Курчатов.

И вдруг репродуктор захлебывается пулеметной дробью, дробь переходит в слитный сплошной вой. Линия самописца безостановочно ползет вверх. Неоновые вспышки сливаются в ало-желтое сияние. И хотя все понимают, что произошло, се-

кунду-другую еще слушают, не решаясь поверить, смотрят на Курчатова. Зайчик гальванометра отклоняется все быстрее и быстрее.

— Заговорил! — кричит Курчатов и смеется от счастья, потирает красные глаза.— Поздравляю! Вот они, первые сто ватт от реакции деления!

Гремит общее «Урра!».

Гуляев обнимает Федю:

— Варит котелок!..

— Стоп! — командует Курчатов и нажимает кнопку аварийного сброса стержней. Все смолкает, гаснут лампы, щелчки раздаются все реже. Реакция погашена. Эта покорность реактора тоже вызвала радость.

— Игорь Васильевич,— умоляет Гуляев,— попробуем еще разогнать? Поднимем?

Курчатов покачивает головой.

— Нельзя. Слыхал? — Он показывает на импульсную установку.— Она пощелкивала. Значит, уже сюда попадает. Мы не знаем, какое излучение мы получим.

— Двадцать шестое декабря тысяча девятьсот сорок шестого года,— торжественно провозглашает Федя.— Шесть часов вечера. Атомная энергия у нас в руках!

— Тьфу, тьфу, тьфу,— сплевывает через плечо Гуляев.

— Митинги отменяются,— говорит Курчатов,— вот теперь пора и над собой поработать!

— Игорь Васильевич, неужели вы сможете заснуть? — спрашивает Федя.

— Еще как!

Они выходят грязные, потные, счастливые, скрипит снег. Земля гулко звенит под ногами, словно полая, словно они шагают по упругому настилу — легкие, не знающие земного притяжения.

В окнах домов светятся цветные огни елок. Где-то рядом обтесывают комель елки, и звук топора звучит после сухих щелчков сочно и весело.

Они неузнаваемо нарядны: впервые перед всеми Зубавин в черном костюме, при галстуке, а кто-то даже с бабочкой-«кисой», мужчины начищены, наглажены, женщины в вечерних туалетах. Впрочем, все относительно,— какие вечерние туалеты могли быть под Новый, 1947 год, первый полностью мирный год? У кого черная юбка с белой кофточкой, у кого шерстяное платье, украшенное бусами. Ах, да в этом ли дело,

главное, что в углу сияет елка, пахнет духами, хвоей, главное, что весело, как давно уже не было весело.

Встречают у Курчатовых. Приехал Абрам Федорович Иоффе. Его усадили в центре самодеятельного оркестра, и он до того «разошелся», что играет на барабанчике. Тут же играют на гребенке, на дудке и прочих инструментах. Не просто играют, а аккомпанируют хору, составленному из трех бородачей. У них нацеплены длинные «курчатовские» бородки, все они одеты «под него», и держатся «под него», и поют его голосом:

Академик я молодой,
А хожу все с бородой.
Я не беспокоюся —
Пусть растет до пояса.
Вот как только с бомбой сладим,
Буду бриться, как все дяди,
Бриться, бриться, умываться,
Атомными электростанциями
В мирных целях
За-а-ниматься!

В этот час их смешит и радует любая малость. Шутка ли — пущен реактор, работает, ведь начинали когда, еще в 1943 году, в самую войну, в Москве, и все было по-военному: пульт в землянке, нейтронная пушка в палатке, кругом пустынное ветреное поле, и круглые сутки тикают часовые механизмы приборов и не гаснет свет в землянке.

Первый реактор, на котором можно получить плутоний, столько измерить...

Три «Курчатова», три бородача—Изотов, Федя, Гуляев—изображают своего шефа без всякого трепета, вышучивая солидность и величественность, и гнев, и прочие «устрашения». Почему-то на них широченные кепки блином, пестрые кашне...

Кто-то садится за рояль, и Зубавин, не выдержав, вне программы, пускается в пляс, отбивает дробь перед женщинами. Они принимают вызов, выходят в круг...

Никто не заметил, как исчез Курчатов. Когда танцы кончились, он появляется из столовой — неизвестно откуда раздобытый цилиндр блестит на его голове, белый шелковый шарф развевается, палка в его руках превратилась в чаплинскую тросточку. Под песенку из фильма «Огни большого города» он пританцовывает, утино растопырив башмаки, и все больше становится похожим на Чаплина. Борода нисколько не мешает, она даже кажется приклеенной и делает его смешнее... Даже эти близкие ему люди не ожидали, что он способен выкинуть такое. Ах, как он отплясывает и как хохочет!

Горят свечи на елке. Наступает 1947 год. Голубой недоступный шарик, запущенный Абрамом Федоровичем Иоффе в новогоднюю ночь сорок первого года, наконец-то пойман, схвачен.

Тот самый, с надписью «ядро атома», уплывающий вверх, который столько раз вспоминался, снился Курчатову...

Играют Моцарта. Старый приемник в деревянном футляре посвечивает зеленым глазком из темного угла рядом с письменным столом. Курчатов протягивает руку, чтобы выключить музыку, но, передумав, слушает, поглядывая на лежащий перед ним снимок взрывного устройства.

От удара ногой дверь распахивается, показывается Гуляев, на руках он держит Федю.

— Игорь Васильевич, вы просили — получайте.— Гуляев кладет Федю на диванчик.— Замучился я с ним. Не хочет пересчитать диффузионный метод.

— Да, не хочу,— немедленно подхватывает Федя. Он худенький, маленький и свободно умещается на этой невесть откуда попавшей сюда софе.— Некрасивый этот метод, Игорь Васильевич, неинтересный, такой же занудный, как сам Гуляев,— лежа, не стесняясь своей позы, рассуждает он.

Курчатов прячет фотографию в стол, мысли его еще далеко.

— Зато надежный,— рассеянно говорит он.— Мы ведь уже обсуждали.

Федя мрачно садится, подобрав ноги.

— Отпустите меня, Игорь Васильевич!

— То есть как?

— А так... отпустите, вообще отпустите.

— Ладно, в следующий раз,— отмахивается Курчатов. Ему не терпится остаться одному.

— Нет, я серьезно. Я сделал все, что мог. Теперь пошла техника. Эра инженерных дел.

— Эта эра не для него,— иронизирует Гуляев.— Он рожден для иной жизни. Его узкая специальность — тайны мироздания.

— Представь себе! — Федя вскакивает, мечется по комнате.— Мы... мы все дальше уходим от общего к частностям. А мне интересно наоборот, от частного к общему.

— Все туда, а он оттуда,— приговаривает Гуляев, засунув кулаки в карманы халата.

— Рассчитывать прочность труб? Усовершенствовать чайники? И ты будешь уверять, что это твое призвание?— набрасывается Федя на Гуляева.— Думаешь, это и есть геройство?

— Видите, Игорь Васильевич, какой законченный себялюбец, обыватель от науки.

Перепалка их начинает чем-то задевать Курчатова. Он стоит, расставив ноги, посреди своего кабинетика, из-под хмуро сведенных бровей следит за их поединком.

— Ты просто не хочешь честно подумать,— продолжает Федя.— Это и есть обывательщина. Вам легче понять меня, Игорь Васильевич, вы сами...

— А кто меня отпустит?— вдруг спрашивает Курчатов.

От неожиданности, от серьезности этого вопроса Федя не сразу может найтись.

— Вы другое дело,— уклоняется он.

— Почему же другое,— спокойно настаивает Курчатов.— Вы хотите сказать, что я теперь стал администратором. Променял физику на администрирование. Такова суть?

Жестокая его прямота, как ни странно, подстегивает Федю.

— Ага, признаетесь. Вас тоже это мучает. А уж меня-то подавно, я теоретик. Вас хоть как-то масштабы вознаграждают. Вы свой талант в руководстве реализуете. А мне чем утешиться? Я в журналах почти не успел появиться... Никто не знает про мои главные работы. Печатаю... так... отходы. Фактически я не существую как физик. Речь идет не о славе, а о науке. Пока мы не можем открыто публиковать свои работы...

— Наука, наука,— повторяет Курчатов.— Вы твердите, как заклинание... Все для науки, все ради науки... А не кажется ли вам, что наука не должна быть самым главным в жизни человека? Есть нечто важнее науки.— Обняв Федю за плечи, он усаживает его рядом с собою на этот диванчик.— Знаете, Федя, новые законы откроют и без вас...

— Бомбу тоже сделают без меня.

— Сделают. И без меня сделают. Но без нас позже. На неделю. Или месяц. И эта неделя для меня больше значит, чем вся моя личная...— Он ищет слово и не находит, или не хочет произносить.— Вы хороший теоретик, Федя, но вы не умеете думать о смысле собственной жизни. Или боитесь подумать. А иногда надо думать — ради чего ты живешь...

От этих слов они оба призадумываются. И даже Гуляев молчит, глядя в зеленый глазок приемника.

...Накинув на плечи белый халат, Курчатов идет за медсестрой по светлому больничному коридору.

Их останавливает врач.

— Я к Халипову,— говорит Курчатов.— К Дмитрию Евгеньевичу. Как он?

— Без сознания.

За стеклянной дверью видна длинная одиночная палата. На высокой кровати в забытьи лежит Халипов. Глаза закрыты, бескровно-костяное лицо уже неизгладимо измучено долгими страданиями. Со всех сторон тянутся к нему шланги, трубки, на высоких штативах реторты, по которым поднимаются пузырьки. Живет не он, а эта аппаратура. Прислонясь к дверному косяку, Курчатов вглядывается сквозь стекло в умирающего, в жизнь, которая вот-вот оборвется...

«Дорогой ты мой, Игорь Васильевич... ну дай же на тебя посмотреть...»

«Наконец-то, Дмитрий Евгеньевич... как долетели?»

Невнятно-тихие голоса эти возникают в памяти Курчатова откуда-то из прошлого. Чьи-то сильные руки обнимают его сзади, он поворачивается и видит Халипова. Они в двухкомнатном номере гостиницы «Москва». Переверзев вносит чемоданчик Халипова.

— Дорогой мой... ну-ка, дай тебя обозреть! — громыхает в полный голос Халипов, могучий, костистый старик.

— Наконец-то, Дмитрий Евгеньевич... как долетели?

— Палили в нас, как положено. Да мы ведь в Ленинграде к этому привычны. Каждый божий день обстрел.

Они садятся за круглый столик, с удовольствием оглядывая друг друга.

— А твои препаратики целы. Дожидаются. Не велю трогать.

— Дмитрий Евгеньевич, хочу просить вас,— начинает Курчатов, доставая бумагу с программой исследований.— Вы, один, можете помочь нам. Взять на себя радиохимию. Вот эту программу.

Переверзев тем временем в уголке на плитке сооружает чай. Халипов, нацепив очки, внимательно читает программу. Курчатов в другой комнате подбирает еще бумаги для Халипова.

— В этом-то номере до войны, говорят, артисты останавливались. Народные! — доносится веселый голос Курчатова.— Пианино есть! — Он выходит и видит Халипова, стоящего спи-

ной к нему. Тяжкое его молчание, опущенная голова — пугают Курчатова.

— Дмитрий Евгеньевич...— робко произносит он.

Халипов вытягивает платок, шумно сморкается, утирает слезы.

— Ты уж прости, нелегко так... сразу...— сдавленным голосом, не оборачиваясь, говорит он.— Хоть и стар я, а цепляюсь... Песецкий... знал его? Он от этой самой химии загнулся. Второй месяц слег и уже не встанет.

Курчатов садится, смотрит себе в стакан.

— Что же, защиты нет?— спрашивает он бесчувственно-спокойным голосом

— То-то и оно-то, что пока не получается. Не умеем. Надо нащупать, а при таких сроках, да такой объем...

— Но почему вы все на себя берете? У вас большой институт.

— А ты не понимаешь? Потому и беру, что не могу других подставлять. Да никто так, как я и мои помощники, не разбирается.

Курчатов берет программу, складывает ее.

— Тогда и говорить нечего,— и рвет бумаги.

Халипов поворачивается к нему, вытирает рукой глаза.

— Ну и дурак. Разве это решение? Кто ж тебе сделает в такие сроки? Кто, если не я?.. То-то и оно...

— Давайте все же подумаем, как выбраться из этого,— выдавливает Курчатов, не поднимая головы.— Можно ли как-то обойти... Я не представлял.

— Знаю. Теперь представляешь, и что?— с каким-то ожесточением допытывается Халипов.— Что изменилось? Ничего. Тут уж мы с тобой ни при чем. Все равно надо. Схитрить тут не удастся. И не будем в жмурки играть. Не пристало нам.— Он берет обрывки программы, бережно составляет, расправляет их.— Давай лучше обговорим, сколько сырья ты даешь.

Зябко съежившись, Курчатов охватил себя руками:

— Не могу я...

Допив чай, Халипов, прищурясь, деловито водит пальцем по строчкам:

— Это не сумеем, а под это дело усиленный паек сотрудникам я выцыганю, уж тебе придется раскошелиться...— Но, не выдержав, он срывается: — Ну что ты на себя наворачиваешь?! Ты иначе не мог, и я не могу. Война же идет! Война. Конечно, от пули или там бомбы оно полегче. Знаешь: «Лег-

кой жизни я просил у бога, легкой смерти надо бы просить». А впрочем... откажись я, так ведь еще хуже, совесть бы заела.— Он снимает очки, подойдя к Курчатову, утешающе кладет руку на плечо: — Ну, брось, может, чего успеем придумать. А нет — тоже не беда. По крайней мере не зазря...

Голос его стихает, слов уже не разобрать, губы шевелятся все медленнее, застывают, сложенные в хитрую усмешку, и живое лицо его вдруг обретает черты портрета. На портрете он чуть величественнее, чуть проницательнее, чем был, появилась суровость, которой никогда не было.

Портрет этот укреплен на пирамидке могилы, заваленной цветами. Небольшое подмосковное кладбище пустынно. Курчатов один здесь. Похоже, что он остался после похорон. Стоит с непокрытой головой на осеннем ветру, снова — в который раз — допрашивая себя...

В зеленом, неверном свете луны — спальня, открытая дверь на лестницу. Курчатов лежит не в силах заснуть, потом осторожно, чтобы не разбудить жену, встает с кровати, спускается на первый этаж. Проходит через холл в кабинет, освещенный луной из большого окна. За крестовиной переплета — сад, теплая рассветная тишь, первые нерешительные вскрики птиц.

Курчатов стоит, подняв голову. Слезы катятся по его щекам. Он отирает их рукавом пижамы, они опять набегают, ему никак не справиться с собою.

Сзади неслышно подошла Марина Дмитриевна, тронула его за плечо. С неожиданной злостью он оттолкнул ее, отошел, стиснув зубы.

Она снова подошла.

— Уйди... уйди,— бросил он.

И вдруг не выдержал, разрыдался, стыдясь себя, стискивая кулаки, уткнулся ей в плечо. Она ровно и быстро гладила его по голове.

— Боюсь... я боюсь...— вырывается у него.— А что, если не так... У меня голова раскалывается... Я не могу больше... Не могу... Я же не бог... Они думают, что я знаю... что я знаю все, до конца... а я не могу все рассчитать... ведь все может быть... А если пшик? А? А если все напрасно...— Слова его неразборчиво сливаются, да Марина Дмитриевна и не слушает его, лицо ее закаменело, впервые она видит его рыдающим, ее бьет озноб. У нее хватает лишь сил гладить его, пока он не затихает на ее плече.

Сквозь анфилады лабораторных комнат, где работают люди в халатах, идут Зубавин и Переверзев. В каждой комнате Зубавин спрашивает:

— Курчатова не видели? Курчатов не заходил?

— Не видели... не был,— отвечают всюду.

С Зубавиным здороваются, его тут знают.

— Ну как, получил?— спрашивает он кого-то на ходу.

— Спасибо, все в порядке.

Под тиканье счетчиков мечется рыба в аквариумах у биологов.

В теплицах сниклые цветы, люди здесь работают в защитных костюмах.

Механики испытывают манипулятор.

В затененных комнатах на экранах вспыхивают бледные треки разрядов.

Воспаленные до красноты глаза просматривают бесчисленные рулоны фотопленок, тысячи снимков. Зажигаются надписи: «Не входить», «Идет опыт», «Опасно».

Тесно от приборов, пультов, стендов.

Лаборатории выползают на лестничные площадки.

Потрескивают разряды, звякает посуда, постукивают насосы, завывают центрифуги, вентиляторы, моторчики. Среди этого звукового хаоса все явственнее приближается звонкое цоканье целлулоидного шарика.

Зубавин сворачивает на этот звук и видит: в тупике коридора играют в пинг-понг Федя и еще один молодой теоретик с бородкой «а-ля Курчатов».

На стене висит грифельная доска, исписанная, исчирканная формулами, схемками.

Появление Зубавина никак не смущает игроков, по крайней мере Федю. Он режет, нападает, крутит с таким азартом, что Зубавин непроизвольно начинает следить глазами за ходом поединка. Федя выигрывает подачу. Зубавин встряхивает головой, как бы освобождаясь от этого гипноза, спрашивает:

— У вас что, обеденный перерыв?

— Не обеденный, а умственный,— отвечает Федя и начинает новую партию.

У Зубавина выпячивается было челюсть — признак гнева,— но тут же он усмехается над самим собой, над привычным своим представлением о работе, которое здесь явно не подходит. Да ведь и достаточно он узнал уже этих теоретиков и особенности их работы, когда в самые напряженные, мучи-

тельные часы человек с виду бездельничает, валяется на диване, стоит, прижавшись головой к стеклу.

По коридору мимо играющих спокойно проходят лаборанты, сотрудники, никто не обращает внимания на эту игру в разгаре рабочего дня, все считают ее в порядке вещей, естественной частью изнуряющей работы...

...Пустой кабинет Курчатова, отделенный стеклянной перегородкой от соседних рабочих комнат. Этот кабинет не приспособлен для совещаний, но он и не для академической работы. Кабинет очень рабочий, рациональный, скорее напоминает конторку мастера, помещение начальника цеха, во всяком случае это продолжение лаборатории.

Звонит телефон. Умолкает. Вспыхивают лампочки на коммутаторе. Гаснут.

Из раскрытого окна весеннее солнце, ветер. Распахивается дверь, входит Зубавин, за ним Переверзев. Быстрым взглядом Зубавин окидывает стол, бумаги.

— Где он может быть?

— Не знаю,— отвечает Переверзев.

— Кто же знает? Вы для чего здесь?

— Виноват, Виталий Петрович.

Чем-то подозрителен Зубавину этот смиренный тон. Зубавин внимательно приглядывается к Переверзеву:

— Что-то у вас не очень виноватый вид...

Переверзев молчит, вытянувшись по-военному.

Звонит отдельно стоящий белый телефон. Зубавин берет трубку.

— Зубавин слушает... Здравствуйте... Его здесь нет. Я только что вошел... Сейчас выясню... Минуточку,— он зажимает микрофон рукою.— Ну, что будем делать?

— Виталий Петрович, разыщем,— тихо обещает Переверзев.— Не беспокойтесь.

— Ты меня не успокаивай. Где он?

— Уехал подумать.

— Почему один? Что он, тут думать не может? Какого черта...

— Виталий Петрович, поймите, надо ему иногда выключиться, побыть без всего этого...

— Блажь, капризы. Понимать не желаю. Вы имейте в виду, Переверзев!..— Забывшись, он стучит трубкой по столу.— А, черт...— Он прикладывает трубку к уху.— Извини-

те... Алло... Курчатов уехал, к сожалению, связаться нельзя... Просто поехал подумать...

Некоторое время он слушает сердитое клокотание трубки, шея его вздувается. Он встает, вытягивается, отвечает как можно сдержаннее:

— Почему же расхлябанность... У него все же несколько иная работа, чем у нас с вами. Ему не всегда нужны телефоны, ему нужно и так, чтобы без всяких телефонов... Простите, товарищ министр, я вас не учу, я просто возражаю...— Гудки, он медленно опускает трубку на рычаг, стоит, опираясь на аппарат, лицо его постепенно отходит, снова обретает свое хмуровато-спокойное выражение. Впервые, может быть, приоткрылось Переверзеву, сколько приходится принимать на себя этому человеку.

Окраина Москвы, на горе старый Коломенский дворец, шатровая церковь Вознесенья, на свежем зеленом откосе нежатся на солнышке мамаши с детьми, компания студентов перекидывается мячом, носятся ребятишки. Но это там, внизу, а здесь, на скамейке, в пятнистой подлиственной тени, тихо, спокойно. Длинно поблескивает река, пересвистываются птицы.

Откинувшись на ребристую спинку скамьи, Курчатов словно растворился в этом солнечном покое молодого лета. Далеко на горизонте дрожит, мерцает профиль Москвы, ее колоколен, золотые маковки церквей, трубы теплостанции. Курчатов смотрит на эту московскую даль, но глаза его невидяще устремлены в какую-то мысленную точку. Он сидит неподвижно, весь уйдя в размышление. Это не задумчивость, это именно размышление, работа. Иногда он хмурится, иногда недоуменно морщится, а бывает, что лицо его разгладится в довольной ухмылке. Конечно, со стороны он выглядит отдыхающим, надо внимательно приглядеться, чтобы понять внутреннюю напряженную работу, которая происходит сейчас.

Кто-то трогает его за плечо:

— Папаша, не найдется закурить?

Не оборачиваясь, Курчатов вынимает коробку «Казбека».

— Ого, красиво живете! — Парень не торопясь берет папироску, сигналит кому-то.

Появляются еще двое ребят. Это все студенты. Студенты сороковых годов: демобилизованные парни или же недавние школьники, отощалые, одетые в отцовские кители, в гимна-

стерки, в солдатские ботинки; учебники, перевязанные ремешками, вечные ручки торчат из кармашков...

— Налетели на дармовщинку,— выговаривает первый,— нахальная молодежь пошла.

— Берите, берите,— угощает Курчатов, не замечая розыгрыша. И они берут, и еще берут про запас, закладывают за ухо, закуривают, смакуя, растягиваются тут же рядышком, на скамейке, расстегивают воротнички, подставляя солнцу грудь, любуясь на реку.

— Да, жизнь прекрасна, как сказал поэт, но удивительна.

— Никаких «но». Жизнь прекрасна, что удивительно.

— Солнышко-то... И почему это говорят, что неученье — тьма?

— Ле-на-а-а! Ползи сюда! — кричит один из них.

Две девушки на берегу собирают портфели.

— Если бы не зачет, мужики... Полного счастья не бывает.

— Не ной... Не порти картины.

— Поставят трояк.

— Ну и что, тройка — это удовлетворительно. Понимаешь — государство удовлетворено. А мне главное — удовлетворить государство. Пятерка — это для себя. Это эгоизм.

Внизу речная волна колышет траву, лодки. Слепящее солнце дробится на воде. Курчатов закрывает глаза, и желтые круги несутся, сталкиваются, разлетаются осколками, напоминая фотографии, снятые в ионизационных камерах.

Девушка режет толсто хлеб, накладывает по кусочку колбасы, раздает ребятам, подумав, безмолвно показывает на сидящего рядом с ними этого странного бородача, который, как ей кажется, из деликатности отвернулся.

— Феликс...

Феликс с набитым ртом мычит, протягивая Курчатову бутерброд.

— Угощайтесь, папаша.

Курчатов оборачивается, досадливо отмахивается:

— Спасибо, не хочу.

— Да вы не стесняйтесь.

— Ладно, не приставай,— говорит Лена.

— Сачки вы,— неожиданно сердито определяет Курчатов.

На него смотрят удивленно и заинтересованно.

— Однако, жаргон у вас, папаша,— усмехается Феликс.— Вы, очевидно, лицо духовное, а выражаетесь...

Этого «духовного лица» Курчатов никак не ожидал. Но в то же время он сразу соображает, в чем дело: церковь, он тут же сидит, опершись на палку, с бородой, столь редкой тогда...

— Витя, нас обидели. Ты, можно сказать, мучаешься, изучая на себе солнечную радиацию...

— И космические ливни,— гудит Витя.

— Между прочим, это не молебен служить. Если вы служитель культа, вы должны радоваться.

— Чему?

— Тому, что физика благодаря нам развивается медленно.

— А что, если действительно податься в астрофизику? — мечтательно рассуждает третий.

— Не перспективно,— говорит Феликс,— сейчас решать будут ядерщики. Все условия. Оборудование, оклады, звания...

— Это за что же? — любопытствует Курчатов.

О нем уже забыли, и опять вопрос его удивляет.

— О, господи, темнота наша,— вздыхает Феликс.— Про бомбу вы слыхали? Так вот, мы делаем бомбу.

— Вы?

— Конечно, мы, кому еще... У нас дипломный проект.

Слабая улыбка освещает лицо Курчатова.

— Не верите...— снисходительно говорит Феликс и начинает «травить»: — Лена, у тебя с собой опытный образец?

Лена отрывается от конспекта:

— Ребята, а кто знает, на что расщепляется уран?

— На барий...— вспоминает Вася.

— А еще?

Они неприятно озадачены, листают тетрадки, ищут, бормочут, повторяя.

— Слыхали, у Бора сейчас конгресс по слабым взаимодействиям,— мечтательно говорит кто-то.

— То у Бора...

— А у нас? — спрашивает Курчатов.

— А что у нас? — Феликс потягивается, делает несколько приседаний.— У нас пока антракт. Вся надежда на нас.

— Ну, не вся...— примирительно гудит Витя.

— Ну кто еще? Старики, конечно, еще трепыхаются, а весь цвет-то где?

— А перед войной, помните? Как Флеров и Петержак рванули! А?

— А Александров? — напоминает Лена.— А Алихановы? Это же первоклассные работы были!

Они загораются, щеголяя друг перед другом своими знаниями, оказывается, что они действительно кое-что знают, читали.

— А Курчатов, Курчатов! По сегнетоэлектрикам, по циклотронам...

— А Харитон... Изотов. Да, были люди...

— Может, живы...— сомневается Вася.

— Эти мужики могли бы соответствовать. Они тянули.

Донесся колокольный звон с церкви. Все примолкли, слушают, погрустнев.

— А может...— говорит Вася.— Кто-то же делает бомбу.

Лена хозяйственно свертывает остатки продуктов.

— Все равно мы обгоним американцев.

— Это почему же? — интересуется Курчатов.

Феликс пренебрежительно фыркает:

— Настоящие физики, отец, всегда против невежества и реакции. Еще со времен Галилея, когда ваша церковь мучила его.

— Между прочим, не наша,— поправляет Курчатов,— но неважно.

— Сейчас все зависит от физиков, вся судьба человечества.

— Почему же не от химиков, не от врачей? — говорит Курчатов.

— Да, Феликс, ты тут подзагнул! — басит Вася.

— Нисколько!..

Тем временем поверху к ним подъезжает «ЗИС-101». Резко тормозит. Из машины выскакивает Переверзев.

— Игорь Васильевич! — кричит он.

Курчатов, который внимательно слушал Феликса, неохотно поднимает голову, кивая: сейчас, мол. Феликс умолкает.

— Давай, давай...— приглашает Курчатов, но Феликс уже настороженно замкнулся.

— Неважно... это так...— бормочет он.

Курчатов надевает накинутый на плечи пиджак. Прощально оглядывает высокое небо, речную даль и этих ребят.

— Между прочим, кроме бария,— говорит он,— получается еще криптон, это очень просто. Атомный номер урана девяносто два. Бария — пятьдесят шесть. Значит, остается тридцать шесть. Верно? Это и есть криптон. Ну, счастливо...

И уходит к машине. Лихо развернувшись, она взлетает по косогору...

— ...Пятьдесят два... Пятьдесят один...— ровно и бесстрастно звучит команда отсчета.

Парусники скользят по бухте мимо Инкермана, Константиновского равелина. Бьется волна о теплые щербатые камни Приморского бульвара тех дореволюционных времен, когда Курчатов, гимназистом, наезжал с отцом в Севастополь. Прыгают в воду мальчишки и тут же карабкаются обратно по каменной кладке, блестя коричневыми телами. А по бульвару шагает военный духовой оркестр, и повсюду сверкает море — детская мечта Курчатова, извечная его мечта.

— ...Сорок восемь... Сорок семь...

Красное знамя развевается над головами красноармейцев. Впереди командир с шашкой, перепоясанный ремнями, за ним кавалеристы с карабинами в буденовских шлемах. Горнист поднимает трубу, цокают подковы по булыжной мостовой.

Лесной проспект Петрограда, и в конце его сквозь сосны белеет колоннада Политехнического института.

У доски приказов — толпа. Курчатов, совсем молодой, высокий, худой, поверх голов всматривается в плохо отпечатанный листок:

«Курчатова И. В., студента кораблестроительного факультета,— отчислить за академическую задолженность».

Всплывает голос неумолимого отсчета:

— ...Тридцать пять... Тридцать четыре...

Поеживаясь на холодном ветру, в своей потрепанной куртке, Курчатов шагает, размахивая связкой книг, по Николаевскому мосту через Неву. Обгоняя его, трусят извозчики, бежит красный трамвай с открытыми площадками, с громкими звонками. Еще на вывесках: «Булочная Филиппова», «Рыбачий кооператив». Это Петроград 1924 года, нет, уже Ленинград, потому что май месяц и по Неве плывет ладожский лед.

Под плакатом «Долой неграмотность!» сидит укутанная в платок торговка семечками и маковками.

На набережной можно было еще встретить точильщиков с точилом на плече, маляров с кистями, трубочистов; еще путейцы носят фуражки с инженерным значком, а служащие идут с портфелями; много людей еще в шинелях и кожанках.

Вдали видны стапеля и краны Балтийского завода. Там ремонтируют пароходы с высокими трубами, а по Неве шлепают старенькие колесные пароходики.

Курчатов спускается по гранитной лестнице к воде, смотрит на этот морской Ленинград, с бескозырками, верфями, па-

мятником Крузенштерну, с бухтами каната, лежащими здесь на набережной, и разбитыми миноносками, что ржавеют у пирсов.

— Ну и черт с вами, займусь физикой! — объявляет он громогласно всем кораблям и причалам.

— ...Пятнадцать... Четырнадцать!..— перебивая его, звучит голос отсчета.

И снова порт — горящий Севастополь. Немцы обстреливают пристань, где идет погрузка раненых. По сходням поднимают носилки. Курчатов в мокром бушлате работает на палубе, проверяя размагниченность корабля перед выходом в море.

— ...Семь!..

В бетонированном бункере наблюдения собрались члены государственой комиссии. Тут же Курчатов, Зубавин, Изотов, Таня.

Щелкает, прыгая, огромная секундная стрелка на большом циферблате, горят сигнальные лампочки пульта.

Федя вынимает конфетку.

— Не хочешь? «Взлетная»... Помогает от неприятных ощущений.

Таня внимательно смотрит на себя в карманное зеркальце, медленно подкрашивает губы. Каждый здесь старается выглядеть спокойным и успокаивает себя привычным ему способом.

— ...Шесть!

Неподвижное лицо Курчатова. Набережная нынешнего Приморского бульвара Севастополя. Из-под аркады, от моря бегут дети. В шортах, майках, они бегут на Курчатова, как в массовом забеге сотни мальчишек.

— ...Пять!

Все взгляды сходятся к Курчатову. На него смотрят с надеждой, страхом, испытующе, недоверчиво. Увидим, мол, что это еще за бомба.

— ...Один!

Курчатов на мгновение прикрывает глаза: голубой новогодний шарик с надписью «ядро атома» медленно поднимается над украшенной елкой.

В окулярах стереотрубы ему видна пустыня, черные контуры вышки и висящая в ней бомба — итог всех усилий, надежд и сомнений. Последний раз он как бы проверяет себя.

— ...Ноль!

Наступает тишина. Теперь только удары сердца отсчиты-

вают время. Палец Курчатова ложится на кнопку «Пуск». Какие-то миги он еще медлит.

В нестерпимо белом свете отчетливо, до малейших подробностей, проступает отстроенный жилой кирпичный дом, он стоит одиноко среди барханов, непонятный еще до этого последнего момента в своей бесприютности и ненужности; виден железобетонный дот, танки, расставленные на разных расстояниях, самолеты, клетки с кроликами, радиологические пункты, артиллерийские орудия, мастерские, заставленные станками,— все это расположено вокруг вышки по каким-то вычисленным радиусам. И все это предстает в последний раз перед взором в немыслимой четкости, со всеми подробностями.

Беззвучно и неторопливо начинает расти столб огня, белый шар поднимается, разбухает, он ярче солнца, больше его, и все растет и растет. Грохот вселенского обвала обрушивается с неба. Люди в траншеях лежат ниц... Осыпается песок, колышется земля.

От мгновенно представшей картины с домом, мастерскими, танками ничего не осталось, все исчезло, есть лишь гладко поблескивающая поверхность спекшегося песка. Где-то вдали дымятся остатки паровоза, каких-то станков...

В Вашингтоне, в скучной комнате с голыми стенами, за простыми канцелярскими столами заседает административная комиссия Комитета по делам кадров.

Выбрана ли специально эта неуютная, душно прокуренная комната для такого разбирательства, или же это получилось случайно, трудно сказать. Скорее всего, эти судьи вряд ли были способны на такие тонкости.

Показания дает Борис Паш. Он все так же жизнерадостен, уверен в себе, спортивен.

— ...Мы поставили Оппенгеймера перед выбором между дружбой и карьерой. Он выбрал карьеру и выдал Шевалье. Мы не ошиблись.

Он оглядывается на сидящего посреди комнаты Оппенгеймера, готовый к его возражениям.

— Вы уверены, мистер Паш, что Оппенгеймер оставался в душе коммунистом? — спрашивает председатель Гордон Грей.

— Может, его и мучили сомнения, но мы должны судить о нем по его поступкам.

— Какие поступки убеждают вас в этом?

— Из-за него Штаты потеряли три с лишним года, не приступая к работе над термоядерной бомбой. Он нанес нам вред.

— Вы думаете, что слава и любовь, какими его окружала страна, не изменили его взглядов?

— Нет. Я сужу по его действиям. Он виновен. Более того, мы постараемся, чтобы двери наших лабораторий были для него закрыты.

Председатель:

— Адмирал Льюис Страус!

С кожаной кушетки, на которой сидят свидетели, поднимается адмирал Страус, маленький, ловкий, на вид веселый, этакий округлый, приветливый старичок-бодрячок.

— Я думаю, мистер Паш ошибается. Оппенгеймер давно не коммунист, он хочет другого — видеть мир у своих ног. У него неограниченное самомнение и мессианство. Я обратил на это внимание еще в 1949 году, когда нам стало ясно, что русские взорвали атомную бомбу, уже тогда русские развили бо́льшую скорость, чем мы, бомб-то у нас было больше, но, несмотря на это, русская бомба за одну ночь изменила соотношение сил, разрушив нашу стратегию. Не стоит лгать, мы не предполагали такого темпа. Наши ученые в эти критические минуты оказались не на высоте. Некоторые вообще не признавали русской бомбы, другие же истерически требовали от нас компромиссов, и в этом виноват Оппенгеймер. Мне сразу же стало ясно: спасти нас может только водородная бомба. А Оппенгеймер не соглашался... Но я надеюсь, что у Америки есть, кроме Оппенгеймера, люди, которые понимают веление времени...

Роджер Робб, советник Комитета по атомной энергии, восклицает с места:

— У Америки есть вы!!! И есть Теллер!

Председатель, Гордон Грей, обращается к Оппенгеймеру:

— Господин профессор, вы были убеждены, что водородную бомбу не нужно было делать?

Как он изменился, этот уверенный в себе, блестящий, привыкший к славе, почету Роберт Оппенгеймер. Даже на заседании Комитета по выбору цели, даже после смерти Джейн не было в нем такой горечи и разочарования.

Прошло девять лет. Сейчас апрель 1954 года. Точнее, 22 апреля, день рождения Роберта Юлиуса Оппенгеймера, которому исполнилось пятьдесят лет. Вот он где встречает его — в сущности, на скамье подсудимых. Процесс шел уже десять

дней и должен был продлиться еще столько же. На скамье подсудимых сидел один Оппенгеймер, но вместе с ним незримо, все его поколение молодых американских атомщиков. Тех, кто вместе с ним начинал у Резерфорда, занимался в Геттингене,— судили их вольнолюбивую юность, отвращение к фашизму, то, что было, а теперь ушло, отодвинулось перед могущественным взлетом физики, славой, почестями, деньгами. Они решили, что они-то и есть властители и творители судеб истории. Кончилось это быстро. Ответственность придавила их, сломала, оказалось, что они беспомощны и не приспособлены к такой роли.

Высохшее, обтянутое лицо Оппенгеймера застыло. Он не пытается блеснуть красноречием, острым ответом. Он не изображает героя, несправедливо судимого, он не жертва, но он и не кающийся грешник, он не преступник, он слушает судей и свидетелей крайне рассеянно. Похоже, что существенно для него не происходящее, не вся эта процедура, а совсем иное. Сейчас он, вместе со своими судьями, судит себя.

— Это имело бы смысл,— отвечает Оппенгеймер,— если бы мы достигли такого военного преимущества, что без войны принудили бы противника признать наши требования... Однако русские создали свою бомбу в такой невероятно короткий срок, что стало ясно: нам не удержать преимущества. Русские шли за нами вплотную, в затылок. Никакой безопасности не получилось. Над всем миром нависла угроза уничтожения. Мы потратили миллиарды долларов. И что? Мы ничего не получили. Мы не сильнее, чем русские. Мы не имеем ни уважения, ни признания от стран свободного мира.

— Это вы сейчас так рассуждаете,— с чувством и значительностью говорит Робб.— А когда-то вы вместе с другими убедили наших государственных деятелей, что у нас есть преимущество в десять, а то и в двадцать лет. Если бы вы правильно информировали правительство, оно бы не допустило этой опасности — конкуренции русских.

— Каким образом не допустило...— не спрашивает, а усмехается Оппенгеймер.— Вы несколько преувеличиваете мою роль. У правительства было много информаторов.

— Доктор Теллер,— спрашивает председатель,— вы согласны с подобной оценкой?

Теллер хочет говорить сдержанно, но с первой же фразы срывается. Враждебность его к Оппенгеймеру смешана с честолюбием, с жаждой прослыть единственным автором водородной бомбы, защитником американской науки от красных...

— Не согласен, во всяком случае не совсем. Получилось так, что ради работы над атомной бомбой Оппенгеймер пожертвовал чистой наукой. Бомба стала как бы его личной собственностью. Он считал ее своим достоянием. Он ревниво оберегал ее. Идея же термоядерного оружия была не его, она принадлежала мне. А это означало, что слава Оппенгеймера быстро поблекнет. Отважусь сказать, что это чувство и является причиной того, что Оппенгеймер боролся с нами.

— Что сделали бы вы, профессор Оппенгеймер,— спрашивает Роджер Робб,— если бы перед вами поставили задачу создать водородную бомбу?

После некоторого колебания Оппенгеймер неуверенно признается:

— Это трудно сказать.

— Вы были бы с нами или вышли бы из наших рядов? — допытывается Робб.— Да или нет?

— Думаю, я выполнил бы возложенную на меня задачу...— с трудом произносит Оппенгеймер.

— Считаете ли вы, что правительство вас обидело?

— Нисколько.— Оппенгеймер медленно усмехается.— Я согласен с Макиавелли, что неблагодарность — основная обязанность государя.

— У меня нет вопросов.

Комната быстро пустеет.

К Оппенгеймеру подходит один из судей, старый профессор-химик Ивенс.

— Имейте в виду, Оппи, я решительно против этих взбесившихся кресел. Жаль, что я тут в меньшинстве. Но я уверен, что это им так не пройдет. Они хотят объявить вас подозрительной личностью.

Оппи продолжает сидеть на стуле, посредине комнаты, сосредоточенно глядя прямо перед собой.

— Представляете,— продолжает Ивенс,— любого из нас, ученых, правительство запрашивает о чем-то, и если, допустим, мой ответ, то есть мое мнение, не понравится этим болванам, они начинают рассматривать меня как подозрительного. Хороши порядки. Этот Маккарти окончательно спятил. Нет, это касается не одного вас, это на нас всех покушаются. Вы слышите, Оппи?

— Не знаю, Ивенс, не знаю...— говорит Оппи.— Мне хочется понять свою собственную ответственность. В чем я виноват. Сейчас мне важно не оправдаться, а выяснить...

Он остается один. Пустые обшарпанные канцелярские столы стоят перед ним, пустые кресла, папки донесений, досье, показаний. Коробки с магнитофонными лентами записей. Фотографии с рулонами пленок-негативов. Протоколы опросов...

В доме Курчатовых, внизу, в холле, у деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, одевается старый доктор. Марина Дмитриевна, зябко стягивая на груди платок, допытывается:

— Ну что, профессор?

— Второй инсульт, он и есть второй инсульт,— ворчливо отвечает профессор.— Он это знает. Сейчас состояние...— Марина Дмитриевна подает ему шубу.— Спасибо... Состояние несколько лучше, но по-прежнему строжайший постельный режим. Никаких резких движений, никаких деловых разговоров. Никаких волнений... Никаких посетителей. Покой, покой и покой... Вот главное его лекарство.

Он застегивает свою старомодную шубу, целует Марине Дмитриевне руку, смотрит на нее из-под мохнатых своих седых бровей, стараясь быть как можно строже и суровей:

— Марина Дмитриевна, вы сами должны понимать, второй удар, тут можно всего ждать.

Нахлобучив меховую шапку, он уходит. Марина Дмитриевна, прикрыв дверь, стоит, держа руку на холодном замке, собираясь с силами.

А наверху, в спальне, высоко на подушках, лежит Курчатов. За стеклянной перегородкой кипятит шприц медицинская сестра. Курчатов, прикрыв микрофон рукою, тихо и весело говорит в трубку:

— Николай Васильевич? Вас приветствует дважды ударник Курчатов, да, дважды ударник,— подмигивает он и сразу переходит на серьезный тон.—Задерживаете, задерживаете рабочие чертежи ОГРы... Но этот фантазер Головин хочет закончить ОГРу в конце года. И дай ему бог... Что? Не согласен. Воронежская атомная уже строится. Белоярская тоже... Судовые реакторы прошли испытания... А сейчас самое главное... Одну минуточку...

Тем временем входит со шприцем сестра. Курчатов, не прерывая разговора, поворачивается на бок, откидывает одеяло, подставляя для укола ягодицу.

— Хм...— крякает он от укола и тотчас повторяет: — Сей-

час самое главное... Спасибо. Да нет, это не вам. Вас благодарить рано, рано, да...

Сестра выходит, а Курчатов, изучая развернутый чертеж, уже говорит по телефону с другим:

— Привет, Анатолий Петрович, нет, нет, ни о каких делах я разговаривать не собираюсь. Просто я придумал название для импульсного реактора. ДОУД-три. Что это значит? А значит, что я хочу увидеть его в действии до того, как меня хватит третий удар. До удара три. Физкульт-привет! — Он кладет трубку как превеликую тяжесть, бледный, потный, бодрый его голос никак не вяжется с его изнуренным, больным видом.

Блестит мокрая брусчатка. Постукивает палка. В шляпе, в тяжелом пальто, опираясь на палку, по Кремлю идет Курчатов. Весна, орут воробьи, синее небо омыто и туго натянуто над Москвой. Пальто на Курчатове кажется тяжелым в этой солнечной теплыни, а может, еще и потому, что он исхудал и вид у него не очень здорового человека. Борода его поседела и стала жидкой. Его обгоняют депутаты, все направляются на сессию.

У Царь-пушки, как обычно, толкутся любопытные, особенно мальчишки. Они забираются на огромные ядра, на самую пушку, бесстрашно заглядывают в ее черный зев. И гомон сливается с воробьиным щебетом. Курчатов останавливается, наблюдая за этой детской игрой с такой древней, такой грозной на вид и совсем безобидной пушкой.

— Дед, а она стреляет?

— Наверное,— отвечает старый казах, с такой же длинной, висячей, тонкой бородой, как у Курчатова.

Курчатов сворачивает на Соборную площадь, поднимает голову и видит горящие на солнце маковки колокольни Ивана Великого, стоящей в белой своей нетронутой красе незыблемо и прочно, во веки веков. И все эти соборы, и могучие кремлевские стены, и маленькие ели, и дальше московские крыши... А в воздухе слышится звон колоколов, не набатный, не праздничный, а памятный с детства — музыка, которую вызванивали мастера-звонари на колоколах звонницы, как на гигантском органе...

Георгиевский зал сверкает белым мрамором, золотом. Многие депутаты так или иначе знают друг друга, хотя бы в лицо. Они здороваются, издали раскланиваются. Генералы,

маршалы, знатные сталевары, чабаны — пиджаки увешаны орденами, медалями, звездами — этим здесь никого не удивишь. И все же фигура Курчатова привлекает общее внимание. Не только три Золотые Звезды Героя Социалистического Труда и лауреатские медали выделяют его. Что-то иное, необычное есть в этом богатырски сложенном человеке с интеллигентным лицом, с длинной редкой бородой. И взгляд его, сосредоточенный, ушедший в себя.

Перед ним расступаются, смотрят вслед, припоминая или спрашивая «кто это?». Кто-то радостно здоровается с ним. Но таких мало, его еще знают немногие. Постукивая палкой, он проходит в Грановитую палату, оглядывая картинки библейских сюжетов, расписанные на стенах, и бога Саваофа, парящего на потолке: румяного старичка среди пухлых облаков.

Не обращая внимания на устремленные к нему взгляды, с той же сосредоточенностью направляется он к трибуне, когда председатель объявляет:

— Слово имеет депутат Курчатов.

Гремят аплодисменты, из задних рядов кто-то приподнимается, всматриваясь в этого человека. С любопытством, почтением, с тем чувством, которое так свежо было тогда перед всемогущей и таинственной атомной силой. Может, от этого Курчатов чуть опечален, встревожен. Ему кажется, что шум аплодисментов не имеет отношения к нему, поэтому-то и доносится отдаленно.

Он надевает очки, раскрывает папку:

— ...С этой высокой трибуны я обращаюсь к ученым всего мира с призывом направить и соединить усилия для того, чтобы в кратчайший срок осуществить управляемую термоядерную реакцию и превратить энергию синтеза ядер водорода из оружия уничтожения, разрушения в могучий живительный источник энергии, несущий благосостояние и радость всем людям на земле...

Он к чему-то прислушивается, словно бы цокают копыта, нет, показалось. Он снимает очки, глядя вдаль, говорит:

— Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке великой Страны Советов... Я глубоко верю и твердо знаю, что наш народ, наше правительство только на благо человечества отдадут достижения этой науки...

Снова слышится цоканье копыт. Курчатов умолкает, всматривается, видит, как далеко отсюда, где-то в 1924 году, вдоль гранитной набережной Невы едет молоденький красно-

армеец с карабином за плечом, в буденновском шлеме. Подковы цокают по торцовой мостовой. Опустив поводья, он едет мимо дворцов и узорчатых решеток, мимо рыбаков, лодочников, красный цветок торчит у него в петлице. Куда он смотрит? В какое будущее? Что он там видит? Эту ли трибуну, этот зал, этих людей?.. Куда он держит свой путь, этот парнишка двадцатых годов? И почему он явился сейчас перед Курчатовым? Молодость?.. Может, не только он слышит этот далекий цокот копыт, такой непривычный ныне, даже неизвестный для молодых. Может быть, и другие в зале услышали, поэтому они не удивляются внезапному молчанию Курчатова и ждут.

А он все всматривается, с нежностью и грустью следя за этим пареньком, едущим вдоль невской набережной...

1975

СОДЕРЖАНИЕ

ОЧЕРКИ

СТАТЬИ

ПОВЕСТИ

Гранин Д. А.

Г 77 Река времен.— М.: Правда, 1985.— 416 с.

В книге собраны очерки, статьи, публицистические повести известного советского писателя Даниила Гранина, написанные в разные годы (1957—1984). В этих произведениях отражается история человеческих отношений, душевных поисков и самого автора и героев его книг.

Г $\frac{4702010200-1070}{080(02)-85}$ 1070—85 84 Р7

Даниил Александрович ГРАНИН

РЕКА ВРЕМЕН

Редактор Л. М. Кроткова

Оформление художника Т. В. Горб

Художественный редактор В. В. Масленников

Технический редактор Т. Б. Слизун

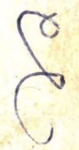
ИБ 1070

Сдано в набор 23.03.85. Подписано к печати 05.06.85. А 04592.
Формат 60×84 1/16. Бумага книжно-журн. Гарнитура «Литературная».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,18. Усл. кр.-отт. 24,41. Уч.-изд. л. 24,06.
Тираж 500 000 экз. (2-й завод: 250 001—500 000 экз.).
Заказ № 1365. Цена 1 р. 30 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства ЦК Компартии Латвии, 226081, Рига, ул. Баласта дамбис, 3.

1 р. 30 к.



Даниил Гранин РЕКА ВРЕМЕН